

НОБЕЛЕВСКАЯ ПРЕМИЯ 2003

Дж. М. Кутзее

БЕСЧЕСТЬЕ

АМФОРА 2004



ДЖ. М. КУТЗЕЕ

БЕСЧЕСТЬЕ

[роман]

ОСЕНЬ В ПЕТЕРБУРГЕ

[роман]

[САНКТ-ПЕТЕРБУРГ]

АМФОРА2004

УДК 821.111(680)-311.1 Кутзее
ББК 84(6Юж)-44
К 95

J. M. COETZEE
Disgrace
The Master of Petersburg

*Издательство выражает благодарность
литературному агентству
P. & R. Permissions & Rights
за содействие в приобретении прав*

*Защиту интеллектуальной собственности и прав
издательской группы «Амфора»
осуществляет юридическая компания
«Усков и партнеры»*



Кутзее Дж. М.

К 95 Бесчестье. Осень в Петербурге: Романы /
Дж. М. Кутзее; Пер. с англ. С. Ильина. — СПб.:
Амфора, 2004. — 590 с.

ISBN 5-94278-514-7

УДК 821.111(680)-311.1 Кутзее
ББК 84(6Юж)-44

Disgrace

© J. M. Coetzee, 1999

© Ильин С., перевод на русский язык, 2001
The Master of Petersburg

© J. M. Coetzee, 1994

© Ильин С., перевод на русский язык, 1999

© Издание на русском языке,

ISBN 5-94278-514-7 оформление. ЗАО ТИД «Амфора», 2004

БЕСЧЕСТЬЕ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Для человека его возраста, пятидесятидвухлетнего, разведенного, он, на его взгляд, решил проблему секса довольно успешно. По четвергам, после полудня, он едет в Грин-Пойнт. Ровно в два часа он нажимает кнопку звонка на двери многоквартирного дома Виндзор-Мэншнс, называет свое имя и входит. У двери с номером 113 стоит, поджидая его, Сорайа. Он проходит напрямик в спальню, приятно пахнущую, мягко освещенную, и раздевается. Сорайа появляется из ванной, сбрасывает халат и проскальзывает в постель, под бок к нему.

— Скучал по мне? — спрашивает она.

— Я по тебе все время скучаю, — отвечает он. Он гладит ее не тронутое солнцем медово-смуглое тело; заставляет ее вытянуться рядом с собой, целует ей груди; они любят друг дружку.

Сорайа высока и стройна, с длинными черными волосами и темными, влажными глазами. Строго говоря, он достаточно стар, чтобы быть ей отцом; но с другой стороны, и опять-таки строго говоря, отцом можно стать и в двенадцать. В клиентах у нее он состоит уже год с лишком; она его более чем устраивает. Четверг обратился в оазис *de luxe et volupté*¹ посреди недельной пустыни.

¹ Роскоши и неги (фр.). — Здесь и далее примеч. пер.

В постели Сорайя сдержанна. Она вообще тиха по природе, тиха и послушна. Взгляды ее на удивление моралистичны. Ее раздражают туристки, обнажающие на пляжах грудь («вымя», как она выражается, говоря о них); она считает, что бродяг следует отлавливать и заставлять мести улицы. Как ей удастся сочетать подобные суждения с ее занятием, он не спрашивает.

Поскольку она доставляет ему удовольствие, причем неизменное, он понемногу привязывается к ней. Привязанность эта, как он полагает, в какой-то мере взаимна. Привязанность, возможно, и не любовь, но по крайности двоюродная сестра таковой. А если вспомнить малообещающее начало их связи, то можно сказать, что им улыбнулась удача, обоим: ему повезло найти ее, ей — найти его.

Он сознает, что в чувствах его присутствует самолюбование плюс нечто от супружеской зависимости. Тем не менее он не гонит их прочь.

За полуторачасовой сеанс он платит ей четыреста рандов, половину которых забирает «Благоразумная спутница». Жаль, конечно, что «Благоразумной спутнице» приходится отдавать так много. Но этому агентству принадлежит 113-я квартира, да и другие квартиры Виндзор-Мэншнс; в каком-то смысле ему принадлежит и Сорайя, вот эта ее часть, функциональная.

Одно время он подумывал о том, чтобы попросить ее встретиться с ним в свободное от работы время. Он с удовольствием провел бы с ней вечер, может быть, даже ночь. Но не следующее утро. Он слишком хорошо знает себя, чтобы подвергать Сорайю испытанию утром, — он будет холоден,

мрачен, будет изнывать от желания поскорее остаться наедине с собой.

Таков уж его темперамент. Темперамент не переменишь, для этого он слишком стар. Его темперамент определился, установился. Череп, а после темперамент — два самых неподатливых атрибута человека.

Вот и следуй своему темпераменту. Это не философия, «философия» — слишком высокое слово. Это правило, вроде правил св. Бенедикта¹.

Здоровье у него отменное, голова варит. По профессии он ученый, филолог, вернее, был им, и филология еще овладевает, пусть и с перерывами, всем его существом. Он живет, не выходя за рамки своего дохода, своего темперамента, своих эмоциональных возможностей. Счастлив ли он? По большинству мерок — да, пожалуй что да. Впрочем, он не забывает о последнем хоре «Эдипа»: *Прежде смерти не называй человека счастливым*.

В сфере секса его темперамент, хоть и не лишенный пылкости, никогда особенной страстностью не отличался. Если бы ему пришлось выбирать для себя тотем, он выбрал бы змею. Как он себе это представляет, его соития с Сорайей смахивают на совокупление двух змей: долгое, сосредоточенное, но отчасти равнодушное, суховатое, даже в самые пылкие минуты.

Интересно, тотем Сорайи — тоже змея? Разумеется, с другими мужчинами она становится другой женщиной: *la donna è mobile*². И все же на

¹ Имеется в виду разработанный св. Бенедиктом Нурсийским (480–543) монастырский устав.

² «Женщина переменчива» (итал.) — цитируются начальные слова песенки Герцога из оперы Дж. Верди «Риголетто», известные нам как «Сердце красавицы склонно к измене».

уровне темперамента подделать сходство с ним ей, конечно же, не удалось бы.

При том, что по роду занятий она женщина не-путевая, он доверяет ей — в определенных пределах. Во время их встреч он разговаривает с ней не без некоторой свободы, иногда даже изливает перед нею душу. Ей известны обстоятельства его жизни. Она выслушала рассказы о двух его браках, знает о его дочери, о превратностях ее судьбы. Она знакома со многими его взглядами.

О своей жизни вне Виндзор-Мэншинс Сорайа не говорит ничего. Сорайа — не настоящее ее имя, в этом он не сомневается. Судя по некоторым признакам, у нее есть ребенок, а то и не один. Возможно, она вовсе и не профессионалка. Она может работать на агентство лишь день-другой в неделю, а в остальное время вести добропорядочную жизнь где-нибудь в пригороде, в Райлэндсе или Атлоне. Не совсем обычно для мусульманки, но в наше время случается всякое.

О своей работе он, не желая нагонять на нее скуку, говорит мало. На жизнь он зарабатывает в Техническом университете Кейпа, бывшем колледже Кейптаунского университета. Некогда профессор кафедры новых языков, он, поскольку кафедры древних и новых языков в ходе большой рационализации закрыли, стал теперь вторым профессором на факультете передачи информации. Как и всем «рационализированным», ему, ради укрепления морального состояния, разрешено читать один курс в год по прежней своей специальности — независимо от числа записавшихся на этот курс студентов. В нынешнем году он читает о поэтах-романтиках. А в остальное время ведет занятия по

курсу 101 («Основные методы передачи информации») и 201 («Передовые методы передачи информации»).

Хотя он каждый день уделяет по несколько часов своей новой дисциплине, первая ее посылка, провозглашенная в учебнике по курсу 101: «Человеческое общество создало язык для того, чтобы мы могли передавать друг другу наши мысли, чувства и намерения», представляется ему нелепой. По его личному мнению, которое, впрочем, он держит при себе, происхождение речи коренится в пении, а происхождение пения — в потребности заполнить звуками непомерно большую и несколько пустоватую человеческую душу.

За свою растянувшуюся уже на четверть века карьеру он опубликовал три книги, ни одна из которых не вызвала восторженных кликов или хотя бы перешептываний: первая была посвящена опере («Бойто и легенда о Фаусте: генезис Мефистофеля»), вторая — видениям как порождению зрота («Явление Ричарда святому Виктору»), а третья — Вордсворту и истории («Вордсворт и бремя прошлого»).

Последние несколько лет он подумывает о сочинении, посвященном Байрону. Поначалу ему казалось, что может получиться еще одна книга, еще один критический опус. Но все его попытки подступиться к нему вязли в трясине скуки. Правда состояла в том, что он устал от литературной критики, устал от измеряемой ярдами прозы. Что ему на самом деле хочется написать, так это музыку: «Байрон в Италии», размышление о любви между полами, поданное в форме камерной оперы.

Пока он ведет занятия по методам передачи информации, в мозгу его мелькают фразы, мелодии,

обрывки арий из ненаписанного сочинения. Как преподаватель он никогда особенно не блистал; в теперешнем же преобразованном и, на его взгляд, изуродованном учебном заведении он более чем когда-либо чувствует себя не на месте, хотя, с другой стороны, так же чувствовали себя и его коллеги прежних дней, обремененные образованием, не отвечающим задачам, которые им приходилось решать: клирики пострелигиозного века.

Поскольку он не питает уважения к тому, что преподает, он и не производит никакого впечатления на студентов. Студенты забывают его имя, смотрят, когда он говорит, сквозь него. Их безразличие уязвляет его сильнее, чем он готов признать. Тем не менее он досконально выполняет принятые им на себя обязательства перед ними, их родителями и государством. Месяц за месяцем он дает им домашние задания, собирает письменные работы, прочитывает их и комментирует, исправляя ошибки в пунктуации, правописании и словоупотреблении, оспаривая слабые аргументы, присовокупляя к каждой работе короткие, продуманные критические замечания.

Он продолжает преподавать, потому что это дает ему средства к существованию; и еще потому, что преподавание учит его смирению, открывая ему глаза на то, кто он в этом мире. Ирония происходящего не ускользает от него: тот, кто приходит учить, получает горчайший из уроков, а те, кто пришел учиться, не научаются ничему. Об этой особенности своей профессии он с Сорайей не говорит. Он сомневается, отыщется ли в ее профессии ирония под стать.

На кухне квартирки в Грин-Пойнт есть чайник, пластмассовые чашки, банка растворимого кофе, вазочка с пакетиками сахара. В холодильнике — запас бутылок с водой. В ванной комнате имеются мыло и стопка полотенец, в стенном шкафу — чистое постельное белье. Свою косметику Сорайа держит в небольшом кейсе. Место, предназначенное для любовных утех, ни для чего иного, функциональное, чистое, разумно организованное.

Когда Сорайа в первый раз принимала его, губы ее алели от помады, веки покрывала густая краска. Все это было липким, ему не понравилось, и он попросил ее стереть косметику. Сорайа подчинилась и с тех пор никогда не красилась. Хорошая ученица, сговорчивая, податливая.

Ему нравится делать ей подарки. На Новый год он подарил ей финифтевый браслет, еще как-то раз — малахитовую цапельку, попавшуюся ему на глаза в антикварном магазине. Ее радость, нимало не притворная, доставляет ему наслаждение.

Он сам удивляется тому, что полтора проводимых в обществе женщины часа в неделю делают его счастливым — его, привыкшего считать, будто он нуждается в жене, в доме, в браке. Оказывается, что в конце-то концов нужды его вполне незатейливы, незатейливы и преходящи, как у бабочки. Никаких эмоций, или, вернее, никаких, кроме самой тайной, самой непредугадываемой: бассо остигато удовлетворенности, подобного убаюкивающему горожанина гулу городского движения или тому, чем является для селянина безмолвие ночи.

Он вспоминает Эмму Бовари, которая, проведя полдня в самозабвенном распутстве, возвращается

домой — пресыщенная, с остекленевшими глазами. Так вот оно, блаженство! — говорит Эмма, разглядывая себя в зеркале. Вот блаженство, о котором твердят поэты! Что же, если бы бедной, обратившейся в призрака Эмме удалось каким-то образом отыскать дорогу в Кейптаун, он привел бы ее сюда в один из четвергов, чтобы показать, каким может быть блаженство: умеренное блаженство, умеренное.

Затем в одно субботнее утро все переменится. У него дела в городе, он идет по улице Св. Георга, и тут глаза его натываются в толпе на стройную фигуру. Это Сорайя, ошибиться невозможно, по бокам ее двое детей, два мальчика. Они несут пакеты: ходили по магазинам.

Поколебавшись, он, не сокращая расстояния, следует за ними. Они входят в «Рыбную харчевню капитана Дорего». У мальчиков такие же блестящие волосы и темные глаза, как у Сорайи. Это могут быть только ее сыновья.

Он проходит немного дальше, поворачивает назад, во второй раз минует «Капитана Дорего». Все трое сидят за столиком у окна. На миг взгляд Сорайи встречается сквозь стекло с его взглядом.

Он всегда был городским человеком, чувствующим себя как дома в потоке тел, там, где шествует эрос и взгляды летают, как стрелы. Но об этом обмене взглядами между ним и Сорайей ему сразу же приходится пожалеть.

При свидании в следующий четверг ни он, ни она о случившемся не упоминают. Однако память об этом как-то сковывает их. Он вовсе не жела-

ет расстроить ту рискованно двойственную жизнь, которую она, вероятно, ведет. Он целиком и полностью за двойную жизнь, за тройную, за жизнь, состоящую из отдельных отсеков. В сущности, если он что-либо и чувствует, то лишь еще большую нежность к ней. Ему хотелось бы сказать: «Со мной твой секрет в безопасности».

И все же и ему и ей не удастся выбросить случившееся из головы. Ее мальчики здесь, рядом, играют тихо, как тени, в углу комнаты, в которой их мать совокупляется с незнакомым мужчиной. В объятиях Сорайи он становится — на миг — их отцом: приемным отцом, отчимом, отцом-призраком. После, вылезая из постели, он чувствует, как глаза их украдкой с любопытством шарят по нему.

Мысли его невольно обращаются к другому отцу, настоящему. Имеет ли он хоть отдаленное представление о том, чем она занимается, или предпочитает блаженство неведения?

У самого у него сына нет. Детство его прошло в семье, состоящей из женщин. Мать, тетки, сестры — все они покидали его, сменяясь, как то и положено, любовницами, женами, дочерью. Всегдашнее женское общество сделало его женолюбом, пожалуй, даже бабником. При его росте, при крепком его костяке, оливковой коже, волнистых волосах он всегда мог рассчитывать на некоторую свою притягательность. Если он определенным образом, с определенным намерением смотрел на женщину, она отвечала ему — уж на это-то он мог положиться — таким же взглядом. Так он и жил — годами, десятилетиями, — и все это стало становым хребтом его существования.

И в один прекрасный день все кончилось. Могущество оставило его, не предупредив. Взгляды, которыми ему некогда отвечали, теперь скользили по нему — мимо, сквозь. Он вдруг обратился в призрак. Если он желал женщину, ему приходилось добиваться ее, а чаще — покупать, тем или иным способом.

Он жил в хлопотной спешке промискуитета. Заводил романы с женами коллег, снимал в прибрежных барах или в Итальянском клубе туристов, спал с проститутками.

Знакомство с Сорайей произошло в тусклой маленькой гостинице, смежной с главной конторой «Благоразумной спутницы», — подъемные жалюзи, горшечные растения по углам, душок застоялого дыма. В их каталоге она проходила по разряду «Экзотика». Фотограф изобразил ее с красным цветком страстоцвета в волосах и чуть приметными морщинками в уголках глаз. Заголовок гласил: «Только после полудня». Это и решило дело: обещание зашторенных комнат, прохладных простыней, захватывающих часов.

С самого начала все сложилось точно так, как он хотел. Выстрел «в десятку». Целый год у него не было нужды снова обращаться в агентство.

И вот этот случай на улице Св. Георга и последовавшая за ним отчужденность. Сорайя выдерживала условленное расписание, но он ощущал в ней растущую холодность, она превращалась в еще одну, очередную женщину и его превращала в очередного клиента.

Он довольно точно представлял себе разговоры проституток о постоянных клиентах, в особенности пожилых. Как они рассказывают друг другу

разные разности, посмеиваются и как их все-таки передергивает — точно человека, увидевшего посреди ночи таракана в раковине умывальника. Очень скоро и сам он с беспощадным изяществом обратится в такого вот таракана. Это судьба, которой ему не избежать.

В четвертый четверг после той встречи Сорайа, когда он покидает квартиру, произносит слова, к которым он так старался себя подготовить:

— У меня заболела мать. Придется прерваться, я должна побыть с ней. На следующей неделе меня здесь не будет.

— А через неделю?

— Не уверена. Зависит от ее самочувствия. Ты лучше сначала позвони.

— У меня же нет номера.

— Позвони в агентство. Я им сообщу.

Он ждет несколько дней, потом звонит в агентство. Сорайа? Сорайа от нас ушла, говорит мужской голос. Нет, связать вас с ней мы не можем, это против правил. Может, познакомитесь с какой-нибудь другой нашей сотрудницей? У нас большой выбор экзотических дам — малайки, тайки, китайки, вы только скажите, кто вам нужен.

Он проводит с другой Сорайей — похоже, имя «Сорайа» приобрело популярность в качестве *nom de commerce*¹ — вечер в номере отеля на Лонг-стрит. Этой не больше восемнадцати, она неумела и, на его взгляд, вульгарна.

¹ Торговой марки (*фр.*).

— Так чем ты занимаешься? — спрашивает она, раздеваясь.

— Экспорт-импорт, — отвечает он.

— Ну да, заливай, — говорит она.

На кафедре появляется новая секретарша. Он везет ее на ланч в ресторан, находящийся на благопристойном расстоянии от университетского городка, и слушает за креветочным салатом, как она жалуется на школу, в которой учатся ее сыновья. Торговцы наркотиками так и рыщут вокруг спортивных площадок, говорит она, а полиции хоть бы хны. Они с мужем уже три года стоят на учете в новозеландском консульстве, хотят эмигрировать.

— Вам-то было легче. Ну то есть какой бы ни была ситуация, вы хоть понимали, что к чему.

— Нам? — переспрашивает он. — Кому это «нам»?

— Ну, вашему поколению. А теперь люди просто выбирают, какие законы они согласны выполнять. Это же анархия. Как тут растить детей, когда кругом сплошная анархия?

Дон, так ее зовут. При втором свидании они заглядывают к нему домой и оказываются в постели. Извиваясь, впиваясь в него ногтями, только что пену изо рта не пуская, она доводит себя до возбуждения, которое в конце концов становится ему противным. Он одалживает ей расческу, отвозит назад, в университетский городок.

В дальнейшем он избегает ее, стараясь обходить стороной кабинет, в котором она работает. В ответ она бросает на него сначала обиженные, а после презрительные взгляды.

Пора кончать, довольно этих игр. Интересно, в каком возрасте Ориген¹ себя оскотил? Не самое изящное из решений, но ведь и в старении изящного мало. По крайности, похоже на приведение в порядок письменного стола, позволяющее сосредоточиться на том, чем и следует заниматься старику, — на приготовлении к смерти.

Можно ли обратиться с подобной просьбой к врачу? Операция-то довольно простая: врачи каждый день практикуются в ней на животных, и те переживают ее как ни в чем не бывало, если оставить в стороне некий горький осадок. Оттяпал, перевязал: при местном обезболивании, твердой руке и малой доле бесстрастия можно управиться и самому, по учебнику. Мужчина садится в кресло и — чик; зрелище не из красивых, но, с определенной точки зрения, чем уж оно некрасивей зрелища того же мужчины, ерзающего на женском теле?

Осталась еще Сорайа. Вообще-то, ему следует перевернуть эту страницу. Вместо того он обращается в детективное агентство с просьбой найти ее. Через несколько дней он получает ее настоящее имя, адрес, номер телефона. И звонит в девять утра, когда мужа с детьми, надо полагать, уже нет дома.

— Сорайа? — говорит он. — Это Дэвид. Как ты? Когда я тебя снова увижу?

Долгое молчание, потом она произносит:

— Я вас не знаю. Зачем вы лезете в мою жизнь? Я требую, чтобы вы никогда больше мне не звонили, никогда.

¹ Ориген (185–254) — христианский богослов и философ, родившийся и живший в Александрии, затем в Палестине.

Требую. Скорей уж приказываю. Его удивляет визгливость, проступившая в ее тоне, — прежде на нее и намека не было. С другой стороны, чего еще ждать хищнику, влезшему к лисице в нору, в жилище ее щенков?

Он кладет телефонную трубку. Что-то вроде зависти к ее мужу, которого он ни разу не видел, ненадолго стесняет его сердце.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Без четверговых интерлюдий неделя гола как пустыня. Выпадают дни, когда он не знает, чем себя занять.

Теперь он проводит больше времени в университетской библиотеке, читая все, что удастся найти, о широком круге друзей и знакомых Байрона, добавляя заметки к тем, что уже заполнили две толстые папки. Ему нравится послеполуденное спокойствие читального зала, нравится неторопливо возвращаться под вечер домой: бодрящий зимний ветер, мерцающие мокрые улицы.

В пятницу вечером, возвращаясь длинным кружным путем — по паркам старого колледжа, он замечает впереди себя на дорожке одну из своих студенток. Ее зовут Мелани Исаакс, она слушает его посвященный романтикам курс. Не лучшая студентка, однако и не худшая: довольно умная, но без собственных мыслей.

Она не спешит, и скоро он настигает ее.

— Привет, — говорит он.

Она улыбается в ответ, кивает, улыбка ее скорее лукава, чем робка. Она маленькая, тоненькая — коротко подстриженные черные волосы, широкие, почти китайские скулы, большие темные глаза. Одевается, как правило, броско. Сегодня на ней темно-бордовая мини-юбка, горчичного цвета

свитер и черные колготки; золотые финтифлюшки на поясе подобраны в тон золотым шарикам серег.

Он немного влюблен в нее. Тут нет ничего необычного: почти каждый семестр он влюбляется в ту или иную из своих подопечных. Кейптаун — город, щедрый на красоту, на красавиц.

Знает ли она, что он положил на нее глаз? Вероятно. Женщины чувствуют такие вещи, давление вождедеющих взглядов.

Только что кончился дождь; в канавах вдоль дорожки негромко журчит вода.

— Мое любимое время года и любимое время дня, — сообщает он. — Живете тут неподалеку?

— У самого парка. Дело квартиру с подружкой.

— Кейптаун родной ваш город?

— Нет, я выросла в Джордже.

— Я живу совсем рядом. Могу я пригласить вас выпить?

Пауза, осторожная.

— Хорошо. Но я должна вернуться к семи тридцати.

Из парка они выходят в тихий жилой квартал, в котором он прожил последние двенадцать лет, сначала с Розалиндой, потом, после развода, один.

Он отпирает калитку, отпирает дверь, вводит девушку в дом. Включает свет, берет у нее сумочку. В волосах ее капли дождя. Искренне очарованный, он оглядывает ее. Мелани, с той же, что прежде, уклончивой, а может быть, и кокетливой улыбкой, опускает глаза.

На кухне он открывает бутылку «Мирласта», раскладывает по тарелкам крекеры, сыр. Когда

он возвращается, девушка стоит у книжных полок и, склонив голову набок, читает названия. Он включает музыку: Моцарт, кларнетный квинтет.

Вино, музыка: ритуал, который разыгрывают мужчина и женщина. Ничего дурного в таких ритуалах нет, их придумали для того, чтобы разряжать неловкость. Но девушка, которую он привел домой, не просто моложе его на тридцать лет — это студентка, его студентка, находящаяся под его опекой. Что бы сейчас между ними ни произошло, им придется встретиться снова как учителю и ученице. Готов ли он к этому?

— Как вам мой курс? — спрашивает он.

— Мне нравится Блейк. И еще «Wonderhorn».

— «Wonderhorn»¹.

— А от Вордсворта я не в восторге.

— Вам не следовало бы говорить мне об этом.

Вордсворт был одним из моих учителей.

Это правда. Сколько он себя помнит, в нем всегда отзывалось эхо гармоний «Прелюдии».

— Может быть, под конец курса мне удастся лучше его оценить. Может быть, он начнет нравиться мне больше.

— Может быть. Но по моему опыту, поэзия либо что-то говорит вам с первого раза, либо не говорит ничего. Проблеск откровения, проблеск отклика на него. Это как молния. Как приход влюбленности.

Приход влюбленности. Да влюбляются ли еще молодые люди или этот механизм уже устарел,

¹ Имеется в виду «Des Knaben Wunderhorn» («Волшебный рог мальчика»), антология немецких народных и стилизованных под таковые песен, впервые вышедшая в Гейдельберге в 1806–1808 гг.

стал ненужным, чудноватым, как паровые машины? Он не в курсе, отстал от времени. Почему знать, влюбленность могла полдюжины раз выйти из моды и снова в нее войти.

— Вы-то сами стихов не пишете? — спрашивает он.

— В школе писала. Так себе были стишата. Теперь и времени не хватает.

— А пристрастия? Есть у вас какие-нибудь литературные пристрастия?

При звуке этого непривычного слова она сдвигает брови.

— На втором курсе мы занимались Адриенной Рич¹ и Тони Моррисон². И еще Элис Уокер³. Мне было очень интересно. Но пристрастием я бы это не назвала.

Так, девушка без пристрастий. Или она окольным способом предупреждает его: не лезь?

— Я думаю соорудить некое подобие ужина, — говорит он. — Присоединитесь ко мне? Все будет очень незамысловато.

Похоже, ее одолевают сомнения.

— Ну же! — говорит он. — Скажите «да»!

— Хорошо. Только мне придется позвонить.

Звонок отнимает времени больше, чем он ожидал. Он вслушивается из кухни в ее приглушенный голос, в долгие паузы.

¹ Адриенна Рич (р. 1929) — американская поэтесса, феминистка.

² Тони Моррисон (р. 1931) — американская писательница, лауреат Нобелевской премии по литературе (1993).

³ Элис Уокер (р. 1944) — американская писательница, феминистка.

— Чем вы собираетесь заниматься в дальнейшем? — спрашивает он несколько погодя.

— Актерским мастерством и оформлением сцены. Я пишу диплом о театре.

— Тогда по какой причине вы записались на курс романтической поэзии?

Мелани, наморщив носик, задумывается.

— Главным образом из-за атмосферы, — говорит она. — Не хотелось снова браться за Шекспира. Шекспира я проходила в прошлом году.

То, что он сооружает на ужин, и впрямь незамысловато. Тальятелли¹ с анчоусами под грибным соусом. Он позволяет ей нарезать грибы. Остальное время она сидит на стуле, наблюдая, как он стряпает. Они едят в гостиной, открыв вторую бутылку вина. Ест она без удержу. Здоровый аппетит — для столь стройного существа.

— Вы всегда сами готовите? — спрашивает она.

— Я живу один. Не буду готовить я, так и никто не будет.

— Терпеть не могу готовку. Хотя, наверное, стоило бы научиться.

— Зачем? Если она вам так не по душе, выходите за умеющего готовить человека.

Вдвоем они мысленно созерцают эту картину: молодая жена в аляповатом платье и безвкусовых драгоценностях, нетерпеливо потягивая носом воздух, влетает в квартиру; на кухне в клубах пара муж, бесцветный мистер Праведник, помещивает что-то в кастрюльке. Обмен ролями: хлеб буржуазной комедии.

¹ Вид лапши.

— Ну, вот и все, — говорит он под конец, когда блюдо с едой пустеет. — И никакого десерта, разве что вам захочется съесть яблоко или немного йогурта. Простите — не знал, что у меня будет гостя.

— Все было очень мило, — говорит она, допивая вино и вставая. — Спасибо.

— Не уходите так сразу, — он берет ее за руку и подводит к софе. — Я хочу кое-что показать вам. Вы любите танцы? Не танцевать — танцы.

Он вставляет кассету в видеомэгнитофон.

— Это фильм, снятый человеком, которого звали Норман Макларен¹. Довольно старый. Подвернулся мне в библиотеке. Интересно, что вы о нем скажете.

Сидя бок о бок, они смотрят фильм. Два танцора на голой сцене исполняют свои па. Снятые стробоскопически, их изображения, призраки их движений, веерами распускаются за ними, будто крылья на взмахе. Впервые увиденный четверть века назад, этот фильм по-прежнему захватывает его: миг настоящего и недолговечное прошлое этого мига, застигнутые в одном и том же пространстве.

Ему хочется, чтобы фильм захватил и девушку. Однако он чувствует, что этого не происходит.

Когда фильм кончается, она встает и проходит по комнате. Поднимает крышку пианино, ударяет по срединному до.

— Играете? — спрашивает она.

— Немного.

¹ Норман Макларен (1914–1987) — канадский режиссер, главным образом мультипликатор, авангардистского толка.

— Классику или джаз?

— Увы, не джаз.

— Сыграете мне что-нибудь?

— Не сейчас. Давно не упражнялся. В другой раз, когда мы познакомимся поближе.

Мелани заглядывает в кабинет.

— Можно посмотреть? — спрашивает она.

Он ставит новую запись: сонаты Скарлатти, музыка-кошка.

— Как у вас много Байрона, — говорит она, выходя. — Ваш любимый поэт?

— Я кое-что сочиняю о нем. О его итальянском периоде.

— Он ведь умер молодым?

— В тридцать шесть. Они все умирали молодыми. Или выдыхались. Или сходили с ума, и их сажали под замок. Но Байрон умер не в Италии. В Греции. В Италию он уехал, спасаясь от скандала, а потом обосновался в ней. Осел. У него там приключилась последняя в его жизни большая любовь. В то время у англичан было принято ездить в Италию. Они считали, что итальянцы все еще сохраняют естественность. В меньшей степени скованные условностями, более страстные.

Мелани еще раз обходит комнату.

— Это ваша жена? — спрашивает она, задержавшись перед стоящей на кофейном столике фотографией в рамке.

— Мать. Снято, когда она была молодой.

— Вы женаты?

— Был. Дважды. Теперь нет.

Он не говорит: «Теперь я довольствуюсь тем, что подвернется». Не говорит: «Теперь я довольствуюсь шлюхами».

— Хотите ликера?

Ликера Мелани не хочет, но соглашается добавить немного виски в кофе. Когда она подносит чашку к губам, он склоняется над нею и касается ее щеки.

— Вы очень красивы, — говорит он. — Надо будет подбить вас на какой-нибудь опрометчивый поступок. — Он снова прикасается к ее щеке. — Оставайтесь. Проведите со мной ночь.

Поверх чашки она бросает на него твердый взгляд.

— Зачем?

— Затем, что это ваш долг.

— Почему долг?

— Почему? Потому что красота женщины не может принадлежать только ей одной. Это часть дара, который она приносит в мир. Так что она обязана этим даром делиться.

Рука его так и покоится на ее щеке. Она не отстраняется, но и покорности не выказывает.

— А что если я уже им делюсь? — Звук ее голоса позволяет заподозрить, что у нее перехватило дыхание. Когда за тобою ухаживают, это всегда волнует: приятно волнует.

— Тогда вам следует делиться им более щедро.

Гладкие слова, старые, как само обольщение. И все же в этот миг он верит в них. Мелани не принадлежит себе. Красота себе не принадлежит.

— От всех творений мы потомства ждем, — говорит он, — чтоб роза красоты не увядала¹.

Не самый удачный ход. Ее улыбка лишается шаловливости, живости. Пентаметр, чей ритм

¹ Начало первого сонета У. Шекспира (Пер. с англ. А. Финкеля).

был некогда столь дивной смазкой для слов змия-искусителя, теперь лишь отпугивает. Он снова обратился для Мелани в преподавателя, человека книжного, хранителя культурного наследия. Она ставит чашку на столик.

— Пора, меня ждут.

Облака разошлись, блещут звезды.

— Прелестная ночь, — говорит он, отпирая калитку. Девушка не поднимает глаз к его лицу. — Проводить вас до дома?

— Нет.

— Хорошо. Спокойной ночи.

Протянув руки, он поворачивает Мелани к себе. На миг он ощущает напор ее маленьких грудей. Потом она выскальзывает из его объятий и уходит.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

На том бы ему и остановиться. Ан нет. В воскресенье утром он едет в пустой университетский городок, проникает в канцелярию факультета. Отыскивает в шкафу с регистрационными записями карточку Мелани Исаакс и выписывает оттуда подробности: домашний адрес, адрес в Кейптауне, номер телефона.

Он набирает номер. Отвечает женский голос.

— Мелани?

— Сейчас позову. А кто это?

— Скажите ей, что звонит Дэвид Лури.

Melanie — melody: притянутая за уши рифма. Не подходит ей это имя. Переставь ударение: Meláni — темная.

— Алло?

В одном этом слове он слышит всю ее нерешительность. Слишком молода. Не знает, как с ним обходиться; лучше бы ему отпустить ее. Но он и сам пребывает во власти непонятно чего. Роза красоты: стихи бьют точно в цель, как стрела. Она не принадлежит себе; возможно, и он себе не принадлежит.

— Я подумал, может быть, вы захотите позавтракать со мной, — говорит он. — Я бы заехал за вами, ну, скажем, в двенадцать.

У нее еще остается возможность наврать что-нибудь, увильнуть. Но она в таком замешательстве, что упускает подходящий момент.

Когда он подъезжает к ее многоквартирному дому, Мелани уже ждет его на тротуаре. В черных колготках и черном свитере. Бедрa узкие, как у двенадцатилетней девочки.

Он везет Мелани в Хат-бэй, к гавани. И по дороге старается растормошить ее, избавить от смущения. Расспрашивает о том, какие еще курсы она слушает. Она говорит, что играет в пьесе. Это одно из условий защиты диплома. Репетиции съедают кучу времени, говорит она.

В ресторане она почти не ест, хмурo глядит на море.

— Что-нибудь не так? Не хотите мне рассказать? Она качает головой.

— Вас тревожат наши отношения?

— Может быть, — говорит она.

— Ну и напрасно. Не беспокойтесь. Я не позволю им зайти слишком далеко.

Слишком далеко... Что в таких случаях значит «далеко» и что — «слишком далеко»? И похоже ли ее «слишком далеко» на его?

Начинается дождь: водная пелена гуляет по пустому заливу.

— Ну что, поехали? — говорит он.

Он привозит ее к себе домой. На полу гостиной, под звуки бьющего в оконное стекло дождя, он овладевает ею. У нее чистое, простое, по-своему совершенное тело; и хотя она так и остается пассивной, происходящее доставляет ему такое наслаждение, что в миг оргазма он валится в опустошенное забытье.

Когда он приходит в себя, дождя уже не слышно. Девушка — брови чуть насуплены, глаза закрыты — лежит под ним, вяло закинув руки за голову. Его ладони покоятся под ее грубой вязки свитером, на грудях. Колготки и трусики Мелани валяются, сплетясь, на полу; его брюки спущены ниже колен. «После бури», — думает он: чистой воды Жорж Грос¹.

Отворачивая лицо, она высвобождается, собирает одежду и выходит из комнаты. И через несколько минут возвращается одетая.

— Мне нужно идти, — шепчет она.

Он не пытается ее удержать.

На следующее утро он просыпается с ощущением полного блаженства, которое не покидает его и в дальнейшем. Мелани на занятиях отсутствует. Из своего кабинета он звонит в цветочный магазин. Розы? Нет, пожалуй, не розы. Он заказывает гвоздики.

— Красные или белые? — спрашивает женщина.

Красные? Белые?

— Пошлите двенадцать розовых, — говорит он.

— У меня нет двенадцати розовых. Может быть, послать разные?

— Ну пошлите разные.

Весь вторник из тяжелых туч, наползающих с запада на город, льет дождь. В конце дня, пересекая вестибюль здания, в котором находится факультет передачи информации, он замечает Мелани, ждущую вместе с горсткой студентов в дверях,

¹ Жорж Грос (1893–1959) — немецкий график и живописец, с 1932 г. работал в Америке.

когда поутихнет ливень. Он подходит к ней сзади, кладет руку ей на плечо.

— Подождите меня здесь, — говорит он. — Я подвезу вас до дома.

Он возвращается с зонтом. Переходя площадь по направлению к парковке, он прижимает ее к себе, чтобы укрыть от дождя. Внезапный порыв ветра выворачивает зонт наизнанку; они вдвоем неловко бегут к машине.

На ней блестящий желтый дождевик; в машине она надвигает капюшон на лоб. Лицо ее размянилось; он и не глядя видит, как вздымается и опускается ее грудь. Она слизывает дождевую каплю с верхней губы. «Дитя! — думает он. — Не более чем дитя! И что я делаю?» Но сердце его, охваченное желанием, бьется неровными толчками.

Они едут в густом предвечернем потоке машин.

— Я вчера скучал по тебе, — говорит он. — У тебя все нормально?

Она не отвечает, просто смотрит на дворники.

Остановившись на красный свет, он берет ее холодную ладонь в свою.

— Мелани! — говорит он, стараясь произнести это как можно небрежней. Но он давно уже разучился ухаживать за девушками. Голос, который он слышит, принадлежит притворно-ласковому родителю, не влюбленному.

Он тормозит перед ее многоквартирным домом.

— Спасибо, — говорит Мелани, открывая дверцу машины.

— Ты не пригласишь меня к себе?

— Я думаю, моя соседка дома.

— А как насчет сегодняшнего вечера?

— Вечером у меня репетиция.

— Так когда я снова тебя увижу?

Она не отвечает.

— Спасибо, — повторяет она и выскальзывает из машины.

В среду она сидит в аудитории, на своем обычном месте. Они все еще занимаются Вордсвортом, шестой книгой «Прелюдии» — поэт в Альпах.

— С нагой гряды, — громко читает он, — мы зрили в первый раз

Открытый пик Монблана, приуныв,
Что сей бездушный образ посягнул
На мысль живую, коей никогда
Живой уже не быть.

Вот так. Величественная белая гора, Монблан, становится причиной разочарования. Почему? Давайте начнем с глагола «посягнул». Кто-нибудь посмотрел его в словаре?

Молчание.

— Если бы вы заглянули в словарь, вы узнали бы, что «посягать» означает «покушаться», «притязать». Совершенный вид этого глагола — «посягнуть». Тучи расходятся, говорит Вордсворт, пик открывается, и мы с унынием глядим на него. Странная реакция для человека, путешествующего по Альпам. Откуда это уныние? Оттуда, говорит он, что бездушный образ, не более чем отпечаток на сетчатке глаза, покушается на то, что было некогда живой мыслью. Но в чем состояла эта живая мысль?

Опять молчание. Самый воздух, разносящий его слова, обмяк, точно парус. Человек глядит на

гору: почему, мысленно жалуются они, это нужно так усложнять? Что он им может ответить? А что он сказал Мелани в тот первый вечер? Что без проблеска откровения не существует ничего. Но присутствует ли в этой комнате проблеск откровения?

Он бросает на нее быстрый взгляд. Голова девушки склонена, Мелани углубилась в текст, так это, во всяком случае, выглядит.

— То же самое слово «посягать» вновь возникает через несколько строк. Посягательство — одна из наиболее глубоких тем альпийских эпизодов поэмы. Великие архетипы разума, чистые идеи, испытывают посягательства со стороны простых чувственных образов.

Но не можем же мы день за днем жить в царстве чистых идей, отгородившись от чувственного опыта. Вопрос не в том, как нам сохранить чистоту воображения, защититься от натиска действительности. Вопрос должен ставиться так: можно ли найти для того и другого способ сосуществования?

Взгляните на пятьсот девяносто девятую строку. Вордсворт пишет о границах чувственного восприятия. Этой темы мы с вами уже касались. Когда органы чувств достигают предела своих возможностей, их способность к восприятию начинает угасать. И все же в самый миг исчезновения эта способность вспыхивает в последний раз, точно пламя свечи, на миг позволяя нам узреть незримое. Это трудное место, возможно, оно даже противоречит тому, что сказано о Монблане. И тем не менее Вордсворт, похоже, нащупывает путь к гармонии: не чистая идея, витающая в облаках, не выжженный

на сетчатке зрительный образ, ошеломляющий и разочаровывающий нас своей прозаичной ясностью, но сохраняемое сколько возможно эфемерным чувство-образ как средство возбуждения, активизации идеи, которая лежит, глубоко схороненная, в почве нашей памяти.

Он замолкает. Никто ничего не понял. Он зашел слишком далеко и сделал это слишком быстро. Как возвратить их к себе? Как вернуть Мелани?

— Это вроде любви, — говорит он. — Конечно, если вы слепы, вам навряд ли вообще удастся влюбиться. Но так ли уж вы хотите увидеть любимую со всей ясностью, какую способен обеспечить ваш зрительный аппарат? Быть может, для вас же лучше будет опустить между нею и вашим взглядом завесу, чтобы возлюбленная ваша и дальше жила в ее архетипическом облике, в облике богини?

На Вордсворта это смахивает мало, но хотя бы он их растормошил. «Архетипы? — спрашивают они себя. — Богини? Что он несет? Что знает этот старик о любви?»

Наплывает воспоминание: тот миг на полу, когда он, задрав на ней свитер, обнажил ее ладные, совершенные маленькие груди. Мелани впервые поднимает взгляд и мгновенно понимает все. Смутьившись, она отводит глаза.

— Вордсворт пишет об Альпах, — говорит он. — У нас в стране Альп нет, но есть Драконовы горы, есть, хоть она и поменьше, Столовая гора, и мы забираемся туда вслед за поэтами, надеясь достичь одного из их озарений. Нам всем приходилось слышать о вордсвортовских мгновениях. — Теперь он просто произносит первые попавшиеся слова, за-

крутясь. — Но мгновения, подобные этим, не придут к нам, пока мы не научимся краем глаза поглядывать на великие архетипы воображения, которые носим в себе.

Ну хватит! Его уже тошнит от звука собственного голоса, да и ее, вынужденную выслушивать эти завуалированные интимности, тоже стоит пожалеть. Он отпускает студентов, задерживаясь в надежде перемолвиться с нею хоть словом. Однако она ускользает в общей толпе.

Неделю назад она была не более чем одним из смазливеньких личиков в аудитории. Теперь она — сила, вторгшаяся в его жизнь, живящая сила.

В зале студенческого союза темно. Незамеченный, он садится в заднем ряду. Если не считать лысеющего человека в форме уборщика, сидящего впереди, через несколько рядов, он — единственный зритель.

Репетируется пьеса под названием «Салон Глобус в часы заката»: комедия о новой Южной Африке; действие разворачивается в парикмахерском салоне в Хиллброу, Йоханнесбург. На сцене парикмахер, расфуфыренный малый, обслуживает двух клиентов, черного и белого. Все трое болтают между собой: шуточки, выпады. Основу катарсиса составляет, по-видимому, один главенствующий принцип: все закоснелые старые предрассудки вытаскиваются на свет божий и уносятся порывами смеха. На сцене появляется четвертый персонаж — девушка в туфлях на высокой платформе и с завитыми в колечки волосами. «Присаживайтесь, дорогуша, я вас мигом обслужу», —

говорит парикмахер. «Я насчет работы, — говорит девушка, — по объявлению». У нее подчеркнуто капский выговор; это Мелани. «А, тогда бери половую щетку и покажи, на что ты способна», — говорит парикмахер.

Она берет щетку и, толкая ее перед собой, бродит среди декораций. Щетка запутывается в электрическом проводе. Тут должна быть вспышка с последующими воплями и суматохой, однако что-то не заладилось с синхронизацией. Женщина-режиссер выходит на сцену, следом плетется молодой человек в черной коже, который тут же начинает ковыряться в стенной розетке. «Живее нужно, живее, — говорит режиссер, — чтобы больше походило на братьев Маркс». Она поворачивается к Мелани. «Идея понятна?» Мелани кивает.

Сидящий впереди уборщик встает и с тяжелым вздохом покидает зал. И ему бы следовало уйти. Слыханное ли дело — сидеть в темноте, подглядывая за девушкой (незваное слово «вождедея» приходит к нему). И все же старики, чье общество ему, похоже, вот-вот предстоит разделить, — старики, бесцельно слоняющиеся по улицам в покрытых пятнами плащах, с трещинами в фальшивых зубах и пучками волос в ушах, — все они были некогда детьми Божиими, со стройными членами и ясными глазами. Можно ль винить их за то, что они до последнего цепляются за свое место на сладостном пиршестве чувств?

На сцене возобновляется действие. Мелани тычется туда-сюда со щеткой. Хлопок, вспышка, встревоженные вопли. «Не виноватая я! — пищит

Мелани. — Господи! Почему как чего, так сразу я виноватая?» Он тихо встает и следом за уборщиком уходит в наружную тьму.

На следующий день, в четыре пополудни, он приезжает к ней домой. Дверь открывает Мелани — в мятой футболке, велосипедных шортах и шлепанцах в виде сусликов, какими их изображают в комиксах, на его взгляд глупых, безвкусных.

Он приехал без предупреждения; девушка слишком удивлена, чтобы сопротивляться свалившемуся ей на голову незваному гостю. Когда он заключает ее в объятия, руки ее повисают, как у марионетки. Слова, тяжелые как дубинки, глухо гудят в нежной раковинке ее уха.

— Нет, не сейчас! — говорит она. — Вот-вот вернется кузина!

Но его уже не остановить. Он несет девушку в спальню, срывает нелепые шлепанцы, целует ее ступни, сам изумляясь чувствам, которые она в нем пробуждает. Чувства эти как-то связаны с призраком, виденным им на сцене: парик, вихлястый задок, вульгарная речь. Странная любовь! Но и в ней есть нечто от трепета Афродиты, богини пенистых валов, тут сомневаться не приходится.

Мелани не сопротивляется. Только отстраняется — отводит губы, отводит глаза. Она позволяет ему уложить ее на кровать и даже помогает ему, поднимая руки, затем бедра. Легкий озноб сотрясает ее; едва оголясь, она, как крот в нору, ныряет под стеганое одеяло и поворачивается к нему спиной.

Не изнасилование, не совсем оно, и все-таки он нежеланен, нежеланен до мозга костей. Она словно бы решила застыть на то время, пока все это длится, внутренне умереть, подобно кролику, когда на его шее смыкаются лисьи зубы. Чтобы все, что с ней делают, делалось, так сказать, вдали от нее.

— Вот-вот вернется Полин, — говорит она, когда все кончается. — Ты должен уйти. Пожалуйста.

Он подчиняется, и уже у машины на него наваливается такое уныние, такое оупение, что какое-то время он, неспособный пошевелиться, сидит, привалившись к рулю.

Ошибка, огромная ошибка. В эти мгновения Мелани, несомненно, старается очиститься от происшедшего, очиститься от него. Он так и видит ее бегущей к ванне, вступающей с закрытыми, точно у лунатички, глазами в воду. Он и сам был бы не прочь погрузиться сейчас в свою ванну.

Женщина с коротковатыми ногами, в строгом деловом костюме, пройдя мимо него, входит в дом. Это и есть кузина Полин, с которой Мелани делит квартиру и чьего неодобрения так трусит? Встряхнувшись, он отъезжает от дома.

Назавтра она на занятиях отсутствует. Что весьма неудачно, поскольку это день обязательного в середине семестра экзамена. Заполняя после занятий журнал, он помечает ее как присутствовавшую и выставляет оценку — семьдесят баллов. Внизу страницы он помечает для себя карандашом: «Предварительная». Семьдесят — оценка середнячка, ни хорошая, ни дурная.

Отсутствует она и всю следующую неделю. Время от времени он звонит ей по телефону, никто не отвечает. Затем в воскресенье, в полночь, раздастся звонок в дверь. Это Мелани, с ног до головы одетая в черное, в черной вязаной шапочке. Лицо ее напряжено, он ждет резких слов, сцены.

Но сцены не следует. На самом-то деле это она испытывает смущение.

— Можно я сегодня переночую здесь? — спрашивает она, избегая его взгляда.

— Конечно, конечно. — Облегчение переполняет его сердце. Он тянется к ней, обнимает, прижимает к себе, застывшую, окаменелую. — Входи, я заварю тебе чаю.

— Нет, чаю не надо, ничего не надо, я очень устала, мне бы просто где-нибудь упасть.

Он стелет ей в бывшей комнате дочери, целует ее на ночь и уходит. Вернувшись через полчаса, он обнаруживает Мелани, так и не раздевшуюся, крепко спящей. Он снимает с нее туфли и укрывает ее.

В семь утра, когда начинают щебетать первые птицы, он стучится в ее дверь. Мелани уже проснулась, лежит, натянув одеяло до подбородка, вид у нее измученный.

— Как ты себя чувствуешь? — спрашивает он. Она пожимает плечами.

— Что-нибудь случилось? Хочешь поговорить? Она молча качает головой.

Он садится на постель, притягивает ее к себе. И, оказавшись в его руках, она разражается жалким плачем. Что не мешает ему ощутить укол желания.

— Ну, ну, — шепчет он, стараясь успокоить ее. — Расскажи мне, что с тобой. — Почти что: «Расскажи папочке, что случилось».

Мелани собирается с силами, пытается что-то сказать, но у нее напрочь заложен нос. Он приносит ей носовой платок.

— Можно я немного поживу здесь? — спрашивает она.

— Поживешь? — осторожно повторяет он. Она уже не плачет, только горестная дрожь все еще сотрясает ее. — Ты уверена, что это хорошая мысль?

Хорошая ли это мысль, она не отвечает. Только теснее прижимается к нему, уткнувшись в его живот теплым лицом. Одеяло соскальзывает; на Мелани ничего, кроме майки и трусиков.

Сознает ли сама она в этот миг, что творит?

Когда он там, в парке колледжа, сделал первый ход, он полагал, что его ожидает быстрый романчик — быстро начали, быстро закончили. И вот она в его доме, что чревато новыми осложнениями. Какую игру она ведет? Нет сомнений, ему следует быть осторожным. Впрочем, ему следовало быть осторожным с самого начала.

Он вытягивается рядом с ней на постели. Последнее, в чем он нуждается, это чтобы Мелани Исаакс переселилась в его квартиру. И все же сейчас сама мысль об этом опьяняет его. Она будет здесь каждую ночь; каждую ночь он сможет вот так же забираться в ее постель, забираться в Мелани. Все, конечно, выплывет наружу, оно всегда выплывает, поползут слухи, может быть, даже разразится скандал. Ну и что? Последний всплеск чувственного пламени, перед тем как ему угаснуть. Он от-

брасывает одеяло в сторону, протягивает руку, гладит ее груди, ягодицы.

— Конечно, ты можешь остаться, — бормочет он. — Конечно.

В его спальне, за две комнаты отсюда, звонит будильник. Она отворачивается, натягивает одеяло до плеч.

— Я сейчас уйду, — говорит он. — У меня сегодня занятия. Постарайся еще поспать. В полдень вернусь, тогда мы поговорим.

Он гладит ее по волосам, целует в лоб. Любовница? Дочь? Кем ей хочется стать в глубине души? Что она предлагает ему?

Возвратившись в полдень, он находит Мелани уже одетой — она сидит за кухонным столом, поедая тост с медом и запивая все чаем. Похоже, она чувствует себя совсем как дома.

— Ну вот, — говорит он, — ты выглядишь намного лучше.

— Пospала после твоего ухода.

— Так, может, расскажешь мне, что случилось?

Она отводит глаза.

— Не сейчас, — говорит она. — Мне пора идти, я опаздываю. Объясню в следующий раз.

— И когда он будет, следующий раз?

— Сегодня вечером, после репетиции. Тебя устроит?

— Да.

Она встает, относит чашку с тарелкой к раковине (но не моет их), поворачивается к нему.

— Ты уверен, что тебе это удобно? — спрашивает она.

— Вполне.

— Да, и еще: я знаю, что пропустила много занятий, но постановка отнимает у меня все время.

— Я понимаю. Ты хочешь сказать, что театр у тебя на первом месте. Было бы лучше, если бы ты объяснила мне это раньше. Завтра придешь на занятия?

— Да. Обещаю.

Она обещает, но ниоткуда не следует, что обещание будет выполнено. Он обижен и раздражен. Мелани плохо ведет себя, слишком многое сходит ей с рук; она учится использовать его и, возможно, будет использовать и в дальнейшем. Но если ей многое сходит с рук, то ему сходит еще больше; если она ведет себя плохо, то он — гораздо хуже. В той мере, в какой они заодно, если, конечно, они заодно, он — ведущий, она — ведомая. Вот и не забывай об этом.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Он овладевает ею еще раз, на кровати в комнате дочери. Ему хорошо с ней, так же хорошо, как в первый раз; он начинает понимать движения ее тела. Она проворна, жадна до нового опыта. Если он и не ощущает в ней полностью развитой сексуальной потребности, то это лишь потому, что она молода. Одно мгновение застревает в памяти — она сцепляет ноги на его ягодницах, чтобы вдвинуть его в себя еще дальше, и когда напрягаются ее прижатые к нему бедра, он ощущает прилив радости и желания. Как знать, быть может, несмотря ни на что, у них есть будущее.

— Ты часто занимаешься этим? — спрашивает она после.

— Чем?

— Спидишь со своими студентками? С Амандой ты спал?

Он не отвечает. Аманда — еще одна из его студенток, тоненькая блондиночка. Она ему нимало не интересна.

— Почему ты развелся? — спрашивает Мелани.

— Я разводился дважды. Дважды женился, дважды разводился.

— А что случилось с твоей первой женой?

— Это долгая история. Как-нибудь расскажу.

— У тебя есть их фотографии?

— Я не коллекционирую фотографий. И женщин тоже.

— Разве я не часть твоей коллекции?

— Нет, разумеется, нет.

Она встает, обходит, собирая одежду, комнату, ничуть не стесняясь, как если бы она была одна. Он привык к женщинам, которые одеваются и раздеваются с большей застенчивостью. Но женщины, к которым он привык, не так молоды, да и фигуры у них не столь совершенные.

В тот же день, под вечер, в кабинет его входит, стукнув в дверь, молодой человек, которого он прежде не видел. Гость усаживается без приглашения, оглядывает кабинет, с видом знатока кивает, когда взгляд его набредает на книжные полки.

Молодой человек высок и жилист; у него узкая эспаньолка и кольцо в ухе; он в черной кожаной куртке и черных кожаных штанах. Он выглядит старше большинства студентов, выглядит как человек, от которого должно ждать неприятностей.

— Так вы, значит, профессор, — говорит гость. — Профессор Дэвид. Мелани рассказывала мне про вас.

— Да? И что же именно?

— Что вы ее харите.

Долгое молчание. Ну вот, думает он, я и попал в яму, которую сам вырыл. Мог бы и догадаться: девушек вроде этой задаром не раздают.

— Кто вы? — спрашивает он.

Гость будто и не слышит вопроса.

— Вы думаете, вы такой ловкач, — продолжает он. — Настоящий дамский угодник. А вот инте-

ресно, будете вы казаться себе таким же ловкачом, когда ваша жена узнает, чем вы тут занимаетесь?

— Ну хватит. Что вам нужно?

— А вы мне не указывайте, хватит или не хватит. — Теперь молодой человек говорит быстрее, угрожающей скороговоркой. — И не думайте, что можете влезть в чужую жизнь и вылезти из нее, когда вам захочется.

Свет пляшет в черных глазах пришельца. Резко наклонившись, молодой человек машет рукой, вправо, влево. С письменного стола летят бумаги. Он встает.

— Довольно! Вам самое время уйти.

— «Вам самое время уйти», — передразнивая его, повторяет молодой человек. — Ладно. — Затем поднимается, встает, неторопливо идет к двери. — До свидания, профессор Обмылок! Но погодите, вы меня еще вспомните! — И уходит.

«Головорез, — думает он. — Она связалась с головорезом, а теперь и я с ним связан!» У него сводит желудок.

Он не ложится допоздна, ожидая Мелани, но та не приходит. Мало того, утром обнаруживается, что кто-то изуродовал оставленную им на улице машину. Шины проколоты, в замки дверец налит клей, ветровое стекло залеплено газетой, ободрана краска. Замки приходится менять; счет составляет шестьсот рандов.

— Догадываетесь, кто это сделал? — спрашивает слесарь.

— Понятия не имею, — резко отвечает он.

После этого *coup de main*¹ Мелани держится от него на расстоянии. Ничего удивительного: если

¹ Внезапного нападения (фр.).

он пристыжен, то и она тоже. Однако в понедельник она появляется на занятиях, и рядом с нею, откинувшись на спинку стула, засунув руки в карманы, сидит с выражением нахальной непринужденности молодой человек в черном, ухажер.

Обычно в аудитории стоит негромкий гул — студенты переговариваются. Сегодня тихо. Хотя он и не может поверить, будто всем известно, что происходит, студенты явно ждут его реакции на незваного гостя.

А собственно, какой? Того, что случилось с его машиной, по-видимому, мало. Ясно, что его ожидают новые сюрпризы. Что он может сделать? Сжать зубы и расплачиваться, что же еще?

— Продолжим чтение Байрона, — говорит он, утыкаясь носом в заметки. — Как мы видели на прошлой неделе, скандалы и дурная слава сказывались не только на жизни Байрона, но и на приеме, который его стихи получали у публики. Байрон-человек оказался сплавленным с собственными поэтическими созданиями — Гарольдом, Манфредом, даже Дон Жуаном.

Скандал. Жаль, что приходится говорить именно на эту тему, но импровизировать он сейчас не в состоянии.

Он бросает косой взгляд на Мелани. Обычно она старательно записывает. Сегодня же, похудевшая, измученная, она сидит, сгорбясь, над книгой. Сердце его невольно устремляется к ней. «Бедный птенец, — думает он, — которого я прижимал к груди!»

В прошлый раз он просил студентов прочесть «Лару». И в заметках его — сплошь «Лара». Обойти эту поэму стороной он не может. Он читает вслух:

Среди живых он в мире этом — странник,
Отвергнутый загробным — дух-изгнанник.
Он — жертва темных сил, ему в удел
Назначивших опасности; случайно
И не напрасно ль, — он спастись успел¹.

— Что можно вывести из этих строк? Кто этот «дух-изгнанник»? Почему он именует себя «странником среди живых»? Из какого мира пришел он?

Его давно уже перестала удивлять степень невежества студентов. Люди послехристианской, послеисторической эпохи, эпохи ликвидации грамотности, они могли бы с таким же успехом только вчера вылупиться из яиц. Поэтому он не ждет от них познаний о падших ангелах или о том, где мог бы прочесть об этих ангелах Байрон. Он ждет тура благодушных догадок, которые, если повезет, ему удастся направить в нужную сторону. Однако сегодня его встречает молчание, упорное молчание, почти ощутимо сгущающееся вокруг ~~сидящего~~ среди студентов чужака. Они не станут говорить, не станут подыгрывать ему, пока среди них находится посторонний, способный осудить их или посмеяться над ними.

— Люцифер, — говорит он, — ангел, низвергнутый с небес. О жизни ангелов мы знаем мало, но можно предположить, что кислород им не требуется. У себя дома Люцифер, темный ангел, не нуждался в дыхании. И вот он оказывается брошенным в странный ему «дышащий мир», в наш мир. «Странник»: существо, избирающее собственный путь, живущее в опасности и даже создающее для себя эту опасность. Почитаем дальше.

¹ Здесь и далее цитируется «Лара» Байрона (Пер. с англ. О. Чюминой).

Юноша так ни разу и не заглянул в текст. Вместо этого он с легкой улыбкой на устах, улыбкой, в которой, возможно, присутствует удивление, внимает его словам.

...высок,

Он жертвовать другим собою мог,
Не жалостью, не долгом увлеченный,
Руководясь лишь мыслью извращенной,
Что совершить доступное ему —
Немногим лишь дано иль никому.
И та же мысль, в минуту ослепленья,
Могла его толкать на преступленья.

— Итак, что за создание этот Люцифер?

К этому времени студенты уже наверняка ощутили наличие неких токов, текущих между ним и молодым человеком. Вопрос был адресован молодому человеку и только ему одному, и молодой человек отзывается, подобно вдруг пробужденному к жизни спящему:

— Он делает то, что ему нравится. Не заботясь о том, хорошо это или плохо. Просто делает.

— Вот именно. Хорошо оно или плохо, он просто делает это. Он действует, руководствуясь не принципами, но порывами, и источник этих порывов для него темен. Прочтите несколькими строчками дальше: «безумия виною лишь сердце было в нем, не голова». Безумие сердца. Что такое «безумие сердца»?

Он просит слишком многого. Молодой человек был бы рад еще поднапрячь интуицию, он это видит. Молодому человеку хочется показать, что и он разбирается кое в чем помимо мотоциклов и модной одежды. Возможно, и разбирается. Возможно, у него даже есть представление о том, что

такое «безумие сердца». Но здесь, в аудитории, перед незнакомыми людьми, слова ему не даются. Он качает головой.

— Ну, не важно. Заметьте, что нас не просят осудить это существо с безумным сердцем, существо с неким органически присущим ему изъязном. Напротив, нас призывают понять его и ему посочувствовать. Однако всякое сочувствие имеет пределы. Ибо, хоть он и живет среди нас, он — не один из нас. Он именно тот, кем себя именует: чудовище. И в конечном итоге Байрон внушает нам мысль, что любить его — в глубинном, человеческом смысле этого слова — невозможно. Он обречен на одиночество.

Склонив головы, студенты записывают его слова. Байрон, Люцифер, Каин — им все едино.

С поэмой покончено. Велев студентам прочесть несколько первых песен «Дон Жуана», он покидает аудиторию раньше обычного, напоследок сказав поверх голов:

— Мелани, можно вас на несколько слов?

Она стоит перед ним, измученная, осунувшаяся. И вновь сердце его устремляется к ней. Будь они одни, он бы обнял ее, попытался развеселить. «Голубка моя», — сказал бы он ей.

Вместо этого он говорит:

— Пройдем в мой кабинет?

Они поднимаются по лестнице к кабинету, ухажер тащится следом.

— Подождите здесь, — говорит он молодому человеку и закрывает дверь перед его носом.

Мелани, понурясь, сидит перед ним.

— Дорогая моя, — говорит он, — я знаю, у тебя сейчас трудное время, и не хочу делать его еще

более трудным. Но я должен поговорить с тобой как преподаватель. У меня имеются обязательства перед студентами, перед каждым из них. Чем твой друг занимается в университетском городке, это его дело. Однако я не могу позволить ему срывать занятия. Передай ему это от меня. Что касается тебя, ты должна уделять больше времени учебе. Тебе следует почаще бывать на занятиях. И сдать экзамен, который ты пропустила.

Она глядит на него в замешательстве, даже в ужасе. «Ты сам оторвал меня от всех, — словно хочет сказать она. — Ты заставил меня хранить твою тайну. Я уже не просто студентка. Как ты можешь говорить со мной подобным образом?»

Голос ее, когда она наконец открывает рот, до того тих, что он почти не слышит ее:

— Я не могу сдать экзамен, я не успела ничего прочитать.

То, что ему хочется сказать, произнести, соблюдать приличия, невозможно. Он может лишь подать ей знак и надеяться, что она поймет.

— Ты просто сдай экзамен, Мелани, как все остальные. Не важно, готова ты или не готова, главное — свалить его с плеч. Давай назначим день. Как насчет понедельника, во время обеденного перерыва? У тебя будут целые выходные для чтения.

Мелани поднимает голову, с вызовом глядит на него. Она либо не поняла, либо не желает воспользоваться предложенной лазейкой.

— В понедельник здесь, в моем кабинете, — повторяет он.

Она встает, закидывает сумку за плечо.

— Мелани, на меня возложена определенная ответственность. Сделай хотя бы вид, что сдаешь

экзамен. Не усложняй положение сверх необходимого.

Ответственность: она не снисходит до ответа на это слово.

Возвращаясь тем же вечером с концерта, он притормаживает на красный свет. Чуть впереди останавливается, содрогаясь, мотоцикл, серебристый «дукаси» с двумя седоками в черном. Оба в шлемах, тем не менее он их узнает. Мелани сидит на заднем сиденье, широко раздвинув колени, оттопырив зад. Быстрая дрожь похоти сотрясает его. «Я был там!» — думает он. Затем мотоцикл рывком уходит вперед, унося ее.

ГЛАВА ПЯТАЯ

На экзамен она в понедельник не является. Зато в своем почтовом ящике он обнаруживает официальный бланк с отказом от слушания курса: «Студентка 7710101САМ мисс М. Исаакс отказывается от посещения курса КОМ 312. Отказ вступает в силу незамедлительно».

От силы через час в его кабинете звонит телефон.

— Профессор Лури? У вас найдется минута для разговора? Моя фамилия Исаакс, я звоню из Джорджа. Моя дочь слушала ваши лекции, вы знаете, Мелани.

— Да.

— Профессор, я вот подумал, возможно, вы могли бы нам помочь. Мелани была такой хорошей студенткой, а теперь она говорит, что хочет все бросить. Для нас это большое потрясение.

— Не уверен, что понял вас.

— Она хочет оставить учебу и найти себе работу. Разве это не расточительство — провести три года в университете, хорошо учиться и вдруг перед самым концом бросить все? Вот я и подумал, не могу ли я попросить вас, профессор, переговорить с ней, привести ее в чувство?

— А сами вы с Мелани не говорили? Вам известно, что стоит за ее решением?

— Мы, ее мать и я, все выходные проговорили с ней по телефону, но никакого толку от нее не добились. Она очень увлечена пьесой, в которой играет, так что, может быть, она, ну, знаете, перетрудилась, перенапряглась. Она все принимает очень близко к сердцу, профессор, такая уж она по натуре, очень увлекающаяся. Но если вы поговорите с ней, может быть, вам удастся убедить ее еще раз все обдумать. Она вас так уважает. Не хочется, чтобы все эти годы оказались потраченными впустую.

Итак, Мелани-Melani с ее восточными побрякушками и глухотой к Вордсворту все принимает близко к сердцу? А он и не догадывался. Каких еще ее качеств он не угадал?

— Не знаю, мистер Исаакс, насколько я годюсь для разговора с Мелани.

— Годитесь, профессор, конечно, годитесь! Мелани вас так уважает!

«Уважает? Ваши сведения устарели, мистер Исаакс. Ваша дочь вот уж несколько недель как утратила всякое уважение ко мне. И имеет на то основания». Вот что ему следует сказать. Взамен он говорит:

— Хорошо, я посмотрю, что можно сделать.

Ничего у тебя не получится, говорит он себе, положив трубку. Папаша Исаакс из далекого Джорджа не забудет этого разговора со всеми твоими увертками и враньем. «Я посмотрю, что можно сделать». Почему было не признаться во всем? «Я тот самый червяк, который прогрыз ваше яблочко, — следовало бы сказать ему. — Как я могу помочь вам, когда я-то и есть причина вашей беды?»

Он звонит ей домой и попадает на кухню Полин.

— Мелани недоступна, — ледяным голосом общается Полин.

— Что значит недоступна?

— Это значит, что она не хочет с вами разговаривать.

— Передайте ей, — говорит он, — что я звонил по поводу ее решения бросить учебу. Объясните, что оно опрометчиво.

В среду занятия складываются из рук вон плохо, в пятницу и того хуже. Студентов мало, только посредственные, пассивные, со всем соглашающиеся. Объяснение этому может быть лишь одно. Все вышло наружу. Он находится в деканате, когда кто-то произносит за его спиной:

— Где я могу найти профессора Лури?

— Это я, — не успев подумать, отвечает он.

Мужчина, задавший вопрос, невысок, тощ, сутуловат. На нем великоватый ему синий костюм, источающий запах сигаретного дыма.

— Профессор Лури? Мы с вами разговаривали по телефону. Исаакс.

— Да. Здравствуйте. Может быть, пройдем в мой кабинет?

— В этом нет необходимости.

Мужчина некоторое время молчит, собираясь с духом, потом набирает побольше воздуха в грудь.

— Профессор, — говорит он, сильно нажимая на это слово, — возможно, вы человек очень образованный и так далее, но то, что вы сделали, дурно. — Он замолкает, качает головой. — Дурно.

Две секретарши даже не пытаются скрыть любопытство. В деканате присутствуют и студенты; когда посетитель повышает голос, все они замолкают.

— Мы отдали нашу дочь в руки подобных вам, полагая, что вам можно доверять. Если не доверять университету, то тогда кому же? Нам и в голову не приходило, что мы посылаем дочь в гадюшник. Вы, может быть, и занимаете высокое положение, и степени у вас есть и такие и сякие, но мне на вашем месте было бы очень стыдно за себя, и да поможет мне Бог! Если я что-то не так понял, вам самое время сказать об этом, да только сомневаюсь, что я не прав, вон у вас и на лице все написано.

Действительно, самое время. Имеющий что сказать да скажет. Но он стоит, лишившись дара речи, кровь гулко ухает в ушах. Гадюка, что тут отрицать?

— Простите, — бормочет он, — у меня дела. — И, повернувшись, точно деревянный, уходит.

Исаакс следует за ним по заполненному людьми коридору.

— Профессор! Профессор Лури! — восклицает он. — Вам не удастся так просто уйти! Вы еще не слышали главного, я вам сейчас скажу!

Так все и начинается. На следующее утро — редкостная распорядительность — он получает из офиса вице-ректора (работа со студентами) письмо с извещением, что на него подана жалоба, подпадающая под статью 3.1 университетского «Кодекса поведения». Его просят при первой же возможности связаться с офисом.

Извещение, пришедшее в конверте с пометкой «Конфиденциально», сопровождается копией упомянутого кодекса. Статья 3 трактует о домогатель-

ствах или преследованиях по расовым, этническим и религиозным мотивам, на основании половых различий, сексуальных предпочтений или физической немощи. Статья 3.1 посвящена преследованию студентов преподавателями и соответствующим домогательствам.

Еще в одном документе описывается структура и правомочность комиссии по расследованию. Пока он читает, сердце неприятно колотится. К середине документа внимание его начинает рассеиваться. Он запирает дверь кабинета и сидит с листком бумаги в руке, пытаясь представить себе, что же произошло.

Он уверен, сама Мелани такого шага не сделала бы. Она слишком простодушна, слишком не осведомлена о своих возможностях. За всем этим наверняка стоит тот человечек в плохо сидящем костюме, он и кузина Полин, дурнушка, дуэнья. Должно быть, они уговорили ее, измотали и в конце концов свели в ректорат.

— Мы хотим подать жалобу, — надо думать, сказали они.

— Подать жалобу? Какого рода жалобу?

— Жалобу личного характера.

— Насчет домогательств, — вероятно, вставила кузина Полин; Мелани так и стояла сконфуженная, — жалобу на профессора.

— Пройдите в комнату номер такой-то.

В комнате номер такой-то он, Исаакс, осмелел:

— Мы хотим подать жалобу на одного из ваших профессоров.

— Вы хорошо все обдумали? И действительно этого хотите? — следуя заведенному порядку, спросили у него.

— Да, мы действительно этого хотим, — ответил он, глядя на дочь, предоставляя ей возможность возразить.

Нужно заполнить бланк. Перед ними кладут бланк и перо. Рука берет перо, рука, которую он целовал, рука, знающая его очень близко. Сначала имя жалобщика: Мелани Исаакс, аккуратными печатными буквами. Рука колеблется над столбиком квадратов, выбирая, какой пометить. «Вот тут», — указывает желтый от никотина палец отца. Колебания затухают, рука опускается, ставит X, этот крест праведников: «J'accuse»¹. Теперь графа, отведенная для имени обвиняемого. Дэвид Лури, пишет рука, профессор. И наконец, в самом низу листа, дата и подпись: арабеска «М», «е» с четкой петелькой, завитушка последней «с».

Дело сделано. Два имени на листке бумаги, его и ее, бок о бок. Двое в постели, уже не любовники, но враги.

Он звонит в офис вице-ректора, ему велят прийти туда к пяти, по окончании рабочего дня.

В пять он ждет в коридоре. Появляется Арам Хаким, молодой, элегантный, приглашает его войти. В комнате еще двое: Элайн Винтер, заведующая его кафедрой, и Фародиа Рассул с факультета социологии, председатель университетского комитета по дискриминации.

— Время уже позднее, Дэвид, причина, по которой мы собрались, известна, — говорит Хаким, — поэтому давайте сразу перейдем к сути дела. Какой подход к нему будет наилучшим?

¹ «Я обвиняю» (фр.).

— Для начала расскажите мне, в чем состоит жалоба.

— Очень хорошо. Речь идет о жалобе, поданной мисс Мелани Исаакс. А также, — он оглядывается на Элайн Винтер, — о некоторых имевших ранее место нарушениях, по-видимому, связанных с мисс Исаакс. Элайн?

Инициатива переходит к Элайн Винтер. Ей он никогда не нравился, она считает его пережитком прошлого, от которого чем быстрее избавишься, тем и лучше.

— У нас есть вопросы относительно посещения занятий мисс Исаакс, Дэвид. По ее словам — я разговаривала с ней по телефону, — за последний месяц она присутствовала на занятиях всего два раза. Если это так, вам следовало доложить об этом. Она утверждает также, что пропустила экзамен. Между тем, — Элайн заглядывает в лежащую перед ней папку, — согласно представленным вами ведомостям, посещаемость у нее безупречная, а за экзамен она получила семьдесят баллов. — Элайн недоуменно глядит на него. — Стало быть, если только у нас не имеется двух Мелани Исаакс...

— Имеется только одна, — говорит он. — Мне нечего сказать в свое оправдание.

Плавнo вступает Хаким:

— Друзья, сейчас не время и не место для решения серьезных вопросов. Единственное, что нам следует сделать, — он окидывает взглядом двух других, — это уточнить процедуру. Вряд ли я должен говорить вам, Дэвид, что все будет происходить на строго конфиденциальной основе, могу вас в этом заверить. Ваше доброе имя не пострадает.

как и имя мисс Исаакс. Будет образована комиссия. Ее задача — установить, имеются ли основания для дисциплинарных мер. Вы или ваш поверенный получают возможность оспорить состав комиссии. Слушания будут проходить при закрытых дверях. Тем временем, пока комиссия не выработает рекомендаций для ректора, а ректор не примет соответствующих мер, все будет идти по-прежнему. Мисс Исаакс официально отказалась от посещения проводимых вами занятий, от вас же ожидается, что вы воздержитесь от каких-либо контактов с ней. Я ничего не пропустил? Фародиа, Элайн?

Доктор Рассул, поджав губы, качает головой.

— Дела о домогательстве всегда сложны, Дэвид, сложны и неприятны, но мы считаем принятые нами процедуры достойными и справедливыми, так что мы просто выполним их шаг за шагом, как положено. Я же посоветовала бы вам ознакомиться с ними и, может быть, проконсультироваться с юристом.

Он хочет ответить, но Хаким предостерегающе поднимает руку:

— Не принимайте пока никаких решений.

Ну, хватит!

— Не указывайте мне, что делать, я не ребенок.

И он в бешенстве покидает комнату. Однако здание заперто, привратник ушел домой. Заперт и задний выход. Приходится просить Хакима, чтобы тот его выпустил.

Льет дождь.

— Давайте-ка ко мне под зонт, — говорит Хаким и потом, уже у машины: — Между нами, Дэвид, хочу

сказать вам, что очень вам сочувствую. Правда. Эти вещи бывают чертовски неприятными.

Он знаком с Хакимом многие годы, они вместе играли в теннис — когда он еще играл в теннис, — но сейчас он не в том настроении, чтобы вести дружескую мужскую беседу. Сердито пожав плечами, он забирается в машину.

Разумеется, никакой конфиденциальностью и не пахнет, разумеется, уже пошли толки. Иначе почему, когда он входит в профессорскую, все разговоры обрываются и повисает тишина, почему молодая коллега, с которой он до сих пор пребывал в самых сердечных отношениях, ставит чайную чашку на стол и, глядя сквозь него, покидает профессорскую? Почему на первое занятие по Бодлеру приходят всего двое студентов?

Мельница слухов, думает он, вертится день и ночь, перемалывая репутации. Сообщество праведников, совещающихся по углам, перезванивающих, закрыв предварительно двери. Ликующий шепот. Schadenfreude¹. Сначала приговор, а там уж и суд.

Он берет себе за правило держать, проходя по коридорам факультета, голову повыше.

Он встречается с адвокатом, который занимался его разводом.

— Давайте первым делом выясним, — говорит адвокат, — насколько правдивы обвинения.

— Достаточно правдивы. У меня был роман с девушкой.

— Серьезный?

— А что, его серьезность способна улучшить или ухудшить мое положение? По наступлении

¹ Злорадство (нем.).

определенного возраста все романы серьезны. Как и сердечные приступы.

— Ну что же, исходя из стратегических соображений, я посоветовал бы вам подрядить в качестве вашего представителя женщину, — он называет два имени, — и постараться уладить все частным порядком. Вы принимаете на себя определенные обязательства, возможно, на время уходите в отпуск, в обмен университет уговаривает девушку или ее родню снять обвинения. Это лучшее, на что вы можете рассчитывать. Вам показывают желтую карточку, вы не спорите. Сведите ущерб до минимума и подождите, пока утихнет скандал.

— Какого рода обязательства?

— Групповая психотерапия. Безвозмездная работа на благо университетской общины. Лечение у аналитика. Это уж как вы с ними сторгуетесь.

— Лечение? Я что, нуждаюсь в лечении?

— Поймите меня правильно. Я лишь говорю, что одним из предложенных вам вариантов может оказаться лечение у аналитика.

— Дабы привести меня в порядок? Исцелить? Избавить от непотребных желаний?

Адвокат пожимает плечами:

— Все, что угодно.

В университетском городке проводится Неделя распространения информации об изнасилованиях. Союз «Женщины против насильников», ЖПН, объявляет двадцатичетырехчасовое бдение в знак солидарности с «недавними жертвами». Ему под дверь подсовывают брошюрку «ЖЕНЩИНЫ РАССКАЗЫВАЮТ». Внизу обложки карандашом накоплено: *«Твои дни сочтены, Казанова»*.

Он обедает с Розалиндой, своей последней женой. Они расстались восемь лет назад и медленно, опасливо снова сумели стать друзьями, в своем роде. Ветераны войны. Его радует то, что она все еще живет поблизости, возможно, и она испытывает по отношению к нему то же чувство. По крайней мере, есть человек, на которого можно будет положиться, когда случится худшее: падение в ванной, кровь в стуле.

Они разговаривают о единственном плоде его первого брака, о Люси, живущей теперь в Восточном Кейпе.

— Возможно, я скоро увижусь с ней, — говорит он. — Я собираюсь попутешествовать.

— В разгар семестра?

— Семестр почти закончился. Осталось две недели — потом все.

— Это как-то связано с твоими проблемами? Я слышала, у тебя проблемы.

— Где ты это слышала?

— Да ходят разговоры, Дэвид. Всем известно о твоём последнем романе, причем в самых смачных подробностях. И нет человека, которому хотелось бы заткнуть болтунам рот, — кроме тебя, разумеется. Позволено мне будет сказать, какого дурака ты сваял?

— Нет, позволено не будет.

— Я так и так скажу. Все это глупо и некрасиво в придачу. Не знаю, как ты управляешься по части секса, да, собственно, и знать не хочу, но этот способ определенно не годится. Тебе сколько — пятьдесят два? И ты думаешь, молодая девица может испытывать хоть какое-то удовольствие, ложась в постель с мужчиной твоего возраста? Дума-

ешь, ей приятно любоваться тобой в разгар твоей...? Ты хоть раз об этом подумал?

Он молчит.

— Не жди от меня сочувствия, Дэвид, и ни от кого другого тоже не жди. Ни сочувствия, ни снисхождения — не в наши дни и не в твоём возрасте. Все набросятся на тебя, и правильно сделают. Нет, ну скажи, как ты мог?

Знакомый тон, тон последних лет их супружеской жизни, тон страстных взаимных попреков. Даже Розалинда, надо полагать, сознает это. И возможно, она права. Возможно, у молодых есть право на то, чтобы их защищали от необходимости созерцать стариков, содрогающихся в корчах страсти. В конце концов, для того и существуют шлюхи: чтобы сносить экстатические конвульсии малоприятных самцов.

— Ну хорошо, — продолжает Розалинда, — так ты говоришь, что собираешься повидаться с Люси?

— Да, я думаю уехать, когда закончится разбирательство, и провести с ней какое-то время.

— Разбирательство?

— На следующей неделе начинает заседать комиссия по расследованию.

— Быстро они. Ладно, повидаетесь ты с Люси, а что потом?

— Не знаю. Не уверен, что мне разрешат вернуться в университет. Собственно, я не уверен и в том, что захочу вернуться.

Розалинда качает головой:

— Бесславный конец карьеры, тебе не кажется? Я не спрашиваю, стоила ли того девушка. Но ты-то что будешь делать? И как насчет пенсии?

— Придется как-то договориться с ними. Не могут же они оставить меня без гроша.

— Не могут? Не будь так уверен в этом. Сколько ей лет — твоей прелестнице?

— Двадцать. Совершеннолетняя. Достаточно взрослая, чтобы знать, чего она хочет.

— Уверяют, будто она наглоталась снотворного. Это правда?

— Насчет снотворного сведений не имею. По моему, вранье. Кто тебе это сказал?

Розалинда пропускает вопрос мимо ушей.

— Она была в тебя влюблена? Ты ей изменял?

— Нет. Никогда.

— Почему же она подала жалобу?

— Откуда мне знать? Она мне душу не раскрывала. Там, за сценой, происходили какие-то битвы, в подробности которых меня не посвятили. Имеется ревнивый молодой человек. Разгневанные родители. Должно быть, она в конце концов сдалась. Для меня все было полной неожиданностью.

— Думать надо было, Дэвид. Ты слишком стар, чтобы путаться с чьими-то детьми. Тебе следовало ожидать худшего. Как бы там ни было, все это очень унижительно. Честное слово.

— Ты не спросила, любил ли я ее. Может, спросишь заодно и об этом?

— Ладно. Любил ли ты молодую женщину, извалявшую твое имя в грязи?

— Она не несет за это ответственности. Не стоит ее винить.

— Не стоит ее винить! Ты, собственно, на чьей стороне? Конечно, я ее виню! И ее, и тебя. Вся эта история постыдна от начала и до конца! Постыдна и вульгарна. И я не стану извиняться за эти слова.

В прежние времена он тут бы и взвился. Но не сегодня. Они с Розалиндой отрастили, чтобы защищаться друг от дружки, по толстой шкуре.

Назавтра Розалинда звонит ему по телефону.

— Дэвид, ты заглядывал в сегодняшний «Аргус»?

— Нет.

— Ну так крепись. Там статья о тебе.

— И что в ней сказано?

— Это ты уж сам прочитай.

Статью он находит на третьей странице. «Профессор обвиняется в сексе» — так она озаглавлена. Он пробегает первые строки: «...должен предстать перед дисциплинарным комитетом по обвинению в сексуальном домогательстве. ТУК старательно замалчивает самое последнее в череде скандальных событий, включающей мошенничества с выплатой стипендий и наличие, как утверждают, целой сети, которая занимается предоставлением услуг сексуального характера и базируется в студенческих общежитиях. Получить какие-либо комментарии у Лури (53 г.), автора книги об английском певце природы Уильяме Вордсворте, нам не удалось».

Уильям Вордсворт (1770–1850), певец природы. Дэвид Лури (1945–?), обеспеченный ученик и комментатор названного Уильяма Вордсворта. Благословен, младенец, будь. Нет, не изгнанник он. Благословенно будь, дитя.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Слушания проходят в комнате, расположенной справа от кабинета Хакима. Его вводят туда и усаживают в конце стола, во главе коего восседает сам Манас Матабане, профессор истории религии, возглавляющий расследование. Слева от Манаса — Хаким, его секретарь, и молодая женщина, по виду студентка; справа — три члена комиссии Матабане.

Он не нервничает. Напротив, чувствует полную уверенность в себе. Сердце бьется ровно, он хорошо выспался. Тщеславие, думает он, опасное тщеславие игрока; тщеславие и самодовольство. Состояние духа определенно неуместное. Ну и черт с ним.

Он кивком приветствует членов комиссии. Двое ему знакомы: Фародиа Рассул и Десмонд Суортс, декан технологического факультета. Третья, согласно лежащим перед ним документам, преподает в школе бизнеса.

— Собравшаяся здесь комиссия, профессор Лури, — открывает заседание Матабане, — не обладает никакой властью. Она может только выработать рекомендации. Более того, вы вправе оспорить ее состав. Поэтому разрешите мне спросить: есть ли среди членов комиссии кто-либо, предвзято, по вашему мнению, к вам относящийся?

— Оспаривать состав комиссии в смысле юридического я бы не стал, — отвечает он. — У меня имеются некоторые сомнения философского толка, но говорить о них здесь, я полагаю, неуместно.

Общее шевеление, шарканье.

— Я думаю, нам следует ограничиться юридическими рамками, — говорит Матабане. — Итак, к составу комиссии у вас претензий нет. Имеются ли у вас возражения против присутствия студентки? Она здесь в качестве наблюдательницы от Коалиции против дискриминации.

— Я не боюсь комиссии. И не боюсь наблюдателей.

— Очень хорошо, перейдем к делу. Первым из жалобщиков является мисс Мелани Исаакс, студентка театрального факультета. У каждого из нас есть копия ее заявления. Следует ли мне комментировать это заявление? Профессор Лури?

— Насколько я понимаю, господин председатель, мисс Исаакс лично здесь не появится?

— Комиссия заслушала мисс Исаакс вчера. Позвольте мне еще раз напомнить вам, что это не суд, а расследование. Регламент, которого мы придерживаемся, не есть регламент судопроизводства. Вы усматриваете в этом какую-либо проблему?

— Нет.

— Второе обвинение, связанное с первым, — продолжает Матабане, — поступило из отдела учета успеваемости студентов, оно касается точности посвященных мисс Исаакс регистрационных записей. Обвинение сводится к тому, что мисс Исаакс не посещала всех занятий, а также не сдавала письменных работ и не прошла экзамена, между тем как все оценки вы ей выставили.

— Это все? Других обвинений нет?

— Это все.

Он делает глубокий вдох.

— Я уверен, что у членов комиссии найдутся занятия поинтереснее, чем копание в истории, о которой не может быть двух мнений. Я признаю себя виновным по обоим обвинениям. Выносите приговор, и давайте жить дальше.

Хаким склоняется к Матабане. Они вполголо-са переговариваются.

— Профессор Лури, — говорит Хаким, — я вынужден повторить, что это комиссия по расследованию. Ее роль состоит в том, чтобы выслушать обе стороны и выработать рекомендации. И я снова спрашиваю, не лучше ли, если вас будет представлять кто-нибудь хорошо знакомый с нашими процедурами?

— Меня не надо представлять. Я вполне способен представлять себя сам. Правильно ли я понял, что слушание будет продолжено, несмотря на сделанное мной заявление?

— Мы хотим дать вам возможность изложить вашу точку зрения.

— Я ее уже изложил. Я виновен.

— Виновны в чем?

— В том, в чем меня обвиняют.

— Мы с вами ходим по кругу, профессор Лури.

— Во всем, о чем заявляет мисс Исаакс, и в подделке ведомостей.

Тут встречается Фародиа Рассул:

— Вы говорите, профессор Лури, что не оспариваете заявления мисс Исаакс, но вы хотя бы прочли его?

— Я не имею ни малейшего желания читать заявление мисс Исаакс. Я с ним согласен. Я не вижу причин, по которым мисс Исаакс стала бы лгать.

— Но не благоразумнее было бы прочесть заявление, прежде чем с ним соглашаться?

— Нет. В жизни есть вещи поважнее благоразумия.

Фародиа Рассул откидывается на спинку стула.

— Весьма по-донкихотски, профессор Лури, однако можете ли вы позволить себе подобное донкихотство? На мой взгляд, нам, возможно, следует защитить вас от вас же самого, — и она посылает Хакиму замороженную улыбку.

— Вы говорите, что не обращались за советом к адвокату. Но хоть с кем-нибудь вы консультировались — со священником, к примеру, или психологом? Готовы ли вы к тому, чтобы подвергнуться психотерапии?

Вопрос задан молодой женщиной из школы бизнеса. Он внутренне ошетинивается.

— Нет, я не думал о таком обследовании и не намерен его проходить. Я взрослый человек. И в психотерапии не нуждаюсь. Она мне не поможет. — Он обращается к Матабане: — Я признал себя виновным. Существует ли причина, по которой мы должны продолжать эти дебаты?

Матабане шепотом совещается с Хакимом.

— Предлагается объявить перерыв, — говорит Матабане, — чтобы комиссия смогла обсудить сказанное профессором Лури.

Все кивают.

— Профессор Лури, могу я попросить вас и мисс ван Вик подождать несколько минут за дверью, пока мы будем обмениваться мнениями?

Вместе со студенткой-наблюдательницей он переходит в кабинет Хакима. Ни он, ни она не произносят ни слова; чувствуется, что девушке не по себе. «Твои дни сочтены, Казанова». Ну и что она думает о Казанове теперь, встретясь с ним лицом к лицу?

Их зовут обратно. Атмосфера в комнате так себе, кисловатая, на его взгляд, атмосфера.

— Итак, — произносит Матабане, — резюмирую: профессор Лури, вы сказали, что соглашаетесь с истинностью выдвинутых против вас обвинений?

— Я согласен со всеми утверждениями мисс Исаакс.

— Доктор Рассул, вы хотите что-то сказать?

— Да. Я прошу занести в протокол мой протест против поведения профессора Лури, которое представляется мне по сути своей уклончивым. Профессор Лури говорит, что принимает обвинения. Когда же мы пытаемся выяснить у него, что он, собственно говоря, принимает, мы сталкиваемся с тонким издевательством с его стороны. Меня это наводит на мысль, что он принимает обвинения лишь на словах. В случае, который, подобно этому, отличается обилием нюансов, общество в целом имеет право...

Он не может позволить ей продолжать.

— Нет в этом случае никаких нюансов, — огрызается он.

— Общество в целом имеет право знать, — продолжает она, с приобретенной долгим опытом легкостью перекидывая его, — что конкретно признаёт профессор Лури и за что ему выносятся порицание.

Матабане:

— Если оно ему выносится.

— Если оно ему выносится. Мы не выполним своего долга, если не достигнем полного понимания ситуации, если не сможем с полной ясностью указать в наших рекомендациях, за что профессору Лури следует вынести порицание.

— Что касается понимания, доктор Рассул, то тут, я в этом уверен, мы достигли полной ясности. Вопрос в том, достиг ли ее профессор Лури.

— Совершенно верно. Вы очень точно выразили именно то, что я хотела сказать.

Самое умное в его положении — помалкивать, но нет, не получается.

— То, что происходит в моей голове, это мое дело, Фародиа, а отнюдь не ваше, — говорит он. — Вам же, если честно, нужна не та или иная реакция с моей стороны, а исповедь. Так вот, исповедоваться я не стану. Я сделал заявление, это мое право. Виновен по всем статьям. Таково мое заявление. Дальше этого я заходить не собираюсь.

— Господин председатель, я чувствую себя обязанной внести протест. Вопрос вышел за рамки обычных формальностей. Профессор Лури признает свою вину, но я спрашиваю себя, действительно ли он ее признает или просто делает вид в надежде, что его дело похоронят под грудой бумаг и забудут? Если он просто делает вид, я требую подвергнуть его самому суровому наказанию.

— Позвольте мне снова напомнить вам, доктор Рассул, — говорит Матабане, — что подвергать кого-либо наказанию — не наша прерогатива.

— В таком случае мы должны рекомендовать подвергнуть профессора Лури самому суровому

наказанию. А именно — немедленному увольнению с лишением пенсии и любых привилегий.

— Дэвид? — Это голос Десмонда Суортса, до сей поры молчавшего. — Дэвид, уверены ли вы, что избрали наилучшую в вашей ситуации линию поведения? — Десмонд поворачивается к председателю: — Господин председатель, как я уже говорил в отсутствие профессора Лури, я считаю, что мы, члены университетского сообщества, не должны относиться к нашему коллеге как холодные формалисты. Дэвид, вы действительно не хотите попросить, чтобы мы отложили слушание, дав вам время подумать и, возможно, проконсультироваться с кем-либо?

— Зачем? О чем я должен думать?

— О серьезности вашего положения, которую вы, по-моему, не вполне осознаете. Если говорить откровенно, вы того и гляди лишитесь работы. А это в наше время не шутка.

— И что вы мне советуете? Убрать из моего тона то, что доктор Рассул именует тонким издевательством? Залиться слезами искреннего раскаяния? Этого будет довольно, чтобы уцелеть?

— Возможно, вам трудно в это поверить, Дэвид, но сидящие за этим столом вам не враги. Нам тоже случается переживать минуты слабости, каждому из нас, мы всего только люди. Ваш случай не уникален. Мы были бы рады дать вам возможность продолжить вашу карьеру.

Мягко вступает Хаким:

— Мы были бы рады, Дэвид, помочь вам найти выход из этого кошмара.

Это его друзья. Они хотят спасти его от его же собственной слабости, избавить от кошмара. Они

не хотят увидеть его просящим подавание на улицах. Они хотят, чтобы он вернулся к преподаванию.

— Что-то я не слышу в этом доброжелательном хоре, — говорит он, — ни единого женского голоса.

Повисает молчание.

— Хорошо, — говорит он. — Исповедоваться так исповедоваться. История началась однажды вечером, точную дату я позабыл, но вечер был не очень давний. Я гулял по парку старого колледжа, и случилось так, что молодая женщина, о которой идет речь, мисс Исаакс, тоже там гуляла. Наши пути пересеклись. Мы обменялись несколькими словами, и в этот миг произошло нечто, чего я, не будучи поэтом, не стану пробовать описать. Довольно сказать, что на сцене явился Эрос. И с того мгновения я стал уж не тот.

— Что значит не тот? — осторожно спрашивает женщина из школы бизнеса.

— Я перестал быть собой. Болтающимся без дела пятидесятилетним разведенным мужем. Я обратился в слугу Эроса.

— Это и есть оправдание, которое вы нам предлагаете? Неуправляемый порыв?

— Это не оправдание. Вам требовалась исповедь, вы ее получили. Что до порыва, так он вовсе не был неуправляемым. В прошлом я множество раз подавлял такие порывы, и теперь мне стыдно вспоминать об этом.

— Не кажется ли вам, — произносит Суортс, — что преподавательская жизнь по самой своей природе требует определенных жертв? Что ради общего блага мы обязаны отказывать себе в определенных удовольствиях?

— Вы имеете в виду запрет на интимные отношения между представителями разных поколений?

— Нет, вовсе не обязательно. Но как преподаватели мы облечены своего рода властью. Может быть, следует говорить о запрете смешивать иерархические отношения с сексуальными. Каковое смешение, на мой взгляд, и произошло в данном случае. Или о крайней осторожности.

Встревает Фародиа Рассул:

— Господин председатель, мы опять пошли по кругу. Да, он говорит, что признает свою вину, но когда мы пытаемся получить от него конкретные ответы, вдруг выясняется, что имело место не совращение юной девушки, а просто порыв, которому он не смог противиться, и при этом он даже не упоминает о страданиях, которые причинил, не упоминает о долгой истории эксплуатации, частью которой является содеянное им. Вот почему я считаю, что препираться с профессором Лури бессмысленно. Нам следует принять сделанное им заявление по его нарицательной стоимости и выработать соответствующие рекомендации.

«Совращение». Он ждал этого слова. Произнесенного голосом, дрожащим от праведного гнева. Интересно, что, собственно, питает ее гнев, что она видит, когда глядит на него? Акулу, плавающую среди беспомощных рыбок? Или ее томит иное видение: здоровенный, широкий в кости самец, навалившийся на девушку, совсем еще ребенка, и огромной лапищей зажавший ей рот, чтоб не пиццала? Тут он вспоминает: ведь комиссия заседала вчера в этой же комнате и видела Мелани, которая едва достает ему до плеча. Силы неравны, что тут отрицать?

— Я готова согласиться с доктором Рассул, — произносит преподавательница из школы бизнеса. — Если профессору Лури нечего больше добавить, я думаю, нам пора приступить к выработке решения.

— Прежде чем мы этим займемся, господин председатель, — говорит Суортс, — я хотел бы в последний раз обратиться с просьбой к профессору Лури. Существует ли того или иного рода официальное заявление, которое он согласился бы подписать?

— Для чего? Чем уж так важно, чтобы я подписал заявление?

— Это помогло бы остудить разгоревшиеся страсти. В идеале мы все предпочли бы разобраться в вашем деле, не привлекая к нему внимания прессы. Но это оказалось невозможным. Дело возбудило очень большой интерес и в результате приобрело аспекты, контролировать которые мы не в состоянии. На университет обращено множество глаз, всех интересует, как мы поступим. Пока я слушал вас, Дэвид, у меня создалось впечатление, что, по вашему мнению, с вами обходятся несправедливо. Вы глубоко заблуждаетесь. Мы, члены комиссии, считаем себя людьми, пытающимися найти компромисс, который позволил бы вам сохранить работу. Поэтому я и спрашиваю: существует ли приемлемая для вас форма публичного заявления, которая позволила бы нам порекомендовать нечто более мягкое, нежели мера самая суровая, то есть увольнение с официальным порицанием.

— Вы подразумеваете — готов ли я униженно просить о снисхождении?

Суортс вздыхает:

— Дэвид, если вы так и будете издеваться над нашими усилиями, это ни к чему хорошему не приведет. Согласитесь, по крайней мере, на то, чтобы отложить слушание, и еще раз обдумайте свое положение.

— Какова, по-вашему, должна быть суть моего заявления?

— Признание вашей неправоты.

— Я уже признал ее. Без вашей подсказки. Я виновен по всем предъявленным мне обвинениям.

— Дэвид, ну что вы с нами в игры играете? Между признанием вины по обвинению и признанием собственной неправоты есть разница, и вы это прекрасно знаете.

— И что же, признание моей неправоты вас удовлетворит?

— Ну нет, — отвечает Фародиа Рассул. — Это означало бы поставить все дело с ног на голову. Сначала профессор Лури должен сделать заявление. А уж потом мы бы решили, довольно ли его, чтобы смягчить наказание. Торговаться же относительно содержания его заявления мы не станем. Заявление должно исходить от него, и формулировка должна принадлежать ему. Тогда мы сможем понять, насколько оно искренне.

— И вы полагаете, что по словам, к которым я прибегну, сможете понять, насколько я искренен?

— Мы поймем, каково ваше отношение к происшедшему. Поймем, действительно ли вы рассказываетесь.

— Превосходно. Я воспользовался положением, которое занимал по отношению к мисс Исаакс. Я поступил дурно, о чем и сожалею. Этого вам достаточно?

— Вопрос не в том, достаточно ли этого мне, профессор Лури, вопрос в том, достаточно ли этого вам. Отражает ли сказанное ваши искренние чувства?

Он качает головой:

— Я произнес слова, которые вы хотели услышать, теперь вам требуется большее: вам требуется, чтобы я доказал их искренность. Это нелепо. Это вне рамок закона. С меня довольно. У вас есть регламент, вот и давайте его придерживаться. Я признал свою вину. И дальше этого идти не намерен.

— Хорошо, — произносит, не поднимаясь из кресла, Матабане. — Если к профессору Лури нет больше вопросов, я хотел бы поблагодарить его за то, что он встретился с нами, и пожелать ему всего наилучшего.

В первую минуту они его не узнали. Уже спустившись до середины лестницы, он слышит восклицание «Вот он!» и торопливый топот.

Они настигают его у подножия лестницы, кто-то даже хватает его, чтобы остановить, за полу пиджака.

— Вы не уделите нам минуту, профессор Лури? — произносит чей-то голос.

Оставив вопрос без ответа, он выскакивает в набитый людьми вестибюль, где многие оборачиваются, чтобы посмотреть на удирающего от преследователей рослого мужчину.

Какая-то девушка преграждает ему дорогу.

— Пойдите! — говорит она.

Он отворачивается, вытягивает вперед руку. Вспышка. Девушка заходит с другой стороны. Ее волосы с вплетенными в них янтарными бусинами

ровно свисают по обе стороны лица. Она улыбается, показывая белые зубы.

— Мы не могли бы остановиться и поговорить? — спрашивает она.

— О чем?

Прямо под носом у него появляется диктофон. Он его отталкивает.

— О том, как все прошло, — говорит девушка.

— Как прошло что?

Еще одна фотовспышка.

— Ну, вы же знаете, слушание.

— Об этом я говорить не могу.

— Хорошо, а о чем можете?

— Я вообще ни о чем говорить не намерен.

Вокруг собираются празднующиеся и любопытные. Если он хочет выбраться отсюда, придется проталкиваться сквозь них.

— Вы огорчены? — спрашивает девушка, снова поднося диктофон поближе. — Сожалеете о том, что сделали?

— Нет, — отвечает он. — Этот опыт меня обогатил.

Улыбка не сходит с лица девушки.

— То есть вы сделали бы это снова?

— Не думаю, что мне представится такая возможность.

— А если б представилась?

— Это нереалистичный вопрос.

Ей нужно большее, больше слов, чтобы напитать ими свой магнитофончик, но она не успела придумать, как подбить его на какую-нибудь оплошность.

— Чего с ним опыт сделал? — вполголоса спрашивает кто-то.

— Обогастил.

Смешок.

— Спроси его, попросил он прощения? — советует кто-то девушке.

— Да я уже спрашивала.

Исповеди, мольбы о прощении: откуда эта жажда унижить человека? Наступает тишина. Люди, которые его окружают, похожи на охотников, загнавших неведомого им зверя и не знающих, как его теперь прикончить.

Фотография появляется в студенческой газете на следующий день, под ней напечатано: «И кто теперь в дураках?» Он изображен возведшим глаза горе и протянувшим руку как бы в попытке схватить фотокамеру. Поза и сама-то по себе достаточно нелепа, но окончательным шедевром делает снимок перевернутая мусорная корзинка, которую какой-то молодой человек, ухмыляясь до ушей, держит над его головой. Игра перспективы создает иллюзию, будто корзинка сидит у него на голове, точно дурацкий колпак. На что может рассчитывать изображенный в подобном виде человек?

«Комиссия утаивает свой вердикт», — гласит заголовок. «Дисциплинарная комиссия, расследующая выдвинутые против профессора Дэвида Лури обвинения в домогательстве и неподобающем поведении, отказалась вчера сообщить что-либо о вынесенном ею вердикте. Председатель комиссии Манас Матабане сказал лишь, что полученные комиссией сведения будут представлены на рассмотрение ректора, который и примет соответствующие меры.

В ходе состоявшейся после слушания перепалки между представительницами ЖПН и Лури (53 г.) последний сказал, что находит опыт своих отношений со студентками „обогащающим“.

Начало скандалу положили жалобы, поданные на Лури, специалиста по романтической поэзии, его студентками».

Матабана звонит ему домой.

— Комиссия подала рекомендации, Дэвид, и ректор попросил меня в последний раз переговорить с вами. Он готов воздержаться от крайних мер при условии, что вы сделаете от своего имени заявление, которое устроит и вас и нас.

— Манас, мы все это уже проходили...

— Подождите. Выслушайте меня. Передо мной лежит на столе набросок заявления, которое нас удовлетворило бы. Оно совсем короткое. Могу я прочитать его вам?

— Прочитайте.

Матабана читает:

— Я без каких бы то ни было оговорок признаю серьезность совершенных мною нарушений человеческих прав жалобщицы, равно как и злоупотребление властью, делегированной мне университетом. Я искренне прошу прощения у обеих сторон и готов принять любое уместное в данном случае наказание.

— А что это значит — «любое уместное в данном случае наказание»?

— Насколько я понимаю, вас не уволят. Скорее всего, вас попросят уйти в отпуск. Вернетесь ли вы со временем к преподаванию, будет зави-

сеть от вас и от решения вашего декана и заведующего кафедрой.

— Вот, значит, как? Это и есть комплексное решение?

— Во всяком случае, я это так понимаю. Если вы продемонстрируете готовность подписать заявление, равнозначное ходатайству о снисхождении, ректор будет готов принять его именно в таком смысле.

— В каком?

— В смысле раскаяния.

— Манас, мы уже говорили вчера об этом самом раскаянии. И я сказал вам, что о нем думаю. Я предстал перед официально созданным трибуналом, олицетворяющим власть закона. И признал перед этим мирским судом свою вину, мирскую вину. Этого признания достаточно. Раскаяние же тут решительно ни при чем. Раскаяние принадлежит к иному миру, к иной вселенной дискурса.

— Дэвид, вы смешиваете совершенно разные вещи. Вас не призывают раскаяться. Что происходит в вашей душе, для нас, как для членов того, что вы именуете мирским судом, если не для таких же, как вы, человеческих существ, дело темное. Вас просят сделать заявление.

— Меня призывают просить о прощении независимо от того, искренен я или нет?

— Критерием является не ваша искренность. Она, как я уже сказал, дело вашей совести. Критерием является ваша готовность открыто признать свою вину и предпринять шаги, необходимые для исправления содеянного.

— Вот теперь мы и впрямь занимаемся казуистикой. Вы предъявили мне обвинения, я

признал себя виновным. И большего вам от меня не требуется.

— Нет. Нам *требуется* большее. Не так чтобы очень, но большее. И надеюсь, вы отыщете способ дать нам это большее.

— Извините, не могу.

— Дэвид, я не в состоянии и дальше защищать вас от вас же самого. Я устал от этого, так же как устали и остальные члены комиссии. Вам нужно время, чтобы еще раз подумать?

— Нет.

— Очень хорошо. В таком случае я могу сказать вам только одно — ждите вестей от ректора.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

После того как он принимает решение уехать, задержать его способно немного. Он очищает холодильник, запирает дом и в полдень уже едет по шоссе. Остановка в Оудсхурне, выезд оттуда на рассвете, и в разгар утра он приближается к месту назначения — городу Сейлем на дороге Грей-амстаун — Кентон в Восточном Кейпе.

Маленькая ферма дочери расположена в нескольких милях от города, в конце извилистой проселочной дороги: пять гектаров земли, по большей части пахотной, приводимый в действие ветряком насос, конюшни, надворные постройки и низкий, просторный, выкрашенный желтой краской дом с кровлей из оцинкованного железа и крытой верандой. Граница фермы отмечена проволоочной изгородью и зарослями герани и настурций; за ними — гравий и пыль.

На подъездной дорожке стоит старенький «фольксваген-комби», впритык к которому он ставит свою машину. Из тени веранды выходит на солнечный свет Люси. В первый миг он ее не узнает. Прошел год, она прибавила в весе. Бедра и груди у нее теперь (он подыскивает правильное слово) пышные. По-домашнему босая, она идет к нему, разведя в стороны руки, обнимает, целует в щеку.

Какая милая девушка, думает он, прижимая ее к себе; какой милый прием под конец долгого пути!

Дом — большой, темноватый и даже в полдень прохладный — построен во времена больших семей, в пору, когда в гости приезжали на фургонах. Шесть лет назад Люси попала сюда в составе коммуны — компании молодых людей, которые торговали в Грейамстауне с рук поделками из кожи и высушенной на солнце керамикой и выращивали между стеблей маиса индийскую коноплю. Когда коммуна распалась, остатки ее перебрались в Нью-Бетесда, а Люси со своей подругой Хелен остались на ферме. Она, по ее словам, влюбилась в это место и задумала наладить правильное фермерское хозяйство. Он помог ей купить землю. И вот она здесь, в цветастом платье, босая и все такое, в доме, наполненном запахом свежего хлеба, — уже не ребенок, играющий в фермера, но настоящая фермерша, боеvгou.

— Я поселю тебя в комнате Хелен, — говорит она. — Туда утром заглядывает солнце. Ты не представляешь, какой холод стоит здесь по утрам в эту зиму.

— Как Хелен? — спрашивает он.

Хелен — крупная, хмурого обличья женщина, старше Люси, с глубоким голосом и плохой кожей. Он так и не смог понять, что отыскала в ней дочь; втайне ему хочется, чтобы Люси нашла кого-нибудь получше (или чтобы кто-нибудь получше нашел ее).

— Хелен с апреля в Йоханнесбурге. Я живу в одиночестве, если не считать работника.

— Ты мне об этом не говорила. Тебе не боязно здесь одной?

Люси пожимает плечами.

— Со мной собаки. Собак все еще побаиваются. Чем их больше, тем больший страх они наво-

дят. В любом случае, если бы кто-то сюда вломился, не думаю, что от двух людей было бы больше проку, чем от одного.

— Весьма философично.

— Да. Когда все идет прахом — философствуй.

— Впрочем, у тебя есть оружие.

— Ружье. Я тебе его покажу. Купила у соседа. Пользоваться ни разу не пользовалась, но оно у меня есть.

— Неплохо. Вооруженный философ. Одобряю.

Оружие и собаки; хлеб в печи и зерна в земле. Удивительно, как это он и ее мать, горожане, интеллектуалы, породили столь атавистичное существо, крепкую молодую колонистку. Хотя, возможно, это вовсе не они ее породили: возможно, основная заслуга принадлежит истории.

Она предлагает ему чаю. Он проголодался и с жадностью заглатывает два смахивающих на кирпичи ломтя хлеба с джемом из плодов опунции, также домашнего приготовления. Во время еды он ощущает на себе ее взгляд. Надо быть поосторожнее: ничто не внушает ребенку такого отвращения, как функционирование родительского тела.

Под ногтями у нее не очень чисто. Сельская грязь: почетное, надо полагать, отличие.

В комнате Хелен он распаковывает чемодан. Ящики комода пусты; в громадном платяном шкафу висит лишь синий рабочий комбинезон. Если Хелен уехала, то, похоже, надолго.

Люси проводит его по дому. Напоминает о необходимости экономить воду и не загрязнять биотстойник. Все это ему уже известно, однако он старательно слушает. Потом Люси ведет его на псарню. В прошлый его приезд тут был всего

один вольер. Теперь их пять — основательных, на бетонном фундаменте, с оцинкованными кольями и распорками, с крупноячеистой сеткой, все это тонет в тени молодых эвкалиптов. Завидев Люси, собаки — доберманы, немецкие овчарки, родезийские риджбэки, бультерьеры, ротвейлеры — приходят в волнение.

— Все сплошь сторожевые, — говорит она. — Рабочие собаки, их у меня берут на короткий срок — на неделю, на две, иногда просто на выходные. А во время летних отпусков мне сдают домашних животных.

— Кошек тоже? Ты кошек берешь?

— Зря смеешься. Я подумываю о том, чтобы заняться кошками. Просто мне пока некуда их приткнуть.

— А место на рынке ты арендуешь по-прежнему?

— Да, в субботу по утрам. Я возьму тебя с собой.

Вот так она и зарабатывает на жизнь: псарня, продажа цветов и овощей. Что может быть проще?

— Они у тебя не скучают? — Он показывает на одну из собак, рыжеватую, сидящую в отдельном вольере бульдожиху, которая, не потрудившись даже привстать, мрачно взирает на них, уложив голову на лапы.

— Кэти? Ее бросили. Владельцы ударились в бег. Счет не оплачивается уже несколько месяцев. Не знаю, что мне с ней делать. Наверное, попробую найти для нее новый дом. Она грустит, а так с ней все в порядке. Мы каждый день выводим ее размяться. Я или Петрас. Это часть нашего с ним договора.

— Петрас?

— Ты с ним еще познакомишься. Петрас — это мой новый помощник. На самом-то деле совладелец — с марта месяца. Неплохой малый.

Он проходит с ней мимо земляной запруды, на которой мирно восседает утиное семейство, мимо ульев, по огороду: цветники, зимние овощи — цветная капуста, картофель, свекла, мангольд, лук. Они навешают насос и пруд на границе ее владений. Дожди в последние два года шли хорошие, уровень воды высок.

Люси с удовольствием рассказывает обо всем этом. Фермер-колонизатор нового поколения. В прежние времена — скот и кукуруза. Ныне — собаки и нарциссы. Чем больше все меняется, тем неизменное остается. История повторяется, только выглядит поскромнее. Возможно, и история кое-чему научилась.

Назад они идут вдоль оросительной канавы. Босые ступни Люси оставляют четкие отпечатки на красной земле. Крепкая женщина, поглощенная своей новой жизнью. Замечательно! Если это то, что после него останется — дочь, вот эта женщина, — значит, ему нечего стыдиться.

— Тебе вовсе не обязательно меня развлекать, — говорит он уже в доме. — Я привез с собой книги. Все, что мне нужно, это стол и стул.

— Ты над чем-то работаешь? — осторожно спрашивает она.

Его работа не принадлежит к числу тем, на которые им часто случалось беседовать.

— Есть кое-какие планы. Нечто о последних годах Байрона. Не книга, вернее, не того сорта книга, какие я писал раньше. Скорее, что-то для сцены. Слова и музыка. Персонажи разговаривают и поют.

— Не знала, что у тебя еще сохранились такие амбиции.

— Решил, что могу позволить себе такое удовольствие. Хотя дело не только в нем. Человеку хочется что-то оставить после себя. По крайней мере, мужчине хочется. Женщине в этом отношении легче.

— Это почему же женщине легче?

— Я хотел сказать, легче создать нечто, обладающее собственной жизнью.

— А отцовство, выходит, не в счет?

— Отцовство... Я все никак не могу отделаться от мысли, что в сравнении с материнством отцовство штука довольно абстрактная. Но давай подождем и посмотрим, что выйдет из моей затеи. Если что-то получится, ты будешь первой слушательницей. Первой и, скорее всего, последней.

— Ты собираешься сам писать музыку?

— Музыку я по большей части заимствую. На этот счет меня никакие угрызения совести не томят. Поначалу я думал, что тема требует роскошной оркестровки. Ну, нечто вроде Штрауса. Но мне этого не потянуть. Теперь я склоняюсь к иному, к самому скромному аккомпанементу — скрипка, виолончель, гобой или, может быть, фагот. Но это все принадлежит пока царству идей. Я не написал ни единой ноты — пришлось заниматься другими делами. Ты, полагаю, слышала о моих неприятностях.

— Роз что-то такое говорила по телефону.

— Ладно, не будем сейчас в это вдаваться. Как-нибудь в другой раз.

— Ты оставил университет навсегда?

— Я вышел в отставку. Вернее, меня вышлИ.

— Будешь скучать по нему?

— Скучать? Не знаю. Я был не ахти каким преподавателем. Как выяснилось, мы со студентами все хуже понимали друг друга. Они не давали себе труда слушать то, что я хотел им сказать. Так что скучать я, вероятно, не буду. Скорее всего, я буду радоваться свободе.

В проеме двери возникает высокий мужчина в синем комбинезоне, резиновых сапогах и шерстяной шапочке.

— Входи, Петрас, познакомься с моим отцом, — говорит Люси.

Петрас вытирает сапоги. Они обмениваются рукопожатиями. Морщинистое обветренное лицо, пронизательный взгляд. Сорок? Сорок пять?

Петрас поворачивается к Люси.

— Аэрозоль, — говорит он. — Я пришел за аэрозолем.

— Он в комби. Подожди, я принесу.

Он остается наедине с Петрасом.

— Так это вы ухаживаете за собаками? — спрашивает он, чтобы прервать молчание.

— Ухаживаю за собаками и работаю в огороде. Да, — Петрас широко улыбается. — Садовник и собачник. — На миг он задумывается. — Собачник, — повторяет он, смакуя это слово.

— Я только что из Кейптауна. По временам меня там тревожила мысль, что дочь сидит здесь совсем одна. Уж больно далеко от людей.

— Да, — говорит Петрас, — это опасно.

Пауза.

— Нынче все опасно. Но у нас тут вроде бы спокойно.

И он улыбается снова.

Возвращается с бутылочкой в руках Люси.

— Дозу ты знаешь: чайная ложка на десять литров воды.

— Да, знаю, — и Петрас, пригнувшись, выходит в низковатую дверь.

— Похоже, хороший человек, — замечает он.

— У него есть голова на плечах.

— Он прямо здесь и живет?

— В старой конюшне, вместе с женой. Я провела туда электричество. Там довольно уютно. Другая его жена живет с детьми, в том числе взрослыми, в Аделаиде. Время от времени он уезжает, чтобы побыть с ними.

Предоставив Люси ее занятиям, он отправляется на прогулку и доходит до дороги на Кентон. Холодный зимний день, солнце уже опускается к красным холмам, поросшим редкой поблекшей травой. Скучная земля, скучная почва, думает он. Изнуренная. Только для коз и годится. Неужели Люси и впрямь вознамерилась прожить здесь всю жизнь? Хочется надеяться, что это лишь временная причуда.

Стайка детей, возвращающихся из школы, проходит мимо. Он здоровается, дети тоже. Сельский обычай. Кейптаун уже отступает в прошлое.

Без предупреждения возвращается воспоминание о девушке: о ее ладных грудках с глядящими вверх сосками. Дрожь желания пронизывает его. Очевидно, чем бы ни было происшедшее с ним, оно покамест не кончилось.

Он возвращается в дом, заканчивает разборку чемодана. Много времени прошло с тех пор, как он жил в одном доме с женщиной. Следует помнить о правилах, соблюдать аккуратность.

«Пышная» — слово для Люси скорее лестное. Скоро она станет просто-напросто грузной. Перестанет следить за собой, как это случается с теми, кто удаляется за пределы любви. «*Qu'est devenu ce front poli, ces cheveux blonds, sourcils voûtés?*»¹

Ужин прост: суп с хлебом, бататы. Обычно ему бататы не нравятся, но Люси состряпала из лимонной кожуры, масла и гвоздики нечто, сделавшее их съедобными, и даже более чем.

— Ты надолго? — спрашивает она.

— На неделю. Будем считать, на неделю. Вытерпишь меня столько времени?

— Оставайся на сколько хочешь. Я только боюсь, тебя скука одолеет.

— Не одолеет.

— А куда поедешь потом, через неделю?

— Пока не знаю. Возможно, просто отправлюсь бродяжить, надолго.

— Ну, в общем, добро пожаловать и оставайся.

— Очень мило, что ты так говоришь, дорогая, но мне хотелось бы сохранить твою дружбу. А долгие визиты — это не для добрых друзей.

— А что если мы не будем пользоваться словом «визит»? Назовем это пристанищем? Получить пристанище на неопределенный срок ты согласен?

— Ты имеешь в виду убежище? Мои дела не так уж и плохи, Люси. Я не изгой.

— Роз говорила, что обстановка там сложилась прмерзкая.

¹ «Что стало с этим чистым лбом? Где медь волос? Где брови-стрелы?» — цитата из «Жалобы Прекрасной Оружейницы» Ф. Вийона (Пер. с фр. Ф. Мендельсона).

— Тут я сам виноват. Мне предложили компромисс, я не согласился.

— Что за компромисс?

— Перевоспитание. Исправление характера. Кодовое обозначение курса психотерапии.

— Ты столь совершенен, что не можешь пройти небольшой курс?

— Все это слишком напоминает мне Китай времен Мао. Отречение, самокритика, публичные мольбы о прощении. Я человек старомодный и предпочитаю, чтобы меня просто-напросто поставили к стенке и расстреляли. Давай не будем об этом.

— Расстреляли? За интрижку со студенткой? Кара несколько чрезмерная, ты не находишь? Этак можно всех преподавателей перестрелять. Такие вещи наверняка происходят каждый день. Во всяком случае, происходили, когда я была студенткой. Наказывать каждого, кто в них повинен, значит попросту обречь преподавателей на истребление.

Он пожимает плечами.

— Мы живем в эпоху пуританизма. Личная жизнь стала всеобщим достоянием. А зудливое любопытство к ней обрело респектабельность — любопытство и сентиментальность. Людям нужен спектакль: биение кулаками в грудь, раскаяние, по возможности слезы. В общем и целом, телевизионное шоу. Я им такого одолжения не сделал.

Ему хочется добавить: «По правде сказать, они собирались меня кастрировать», но он не может произнести подобные слова в присутствии дочери. Строго говоря, и эта его тирада, которую он слышит теперь ушами другого человека, выглядит мелодраматичной, чрезмерно напыщенной.

— То есть ты стоял на своем, а они на своем. Так?

— Более-менее.

— Нельзя быть таким непреклонным, Дэвид. Непреклонность — не признак героизма. У тебя осталось время, чтобы передумать?

— Нет, приговор окончательный.

— Без права на апелляцию?

— Без права. Да я и не жалуюсь. Нельзя признать себя виновным в разврате и ожидать в ответ излияний сочувствия. Во всяком случае, по достижении определенного возраста. После которого человек просто уже не может апеллировать к чему бы то ни было. Остается крепиться и доживать остаток жизни. Положи мне еще.

— Что ж, очень жаль. Живи у меня сколько захочешь. На любых основаниях.

Спать он ложится рано. Среди ночи его будит взрыв собачьего лая. Особенно неумоимо гавкает один из псов: механически, без перерывов; другие присоединяются к нему, потом затихают, потом, не желая признать поражение, вступают снова.

— Тут у вас каждую ночь так? — утром спрашивает он у Люси.

— К этому привыкаешь. Извини.

Он качает головой.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Он забыл, насколько холодными могут быть зимние утра в нагорьях Восточного Кейпа, и не прихватил с собой необходимой одежды: приходится позаимствовать у Люси свитер.

Засунув руки в карманы, он бродит между цветников. По кентонской дороге проносится невидимый отсюда автомобиль, рев его медлит в спокойном воздухе. Высоко в небе цепочкой пролетают гуси. Куда девать время?

— Не хочешь пойти прогуляться? — спрашивает за его спиной Люси.

Они берут с собой трех собак: двух молодых доберманов — Люси ведет их на поводках — и бульдожку суку, брошенную.

Сука, подняв уши торчком, пытается прогаться. Ничего у нее не выходит.

— У нее проблемы, — говорит Люси. — Придется лечить.

Сука, свесив язык и поводя глазами из стороны в сторону, как бы от стыда, что за ней наблюдают, продолжает тужиться.

Они сходят с дороги, бредут подлеском, потом редкой сосновой рощей.

— Та девушка, с которой ты связался, — говорит Люси, — это было серьезно?

— Розалинда пересказала тебе нашу историю?

— Не во всех подробностях.

— Она примерно из этих же мест. Из Джорджа. Состояла в одной из групп, в которых я вел занятия. Как студентка — всего лишь сносная, но очень милая. Серьезно? Не знаю. Вот последствия определенно оказались серьезными.

— Но теперь-то все кончено? Или ты еще тоскуешь по ней?

Кончено? Он тоскует?

— Мы больше не поддерживаем отношений, — говорит он.

— Почему она пожаловалась на тебя?

— Этого она мне не сказала, а случая спросить не представилось. Она попала в трудное положение. Был там один молодой человек, не то любовник, не то бывший любовник. Были трудности с учебой. Потом родители ее что-то прослышали и неожиданно-негаданно прикатали в Кейптаун. Думаю, напряжение оказалось для нее непосильным.

— А тут еще ты.

— Да, тут еще я. Полагаю, ей было со мной не-легко.

Они доходят до ворот с надписью «САППИ индастриз. Вход строго воспрещен». Поворачивают назад.

— Ладно, — говорит Люси, — ты свое заплатил. Возможно, оглядываясь назад, она думает о тебе не так уж и плохо. Женщинам присуща редкостная способность прощать.

Наступает молчание. Это что же, Люси, его дитя, вознамерилась объяснить ему, что такое женщины?

— Ты не думал о том, чтобы снова жениться? — спрашивает Люси.

— Ты хочешь сказать, на женщине одних со мной лет? Не гожусь я в мужья, Люси. Ты же видела, знаешь.

— Да, но...

— Что «но»? Но охотиться за детьми дело недостойное?

— Я не об этом. Просто чем дальше, тем тебе будет труднее.

Никогда еще они с Люси не разговаривали о его интимной жизни. Нелегкое, оказывается, дело. Но если не с ней, с кем еще он может поговорить?

— Помнишь, у Блейка? — говорит он. — «Лучше убить дитя в колыбели, чем сдерживать буйные страсти»¹.

— Почему ты мне это цитируешь?

— Задавленные желания могут выглядеть в старике такими же безобразными, как и в юноше.

— И что же?

— От каждой женщины, с которой я был близок, я узнавал о себе нечто новое. В этом смысле они делали меня лучше, чем я был.

— Надеюсь, ты не претендуешь на обратное. На то, чтобы узнававшие тебя молодые женщины становились лучше, чем были.

Он внимательно вглядывается в лицо Люси. Люси улыбается.

— Шутка, не более, — говорит она.

Они возвращаются к гудронной дороге. На повороте к ферме висит красочный указатель, кото-

¹ «Пословицы ада» (Пер. с англ. А. Сергеева).

рого он раньше не заметил: «Срезанные цветы. Саговые пальмы», — и стрелка: «1 км».

— Саговые пальмы? — говорит он. — Я полагал, ими торговать запрещено.

— Запрещается выкапывать дикорастущие. А я выращиваю их из семян. Я тебе потом покажу.

Они идут дальше; молодые псы, желая освободиться, натягивают поводки, сука, пыхтя, плетется сзади.

— А ты? Это и есть то, чего ты хочешь от жизни? — он машет рукой в сторону огорода и дома с поблескивающей под солнцем крышей.

— Не так уж и мало, — негромко отвечает Люси.

Суббота, базарный день. Люси, как договорились, будит его в пять утра, принеся чашку кофе. Холодно; укутавшись, они идут в огород, где Петрас уже срезает при свете галогеновой лампы цветы.

Он предлагает подменить Петраса, но пальцы его скоро коченеют настолько, что ему становится невозможно вязать букеты. Вернув бечевку Петрасу, он занимается тем, что обертывает цветы и укладывает их в коробки.

К семи, когда свет утра уже ложится на холмы и начинают просыпаться собаки, работа заканчивается. В комби грузятся коробки с цветами, ящики с картошкой, луком, капустой. Люси садится за руль, Петрас остается дома. Обогреватель в машине не работает; Люси, взглядываясь в запотевшее ветровое стекло, выруливает на ведущую к Грейамстауну дорогу. Он сидит рядом, жуя приготовленный ею бутерброд. Из носа капает; он надеется, что Люси этого не замечает.

Итак, новое переживание. Дочь, которую он когда-то возил в школу и в балетные классы, в цирк и на каток, теперь везет его на экскурсию, показывает ему жизнь, показывает этот другой, незнакомый мир.

На Донкин-сквер торговцы уже устанавливают столы на козлах, раскладывают на них товары. В воздухе витает запах подгоревшего мяса. Холодный туман висит над городом; люди потирают ладони, притопывают, костерят все на свете. Демонстрируют взаимное дружелюбие, от чего Люси, к его облегчению, воздерживается.

Их место — в той части рынка, что отведена, судя по всему, под торговлю съестным. Слева от них три африканки продают молоко, маса, масло и еще — суповые кости из накрытого влажной тряпичей ведра. Справа — старая чета африканеров, с которыми Люси здоровается, называя их тетушкой Мьемс и дядюшкой Коосом; старикам помогает мальчонка лет десяти, никак не больше, в вязаном шлеме. Как и Люси, они привезли на продажу лук и картошку, но кроме того, джем и варенье в банках, сухие фрукты, пакетики с рутовым и мелиантусовым чаем, с травами.

Люси приносит два парусиновых табурета. В ожидании первых покупателей они пьют кофе из термоса.

Две недели назад он объяснял скучающим в аудитории юнцам различие между «пить» и «выпить», «гореть» и «обгореть». Совершенный вид, обозначающий действие, выполненное до конца. Каким далеким все это кажется! Я живу, я жил, я прожил.

Картофелины Люси, разложенные по пакетам в один бушель каждый, отмыты дочиста. У Кооса и Мьемс они покрыты присохшими комочками земли. За это утро Люси зарабатывает почти пятьсот рандов. Хорошо расходятся цветы; к одиннадцати она снижает цену и распродает остатки. Бойко идет торговля и у мясо-молочного лотка; а вот у стариков супругов, деревянно, без улыбок сидящих бок о бок, дела подвигаются хуже.

Многие покупательницы знают Люси по имени: в большинстве своем это средних лет женщины, в отношении которых к Люси сквозит нечто собственническое, как будто ее успех принадлежит и им тоже. Люси представляет его каждой из них:

— Познакомьтесь с моим отцом, Дэвидом Лури, он приехал из Кейптауна, погостить.

— Вы должны гордиться вашей дочерью, мистер Лури.

— Да, конечно, я очень горжусь, — отвечает он.

— Бев управляет приютом для животных, — говорит Люси после одного из таких знакомств. — Я ей иногда помогаю. Мы заглянем к ней на обратном пути, если ты не против.

Бев Шоу, кряжистая, суетливая коротышка без шеи, с покрытой темными веснушками кожей и коротко остриженными жесткими волосами, ему несимпатична. Он не в восторге от женщин, не предпринимающих ровно никаких усилий, чтобы выглядеть привлекательными. Подобную же неприязнь подруги Люси вызывали у него и прежде. Гордиться тут нечем: это предрассудок, который пролез в его разум да и засел там. Разум его

обратился в приют для престарелых мыслей, бездеятельных, нуждающихся, тех, которым некуда больше податься. Надо бы выгнать их вшаей и дочиста вымести помещение. Но ему все как-то не до того — или просто неохота.

Лига защиты животных, бывшая некогда приметной в Грейамстауне благотворительной организацией, ныне свою деятельность прекратила. Однако горстка добровольцев во главе с Бев Шоу все еще держит клинику в прежнем ее помещении.

Он ничего не имеет против людей, которые обожают животных, людей, с которыми Люси водилась с тех пор, как он ее помнит. Поэтому, когда Бев Шоу открывает входную дверь своего дома, он сооружает благодушную гримасу, хотя на самом деле встречающий их запах кошачьей мочи, шелудивых собак и примочки Джейеса ему отвратителен.

Дом в точности таков, как он себе представлял: дрянная мебель, хаос безделушек (фарфоровые пастишки, коровьи колокольца, мухобойка из страусовых перьев), стенания радиоприемника, щебет птиц в клетках и повсюду кошки. Присутствует не только Бев, но также и Билл Шоу (пьет чай за кухонным столом), такой же кряжистый, в свитере с растянутым воротом, со свекольно-красной физиономией и серебристыми волосами.

— Садитесь, Дэв, садитесь, — говорит Билл. — Будьте как дома, выпейте чашечку.

Утро получилось долгое, он устал, и светская беседа с этими людьми о тонкостях их ремесла —

последнее, в чем он нуждается. Он бросает взгляд на Люси.

— Мы ненадолго, Билл, — говорит она. — Просто зашли за кое-какими лекарствами.

В окно виден их задний двор: яблони, роняющие червивые плоды, буйство сорных трав, забор из оцинкованного листового железа, деревянные лежаки, старые покрышки, в середках которых роются куры, и совершенно неожиданная здесь дремлющая в углу хохлатая антилопа.

— Ну, как они тебе? — уже в машине спрашивает Люси.

— Не хочу быть грубым. Безусловно, это особая субкультура. Дети у них есть?

— Нет, детей нет. Не стоит недооценивать Бев. Она не дура. И приносит очень, очень большую пользу. Она уже много лет в клинике, сначала работала на Лигу, теперь самостоятельно.

— Боюсь, это игра на проигрыш.

— Разумеется. Никто ее больше не финансирует. Животные в перечне государственных приоритетов не значатся.

— Она, должно быть, впала в уныние. Да и ты тоже.

— Да. Нет. А это важно? По крайней мере, животные, которым она помогает, уныния не испытывают. Они испытывают большое облегчение.

— Ну что ж, и прекрасно. Прости, девочка, мне просто трудно проникнуться интересом к этой теме. То, что она делает, то, что делаешь ты, замечательно, но, по мне, адепты защиты животных смахивают на определенного пошиба христиан. Все такие бодрые, у всех такие благие помыслы, что через какое-то время тебя охватывает неодолимое

желание изнасиловать кого-нибудь или ограбить. Или хоть кошку ногой пнуть.

Он сам удивляется, что так вспылит. Настроение у него вовсе не дурное, ничуть.

— Ты считаешь, что мне следует заняться вещами поважнее, — говорит Люси. Они уже едут по шоссе; Люси ведет машину и не глядит на него. — По-твоему, раз я твоя дочь, я обязана как-то получше распорядиться своей жизнью.

Он уже качает головой.

— Нет... нет... нет... — бормочет он.

— Ты считаешь, что я должна писать натюрморты или учить русский язык. Тебе не нравятся друзья вроде Бев и Билла Шоу, потому что они не способны ввести меня в светское общество.

— Это не так, Люси.

— Именно так. Они и не способны ввести меня в светское общество — по той простой причине, что ни светского общества, ни светской жизни здесь нет. Только та жизнь, которую мы ведем. И которую делим с животными. Это пример того, что пытаются создать люди, подобные Бев. Пример, которому и я пытаюсь следовать. Пытаюсь разделить с животными некоторые из наших человеческих привилегий. Я не хочу возродиться к жизни собакой или свиньей и жить так, как живут рядом с нами собаки и свиньи.

— Люси, дорогая, не злись. Да, я согласен, это единственная жизнь, какая здесь есть. Что до животных, так ради бога, давайте будем добры к ним. Но давайте не терять при этом перспективы. Мы не животные, мы существа иного порядка. Не обязательно более высокого, просто иного. Так что,

если мы намерены проявлять по отношению к ним доброту, давайте проявлять ее из великодушия, а не потому, что мы чувствуем себя виноватыми или страшимся возмездия.

Люси набирает воздуху в грудь. Похоже, ей хочется ответить на его проповедь, но нет, она не отвечает. К дому они подъезжают в молчании.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Он сидит в гостиной, смотрит по телевизору футбол. Счет нулевой, похоже, ни одна из команд к победе не рвется.

Репортаж ведется поочередно на двух языках — суто и коса, — оба ему неизвестны. Он убавляет звук до неразборчивого бормотания. Субботний вечер в Южной Африке, священное время мужских развлечений. Он начинает клевать носом.

Когда он просыпается, рядом с ним на софе сидит Петрас с бутылкой пива в руке. Петрас прибавил звук.

— «Смельчаки из глуши», — говорит Петрас. — Моя любимая команда. «Смельчаки» против «Парней с заката».

«Парни с заката» получают угловой. Свалка в штрафной площадке. Петрас стонет, схватясь руками за голову. Когда пыль оседает, вратарь «Смельчаков» лежит на земле, прижав к груди мяч.

— Молодец! Молодец! — восклицает Петрас. — Отличный вратарь! Такого нельзя отпускать.

Игра заканчивается вничью. Петрас переключает каналы. Бокс: двое, такие маленькие, что едва достают рефери до груди, кружат по рингу, подсакивая, мутузя друг друга.

Он встает, бредет в глубь дома. Люси лежит на кровати, читая книгу.

— Что читаешь? — спрашивает он.

Она недоуменно глядит на него, потом вынимает из ушей вставные наушники.

— Что читаешь? — повторяет он и следом: — Похоже, не получилось, а? Мне уехать?

Люси улыбается, откладывает книгу. «Тайна Эдвина Друда». Вот уж не ожидал.

— Присядь, — говорит она.

Он садится на кровать, неторопливо гладит ее по голой ноге. Симпатичная нога, стройная. Хороший костяк, как у ее матери. Женщина в расцвете лет, привлекательная, несмотря на ее грузность, на не красящую ее одежду.

— На мой взгляд, Дэвид, все получилось прекрасно. Я рада, что ты здесь. Просто для того, чтобы привыкнуть к ритму сельской жизни, необходимо время. Как только ты найдешь чем заняться, скука твоя испарится.

Он рассеянно кивает. Привлекательная, думает он, но потерянная для мужчин. Себя ли ему корить за это или оно все равно сложилось бы именно так? С самого рождения дочери он не испытывал к ней ничего, кроме искренней, безудержной любви. Невозможно, чтобы она этого не знала. Быть может, его любовь оказалась для нее непосильной? Быть может, она воспринимала ее как бремя? Как гнет? Или истолковывала ее как нечто куда более нечистое?

Интересно, думает он, каково было Люси с любовниками, каково любовникам было с нею? Он никогда не боялся следовать за мыслью по ее извилистым путям, не боится и теперь. Страстную

ли породил он на свет женщину? Что притягивает ее и что не притягивает в царстве чувств? Способны ли он и она разговаривать и об этом тоже? Про нее не скажешь, что она прожила жизнь под чьим-то крылом. Почему им не говорить в открытую, почему они должны проводить какие-то границы — во времена, когда о таковых все и думать забыли?

— Как только найду чем заняться, — говорит он, прерывая блуждания мысли. — И что ты предлагаешь?

— Ты мог бы помогать мне с собаками. Рубить для них мясо. Мне это всегда тяжело давалось. Потом, есть еще Петрас. Он сейчас приводит в порядок собственную землю, так что дел у него хватает. Вот и протяни ему руку помощи.

— Протянуть Петрасу руку помощи. Неплохо. В этом выражении присутствует некая историческая пикантность. А платить за мои труды он мне будет, как ты полагаешь?

— Спроси у него. Уверена, что будет. В начале этого года он получил от министерства земледелия субсидию, которой хватило, чтобы выкупить у меня гектар с небольшим. Я тебе не говорила? Граница проходит по запруде. Запрудой мы владеем совместно. От нее и до ограды все принадлежит ему. У него корова, которая весной отелится. Две жены или жена и подруга. Если он хорошо разыграет свои карты, то сможет получить и вторую субсидию — чтобы построить дом и перебраться в него из конюшни. По меркам Восточного Кейпа, он человек состоятельный. Попроси, чтобы он тебе платил. Он может себе это позволить. Не уверена,

что я смогу позволить себе и впредь пользоваться его услугами.

— Хорошо, я займусь мясом для собак, попрошусь в землекопы к Петрасу. Что еще?

— Ты можешь помогать в клинике. Там отчаянно нуждаются в помощниках.

— То есть помогать Бев Шоу?

— Да.

— Не думаю, что мы с ней поладим.

— Да тебе и не нужно с ней ладить. Только помогать ей. Однако платы не жди. Тебе придется делать это по доброте сердечной.

— Вот тут меня одолевают сомнения, Люси. Уж больно это смахивает на общественные работы. На попытку загладить былые грехи.

— Что касается твоих мотивов, Дэвид, то уверяю тебя, животные из клиники до них доискиваться не станут. Они не будут задавать тебе никаких вопросов, им все едино.

— Ладно, займусь и этим. Но при одном условии: что в результате я не стану лучше, чем есть. К исправлению я не готов. Предпочитаю остаться самим собой. Таково мое условие. — Он все еще не снял ладони с ноги Люси и теперь крепко сжимает ее колено. — Это понятно?

Она награждает его улыбкой, которую он может назвать только обворожительной.

— Так ты решил остаться дурным человеком. Сумасшедшим, дурным, опасным для окружающих. Обещаю, никто не попросит тебя измениться.

Люси поддразнивает его, как когда-то поддразнивала ее мать. Хотя остроумие Люси, если правду сказать, потоньше. Его всегда влекло к остро-

умным женщинам. Остроумным и красивым. И как бы ему того ни хотелось, в Мелани он никакого остроумия не отыскал. Зато красоты в ней было хоть отбавляй.

И снова она пронизывает его — легкая дрожь сладострастия. Он знает, что Люси наблюдает за ним. Похоже, он так и не научился скрывать эту дрожь. Забавно.

Он поднимается, выходит во двор. Собаки по-моложе радуются, увидев его: бегают взад-вперед по вольерам, поскуливая от нетерпения. Но старая бульдожиха почти не шевелится.

Он входит в ее вольер, закрывает за собой дверь. Бульдожиха поднимает голову, оглядывает его и снова роняет голову на пол; старые соски ее вяло обвисли.

Присев на корточки, он щекочет бульдожиху за ухом.

— Бросили нас, верно? — шепчет он.

Он вытягивается рядом с ней на голом бетоне. Бледное небо вверху. Руки и ноги его обмякают.

Таким его и находит Люси. Он, должно быть, заснул: первое, что он осознает, это присутствие в вольере дочери с бидоном воды в руках; сука, встав, обнюхивает ее ноги.

— Обзаводишься друзьями? — спрашивает Люси.

— С ней не больно-то подружисься.

— Бедная старушка Кэти в трауре. Никому она не нужна и знает это. Самое смешное, что у нее, скорее всего, куча отпрысков в окрестностях, и все они были бы рады разделить с ней кров. Но пригласить ее к себе не в их власти. Они — часть обстановки, часть тревожной сигнализа-

ции. Они оказывают нам честь, относясь к нам как к богам, а мы в ответ относимся к ним как к неодушевленным существам.

Они выходят из вольера. Сука кучей валится на пол, закрывает глаза.

— Отцы церкви долго спорили на их счет и в конце концов решили, что настоящих душ у них нет, — замечает он. — Души животных привязаны к их телам и умирают вместе с ними.

Люси пожимает плечами:

— Не уверена, что у меня есть душа. И если бы я повстречала чью-то душу, я бы ее не признала.

— Это неверно. Ты сама и есть душа. Все мы — души. И были ими еще до рождения.

Она как-то странно смотрит на него.

— Что ты с ней будешь делать? — спрашивает он.

— С Кэти? Если придется, оставлю у себя.

— Ты не усыпляешь животных?

— Нет, я — нет. Бев, та усыпляет. Это работа, выполнять которую никто не желает, вот она и взяла ее на себя. И ужасно от этого страдает. Ты недооцениваешь Бев. Она куда более интересный человек, чем тебе кажется. Даже по твоим собственным меркам.

По собственным его меркам... А каковы они? Заслуживает ли эта коренастая, малорослая женщина с неприятным голосом того, чтобы ее игнорировали? Тень горестного сожаления осеняет его — о Кэти, о себе, обо всех. Он глубоко вздыхает, не пытаясь скрыть вздоха.

— Прости меня, Люси, — говорит он.

— Простить тебя? За что? — Она улыбается, легко, насмешливо.

— За то, что я один из двух смертных, которым было назначено привести тебя в мир, и за то, что я оказался не лучшим из поводырей. Но я пойду и стану помогать Бев Шоу. При условии, что мне не придется называть ее «Бев». Глупо носить такое имя. Меня оно наводит на мысль о скоте. Когда начать?

— Я ей позвоню.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

На вывеске клиники значится: «Лига защиты животных. Филиал 1529». Ниже были когда-то указаны часы приема, но теперь эта строчка заклеена. У двери очередь, некоторые из стоящих в ней привели с собой животных. Как только он вылезает из машины, его окружает стайка детей, одни кланчат деньги, другие просто глазекуют. Он проталкивается сквозь них и сквозь неожиданную какофонию, порожденную двумя рычащими, грызущимися собаками; хозяева с трудом растаскивают их.

Маленькая голая приемная набита битком. Чтобы попасть вовнутрь, ему приходится наступать на чьи-то ноги.

— Где миссис Шоу? — спрашивает он.

Старуха кивает в сторону задернутого пластиковой занавеской дверного проема. Старуха держит на короткой веревке козла; козел нервно таращится, не отрывая глаз от собак, копытца его пощелкивают по жесткому полу.

Во внутренней, наполненной едким смрадом мочи комнате работает у низкого стеклянного столика Бев Шоу. Подсвечивая себе тоненьким фонариком, она всматривается в глотку молодого пса, похожего на помесь риджбэка с шакалом. Босой мальчишка, очевидно владелец пса, стоит на коленях прямо на столике, зажав голову пса

под мышкой и стараясь удерживать его челюсти раскрытыми. Мощный зад пса напряжен, из горла исходит низкое, переливистое рычание. Он неловко включается в борьбу, притискивает одну к другой задние лапы пациента, надавливает на них, вынуждая пса сесть.

— Спасибо, — говорит Бев Шоу. Лицо у нее багровое. — Там образовался нарыв из-за того, что растущий зуб зажат двумя другими. Антибиотиков у нас нет, поэтому... держи его крепче, *houytjie!*.. поэтому придется просто вскрыть нарыв и надеяться на лучшее.

Она тычет в песью пасть ланцетом. Пес страшно дергается, пытается высвободиться из его рук, почти вырываясь из объятий мальчика. Он снова сжимает горемыку, скребущего, в попытке соскочить со стола, лапами по стеклу; на какой-то миг глаза пса, полные гнева и страха, встречаются с его глазами.

— На бок — вот так, — говорит Бев Шоу. Издавая воркующие звуки, она сноровисто ухватывает пса и валит его на бок. — Ремень, — говорит она. Он захлестывает тело пса ремнем, и Бев застегивает пряжку. — Так, — говорит Бев. — Думайте о чем-нибудь приятном, о здоровье и силе. Они способны унюхать ваши мысли.

Он наваливается на пса всем телом. Мальчик, предусмотрительно обмотав руку старым тряпьем, ухитряется снова раздвинуть песьи челюсти. У пса выкатываются от ужаса глаза. «Они способны унюхать ваши мысли»... Какая нелепость! «Тише, тише!» — бормочет он. Бев Шоу еще раз тычет ланцетом. Пес давится воздухом, напрягается как струна, потом обмякает.

— Ну вот, — говорит Бев, — теперь пусть о нем позаботится природа.

Она расстегивает ремень, произносит, обращаясь к мальчику, несколько слов на языке, похожем на запинаящийся коса. Спущенный на пол пес уползает под стол. Стеклянная поверхность стола покрыта брызгами крови и слюны. Бев вытирает ее. Мальчик уговаривает пса вылезти.

— Спасибо, мистер Лури. Вы появились очень вовремя. Я чувствую, что вы любите животных.

— Люблю ли я животных? Я ими питаюсь, так что, пожалуй, люблю, частично.

Прическа ее представляет собой плотную копну мелких локонов. Интересно, она сама их завивает, щипцами? Наверяд ли: это занимало бы каждый день по несколько часов. Отродясь не видел он вблизи такой tessitura¹. Прожилки на ушах Бев похожат на красно-лиловую филигрань. Как, собственно, и на носу. Хорош также подбородок, будто зоб у голубя, растущий прямоком из груди. В общем, ансамбль на редкость непривлекательный.

Она размышляет над сказанным, видимо, оставшись глухой к его тону.

— Да, в нашей стране съедают множество животных, — говорит она. — Не похоже, что это приносит нам большую пользу. Не знаю, как мы сможем оправдаться перед ними. — И затем: — Займемся следующим?

«Оправдаться»? Когда? В день Великой Расплаты? Любопытно было бы побольше услышать об этом, но сейчас не время.

¹ Здесь: текстура, сплетение (итал.).

Козел, совсем уже взрослый, едва способен ходить. Половина его мошонки, желто-лиловая, вздулась, как воздушный шарик, другая покрыта запекшейся кровью и грязью. «Это его собаки порвали», — объясняет старуха. Впрочем, выглядит он достаточно бодрым, веселым, боевитым. Пока Бев Шоу осматривает его, он короткой очередью выстреливает на пол несколько катышей. Старуха, держащая козла за рога, притворно его бранит.

Бев Шоу прикасается к мошонке тампоном. Козел лягается.

— Сумеете связать ему ноги? — спрашивает она и показывает как.

Он привязывает правую заднюю ногу козла к правой передней. Тот снова пытается лягнуться, но лишь пошатывается. Бев мягко протирает рану тампоном. Козел дрожит, блеет: неприятный звук, низкий и хриплый.

Когда грязь сходит, он видит, что в ране кишат белые черви, помавающие слепыми головками в воздухе. Его передергивает.

— Мясные мухи, — говорит Бев. — По меньшей мере, недельные. — Она поджимает губы. — Вам следовало давным-давно привести его к нам, — говорит она старухе.

— Да, — отвечает та, — собаки совсем замучили. Экая жалость, экая жалость! Такого самца меньше чем за пять сотен рандов не купишь.

Бев Шоу выпрямляется.

— Прямо не знаю, как и быть. Чтобы самой произвести ампутацию, мне не хватит опыта. По четвергам принимает доктор Остгейзен, хозяинка может дожидаться его, но бедняга все равно

останется стерильным, а нужно ли ей это? Да еще антибиотики. Готова ли она потратиться на антибиотики?

Бев снова опускается рядом с козлом на колени, утыкается макушкой ему в шею, поглаживает ее снизу вверх шапкой своих волос. Козел дрожит, но стоит спокойно. Бев жестом велит старухе отпустить рога. Старуха подчиняется. Козел стоит без движения.

Бев переходит на шепот:

— Ну что скажешь, дружок? — слышит он. — Что скажешь? Может быть, хватит?

Козел стоит неподвижно, словно загипнотизированный. Бев Шоу продолжает поглаживать его головой. Кажется, что и сама она впала в транс.

Наконец она встряхивается и встает.

— Боюсь, слишком поздно, — говорит она старухе. — Я не в силах помочь ему. Вы можете подождать до четверга, в четверг будет врач, или оставьте его у меня. У него будет легкий конец, он позволит мне сделать это для него. Ну что? Оставьте?

Старуха колеблется, затем отрицательно трясет головой. И тянет козла к двери.

— Вы можете привести его ко мне попозже, — говорит Бев Шоу. — Я помогу ему уйти, вот и все.

Хоть Бев и пытается справиться с голосом, он слышит в нем нотки поражения. И козел тоже их слышит: он дергается, пытаясь выпутаться из ремня, взбрыкивая, пригибаясь; непристойная опухоль трясется у него под хвостом. Старуха сдирает ремень, бросает в сторону. Они уходят.

— О чем это вы говорили? — спрашивает он.

Бев Шоу закрывает лицо, сморкается.

— Ничего, ничего. Я держу для плохих случаев достаточно летала, но принуждать владельцев животных мы не вправе. Это их животные, и они предпочитают убивать их по-своему. Какая жалость! Такой достойный малый, храбрый, прямой, уверенный в себе!

Летал — название лекарства? Он не стал бы пользоваться таким вне стен фармацевтической компании. Внезапная тьма, восстающая из вод Леты.

— Возможно, он понял больше, чем вам кажется, — говорит он. К собственному изумлению, он пытается утешить ее. — Возможно, бедолага уже проходил через это. Родился с предвидением, так сказать. В конце концов, это Африка. Козлы и козы жили здесь с начала времен. Им не надо объяснять, что такое сталь и огонь. Они знают, как приходит смерть. Рождаются подготовленными.

— Вы так считаете? — говорит Бев. — А вот я не уверена. Не думаю, что мы готовы умереть, любой из нас, без того, чтобы кто-то нас проводил.

Все начинает вставать на места. У него появляются первые отдаленные представления о задаче, выполнение которой взвалила на свои плечи эта маленькая некрасивая женщина. Унылое строение, в котором она работает, это не место целения — ее врачевание выглядит для этого слишком любительским, — но последний приют. Он вспоминает рассказ о... — кто это был? святой Губерт? — о человеке, давшем прибежище задыхающемуся оленю, который, обезумев, ворвался в его часовню, спасаясь от охотничьих собак. Бев Шоу не ветери-

нар, она жрица, пропитанная суевериями нью-эйджа¹ и пытающаяся, что совершенно абсурдно, облегчить бремя страдающих животных Африки. Люси полагала, что она покажется ему интересной. Люси ошиблась. Интересная — не то слово.

Всю вторую половину дня он проводит в хирургической, помогая в меру своих возможностей. Когда уходит последний клиент, Бев ведет его во двор, на экскурсию. В птичьей клетке только один постоялец — молодой коршун-рыболов со сломанным крылом. Все остальные обитатели двора — это собаки: не ухоженные и чистокровные, как у Люси, а тощие дворняги, почти под завязку заполняющие два загона, брешущие, скулящие, подскакивающие от возбуждения.

Он помогает ей раздать сухой корм и наполнить поилки. Корма уходит два десятикилограммовых мешка.

— Как же вы все это оплачиваете? — спрашивает он.

— Покупаем оптом. Время от времени проводим сбор средств. Получаем пожертвования. Бесплатно холостим животных, за это нам выделяют субсидии.

— И кто их холостит?

— Наш ветеринар, доктор Остхейзен. Но он приходит сюда только раз в неделю, во второй половине дня.

Он смотрит, как едят собаки. Удивительно, но драк почти не происходит. Те собаки, что помельче

¹ Нью-эйдж (New Age) — тип современного мировоззрения, объединяющий в себе представления, почерпнутые из традиционных религий, оккультизма, шаманизма, эзотерики и т. д.

и послабее, держатся сзади, смирясь со своей участью, дожидаясь очереди.

— Беда в том, что их слишком много, — говорит Бев Шоу. — Они этого, конечно, не понимают, а у нас нет способов им все объяснить. Слишком много — это по нашим меркам, не по их. Дай им волю, они все плодились бы и размножались, пока не заселили бы Землю. Им не кажется, что иметь как можно больше детей — это плохо. Чем больше, тем веселее. То же и с кошками.

— И с крысами.

— И с крысами. Да, кстати, когда придете домой, проверьте, не нахватались ли блох.

Одна из собак, наевшись — глаза ее сияют от блаженства, — обнюхивает сквозь сетку его пальцы и облизывает их.

— Они большие эгалитаристы, верно? — замечает он. — Никаких классов. Никто не представляется им слишком высокопоставленным и могущественным, чтобы у него нельзя было понюхать под хвостом.

Он приседает на корточки, позволяя собаке принюхаться к его лицу, к дыханию. У нее смышленная, как ему кажется, морда, хотя, возможно, никакой смышленостью она не отличается.

— И всем им предстоит умереть? — спрашивает он.

— Тем, которые никому не нужны. Мы их усыпляем.

— И занимаетесь этим вы?

— Да.

— Вам не противно?

— Противно. Еще как противно. Но я не хотела бы, чтобы это делал за меня человек, которому не противно. Вот вы — не возьметесь?

Некоторое время он молчит. Затем:

— Вы знаете, почему дочь послала меня к вам?

— Она сказала мне, что у вас неприятности.

— Не просто неприятности. То, что, как мне представляется, можно назвать бесчестьем.

Он всматривается в Бев. Похоже, она чувствует себя неловко; впрочем, не исключено, что это ему лишь кажется.

— Зная об этом, согласитесь ли вы и дальше прибегать к моим услугам?

— Если вы готовы... — Она разводит ладони в стороны, прижимает их одну к другой, снова разводит. Она не знает, что сказать, а он не приходит ей на помощь.

Прежде он останавливался у дочери лишь на короткое время. Теперь же он делит с нею ее дом, ее жизнь. Необходимо соблюдать осторожность, не позволять старым привычкам, отцовским привычкам, тайком вернуться назад: не следует самому надевать на вертушку свежий рулончик туалетной бумаги, гасить свет, сгонять кошку с софы. Упражняйся в приготовлении к старости, наставляет он себя. Учись приспособливаться. Упражняйся, тебе еще жить да жить в доме для престарелых.

Притворившись уставшим, он уходит после ужина в свою комнату, куда доносятся еле слышные звуки, указывающие, что Люси живет своей жизнью: скрип выдвигаемых и задвигаемых ящиков, бормотание радио, приглушенный разговор по телефону. Уж не в Йоханнесбург ли она звонит, не с Хелен ли разговаривает? Не его ли присутствие здесь удерживает их в разлуке? Осмелились

бы они лечь вместе в постель, пока он в доме? И если бы ночью вдруг закрипела кровать, смутились ли бы? Достаточно ли бы смутились, чтобы остановиться? Но что он знает о том, чем занимаются одна с другой женщины? Может, кровати под ними вовсе и не скрипят? И что знает он, в частности, об этих двух, Люси и Хелен? Возможно, они спят вместе так же, как спят вместе дети, крепко обнявшись, трогая друг дружку, хихикая, воскрешая девчоночьи годы, — скорее сестры, чем любовницы? Вместе в постели, вместе в ванне, вместе пекут имбирные коврижки, примеряют платья друг дружки. Сапфическая любовь: хорошее оправдание для лишнего веса.

Правда состоит в том, что ему не по сердцу мысль о дочери, содрогающейся от страсти в объятиях другой женщины, да к тому же еще и некрасивой. Но разве стал бы он счастливее, если б любовником ее был мужчина? Чего он хочет для Люси на самом деле? Не того, чтобы она навсегда осталась ребенком, вечно невинной, вечно принадлежащей только ему, — определенно не этого. Но он отец, такова его доля, а отец, старея, все сильнее и сильнее привязывается — тут уж ничего не поделаешь — к дочери. Она обращается во второе его спасение, в невесту его возроденной юности. Не диво, что в сказках королевы норовят затравить своих дочерей собаками!

Он вздыхает. Бедная Люси! Бедные дочери! Что за участь, какое бремя приходится им нести! Да и сыновья: им тоже невзгод хватает, хотя об этом он знает меньше.

Хорошо бы заснуть. Но он озяб, и сна у него ни в одном глазу.

Он встает, набрасывает на плечи куртку, возвращается в постель. Он читает письма Байрона 1820 года. Потучневший, пожилой в свои тридцать два, Байрон живет с семейством Гвиччиоли в Равенне: с Терезой, его услужливой коротконогой любовницей, и с ее учтивым, недоброжелательным мужем. Летняя жара, вечерние чаепития, провинциальные сплетни, почти нескрываемая зевота. «Женщины сидят кружком, мужчины играют в скучнейший фараон, — пишет Байрон. Адюльтер заставляет его вновь открыть для себя всю скуку супружества. — Я всегда считал тридцатилетие барьером на пути какого бы то ни было подлинного или неистового наслаждения страстью».

Он опять вздыхает. Сколь кратко лето перед приходом осени, а там и зимы! Читает он за полночь, но заснуть ему так и не удастся.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Сегодня среда. Он поднимается рано, однако Люси все равно опережает его.

Он находит ее на запруде — любящейся дикими гусями.

— Какие же они красивые, — говорит Люси. — И каждый год возвращаются. Всегда одна и та же троица. Мне так повезло, что они меня навещают. Я кажусь себе избранной.

Троица. Это могло бы стать своего рода решением. Он, Люси и Мелани. Или он, Мелани и Сорайя.

Они завтракают, потом выводят на прогулку двух доберманов.

— Как ты думаешь, ты смог бы жить в этих местах? — ни с того ни с сего спрашивает Люси.

— Зачем? Тебе нужен новый собачник?

— Нет, я не к тому. Но ты ведь наверняка мог бы получить работу в университете Родса — у тебя же есть там связи — или в Порт-Элизабет.

— Не думаю, Люси. Я утратил рыночный потенциал. Скандал прилип ко мне, он последует за мной повсюду. Нет, если искать работу, то какую-нибудь неприметную, вроде счетовода, если они еще существуют, или уборщика на псарне.

— Но если ты хочешь положить конец сплетням, разве тебе не следует бороться за себя? Ведь от того, что ты сбежишь, слухи только умножатся.

В детстве Люси была девочкой тихой, старавшейся не лезть на глаза; она наблюдала за ним, но, сколько он помнит, никогда никаких суждений не высказывала. Теперь, на третьем десятке лет, она начала отделяться от него. Собаки, возня с огородом, книги по астрологии, бесполоая одежда — во всем узнает он попытку утвердить свою независимость, попытку обдуманную, взвешенную. К тому же сводится и стремление обходиться без мужчин. Она сама строит свою жизнь. Выходя из его тени. И прекрасно! Он это одобряет!

— По-твоему, я именно так и поступил? — спрашивает он. — Сбежал с места преступления?

— Ну, ты же устранился. С практической точки зрения тут нет никакой разницы.

— Ты, голубка моя, не поняла самой сути. То дело, которое тебе хочется, чтобы я выиграл, выиграть уже невозможно, basta. Не в наши дни. Если я и попробую, никто меня слушать не станет.

— Неправда. Даже если ты тот, кем себя считаешь, то есть динозавр в нравственном отношении, все равно каждому любопытно будет послушать говорящего динозавра. И мне не меньше других. В чем оно состоит, твое дело? Давай-ка послушаем.

Он колеблется. Действительно ли ей хочется, чтобы он открыл ей побольше интимных подробностей?

— В основе моего дела лежит право на вожделение, — говорит он. — В нем чувствуется рука того самого бога, который заставляет трепетать даже мелких пичуг.

Он видит себя в квартире девушки, в ее спальне — снаружи льет дождь, от обогревателя в углу

тянет масляным запахом, он стоит над ней на коленях, раздевая ее, руки девушки свисают, как у покойницы. «Я был служителем Эроса», — вот что он хочет сказать, но хватит ли ему на это бесстыдства? «Бог направлял меня». Какое тщеславие! И все-таки не ложь, не целиком и полностью. Вся эта несчастная история возникла не на пустом месте, она возросла на обильной, плодородной почве — той, что дает жизнь самым красивым цветам. Если бы он только знал тогда, как мало у него времени!

Он заговаривает снова, теперь медленнее:

— Когда ты была маленькая, мы жили в Кенилворте, у наших соседей была собака, золотистый ретривер. Не знаю, помнишь ли ты ее.

— Смутно.

— Собственно, это был кобель. Стоило какой-нибудь суке появиться поблизости, как он забывал обо всем на свете, становился неуправляемым, и хозяйева с павловской регулярностью лупили его. Продолжалось это до тех пор, пока бедный пес не запутался окончательно. В итоге он, почуяв запах суки, принимался метаться по двору, прижав уши, поджав хвост, скуля и норовя где-нибудь спрятаться.

Он замолкает.

— Не понимаю, к чему ты это? — спрашивает Люси.

И действительно, к чему?

— В этом зрелище было нечто настолько постыдное, что оно приводило меня в отчаяние. Мне кажется, можно наказывать собаку за какой-то проступок, скажем, за изжеванную тапку. И собака примет наказание как должное: сжевала — получи. Но возжелание — это совсем иное дело.

Ни одно животное не сочтет справедливым наказание, полученное за то, что оно следовало своим инстинктам.

— Значит, мы должны позволить мужчинам без удержу следовать их инстинктам? В этом и состоит мораль?

— Нет, мораль не в этом. Постыдность увиденного мной в Кенилворте в том, что бедный пес возненавидел собственную природу. Его больше и бить-то было не нужно. Он старался наказать себя сам. Всего лучше было бы пристрелить его.

— Или кое-что отрезать.

— Быть может. Но думаю, в глубине души он предпочел бы пулю. Предпочел бы другим предлагаемым ему возможностям: с одной стороны, отказаться от своей природы, с другой — провести остаток дней, слоняясь по гостинной, вздыхая, обнюхивая кошку и жирея.

— И ты всегда держался таких взглядов, Дэвид?

— Нет, не всегда. Временами прямо противоположных. Считал воздержание бременем, без которого мы вполне могли бы обойтись.

— Должна сказать, — произносит Люси, — что сама я склоняюсь к последней точке зрения.

Он ждет продолжения, но продолжения не следует.

— Во всяком случае, — говорит Люси, — если вернуться к нашей теме, тебя благополучно прогнали. Твои коллеги снова могут дышать спокойно, пока козел отпущения блуждает в пустыне.

Утверждение? Вопрос? Она действительно считает его козлом отпущения?

— Не думаю, что «козел отпущения» наилучшая формулировка, — осторожно начинает он. —

Козлы отпущения приносили практическую пользу, пока за ними стояла мощь веры. Ты взваливал все грехи города на козлиную спину, выгонял его в пустыню, и готово — город очищался. Процедура срабатывала, поскольку все, включая богов, понимали значение обряда. Потом боги умерли, и вдруг выяснилось, что очищать город придется без помощи свыше. Взамен символических действий понадобились реальные. Так появился цензор¹ в римском смысле этого слова. Девизом стал надзор: надзор всех за всеми. Очищение сменилось чисткой.

Опять его потянуло лекцию читать.

— Как бы там ни было, — говорит он, закругляясь, — сказав городу «прости», какое занятие отыскал я для себя в пустыне? Лечу собак. Изображаю незаменимого помощника при женщине, которая специализируется в стерилизации и эвтаназии.

Люси смеется.

— Бев? Ты считаешь Бев частью механизма подавления? Да ты внушаешь ей благоговение! Ты же профессор. А она никогда еще не видела настоящего, почтенного профессора. Она боится сделать в твоём присутствии грамматическую ошибку.

По тропе навстречу им идут трое мужчин, вернее, двое мужчин и юноша. Идут быстро, размашистой походкой сельских жителей. Собаки замедляют шаг, ошетиниваются.

— Не пора ли нам занервничать? — негромко произносит он.

— Не знаю.

¹ Одно из двух должностных лиц, следивших в Древнем Риме за благонадежностью граждан.

Она берет доберманов на короткий поводок. Мужчины приближаются. Кивок, приветствие, и они проходят мимо.

— Кто это? — спрашивает он.

— Никогда их в глаза не видала.

Они доходят до границы фермы, поворачивают назад. Чужаков нигде не видно.

Подходя к дому, они слышат истошный собачий лай. Люси убыстряет шаг.

Вся троица здесь, поджидает их. Двое стоят в сторонке, юнец около клеток шипит на собак, делает резкие, угрожающие движения. Собаки неистово лают, щелкают зубами. Доберманы рвутся с поводка. Даже старая бульдожиха, которую он уже привык считать своей, негромко рычит.

— Петрас! — зовет Люси. Но Петраса нет и в помине. — Отойди от собак! — кричит она. — Hamba!

Юнец неторопливо отходит от клеток и присоединяется к товарищам. У него плоское, невыразительное лицо и пороссячьи глазки; он в цветастой рубашке, мешковатых брюках, желтой соломенной шляпчонке. Оба его товарища в рабочих комбинезонах. Тот, что повыше, хорош собою, на редкость хорош — высокий лоб, лепные скулы, широкие, выпуклые ноздри.

При приближении Люси собаки успокаиваются. Она открывает третий вольер и загоняет туда доберманов. Отважный жест, думает он про себя; вот только разумный ли?

Люси обращается к мужчинам:

— Что вам нужно?

Отвечает юнец:

— Нам нужно позвонить.

— Зачем?

— Его сестра... — юнец неопределенно тычет пальцем себе за спину, — ей плохо.

— Плохо?

— Да, очень плохо.

— Что с ней такое?

— Рожает.

— Его сестра рожает?

— Да.

— Откуда вы?

— Из Эразмускраалья.

Он и Люси обмениваются взглядами. Эразмускрааль — это деревушка в лесной глухомани, без электричества и телефона.

— Почему вы из лесничества не позвонили?

— Так там телефона нету.

— Побудь здесь, — вполголоса говорит ему Люси и снова обращается к юнцу: — Кто из вас будет звонить?

Юнец указывает на высокого красавца.

— Пойдемте, — говорит Люси и, отперев заднюю дверь, входит в дом.

Высокий следует за ней. Чуть погодя второй мужчина, обойдя его, тоже скрывается в доме. Что-то не так, мгновенно понимает он.

— Люси, выходи оттуда! — кричит он, на миг растерявшись, не понимая, что делать — последовать ли за вторым пришельцем или остаться здесь, чтобы не упускать из виду юнца.

Из дома не доносится ни звука.

— Люси! — снова зовет он и почти уже входит в дом, но тут щелкает дверной замок.

— Петрас! — что есть мочи кричит он.

Юнец, развернувшись, несется к передней двери. Он спускает бульдожиху с цепи. «Взять!» — кричит он. Собака тяжело трусит за юнцом.

Он нагоняет их у входа в дом. Юнец, подхватив с земли жердину, старается не подпустить к себе собаку. «Шу... шу... шу!» — пыхтит он, делая выпады палкой. Собака, негромко рыча, заходит то слева, то справа.

Бросив их, он устремляется к кухонной двери. Нижняя створка ее закреплена слабо: несколько сильных ударов, и она отворяется. Встав на четвереньки, он забирается в кухню.

На затылок его обрушивается удар. Он еще успевает подумать: «Раз я в сознании, значит, жив», но тут руки и ноги его обмякают и он валится на пол.

Он осознает, что его волокут по кухне. Затем лишается чувств.

Он лежит лицом на холодных кафельных плитках. Пытается встать, однако ноги почему-то не слушаются его. Он снова закрывает глаза.

Он в уборной, уборной в доме Люси. Пошатываясь, он поднимается на ноги. Дверь заперта, ключ исчез.

Он садится на унитаз, пытается собраться с мыслями. В доме тихо; собаки, правда, лают, но, похоже, больше из чувства долга, чем от злобы.

— Люси! — хрипит он, затем громче: — Люси!

Он пытается вышибить дверь, но силы у него сейчас не те, в уборной тесно, а дверь слишком стара и крепка.

Вот он и настал, день испытаний. Без предупреждения, без фанфар день этот пришел, сразу взяв его в оборот. Сердце в груди колотится так, словно и оно, бессловесное, тоже знает об этом. Как они вынесут испытание, он и его сердце?

Дитя его в руках чужаков. Еще минута, час, и будет слишком поздно, то, что с ней сейчас

происходит, станет высеченным в камне, обратится в прошлое. Но *сейчас*, сейчас еще не поздно. *Сейчас* он должен хоть что-то сделать.

Он изо всех сил напрягает слух, но из дома не доносится ни звука. И все же если б дочь позвала его, даже немо, он, конечно, услышал бы!

Он колотит по двери.

— Люси! — кричит он. — Люси! Скажи что-нибудь!

Дверь распахивается, почти сбивая его с ног. На пороге второй мужчина, тот, что пониже, — стоит, держа за горлышко пустую литровую бутылку.

— Ключи, — говорит он.

— Нет.

Мужчина толкает его в грудь. Несколько шатких шагов назад, и он почти падает на сиденье унитаза. Мужчина заносит бутылку над головой. Лицо у него спокойное, без признаков раздражения. Человек просто делает свое дело: заставляет ближнего отдать то, что ему нужно. Если при этом приходится бить кого-то бутылкой по голове, он бьет — столько раз, сколько потребуется, — если приходится разбивать бутылку, он разбивает.

— Берите, — говорит он. — Берите все. Только дочь не трогайте.

Мужчина молча берет ключи и снова запирает его.

Он дрожит. Опасная троица. Почему он не понял это вовремя? Но ему они вреда не причинили, пока. Возможно ли, что они удовлетворятся найденным в доме? Возможно ли, что они и Люси не причинят вреда?

Откуда-то из-за дома доносятся голоса. Лай становится громче, взволнованнее. Он забира-

ется на унитаз, смотрит сквозь прутья оконной решетки.

Второй мужчина, с ружьем Люси в одной руке и набитым чем-то мешком для мусора, как раз сворачивает за угол. Хлопает дверца машины. Он узнает звук: это его машина. Мужчина возвращается с пустыми руками. Какой-то миг они глядят прямо в глаза друг другу. «Здорово!» — произносит мужчина, хмуро ухмыляется и затем выкрикивает несколько непонятных слов. Слышится взрыв смеха. Секунду спустя к мужчине присоединяется юнец, они стоят под окном, разглядывая своего узника, обсуждая его дальнейшую участь.

Он говорит по-итальянски и по-французски, но ни итальянский, ни французский не спасут его здесь, в черном сердце этого Черного континента. Он беспомощен — тетушка Салли, персонаж комикса, миссионер в сутане и тропическом шлеме, с заломленными руками и опущенным долу взглядом, ожидающий, когда дикари, неспешно переговаривающиеся на своей тарабарщине, бросят его в котел с кипящей водой. Труды проповедников — какие следы оставила эта грандиозная попытка духовного просветления? Он их, во всяком случае, не видит.

Теперь со стороны фасада появляется высокий, в руках у него ружье. С непринужденностью, свидетельствующей о немалом опыте, он вгоняет патрон в казенник и просовывает дуло в собачий вольер. Самая крупная из немецких овчарок, из пасти которой капает яростная слюна, вцепляется в дуло. Гулкий выстрел, кровь и мозги разлетаются по вольеру. На миг лай стихает. Высокий стреляет еще дважды. Одна из собак, с простреленной

грудью, умирает мгновенно; другая, с зияющей на шее раной, тяжело оседает и, прижав уши, следит за движениями существа, которое не потрудилось даже нанести ей *coup de grâce*¹.

Повисает тишина. Три оставшиеся собаки, которым некуда спрятаться, отступают в дальний конец вольера и кружат там, поскуливая. Высокий не спеша пристреливает и их.

Шаги в коридоре, дверь уборной снова распадается. Перед ним второй из налетчиков; на заднем плане виден мальчишка в цветастой рубашке, угощающийся из маленького бочоночка мороженым. Плечом вперед он пытается протиснуться мимо прищельца и тут же валится на пол. Умелая подсечка — верно, научился ей, играя в футбол.

Пока он лежит, распластавшись, на полу, его с головы до ног обливают какой-то жидкостью. Жидкость ест глаза, он пытается стереть ее. Знакомый запах — денатурат. Он хочет приподняться, но его толкают назад, в уборную. Чиркает спичка, холодноватое синее пламя мгновенно охватывает его.

Выходит, он ошибся! Ни ему, ни дочери легко отделаться не удалось! Он может сгореть, умереть, а если он может умереть, то и Люси тоже, Люси прежде всего!

Как безумный, он хлопает себя ладонями по лицу, но уже занимаются, потрескивая, волосы; он бьется о стены уборной с бессмысленным воем, в котором нет слов, один только ужас. Он снова пытается встать, и снова его валят на пол. На миг

¹ Последний удар (*фр.*).

зрение его проясняется, и в дюйме от своего лица он видит синюю штанину и башмак. Носок башмака загнулся кверху, к подошве пристало несколько травинок.

Пламя бесшумно танцует на руках. С трудом привстав на колени, он окунает руки в унитаз. За спиной его хлопает дверь, поворачивается в замке ключ.

Согнувшись над унитазом, он плещет воду себе на лицо, обливает голову. Отвратительный запах паленых волос. Он поднимается на ноги, сбивает с одежды последние язычки пламени.

Он промокает лицо комками туалетной бумаги. Глаза жжет, одно веко почти закрылось. Он проводит ладонью по голове, и кончики пальцев чернеют от сажи. Если не считать клока за одним ухом, волос у него, похоже, не осталось, к голове больно прикасаться. Ко всему больно прикасаться, все обгорело. Горело, обгорело.

— Люси! — кричит он. — Ты здесь?

Перед глазами его встает картина: Люси, борющаяся сразу с двумя мужчинами в синих комбинезонах, отбивающаяся от них. Он весь сжимается, стараясь отогнать видение.

Мотор его машины заводится, слышен хруст гравия под колесами. Так это все? Боже мой, неужели они уезжают?

— Люси! — снова и снова зовет он, пока сам не замечает ноты безумия в своем голосе.

Наконец в замке скрежещет, да благословят его небеса, ключ. Когда он открывает дверь, Люси уже успевает повернуться к нему спиной. Она в халате, босая, волосы мокрые. Он тащится за нею на кухню, где холодильник стоит распахнутым настежь

и по всему полу раскиданы продукты. Люси замирает у задней двери, оглядывая последствия учиненной в собачьих загонах бойни. Он слышит ее шепот: «Бедные вы мои, бедные!»

Она открывает первый вольер, входит внутрь. Пес с раной на шее каким-то образом еще ухитряется дышать. Она склоняется над раненым, произносит несколько слов. Пес слабо повиливает хвостом.

— Люси! — вновь окликает он, и Люси впервые обращает на него взгляд. Лицо ее еще пуще мрачнеет.

— Господи, что они с тобой сделали? — произносит она.

— Девочка моя! — говорит он и, войдя в вольер, обнимает ее. Она высвобождается, мягко, но решительно.

В гостиной все вверх дном, в его комнате тоже. Исчезли кое-какие вещи: куртка, туфли, те, что получше, но это, конечно, не все.

Он смотрится в зеркало. Бурый пепел — то, что осталось от его волос, — покрывает макушку и лоб. Под пеплом воспаленно краснеет кожа. Он прикасается к ней: больно, и уже начинает сочиться кровь. Одно веко раздулось, закрыв глаз, бровей нет, ресниц тоже.

Он направляется к ванной комнате, но дверь ее заперта.

— Не входи, — слышится голос Люси.

— Ты не пострадала? Не ранена?

Дурацкие вопросы; она не отвечает.

Он пытается смыть пепел над кухонной раковиной, выливая на голову один стакан воды за другим. Вода течет по спине, его начинает трясти от

холода. Такие вещи случаются каждый день, каждый час, каждую минуту, говорит он себе, в каждом уголке страны. Считай, что тебе повезло, ты остался в живых. Считай, что тебе повезло, ты не сидишь сейчас заложником в собственной несущейся неизвестно куда машине, не лежишь с пулей в голове на дне ущелья. Считай, что повезло и Люси. Люси прежде всего.

Риск обладания: машиной, парой туфель, пачкой сигарет. Всего же не хватает — машин, туфель, сигарет. Людей слишком много, вещей слишком мало. Те, что имеются в наличии, должно пускать по кругу, чтобы у каждого был шанс хоть денек да побыть счастливым. Такова теория — держись за нее и за доставляемое ею утешение. Не зло, корнящееся в человеке, а просто система кругооборота, функционирование которой не имеет никакого отношения ни к ужасу, ни к жалости. Вот как следует рассматривать жизнь в этой стране, в таком примерно схематическом аспекте. Иначе можно спятить. Машины, туфли, да и женщины тоже. В системе должна быть какая-то ниша для женщин и для того, что с ними случается.

Люси подходит к нему сзади. На ней широкие брюки и дождевик; волосы зачесаны назад, лицо чистое и совершенно пустое. Он заглядывает в ее глаза.

— Милая, милая... — бормочет он и давится внезапно нахлынувшими слезами.

Она не делает ни малейшей попытки успокоить его.

— Голова у тебя выглядит просто жутко, — произносит она. — В ванной, в шкафчике, есть детский крем. Намажься. Машину твою угнали?

— Да. Думаю, они направились в сторону Порт-Элизабет. Я позвоню в полицию.

— Не получится. Телефон разбит.

Она оставляет его одного. Он сидит на кровати, ждет. Хоть он и завернулся в одеяло, его продолжает трясти. Одно запястье распухло, в нем пульсирует боль. Как он его повредил, он не помнит. Уже темнеет. Кажется, что вся вторая половина дня пролетела в одно мгновение.

Люси возвращается.

— У комби проколоты шины, — говорит она. — Пойду к Эттингеру. Это недолго. — И, немного помолчав: — Дэвид, когда тебя будут расспрашивать, говори только о себе, о том, что было с тобой, ладно?

Он не понимает.

— Ты говоришь, что случилось с тобой, я говорю, что случилось со мной, — поясняет она.

— Ты совершаешь ошибку, — произносит он голосом, который быстро вырождается в хрип.

— Нет, не совершаю, — отвечает она.

— Девочка, моя девочка! — говорит он, протягивая к ней руки.

Она не делает ни шага навстречу, и потому он отбрасывает одеяло, встает и обнимает ее. В его объятиях она остается застылой, деревянной, как столб, неподатливой.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Эттингер оказывается хмурым стариком, говорящим по-английски с нарочитым немецким акцентом. Жена его умерла, дети вернулись в Германию, только он один и остался в Африке. Старик и сидящая с ним рядом Люси приезжают в маленьком пикапе и ждут, не выключая двигателя.

— Да-а, я без «беретты» никуда ни шагу, — сообщает Эттингер, когда они выезжают на Грейамстаунское шоссе, и похлопывает по висящей на бедре кобуре. — Самое милое дело — охраняй себя сам, потому что полиция тебя охранять не намерена, это уж будьте уверены, только не в наши дни.

Эттингер прав? Имейся у него пистолет, он мог бы спасти Люси? Сомнительно. Имейся у него пистолет, он, скорее всего, был бы сейчас мертв, и он, и Люси.

Руки у него, замечает он, чуть дрожат. Люси скрестила свои на груди. Это потому, что и они дрожат тоже?

Он полагал, что Эттингер свезет их в полицейский участок. Выясняется, однако, что Люси попросила его ехать в больницу.

— Ради меня или ради тебя? — спрашивает он у дочери.

— Ради тебя.

— Разве полиция не захочет поговорить и со мной?

— Нет ничего такого, что сможешь рассказать ты и не смогу я, — отвечает она. — Или есть?

В больнице она направляется напрямиком к двери с табличкой «Несчастные случаи», заполняет от его имени формуляр и отводит его в приемную. Она — сама сила, сама целеустремленность, между тем как у него дрожь, похоже, расплзается по всему телу.

— Если тебя отпустят домой, подожди здесь, — распоряжается она. — Я за тобой вернусь.

— А как же ты?

Она пожимает плечами. Если она и дрожит, то ничем этого не выдает.

Он усаживается между двумя дюжими девушками, скорее всего сестрами (одна из них держит на руках стонущего ребенка), и мужчиной с пропитанной кровью повязкой на руке. В очереди он двенадцатый. Часы на стене показывают 5.45. Он закрывает уцелевший глаз и проваливается в обморочное забытье, в котором сестры так и продолжают шептаться, *chuchoter*¹. Когда он открывает глаз, часы по-прежнему показывают 5.45. Сломались, что ли? Нет: минутная стрелка, дернувшись, замирает на 5.46.

Проходит два часа, прежде чем медицинская сестра выкликает его имя, и приходится еще ждать, пока не наступает его черед увидеть единственного здесь дежурного врача, молодую индианку.

— Ожоги на голове, — говорит она, — несерьезные, нужно лишь остерегаться инфекции.

Глаз отнимает у нее гораздо больше времени. Верхнее и нижнее веки слиплись, разделение их оказывается на редкость болезненным.

¹ Шушукаться (*фр.*).

— Вам повезло, — говорит она, закончив осмотр. — Глаз не поврежден. Облей они вас бензином, совсем другая была бы история.

Он выходит от нее с забинтованной головой, с закрытым повязкой глазом, с примотанным к запястью пузырем со льдом. В приемной он с удивлением обнаруживает Билла Шоу. Билл, который на голову ниже его, обнимает его за плечи.

— Ужасно, просто ужасно, — говорит он. — Люси останется у нас. Она хотела сама забрать вас отсюда, но Бев и слышать об этом не пожелала. Ну, как вы?

— Более-менее. Легкие ожоги, ничего серьезного. Простите, что мы испортили вам вечер.

— Глупости! — говорит Билл. — Для чего же еще существуют друзья? Вы бы сделали то же самое.

Произнесенные без тени иронии, слова эти застревают в его сознании, не желая никуда уходить. Билл Шоу верит, что если его, Билла Шоу, стукнут по голове, а потом подожгут, то он, Дэвид Лури, приедет в больницу и будет сидеть, не имея даже газеты в руках, дожидаясь, когда Билла можно будет отвезти домой. Билл Шоу верит в это, потому что он и Дэвид Лури как-то раз выпили вместе по чашке чаю и, стало быть, связаны теперь взаимными обязательствами. Прав ли Билл Шоу или ошибается? Неужели Билл, родившийся в Хан-ки, километрах в двухстах отсюда, и работающий в скобяной лавке, видел в жизни так мало, что даже не ведает о существовании людей, которые не питают особой охоты обзаводиться друзьями, людей, чье отношение к мужской дружбе разъедено скептицизмом? Современное английское «friend», «друг», происходит от староанглийского «freond».

а то — от «freon», «любить». Выходит, совместное чаепитие связует, согласно воззрениям Билла Шоу, людей узами любви? Да, но не будь Бев и Билла Шоу, не будь Эттингера, не будь определенного рода уз, где бы он сейчас находился? На разграбленной ферме со сломанным телефоном, среди мертвых собак.

— Ужасная история, — повторяет Билл Шоу, когда они садятся в машину. — Отвратительная. Читаешь о таком в газете — оторопь берет, но когда оно случается с кем-то, кого ты знаешь, — Билл покачивает головой, — вот тогда до тебя доходит по-настоящему. Как будто вокруг снова идет война.

Он не дает себе труда ответить. День еще не умер, еще живет. «Война», «отвратительная» — каждое слово, которым ты пытаешься подвести черту под этим днем, исчезает в его черном зеве.

Бев Шоу встречает их в дверях.

— Люси приняла успокоительное, — объявляет она, — и легла; ее лучше не трогать.

— Она была в полиции?

— Да, ваша машина объявлена в розыск.

— А с врачом она виделась?

— Все сделано. Вы-то как? Люси сказала, вы сильно обгорели.

— Обгорел, но не так сильно, как кажется.

— Тогда вам надо поесть и отдохнуть.

— Я не голоден.

Бев наполняет для него большую старомодную чугунную ванну. Он вытягивается в парящей воде во всю свою белокожую длину и пытается расслабиться. Однако когда приходит время вылезать из ванны, он оскальзывается и чуть не падает:

слаб, как ребенок, да еще и голова кружится. Приходится звать Билла Шоу и, ежась от унижения, принимать помощь, без которой он не смог бы ни выбраться из ванны, ни вытереться, ни влезть в одолженную ему пижаму. Чуть позже он слышит приглушенные голоса Бев и Билла и понимает, что разговор идет о нем.

В больнице его снабдили стеклянным тубиком с болеутоляющим, пакетом перевязочного материала и приспособлением из алюминия, этакой подпоркой для головы. Бев Шоу постелила ему на пахнущем кошками диване; засыпает он с удивительной быстротой. Среди ночи он просыпается с совершенно ясной головой. Ему явилось видение: Люси звала его, эхо произнесенных ею слов — «Сюда, сюда, спаси меня!» — все еще отдаётся в ушах. В видении она — с протянутыми к нему руками и зачесанными назад мокрыми волосами — стояла в поле белого света.

Он вскакивает, напарывается на стул, тот падает. Вспыхивает свет, перед ним — Бев Шоу, в ночной сорочке. «Я должен поговорить с Люси», — с трудом произносит он. Во рту пересохло, язык распух.

Дверь, ведущая в комнату Люси, открывается. Она совсем не такая, как в видении. Лицо припухло со сна, она подтягивает пояс халата, явно с чужого плеча.

— Прости, мне приснился сон, — говорит он. Слово «видение» становится вдруг слишком архаичным, слишком фальшивым. — Как будто ты меня позвала.

Люси качает головой.

— Я не звала. Ложись.

Она права, конечно. Три часа утра. Но он поневоле замечает, что во второй раз на дню дочь говорит с ним как с ребенком — ребенком или стариком.

Он пытается заснуть, но не может. Скорее всего, дело в таблетках, решает он: не видение, даже не сон, а так, химическая галлюцинация. И все же женщина в поле света по-прежнему стоит перед его глазами. «Спаси меня!» — кричит дочь, слова ее ясны, звучны, настоятельны. Быть может, душа Люси и вправду приходила к нему, покинув ее тело? Могут ли люди, не верящие в существование душ, все-таки обладать ими, и могут ли души их вести свою, независимую жизнь?

До восхода еще несколько часов. Запястье ноет, глаза жжет, кожа на голове воспалена, болезненно чувствительна. Он тихо включает настольную лампу, встает. Завернувшись в одеяло, толкает дверь Люси и входит. Рядом с кроватью стоит кресло, он садится. Чувства говорят ему, что Люси не спит.

Что он тут делает? Охраняет свою девочку, оберегает ее от беды, отгоняет злых духов. Спустя какое-то время он ощущает, как она расслабляется. Нежный пузырек лопается на ее губах, она еле слышно похрапывает.

Утро. Бев Шоу подает ему завтрак, состоящий из кукурузных хлопьев и чая, и скрывается в комнате Люси.

— Как она? — спрашивает он, когда Бев возвращается.

В ответ Бев лишь слегка качает головой. Не ваше это дело, видно, хочет сказать она. Менструа-

ции, роды, изнасилование и то, что за ним, все, замешенное на крови, суть бремя женщины, ее сокровенная тайна.

Уже не в первый раз он задается вопросом: не счастливее были бы женщины, живи они в женских общинах и принимая мужчин только по собственному выбору. Возможно, он ошибается, считая Люси лесбиянкой. Возможно, она просто предпочитает общество женщин. А возможно, в этом и состоит определение лесбиянки: женщина, которой не требуются мужчины.

Неудивительно, что они — Люси и Хелен — относятся к изнасилованию с таким ярым отвращением. Изнасилование, бог хаоса и смешения, осквернитель уединения. Изнасилование же лесбиянки хуже изнасилования девственницы — удар получается куда более чувствительным. Знали ли они, эти трое, с кем имеют дело? Ходили ль уже вокруг разговору?

В девять, после того как Билл Шоу уходит на работу, он стучится в дверь Люси. Дочь лежит, повернувшись лицом к стене. Он садится с ней рядом, прикасается к ее щеке. Щека мокра от слез.

— Нелегко говорить о таких вещах, — произносит он, — но повидалась ли ты с врачом?

Люси садится, сморкается.

— Я была вчера вечером у терапевта.

— И он позаботился обо всех возможных последствиях?

— Она, — говорит Люси, — она, а не он. Нет, — в ее голосе вдруг проступает гнев, — да и как бы ей это удалось? Как может врач позаботиться обо всех последствиях? Ты все-таки думай, что говоришь!

Он встает. Если ей угодно злиться, то и он это тоже умеет.

— Прости, что спросил, — говорит он. — Какие у нас планы на сегодня?

— Планы? Вернуться на ферму и навести там порядок.

— А потом?

— А потом жить по-прежнему.

— На ферме?

— Разумеется. На ферме.

— Люси, будь благоразумна. Все изменилось. Мы не можем просто начать с того места, на котором нас остановили.

— Это почему же?

— Потому что это нелепая идея. И потому, что там небезопасно.

— Безопасно там никогда не было. И это не идея, нелепая или умная. Я возвращаюсь туда не ради идеи. Просто возвращаюсь.

Сидя на кровати в чужой ночной рубашке, она бросает ему вызов — шея выпрямлена, глаза блещут. Уже не папина девочка, уже больше нет.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Прежде чем уехать, приходится переменить повязки. В тесной маленькой ванной Бев Шоу размазывает бинты. Веко по-прежнему закрывает глаз, на голове вздулись волдыри, но в общем и целом могло быть и хуже. Самое болезненное место — это кромка правого уха, единственное, как сказала молоденькая докторша, что обгорело по-настоящему.

Бев стерильным раствором обмывает вылезшую наружу розовую подкожную ткань, затем с помощью пинцета накладывает поверх нее желтоватую маслянистую повязку. Мягкими касаниями смазывает складки века и ухо. Работает она молча. Он вспоминает клинику, козла и гадает, ощущал ли тот, отдаваясь в ее руки, такой же мир и покой.

— Ну вот, — наконец произносит она, выпрямляясь.

Он разглядывает себя в зеркале — аккуратная белая шапочка, закрытый бинтом глаз.

— Полный порядок, — говорит он, но думает при этом: «Вылитая мумия».

Он еще раз пытается поговорить об изнасиловании.

— Люси сказала, что побывала вчера вечером у терапевта.

— Да.

— Существует риск беременности, — торопливо продолжает он. — Риск венерического заболевания. Риск СПИДа. Разве ей не стоит повидаться и с гинекологом?

Бев неуклюже пытается уклониться от разговора.

— Это вы у самой Люси спросите.

— Я спрашивал. Но не добился никакого толка.

— Спросите еще раз.

Уже двенадцатый час, а Люси все еще не вышла. Он бесцельно слоняется по саду. Настроение у него сумрачное. Дело не только в том, что он не знает, чем себя занять. Вчерашние события глубоко потрясли его. Дрожь, слабость — это лишь первые, поверхностные признаки потрясения. У него такое чувство, что зашиблен, подбит какой-то его внутренний, жизненно важный орган — может быть, сердце. Впервые ощущает он вкус того, на что это похоже — быть стариком, человеком, усталым до мозга костей, без надежд, без желаний, равнодушным к будущему. Сгорбясь на пластмассовом стуле, торчащем среди зловонных куриных перьев и гниющих яблок, он ощущает, как интерес к миру капля за каплей истекает из него. Пройдут, возможно, недели, возможно, месяцы, прежде чем интерес этот иссякнет, пока же капли сочатся не переставая, и когда все кончится, он станет похожим на застрявшую в паутине мушину оболочку, ломкую, легкую, как рисовая шелуха, дунь — и ее нет.

Ждать помощи от Люси не приходится. Терпеливо, безмолвно Люси должна сама отыскивать для себя дорогу из тьмы к свету. Пока же она не придет в себя, ответственность за их повседневную жизнь лежит на нем. Но все произошло слишком быстро.

К этой ноше он не готов: ферма, огород, псарня. Будущее Люси, его будущее, будущее страны — все это ерунда, хочется сказать ему; пусть катятся к чертям собачьим, мне наплевать. Что до нагрывавших к ним мужчин, то он желает им всяческих бед, а больше и думать о них не хочет.

Это просто последствия, последствия нападения, говорит он себе. Со временем организм справится с ними, и я, призраж, поселившийся в нем, снова стану тем, кем был. Но правда выглядит совершенно иначе, и он это знает. Наслаждение, которое доставляла ему жизнь, уничтожено. Подобно листку в потоке, подобно грибу-дождевику на ветру, он поплыл, покатил к своему концу. Он видит это более чем отчетливо, и видение наполняет его (слово не желает никуда уходить) отчаянием. Кровь жизни истекает из тела, и место ее занимает отчаяние, подобное газу — без запаха, без вкуса, без способности хоть чем-то его напитать. Ты вдыхаешь этот газ, члены твои расслабляются, и тебя уже ничто не заботит, даже в миг, когда горла твоего касается сталь.

Звонок в дверь: двое молодых полицейских в чистеньких новых мундирах, припешедших, чтобы начать расследование. Люси выходит из своей комнаты, вид у нее измученный, на ней та же одежда, что вчера. От завтрака она отказывается. Бев в своем фургончике отвозит его и Люси на ферму, полицейские едут следом.

Тела собак так и валяются по вольерам. Бульдожиха Кэти не сбежала, в какой-то момент они видят ее крадущейся вдоль конюшен, но к ним она не подходит. Петраса по-прежнему нет и в помине.

Войдя в дом, полицейские снимают фуражки, суют их под мышки. Он не принимает участия в разговоре, предоставляя Люси рассказать полицейским то, что она считает нужным рассказать. Полицейские уважительно слушают, один из них записывает каждое слово, ручка нервно рыскает по страницам записной книжки. Они принадлежат к ее поколению и все же держатся от нее на расстоянии, как от существа оскверненного, способного и их запятнать своей скверной.

Их было трое, рассказывает Люси, двое мужчин и юноша. Они обманом проникли в дом, забрали (следует перечисление) деньги, одежду, телевизор, проигрыватель для компакт-дисков, ружье с патронами. Когда отец попробовал им воспротивиться, его избили, облили денатуратом и попытались сжечь. Потом перестреляли собак и уехали в его машине. Она описывает мужчин, их костюмы, описывает машину.

Говоря, Люси глядит ему прямо в лицо, словно бы черпая в нем силы или предлагая опровергнуть сказанное. Когда один из полицейских спрашивает: «Как долго длился весь инцидент?», Люси отвечает: «Минут двадцать-тридцать». Неправда, — и он, и она это знают. Гораздо дольше. На сколько? На столько, сколько потребовалось мужчинам, чтобы управиться с хозяйкой дома.

Тем не менее он не вмешивается. «Все ерунда»: он едва прислушивается к рассказу Люси. Слова, с прошлой ночи маячившие на границе памяти, начинают обретать законченную форму. «Двух старушек замкнули в сортире, / Они просидели там дня четыре, / Забыли про них нехорошие люди». Сидел замкнутым в сортире, пока пользова-

лись его дочерью. Песенка из детства вернулась, чтобы глумливо ткнуть в него пальцем. «Господи боже, что теперь будет?» Будет тайна Люси и его бесчестье.

Полицейские осторожно обходят дом, осматриваются. Ни крови, ни перевернутой мебели. На кухне прибрано (Люси? Когда?). За дверью уборной — две обгорелые спички, которых они даже не замечают.

С двуспальной кровати в комнате Люси снято все белье. «Место преступления», — думает он; и, словно прочитав эту мысль, полицейские выходят, стараясь не встречаться с ним взглядами.

Тихий дом зимним утром, ни больше ни меньше.

— К вам заглянет, чтобы снять отпечатки пальцев, детектив, — говорят они на прощанье. — Постарайтесь ничего не трогать. Если вспомните, что еще у вас взяли, позвоните нам в участок.

Едва они отъезжают, появляется монтер-телефонист, а следом за ним старик Эттингер. По поводу отсутствия Петраса он туманно замечает: «Ни одному из них нельзя верить». Говорит, что пришлет малого, чтобы тот привел комби в порядок.

В прошлом он видел, как при слове «малый» Люси вспыхивала от гнева. Сегодня — никакой реакции.

Он провожает Эттингера до двери.

— Бедная Люси, — говорит Эттингер. — Ей, надо думать, здорово досталось. Хотя могло быть и хуже.

— Да? Это как же?

— Так они ведь могли забрать ее с собой.

Это замечание заставляет его остановиться. Эттингер не дурак.

Наконец он остается наедине с Люси.

— Я похороню собак, если ты покажешь мне где, — говорит он. — Что ты скажешь их владельцам?

— Правду.

— Твоей страховки хватит, чтобы покрыть убытки?

— Не знаю. Не уверена, что страховка предусматривает массовую бойню. Это мне еще предстоит выяснить.

Пауза.

— Почему ты не рассказала им всего, Люси?

— Я рассказала им все. Все — это то, что я им рассказала.

Он с сомнением качает головой.

— Я понимаю, у тебя свои причины, однако уверена ли ты, говоря в более широком плане, что это лучшая линия поведения?

Люси не отвечает, а он не считает пока возможным давить на нее. Но мысли его все обращаются к троице налетчиков, к троице налетчиков, к людям, которых он, вероятно, больше никогда не увидит, но которые стали отныне частью его жизни и жизни дочери. Эти люди будут следить за газетами, прислушиваться к разговорам. И прочитают, что их разыскивают за ограбление и вооруженное нападение — и только. Тут до них дойдет, что тело той женщины укрыто, как одеялом, молчанием. «Стыдно стало, — скажут они друг другу, — вот и помалкивает», — и будут смачно гоготать, вспоминая свои подвиги. Готова ли Люси порадовать их подобной победой?

Он выкапывает яму на месте, показанном ему Люси, у границы ее владений. Могила для шести

взрослых собак: даже при том, что землю недавно перепахали, работа отнимает почти час, и когда он заканчивает, у него ноет спина, ноют руки, снова принимается болеть запястье. Он везет трупы в тачке. Собака с раной на шее так и скалит окровавленные зубы. Все равно что по рыбам в бочонке стрелять, думает он. Гадостное, но, вероятно, бодрящее занятие, особенно в стране, где ухитрились вывести породу собак, которые начинают рычать, едва учуяв запах чернокожего человека. Приятная после-полуденная работенка, поднимающая, как всякая месть, настроение. Одну за одной он сваливает собак в яму и засыпает землей.

Вернувшись, он обнаруживает Люси ставящей раскладушку в затхлой маленькой кладовке, где у нее хранятся припасы.

— Для кого это? — спрашивает он.

— Для меня.

— А почему не в комнате для гостей?

— Там потолок течет.

— А большая задняя комната?

— Слишком много шума от морозильника.

Неправда. Морозильник в задней комнате разве что мурлычет. Это содержимое его не позволяет Люси спать рядом с ним: требуха, кости, мясо для собак, которым оно уже не понадобится.

— Перебирайся в мою комнату, — говорит он. — А я расположусь здесь.

И сразу уходит, чтобы перенести свои вещи.

Но так ли уж хочется ему селиться в этой камерке с составленными в углу ящиками, полными пустых банок для варенья, с единственным крошечным, глядящим на юг окошком? Если призраки насильников Люси все еще мешкают

в ее спальне, их следует выкурить оттуда, а не позволять им обратить эту комнату в свое святилище. И он относит вещи в спальню Люси.

Наступает вечер. Голода они не чувствуют, но ужинать садятся. Ужин — это обряд, а обряды облегчают жизнь.

Как можно мягче он вновь задает все тот же вопрос:

— Люси, голубка, почему ты не хочешь рассказать все? Ведь это преступление. А стать жертвой преступления — тут нет ничего постыдного. Ты же не по собственному выбору ею становишься. Ты — пострадавшая сторона.

Люси, сидящая напротив него за столом, делает, собираясь с силами, глубокий вдох, но затем выпускает воздух из груди и молча трясет головой.

— Можно я попробую догадаться? — спрашивает он. — Ты стараешься напомнить мне о чем-то?

— Стараюсь напомнить тебе о чем?

— О том, что приходится сносить женщинам в руках мужчин.

— Вот уж о чем я вовсе не думала. К тебе это не имеет никакого отношения, Дэвид. Ты хочешь знать, почему я не выдвинула определенного обвинения? Я скажу тебе, при условии, что ты пообещаешь больше этой темы не касаться. Причина в том, что происшедшее, насколько оно касается меня, это целиком и полностью мое личное дело. В другое время, в другом месте его можно было бы считать затрагивающим интересы общества. Но не в этом месте и не в это время. Это дело мое и только мое.

— О каком, собственно, месте ты говоришь?

— О месте, которое называется Южной Африкой.

— Не согласен. Совершенно с тобой не согласен. Ты полагаешь, что, смиренно приняв случившееся, создашь дистанцию между собой и фермерами вроде Эттингера? Полагаешь, что происшедшее здесь было экзаменом: ты выдержишь его и получаешь диплом, пропуск в будущее, знак на перекладине двери, который заставит пройти мимо язву губительную? Месть устроена совсем иначе, Люси. Месть — как пожар. Чем больше он пожирает, тем голоднее становится.

— Прекрати, Дэвид! Я не желаю слушать болтовню о пожарах и язвах. Я не пытаюсь просто-напросто спасти свою шкуру. Если ты думаешь так, значит, ты ничего не понял.

— А ты помоги мне. Ты хочешь вывести некую формулу личного спасения? Надеешься искупить преступления прошлого, страдая в настоящем?

— Нет. Ты все еще заблуждаешься на мой счет. Вина, спасение — все это абстракции. Я же руководствуюсь совсем не абстракциями. И пока ты хотя бы не попытаешься понять это, я ничем тебе помочь не смогу.

Он хочет возразить, но Люси обрывает его:

— Дэвид, мы договорились. Я не желаю продолжать этот разговор.

Никогда еще не были они так далеки друг от друга, так ожесточены. Его охватывает ужас.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Новый день. Звонит Эттингер, предлагает сосудить им ружье, «на это время».

— Спасибо, — отвечает он. — Мы подумаем.

Он берет инструменты Люси и приводит, насколько это ему по силам, в порядок кухонную дверь. Надо бы поставить решетки, обнести ферму забором с крепкими воротами — по примеру Эттингера. Обратить ферму в крепость. Люси же следует купить пистолет, рацию и научиться стрелять. Но неужели она так и будет теперь все время молчать? Она здесь, потому что любит эту землю и старый, *ländliche*¹ уклад жизни. И если этот уклад обречен, что останется ей любить?

Кэти удастся выманить из укрытия и поселить на кухне. Бульдожиха тиха, боязлива и ходит хвостом за Люси, стараясь держаться поближе к ее ногам. Жизнь с каждым мигом меняется, лишается сходства с прежней. Дом кажется чужим, оскверненным; они постоянно настороже, постоянно прислушиваются.

Наконец возвращается Петрас. Старенький грузовик, стеная, одолевает ухабистую подъездную дорогу и останавливается у конюшен. Петрас в тесноватом ему костюме выбирается из кабины,

¹ Деревенский (нем.).

за ним следуют жена и водитель. Мужчины выгружают из кузова картонные коробки, пропитанные креозотом столбы, листы оцинкованного железа, связку пластиковых труб и под конец, с немалым шумом и гамом, двух молодых овец, которых Петрас привязывает к столбу забора. Грузовик, объезжая конюшни, разворачивается по широкой дуге и с лязгом исчезает. Петрас с женой скрываются в конюшне. Над асбестовой трубой очага вырастает дымок.

Он не покидает наблюдательного поста. Немного погода выходит жена Петраса и широким, привольным движением опорожняет помойное ведро. Статная женщина, думает он, длинная юбка, головной платок на высоко, как оно принято в деревне, уложенных волосах. Статная женщина, везучий мужчина. Да, но где же они были?

— Петрас вернулся, — говорит он Люси. — С кучей строительных материалов.

— Хорошо.

— Почему он не сказал, что уезжает? Тебе не кажется странным, что он исчез именно в тот день?

— Я не могу распоряжаться Петрасом. Он сам себе хозяин.

Не очень логично, но не будем спорить. Он решил вообще не спорить с Люси до поры до времени.

Люси ничем не занимается, не выражает никаких чувств, не выказывает интереса ни к чему из окружающего. Это ему, ровно ничего не смыслящему в фермерском хозяйстве, приходится выпускать из загончика уток, управляться с системой полива, поить огород, чтобы тот не иссох.

Люси час за часом проводит лежа на кровати, глядя в пространство или просматривая старые журналы, запас которых у нее, похоже, неисчерпаем. Она нетерпеливо листает их, словно отыскивая нечто, чего в них нет. «Эдвина Друда» больше не видно.

С запруды он замечает облаченного в рабочий комбинезон Петраса. Странно все-таки, что тот так и не зашел поздороваться с Люси. Он подходит, обменивается с Петрасом приветствиями.

— Вы, наверное, слышали, нас ограбили в среду, пока вас не было.

— Да, — говорит Петрас. — Слышал. Это очень плохо, очень плохое дело. Но теперь у вас все в порядке.

У него все в порядке? И у Люси все в порядке? Петрас что — задал вопрос? Не похоже, однако воспринять сказанное как-то иначе он из соображений приличия не может. Вопрос задан, каков ответ?

— Я жив, — говорит он. — Пока человек жив, у него, я полагаю, все в порядке. Так что да, у меня все в порядке.

Он замолкает, выдерживает паузу, ждет, пока разрастется молчание — молчание, которое Петрас вынужден будет заполнить следующим вопросом: «А как Люси?»

Но он ошибается.

— Люси собирается завтра на рынок? — спрашивает Петрас.

— Не знаю.

— Потому что, если ее там не будет, она потеряет место, — говорит Петрас. — Может быть.

— Петрас хочет знать, собираешься ли ты завтра на рынок, — уведомляет он Люси. — Опасается, что тебя могут лишить места.

— Почему бы вам не поехать вдвоем? — говорит она. — Мне это пока не под силу.

— Ты уверена? Жаль было бы потерять неделю.

Люси не отвечает. Ей не хочется показываться на люди, и он знает почему. Из-за бесчестия. От стыда. Вот чего добились ее визитеры, вот что они сделали с этой уверенной в себе, современной молодой женщиной. Рассказ о содеянном ими расплзается по здешним местам, как грязное пятно. Не ее рассказ — их, хозяев положения. Рассказ о том, как они поставили ее на место, как показали ей, для чего существует женщина.

С одним зрячим глазом и перевязанной головой ему и самому неловко появляться на люди. Но ради дочери он отправляется на рынок, сидит там рядом с Петрасом, терпеливо снося любопытные взгляды, вежливо отвечая тем из знакомых Люси, которые считают необходимым выразить соболезнование. «Да, машины мы лишились, — говорит он. — И собак, разумеется, — всех, кроме одной. Нет-нет, с дочерью все хорошо, ей просто неможется сегодня. Нет, особых надежд мы не питаем, у полиции дел выше головы, вы же знаете. Да, передам непременно».

Он прочитывает сообщение о них, напечатанное в «Геральд». «Неизвестные налетчики» — так названы там эти трое. «Трое неизвестных налетчиков напали на мисс Люси Лури и ее пожилого

отца на принадлежащей им небольшой ферме в окрестностях Сейлема, после чего скрылись, прихватив одежду, электронику и огнестрельное оружие. Кроме того, перед тем как уехать на «тойоте-королла» 1993 года, номерной знак СА 507644, они по какой-то странной причуде застрелили шесть сторожевых собак. Мистеру Лури, получившему во время нападения легкие ожоги, была оказана помощь в больнице колонистов, после чего его отпустили домой».

Он доволен, что в сообщении не отмечена связь между мистером Лури, пожилым отцом, и Дэвидом Лури, специалистом по певцу природы Уильяму Вордсворту, состоявшим до недавнего времени в профессорах Технического университета Кейпа.

Что до самой торговли, участвовать в ней ему почти не приходится. Это Петрас быстро и умело раскладывает товар, Петрас называет цены, получает деньги и возвращает сдачу. Собственно говоря, только Петрас и работает, он же просто сидит и пытается согреть руки. Совсем как в былые времена: *baas en Klaas*¹. Разве вот никто не ждет, что он станет отдавать Петрасу приказы. Петрас делает то, что следует сделать, только и всего.

Тем не менее выручают они немного, меньше трехсот рандов. Причина тому — отсутствие Люси, тут нечего и сомневаться. Приходится грузить обратно в комби коробки с цветами, мешки с овощами. Петрас покачивает головой. «Нехорошо», — говорит он.

И однако же Петрас так до сих пор и не объяснил свое отсутствие. Разумеется, Петрас обладает

¹ Хозяин и работник (голл.).

полным правом на свободу передвижения и этим правом воспользовался; не меньшее право имеет он и на то, чтобы хранить молчание. Но вопросы остаются. Знает ли Петрас тех троих? Не он ли обронил где-то словечко, из-за которого они выбрали в качестве объекта нападения Люси, а, скажем, не Эттингера? Знал ли Петрас наперед, что они замышляют?

В прежние времена можно было бы поговорить с Петрасом начистоту. А поговорив, выйти из себя, прогнать его и нанять взамен кого-то другого. Но Петрас, хоть он и получает жалованье, уже не является, строго говоря, наемным работником. Трудно сказать, кем, строго говоря, является Петрас. Пожалуй, лучше всего подходит слово «сосед». Петрас — сосед, который до поры до времени продает свой труд, потому что ему так удобнее. Продает в силу договора, неписаного договора, в котором ничего не сказано насчет увольнения по подозрению. Они живут теперь в новом мире — он, Люси и Петрас. И Петрас знает это, и он это знает, и Петрас знает, что он это знает.

И при всем том ему легко с Петрасом, более того, он готов, пусть и с оговорками, проникнуться симпатией к нему. Петрас — человек его поколения. Несомненно, Петрасу довелось многое пережить, несомненно, ему есть что порассказать. Он был бы не прочь как-нибудь послушать рассказы Петраса. Но предпочтительно не по-английски. Он все больше и больше убеждается, что в Южной Африке по-английски всей правды не передашь. Периоды английской речи, с ее давным-давно окостеневшими предложениями, лишились былой членораздельности, сочлененности, вычлененности. Язык

закоченел, точно испутивший дух и затонувший в грязи динозавр. Пройдя через горнило английского языка, рассказ Петраса вышел бы наружу подагрическим старцем.

Что ему нравится в Петрасе, так это лицо, лицо и руки. Если есть на свете такая штука, как добросовестный труд, то внешность Петраса несет его следы. Терпеливый, предприимчивый, крепко стоящий на ногах человек. Пейзанин, *pausan*¹, человек этой страны. Интриган, плут и, разумеется, лгун, как все пейзаи. Честный труд, честное плутовство.

У него имеются кое-какие подозрения относительно того, на что в конечном счете нацелился Петрас. Петрас не удовлетворится тем, что станет вечно перепаживать свои полтора гектара. Люси, может быть, и протянула здесь дольше, чем ее друзья, — что с них взять? хиппи, перекасти-поле, — однако для Петраса Люси так и остается пустым человеком, дилетанткой, скорее энтузиасткой фермерской жизни, чем настоящим фермером. Петрас с удовольствием завладел бы землей Люси. А там и землей Эттингера или хотя бы частью ее, достаточной для выпаса скота. Сладить с Эттингером ему будет потруднее. Люси человек случайный, а Эттингер — такой же пейзаин, человек от земли, цепкий, *eingewurzelt*². Однако Эттингер рано или поздно умрет, а сын Эттингера уехал. Вот тут Эттингер сгруппировался. У хорошего пейзаина сыновей должно быть побольше.

В будущем, каким его видит Петрас, нет места для людей вроде Люси. Но это необязательно об-

¹ Крестьянин (фр.).

² Укоренившийся (нем.).

ращает Петраса во врага. Сельская жизнь всегда отличалась тем, что сосед злоумышлял против соседа, желая ему нашествия вредителей, плохих урожаев, разорения и однако же сохраняя готовность помочь, когда тому станет совсем уж невозможно.

Худшее, самое мрачное истолкование случившегося, пожалуй, в том, что Петрас подрядил троих чужаков, чтобы те преподали Люси урок, и расплатился с ними награбленным. Но он в это не верит, уж слишком получается просто. Настоящая правда, подозревает он, куда более — он не сразу находит слово — *антропологична*; чтобы докопаться до нее, потребуются месяцы терпеливых, неспешных разговоров с десятками людей, да еще и помощь переводчика.

С другой стороны, он уверен, Петрас знал: что-то готовится — и мог предупредить Люси. Потому-то ему и не удастся избавиться от мыслей о Петрасе, махнуть на него рукой.

Петрас спустил из бетонного пруда воду и теперь очищает его от водорослей. Работа малоприятная. Тем не менее он предлагает свою помощь. Втиснув ноги в резиновые сапоги Люси, он спускается в пруд, осторожно ступая по скользкому дну. Некоторое время они усердно трудятся, соскребая, соскабливая грязь с бетона и лопатами выкидывая ее наружу. Затем он прерывает работу.

— Знаете, Петрас, — говорит он, — мне трудно поверить, что пришедшие к нам люди были чужаками. Трудно поверить, что они свалились с неба, сделали свое дело, а после исчезли, как призраки. И трудно поверить, что причина, по которой они выбрали нас, состояла лишь в том, что мы оказались

первыми белыми, повстречавшимися им в тот день. Как по-вашему? Я не прав?

Петрас курит трубку, старомодную трубку с изогнутым чубуком и серебряным колпачком на чашечке. Теперь он выпрямляется, достает ее из кармана, откидывает колпачок, набивает чашечку табаком, посасывает незажженную трубку. Задумчиво смотрит поверх стены пруда, поверх холмов, поверх всей этой местности. Лицо его абсолютно безмятежно.

— Их должна поймать полиция, — говорит он. — Полиция должна их поймать и посадить в тюрьму. Такая у нее работа.

— Да, но без помощи со стороны полиция их не отыщет. Эти люди хорошо знали лесничество. Я убежден, что и о Люси они кое-что знали. Спрашивается: откуда, если они чужие в этих краях?

Петрас, пропустив вопрос мимо ушей, сует трубку в карман, откладывает лопату и берется за метлу.

— Это же был не просто грабеж, Петрас, — настаивает он. — Те трое заявили к нам не ради одного грабежа. И не ради того, чтобы сделать со мной вот это, — он прикасается к бинтам, к повязке на глазу. — Они пришли, чтобы сделать еще кое-что. Вы знаете, о чем я говорю, а если не знаете, то уж, верно, способны догадаться. После учиненного ими нельзя ожидать, что Люси будет спокойно жить прежней жизнью. Я отец Люси. Я хочу, чтобы этих людей поймали, судили и наказали. Разве я не прав? Не прав, желая правосудия?

Ему уже все равно теперь, каким способом удасться вытрясти из Петраса хоть несколько слов, он просто хочет услышать их.

— Да нет, вы правы.

Гнев внезапно охватывает его, настолько сильный, что даже берет его врасплох. Он хватает лопату и, ударами сдирая со дна целые комья травы и грязи, через плечо мечет их за стенку пруда. «Ты сам себя взвинчиваешь, — предостерегает он себя. — Прекрати!» И все же в этот миг он с наслаждением вцепился бы Петрасу в глотку. «Если бы это произошло не с моей дочерью, а с вашей женой, — хочет сказать он Петрасу, — вы бы не набивали спокойно трубку, не взвешивали бы с такой рассудительностью слова!» «Осквернение» — вот то слово, которое ему хотелось вытянуть из Петраса. «Да, это было осквернение, — хотел бы услышать он, — да, это было насилие».

Молча, бок о бок, они с Петрасом завершают работу.

Так теперь и проходят дни на ферме. Он помогает Петрасу чистить оросительную систему. Ковыряется в огороде, спасая его от полной гибели. Пакует товары для продажи на рынке. Помогает Бев Шоу в клинике. Метет полы, готовит еду, делает все то, чего больше не делает Люси. Занят он с рассвета и до заката.

Глаз заживает на удивление быстро: всего-то неделя прошла, а он уже видит им. Ожоги заживают медленнее. Он так и ходит с забинтованной головой, носит повязку на ухе. Ухо, когда повязка снимается, оказывается схожим с голым розовым моллюском: он не уверен, что ему хватит смелости когда-нибудь выставить его напоказ.

Он покупает шляпу, чтобы защитить голову от солнца и, до некоторой степени, укрыть от посто-

ронных взглядов лицо. Он старается свыкнуться со своей странноватой внешностью, хуже, чем странноватой, — отталкивающей — жалкое создание, из тех, на кого таращатся разинув рты дети на улицах. «Почему этот дядя такой странный?» — спрашивают они у матерей, а те шикают, заставляя детей замолчать.

В магазины Сейлема он заглядывает так редко, как только может, в Грейамстаун наезжает лишь по субботам. Он вдруг обратился в затворника, в сельского затворника. «Теперь уж не побродишь. Хоть любовь не оскудела и в полях светло как днем»¹. Кто мог подумать, что все окончится так скоро и так внезапно — любовь, прогулки!

У него нет причин полагать, будто слухи об их беде уже расползлись по Кейптауну. И все же ему необходима уверенность, что рассказ о ней не дойдет до Розалинды в искаженном виде. Он дважды пытается дозвониться до нее — безуспешно. На третий раз он звонит ей на работу, в бюро путешествий. Розалинда на Мадагаскаре, сообщают ему, отправилась оглядеться, выяснить, что там к чему; он получает номер ее факса в Антананариву.

Он составляет послание: «Нас с Люси постигли кое-какие неудачи. У меня украли машину, кроме того, произошла потасовка, в которой меня немного помяли. Ничего серьезного — мы оба в порядке, хотя отчасти выбиты из колеи. Решил дать тебе знать об этом на случай, если до тебя дойдут какие-нибудь слухи. Надеюсь, ты приятно проводишь время». Он показывает написанное Люси на предмет утверждения, затем отдает Бев Шоу, что-

¹ Из Байрона.

бы та отправила факс Розалинде, в самую что ни на есть Черную Африку.

Люси по-прежнему худо. Она проводит ночи на ногах, уверяя, что не может заснуть, а после полудня он обычно находит ее на софе, спящей засунув, точно дитя, большой палец в рот. Дочь утратила интерес к еде, притрагиваться к мясу и вовсе отказывается, и, чтобы заманить ее за стол, ему приходится готовить непривычные блюда.

Не затем он сюда приехал — не для того, чтобы застряв в глуши и нянчиться с дочерью, отгонять от нее демонов, поддерживать разваливающееся хозяйство. Если у его приезда и была какая-то цель, то состояла она в том, чтобы прийти в себя, собраться с силами. А здесь он что ни день теряет себя.

Демоны и его не обходят стороной. Его посещают собственные ночные кошмары, в которых он лежит в пропитанной кровью постели, или беззвучно вопит, задыхаясь, или бежит от человека с лицом как у ястреба, как у бенинской маски, как у Тота. Однажды ночью, наполовину сомнамбула, наполовину помешанный, он сдирает с кровати простыни и даже переворачивает матрас в поисках пятен крови.

И остается еще его байроновский замысел. Из привезенных им книг уцелели только два тома писем — остальные лежали в багажнике угнанной машины. Публичная библиотека Грейамстауна не может предложить ничего, кроме избранных стихотворений. Но так ли уж необходимо ему продолжать чтение? Что еще должен он узнать о времяпрепровождении Байрона и его друзей в старой Равенне? Разве он уже не способен придумать Байрона, подлинного Байрона, да и Терезу тоже?

По правде сказать, он уже несколько месяцев откладывает этот миг — миг, когда придется взглянуть в лицо чистой странице, взять первую ноту, выяснить, чего он, собственно, стоит. В мозгу его запечатлелись отрывки любовного дуэта, вокальные линии сопрано и тенора, которые, подобно змеям, бессловесно обвивают одна другую и расползаются в стороны. Мелодия без кульминации; чешуйчатый шелест, с которым ползут по мраморным лестницам рептилии; а на заднем плане — дрожащий баритон униженного мужа. Быть может, здесь-то это безрадостное трио наконец и явится на свет — не в Кейптауне, но в старинной Кафрарии?

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Две молодые овцы так и остаются весь день привязанными на проплешине у конюшни. Их блеяние, неустойчивое и однообразное, начинает его раздражать. Он отправляется к Петрасу, чинящему, перевернув вверх колесами, велосипед.

— Я насчет этих овец, — говорит он. — Вам не кажется, что мы могли бы привязать их там, где они смогут поpastись?

— Они для праздника, — говорит Петрас. — В субботу у меня праздник, я их зарежу. Вы с Люси тоже должны прийти. — Петрас оттирает дочиста руки. — Я приглашаю вас с Люси в гости.

— В субботу?

— Да, в субботу я созываю гостей. Много гостей.

— Спасибо. Но даже если овцы предназначены для праздника, не кажется ли вам, что их следует пасти?

Проходит час, а овцы все еще там, где были, и блеют все так же жалобно. Петраса не видать. Выйдя из себя, он отвязывает овец и пинками гонит к запруде, у которой растет густая трава.

Овцы долго пьют, потом начинают неторопливо пощипывать травку. Это черномордые персиянки одинаковой величины, с одинаковыми

метинами и даже движениями. Судя по всему, близняшки, с самого рождения обреченные ножу мясника. Что же, обычное дело. Когда овца в последний раз умирала от старости? Овцы себе не принадлежат, и жизни их принадлежат не им. Они существуют для того, чтобы ими пользоваться, использовать их до последней унции — мясо съесть, кости размолоть и скормить домашней птице. Все-му находится применение, кроме, может быть, желчного пузыря, которого никто есть не станет. Декарту стоило бы поразмыслить над этим. Душа, подвешенная во мраке, в желчном пузыре, — неплохое укрытие.

— Петрас пригласил нас в гости, — говорит он Люси. — Почему он устраивает праздник?

— Думаю, потому, что становится землевладельцем. Официально это произойдет первого числа следующего месяца. Большой день для него. Надо хотя бы показаться там, принести подарок.

— Он собирается зарезать двух овец. Не думаю, чтобы их хватило на всех.

— Петрас скупердай. В прежние времена в таких случаях забивали быка.

— Что-то не нравится мне его манера. Притащил сюда двух обреченных на заклание животных для знакомства с людьми, которые их съедят!

— А что бы ты предпочел? Чтобы их резали на бойне, избавляя тебя от необходимости думать об этом?

— Да.

— Проснись, Дэвид. Такова наша страна. Такова Африка.

Последнее время в Люси проступает сварливость, на его взгляд неоправданная. Обычно он отвечает ей тем, что погружается в молчание. Временами они походят на двух живущих в одном доме посторонних людей.

Он говорит себе, что нужно потерпеть, что на Люси все еще лежит тень пережитого ею насилия, что должно пройти время, прежде чем она снова станет собой. Но что, если он ошибается? Что, если человек, претерпевший такое насилие, уже никогда не будет снова собой? Что, если после такого насилия он становится новой, куда более отталкивающей личностью?

Существует и другое, еще более злоеущее объяснение капризности Люси, объяснение, которое он никак не может выкинуть из головы.

— Люси, — вдруг спрашивает он в тот же день, — ты ничего от меня не скрываешь, а? Ты ничего не подцепила от тех мужчин?

Она сидит на софе в пижаме и халате, играя с кошкой. Послеполуденный час. Кошка молоденькая, игривая, резвая. Люси раскачивает перед кошачьей мордочкой кончик пояска халата. Кошка бьет по нему лапой, быстро, легкими ударами — раз-два-три-четыре.

— Мужчин? — переспрашивает Люси. — Каких мужчин?

Она отводит конец пояска в сторону, кошка сигналит следом.

«Каких мужчин?» У него замирает сердце. Уж не помешалась ли она, если отказывается помнить о них.

Но нет, тут же выясняется, что Люси просто поддразнивает его.

— Дэвид, я уже не дитя. Я была у врача, сдала анализы, я сделала все, что может сделать разумный человек. Теперь остается только ждать.

— Понятно. И под «ждать» ты имеешь в виду — ожидать того, что, как я полагаю, ты имеешь в виду?

— Да.

— Сколько это займет времени?

Она пожимает плечами.

— Месяц. Три месяца. Больше. Наука еще не определила пределов того, как долго может ждать человек. Быть может, вечно.

Кошка вцепляется когтями в конец пояска. Но игра уже закончилась.

Он садится рядом с дочерью; кошка спрыгивает с софы и с важным видом удаляется. Он берет дочь за руку. Теперь, когда он совсем рядом с ней, он ощущает запашок затхлости, немытости.

— По крайности, вечно это не продлится, голубка, — говорит он. — По крайности, от этого ты будешь избавлена.

Остаток дня овцы проводят там, где он их привязал, у запруды. Наутро он снова видит их у конюшни, на голой земле. Предположительно они пробудут тут до субботнего утра — два дня. Не лучшее препровождение последних двух дней жизни. Сельский уклад — так называет подобного рода вещи Люси. Он знает и другие слова: равнодушие, бессердечие. Если деревня вправе судить город, то и город вправе судить деревню.

Он задумывается — не выкупить ли овец у Петраса. Но чего он этим добьется? Петрас купит

других, а разницу положит в карман. И что он будет делать с овцами после того, как спасет их от смерти? Отпустит гулять по большой дороге? Запрет в собачьем вольере и станет кормить сеном?

Непонятно каким образом, но его и двух персианок связали некие узы. Не узы любви, нет. Собственно, и связали-то они его не именно с этой парой овец, которых он даже не смог бы узнать в пасущемся стаде. И тем не менее вдруг, без всякой на то причины, участь их стала ему небезразличной.

Он стоит перед овцами на солнцепеке, ожидая, когда утихнет гул в голове, ожидая знака.

Муха пытается забраться в ухо одной из овец. Ухо дергается. Муха снимается, кружит, возвращается, садится. Ухо дергается снова.

Он делает шаг вперед. Овцы встревоженно отпрядывают, насколько хватает цепи.

Он вспоминает, как Бев Шоу прижималась к старому козлу с изуродованной мошонкой, как она гладила его, утешала, становясь частью его жизни. Как ей это удастся — единение с животными? Некий фокус, которого он не знает. Возможно, чтобы исполнить его, нужно быть человеком определенного склада, человеком без сложностей.

Солнце со всей весенней силой бьет ему в лицо. Должен ли я измениться? — думает он. Стать таким, как Бев Шоу?

Он заговаривает с Люси:

— Я тут поразмыслил о празднике Петраса. В общем и целом, я предпочел бы на него не ходить. Это не покажется грубостью?

— Ты это из-за овец?

— Да. Нет. Я не переменял образ мыслей, если ты это имеешь в виду. Я, как и прежде, не верю, что животным присуща подлинная индивидуальность. Кому из них предстоит уцелеть, кому умереть — все это, на мой взгляд, не стоит переживаний. И все же...

— И все же?

— И все же в данном случае мне как-то не по себе. Не знаю почему.

— Ну, Петрас и его гости вряд ли откажутся от бараньих отбивных из уважения к тебе и твоей чувствительности.

— Да я об этом и не прошу. Я просто предпочел бы не участвовать в празднике на этот раз. Прости. Никогда не думал, что закончу разговорами подобного рода.

— Пути Господни неисповедимы, Дэвид.

— Не стоит надо мной смеяться.

Близится суббота, базарный день.

— Торговать будем? — спрашивает он у Люси. Та пожимает плечами.

— Решай сам, — говорит она.

Он решает не торговать.

Он не спрашивает ее о причинах; на самом-то деле он испытывает облегчение.

Приготовления к празднику Петраса начинаются в субботу пополудни — с появления полудюжины крепкого сложения женщин, разряженных, по его понятиям, как для церкви. За конюшнями разводят огонь, и скоро ветерок приносит оттуда смрад варящихся потрохов, из чего он заключает, что дело сделано, два дела, что все кончено.

Должен ли он скорбеть? Правильно ли это — скорбеть о смерти существ, которые сами не скорбят друг о друге? Заглянув в свое сердце, он находит там лишь невнятную грусть.

Слишком близко, думает он, мы живем слишком близко от Петраса. Это все равно что делить кров с чужими людьми — общие звуки, общие запахи.

Он стучает в дверь Люси.

— Прогуляться не хочешь? — спрашивает он.

— Спасибо, нет. Возьми Кэти.

Он берет с собой бульдожиху, но та настолько неповоротлива и нетороплива, что он в приступе раздражения гонит ее обратно на ферму и в одиночестве проделывает восьмидесятикилометровую петлю, шагая быстро, стараясь как следует вымотаться.

В пять начинают прибывать гости — на своих машинах, в такси, пешком. Он наблюдает за ними из-за кухонной занавески. Большинство примерно одних с хозяином лет, степенные, солидные люди. Одна старуха становится причиной особенной суеты: Петрас, облачившийся в синий костюм и безвкусную розовую рубашку, проходит весь подъездной путь, чтобы поздороваться с ней.

Гости помоложе появляются уже в темноте. Ветерок доносит приглушенный шум разговоров, смех, музыку — музыку, связанную для него с Йоханнесбургом времен его молодости. Вполне терпимо, думает он, и даже вполне приятно.

— Пора, — говорит Люси. — Ты идешь?

Вид у нее непривычный — платье до колен, высокие каблуки, ожерелье из раскрашенных дере-

вянных бусин и такие же серьги. Он не уверен, что общее впечатление ему так уж по душе.

— Ладно, пошли. Я готов.

— Костюма ты с собой не привез?

— Нет.

— Тогда хоть галстук надень.

— А я-то думал, что мы в деревне.

— Тем больше причин приодеться. Для Петра-са это большой день.

Люси берет с собой маленький фонарик. Тропинкой они доходят до дома Петра-са, отец и дочь, рука в руке, дочь освещает путь, отец несет подарок.

Они останавливаются, улыбаясь, у открытой двери. Петра-са не видно, впрочем, к ним выходит девочка в вечернем платье и вводит их в дом.

У старой конюшни нет потолка, да и пола-то толком нет, однако она по крайней мере просторна и по крайней мере освещена электричеством. Лампы под абажурами и картинки на стенах (подсолнухи Ван Гога, написанная Третчиковым¹ женщина в синем, Джейн Фонда в костюме Барбареллы² и забивающий гол Доктор Кумало³) смягчают общую унылость картины.

Кроме них, белых здесь нет. Гости танцуют — под старомодный африканский джаз, который он слышал из кухни. На него и Люси бросают любопытные взгляды, хотя, возможно, все дело в повязке на его голове.

¹ Владимир Третчиков (р. 1913) — английский художник русского происхождения.

² В 1968 г. Джейн Фонда сыграла роль космической авантюристки в фантастическом фильме Роже Вадима «Барбарелла, королева галактики».

³ Южноафриканский футболист (р. 1967).

Некоторых женщин Люси знает. С другими ее знакомят. Затем около них обнаруживается Петрас. Он не разыгрывает гостеприимного хозяина, не предлагает им выпить, но говорит:

— Собак больше нет. Я больше не собачник.

Люси предпочитает счесть это шуткой; значит, все, надо думать, в порядке.

— Мы вам кое-что принесли, — говорит Люси, — хотя, возможно, лучше отдать это вашей жене. Это для дома.

Петрас, обернувшись к кухне, если это так у них именуется, подзывает жену. Он впервые видит ее вблизи. Молодая женщина, моложе Люси, с лицом скорее приятным, чем красивым, застенчивая, несомненно беременная. Она пожимает руку Люси, но не ему и в глаза ему не глядит.

Люси произносит на коса несколько слов и вручает женщине сверток. Вокруг уже собралось с полдюжины зрителей.

— Она должна его развернуть, — говорит Петрас.

— Да, вы должны его развернуть, — говорит Люси.

Осторожно, стараясь не надорвать подарочную бумагу, разрисованную мандолинами и веточками лавра, молодая жена Петраса разворачивает сверток. На свет появляется кусок ткани с довольно милым ашантским¹ орнаментом.

— Спасибо, — произносит женщина по-английски.

— Это покрывало на постель, — объясняет Петрасу Люси.

¹ От ашанти, живущей в Гане народности.

— Люси наша благодетельница, — громко объявляет Петрас и затем, обращаясь к Люси: — Вы наша благодетельница.

Безвкусное, на его взгляд, слово, двусмысленное, испортившее эту минуту. И все же можно ли винить Петраса? Язык, которым он с таким апломбом пользуется, давно уже — знал бы об этом Петрас! — стал изношенным, рыхлым, как бы изгрызенным изнутри термитами. Только на односложные слова и можно еще полагаться, да и то не на все.

Что тут делать? Ничего такого, что способен придумать он, бывший преподаватель методов передачи информации. Ничего, разве вот начать сызнава, с азов. Но ко времени, когда вернутся длинные слова — воссозданные, очищенные, внушающие доверие, — он будет уже мертвецом с солидным стажем.

Он вздрагивает, будто пронизанный хладом могилы.

— Ребенок... когда вы ожидаете ребенка? — спрашивает он у жены Петраса.

— В октябре, — встревает Петрас. — Ребенок родится в октябре. Надеемся, мальчик.

— О! А что вы имеете против девочек?

— Мы молимся о мальчике, — говорит Петрас. — Всегда лучше, если первенец мальчик. Тогда он сможет объяснить сестрам... объяснить, как себя вести. Да. — Петрас примолкает. — Девочка больно дорого обходится. — Он потирает указательным пальцем о большой. — Все время деньги, деньги, деньги.

Давно уж не видел он этого жеста. В прежние дни им часто пользовались евреи: деньги-деньги-

деньги, и так же многозначительно покачивали головами. Но Петрас, по-видимому, не осведомлен об этом остаточном европейском наследии.

— Мальчики тоже порою недешевы, — замечает он, дабы внести свой вклад в беседу.

— Купи им то, купи им это, — продолжает Петрас, входя во вкус избранной темы и больше уже не слушая собеседника. — В наши-то дни мужчина больше не платит за женщину. Я плачу. — Он поводит рукою над головой жены; та скромно потупляет взор. — Я плачу. Хотя это и старомодно. Платья, хорошие вещи, все время одно и то же: покупаешь, покупаешь, покупаешь. — Он опять потирает пальцем о палец. — Нет, мальчик лучше. Ваша дочь исключение. Ваша дочь ничем не хуже мальчика. Почти! — Он заливается смехом, радуясь собственному остроумию. — А, Люси?

Люси улыбается, но он знает, что дочери неловко.

— Пойду потанцую, — негромко произносит она и уходит.

Взойдя на танцевальный помост, она танцует одна — солипсическая манера, похоже, вошедшая в моду. Вскоре к ней присоединяется молодой человек, высокий, гибкий, опрятно одетый. Он танцует прямо перед Люси, прицеливая пальцами, улыбаясь ей, ища ее расположения.

Снаружи начинают подходить женщины с подносами жареного мяса. Аппетитные запахи наполняют воздух. Появляются все новые гости, молодые, шумные, раскованные, нисколько не старомодные. Праздник набирает обороты.

В руках у него оказывается тарелка с едой. Он протягивает ее Петрасу.

— Нет, — говорит Петрас, — это для вас. А то мы так и будем всю ночь передавать друг другу тарелки.

Петрас с женой уделяют ему немалое время, стараясь, чтобы он здесь освоился. Милые люди, думает он. Сельские жители.

Он оглядывается на Люси. Молодой человек танцует уже в нескольких дюймах от нее, высоко вздергивая колени, притопывая, покачивая руками, наслаждаясь своими движениями.

На тарелке, которую он держит в руках, две бараньи отбивные, печеный картофель, тонущий в мясном соке рис, ломоть дыни. Он находит свободный стул и разделяет его с изможденным стариком, у которого слезятся глаза. Придется съесть это. Съесть, а там уж просить о прощении.

Внезапно рядом с ним возникает Люси, она часто дышит, лицо застыло.

— Давай уйдем, — произносит она. — Они здесь.

— Кто «они»?

— Я видела одного из них там, за домом. Дэвид, я не хочу поднимать шум, но давай уйдем, сейчас же.

— Подержи-ка. — Он вручает Люси тарелку и выходит через заднюю дверь.

Гостей тут не меньше, чем внутри, — они толпятся у огня, беседуют, пьют, смеются. Кто-то разглядывает его из-за костра. И все сразу встает по местам. *Это* лицо ему знакомо, знакомо очень хорошо. Он проталкивается через толпу. «А вот я шум подниму, — думает он. — Жаль, что именно сегодня. Но есть вещи, которые ждать не могут».

Он останавливается прямо перед юнцом. Третий из тех, туповатый подручный, мальчик на побегушках.

— Я тебя знаю, — с угрозой произносит он.

Юнец, похоже, ничуть не пугается. Напротив, юнец, похоже, именно этого мига и ждал, копил, в предвкушении, силы.

— Кто ты такой? — спрашивает он сдавленным от злобы голосом, однако слова его означают нечто иное: «По какому праву ты здесь?» Все тело юнца излучает ненависть.

Тут к ним присоединяется Петрас, быстро говорит что-то на коса.

Он кладет на рукав Петраса руку. Петрас, бросив на него нетерпеливый взгляд, руку стряхивает.

— Вы знаете, кто это? — спрашивает он у Петраса.

— Нет, я не знаю, кто это, — сердито отвечает Петрас. — И не знаю, почему начался скандал. Почему начался скандал?

— Он — этот бандит — уже был здесь однажды со своими друзьями. Он один из них. Но пусть он вам об этом расскажет. Пусть он расскажет, почему его разыскивает полиция.

— Неправда! — орет юнец. И снова обращается к Петрасу, извергая поток гневных слов.

Музыка продолжает разливаться в ночном воздухе, но никто больше не танцует: гости Петраса столпились вокруг них, теснясь, толкаясь, обмениваясь замечаниями. Атмосфера не из самых приятных.

Петрас говорит:

— По его словам, он не знает, о чем идет речь.

— Он врет. Все он отлично знает. Люси подтвердит.

Хотя Люси, разумеется, ничего не подтвердит. Как может он ожидать, что Люси на глазах у всех этих незнакомых людей подойдет к мальчишке, ткнет в него пальцем и скажет: «Да, это один из тех. Из тех, что сделали дело».

— Я позвоню в полицию, — говорит он.

Неодобрительный ропот зрителей.

— Я позвоню в полицию, — повторяет он, обращаясь к Петрасу. Лицо Петраса делается каменным.

Сквозь пелену молчания он возвращается в дом, туда, где стоит, ожидая его, Люси.

— Пойдем, — говорит он.

Гости расступаются перед ними. Никакого дружелюбия их лица больше не выражают. Люси забыла фонарик: в темноте они сбиваются с тропы; Люси приходится разуться; прежде чем попасть домой, они забредают на картофельное поле.

Он уже держит в руке телефонную трубку, когда Люси останавливает его:

— Нет, Дэвид, не делай этого. Петрас не виноват. Если ты позвонишь в полицию, ты испортишь ему весь вечер. Будь благоразумен.

Он поражен, поражен настолько, что набрасывается на дочь:

— Ради бога, как это Петрас не виноват? Прежде всего, так или иначе, но именно он привел сюда тех мужчин. А теперь ему хватило наглости пригласить их в гости. И почему это я должен быть благоразумным? Знаешь, Люси, я ничего не могу понять, от начала и до конца. Я не смог понять, отчего ты не выдвинула против них настоящего

обвинения, а сейчас не понимаю, чего ради ты защищаешь Петраса. Петрас не невинная овечка, Петрас заодно с ними.

— Не ори на меня, Дэвид. Это моя жизнь. Из нас двоих именно мне предстоит жить здесь. То, что со мной случилось, — мое дело, только мое, не твое, и если у меня есть хоть одно право, так это право на то, чтобы ко мне не цеплялись, чтобы мне не приходилось оправдываться — ни перед тобой, ни перед кем-то еще. А насчет Петраса — он не наемный батрак, которого я могу выгнать, потому что он, как мне представляется, связался с дурными людьми. Это все в прошлом, унесено ветром. Если ты хочешь бороться с Петрасом, убедись для начала в основательности фактов, которыми ты располагаешь. Ты не станешь звонить в полицию. Я тебе не позволю. Подожди до утра. Подожди, пока Петрас не объяснит, как он все это себе представляет.

— А мальчишка тем временем скроется!

— Не скроется. Петрас его знает. Да и в любом случае в Восточном Кейпе никому еще скрыться не удавалось. Не такое это место.

— Люси, Люси, я умоляю тебя! Ты хочешь искупить мерзости прошлого, но это же так не делается. Если ты сейчас не постоишь за себя, ты никогда больше не сможешь высоко держать голову. С равным успехом ты можешь уложить вещи и уехать. Что же касается полиции — если ты чересчур деликатна, чтобы позвонить туда сейчас, так нечего нам было и в первый раз к ним обращаться. Сидели бы себе тихо и ждали следующего нападения. Или перерезали бы самим себе глотки.

— Перестань, Дэвид! Я не обязана оправдываться перед тобой. Ты не знаешь, что произошло.

— Я не знаю?

— Не знаешь, ты еще и близко к этому не подошел. Помолчи и подумай. А насчет полиции — позволь тебе напомнить, почему мы к ним обратились: из-за страховки. Мы подали заявление, потому что иначе нам бы не выплатили страховку.

— Люси, ты меня изумляешь. Это просто неправда, и тебе это известно. Что до Петраса, я повторяю: если ты сейчас отступишься, если проявишь слабость, ты просто не сможешь жить в мире с собой. У тебя есть обязанности перед собой, перед будущим. В конце концов, должна же ты себя уважать. Разреши мне позвонить в полицию. Или позвони сама.

— Нет.

«Нет» — это последнее слово Люси. Она уходит к себе, захлопнув перед его носом дверь, отгородясь от него. Шаг за шагом, с такой же неумолимостью, как если б они были мужем и женой, их относит друг от дружки все дальше, и ничего он тут поделать не может. Сами их ссоры приобретают сходство с перебранками супругов, людей, которые попали в одну западню и которым некуда из нее податься. С каким, должно быть, сожалением вспоминает она день, в который он приехал к ней погостить! Как, должно быть, хочет, чтобы он оставил ее, и чем раньше, тем лучше!

Но ведь в конце-то концов и ей придется уехать отсюда. Как у женщины, одиноко живущей на ферме, у нее нет никакого будущего, это же ясно. Даже дни Эттингера, с его пистолетами, колючей проволокой и сигнализацией, и те сочтены. Будь у Люси

хоть капля благоразумия, она бросила бы все, не дожидаясь, когда ее постигнет участь, горшая той, что горше смерти. Но ничего она не бросит. Люси упряма, Люси укоренилась здесь, в жизни, которую выбрала сама.

Он выскальзывает из дома. Осторожно ступая в темноте, приближается с тылу к конюшне.

Большой костер погас. Люди столпились у задней двери, достаточно широкой, чтобы принять трактор. Поверх их голов он заглядывает внутрь.

В середине помоста для танцев стоит один из гостей, мужчина средних лет. У него бритая голова и бычья шея; на нем темный костюм, с шеи свисает на золотой цепи медаль величиною с кулак — вроде тех, что выдавались племенным вождям в качестве символов занимаемого ими высокого положения. Символов, кои целыми ящиками чеканились в Ковентри или Бирмингеме: на одной стороне — голова недовольной чем-то Виктории, *regina et imperatrix*¹, на другой — антилопа гну или ибис, вздыбленные. «Медали. Племенные вожди. На предмет ношения». Отгрузка во все края бывшей империи: в Нагпур, на Фиджи, на Золотой Берег, в Кафрарию.

Мужчина что-то говорит, произносит, возвышая и приглушая голос, речь, состоящую из закругленных фраз. Он понятия не имеет, чему посвящена речь, но время от времени мужчина примолкает, и тогда люди, молодые и старые, видимо, испытывая тихое удовлетворение, что-то одобрительно бормочут.

Он оглядывается по сторонам. Мальчишка стоит неподалеку, как раз в двери. Взгляд юнца

¹ Королевы и императрицы (лат.).

боязливо скользит по его лицу. Да и другие взгляды тоже обращаются к нему — к чужаку, к странному пришельцу. Мужчина с медалью хмурится, на миг сбивается и снова возвышает голос.

Ну что же, пусть смотрят. Пусть знают, что я еще здесь, думает он, пусть знают, что я не прячусь в большом доме. И если это испортит им праздник, значит, так тому и быть. Он поднимает руку к своей белой повязке. В первый раз он радуется, что она у него есть, что он может носить ее как знак отличия.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Все следующее утро Люси его избегает. Обещанной встречи с Петрасом не происходит. Впрочем, во второй половине дня Петрас, как всегда деловитый, в башмаках и комбинезоне, сам стучится в заднюю дверь. Пора заняться трубами, говорит Петрас. Нужно проложить полихлорвиниловые трубы от запруды до его нового дома, это метров двести. Нельзя ли на время взять инструменты и не поможет ли Дэвид наладить регулятор?

— Я не разбираюсь в регуляторах. И ничего не смыслю в водопроводах.

У него нет никакого желания помогать Петрасу.

— Речь не о водопроводе, — говорит Петрас. — Речь о подгонке труб. Мы просто проложим трубы.

По дороге к насыпи Петрас разглагольствует о разного рода регуляторах, о водяных затворах, соединительных стыках; он произносит эти слова с некоторой помпезностью, демонстрируя свое знание предмета. Новые трубы пройдут по земле Люси, говорит он, хорошо, что она это разрешила. Она «дальновидна».

— Эта женщина смотрит вперед, а не назад.

Насчет вчерашнего праздника, насчет юнца с бегаящими глазами Петрас помалкивает. Все выглядит так, будто ничего не произошло.

Вскоре становится ясной собственная его роль на насыпи. Он нужен Петрасу не для консультаций по части подгонки труб или водопроводного дела, а просто для того, чтобы держать то да се, подавать инструменты — фактически выполнять работу Петрасова *handlanger*'а¹. Роль не из тех, против которой он стал бы возражать. Петрас — мастер своего дела, только наблюдать за ним уже значит получать образование. А вот сам Петрас нравится ему все меньше. Петрас бубнит и бубнит о своих планах, а он проникается к нему все большей и большей неприязнью. Не хотел бы он попасть с Петрасом на необитаемый остров. И уж тем более не хотел бы оказаться на месте его жены. Личность доминирующего склада. Конечно, Петрасова молодая жена выглядит счастливой; хотелось бы узнать, однако, что может порассказать жена старая.

Наконец, почувствовав, что с него хватит, он прерывает Петрасову болтовню.

— Петрас, — говорит он, — тот молодой человек, который был на вашем празднике, как его зовут и где он сейчас?

Петрас снимает фуражку, утирает лоб. Сейчас на нем форменная фуражка с серебряной бляхой Южно-Африканских железных дорог и портов. Он что, коллекционирует головные уборы?

— Понимаете, Дэвид, — насупливая брови, говорит Петрас, — это вы нехорошие слова сказали, что тот юноша вор. Он очень рассердился на вас за то, что вы назвали его вором. Так он всем говорит. А я... я человек, который следит, чтобы

¹ Подручного (нем.).

тут все было тихо-мирно. Поэтому и мне тяжело было это услышать.

— Я не собираюсь впутывать вас в это дело, Петрас. Назовите мне имя мальчишки, скажите, где он, и я передам все полиции. И пусть она проводит расследование и отдает его под суд вместе с друзьями. И вы замешаны не будете, и я не буду, пускай с ними разбирается закон.

Петрас потягивается, подставляя лицо потоку солнечных лучей.

— Но ведь страховая компания даст вам новый автомобиль.

Это вопрос? Или утверждение? В какие игры играет Петрас?

— Страховая компания не даст мне нового автомобиля, — стараясь не вспылить, объясняет он Петрасу. — Страховая компания, если она еще не обанкротилась из-за размаха, который приобрел в стране угон автомобилей, даст мне определенный процент от того, что она сочтет стоимостью старого. Новой машины на эти деньги не купишь. Да и как бы там ни было, тут вопрос принципа. Мы не можем позволить, чтобы правосудие отправлялось страховыми компаниями. Не их это дело.

— Но от этого мальчика вы свою машину назад не получите. Он не сможет вернуть ее вам. Он не знает, где ваша машина. Ваша машина пропала. Самое лучшее — купите на страховку другую, и тогда у вас снова будет машина.

Как его занесло в этот тупик? Он пробует зайти с другой стороны.

— Петрас, позвольте спросить, этот юнец — ваш родственник?

— И зачем, — продолжает Петрас, как бы не расслышав вопроса, — вы хотите отдать мальчика полиции? Он слишком молод, в тюрьму его все равно не посадят.

— Если ему исполнилось восемнадцать, его можно судить. И если шестнадцать — тоже.

— Нет, нет, ему еще нет восемнадцати.

— Откуда вы знаете? Судя по виду, восемнадцать ему уже есть, если не больше.

— Да знаю, знаю! Он просто мальчишка, его нельзя посадить в тюрьму, так по закону, мальчишку посадить нельзя, его положено отпустить.

Похоже, для Петраса этим спор и исчерпывается. Петрас тяжело опускается на одно колено и приступает к подсоединению выходной трубы.

— Петрас, моя дочь хочет быть хорошей соседкой — хорошей гражданкой и хорошей соседкой. Она любит Восточный Кейп. Она хочет жить здесь, бок о бок со всеми вами. Но как это возможно, если бандиты могут в любую минуту напасть на нее и уйти безнаказанными? Вы же прекрасно все понимаете!

Петрас, прилагая немалые усилия, пытается насадить на трубу соединительную муфту. Кожу его рук покрывают глубокие, грубые трещины; работая, он негромко побрякивает; никаких признаков того, что он услышал хоть слово.

— Люси здесь в безопасности, — вдруг объявляет он. — Все улажено. Вы можете уезжать, она в безопасности.

— В какой там безопасности, Петрас! Ни в какой она не в безопасности! Вы же знаете, что произошло двадцать первого!

— Да, я знаю, что произошло. Но теперь все улажено.

— Кто говорит, что все улажено?

— Я говорю.

— Вы говорите? Вы защитите ее?

— Я ее защищу.

— В прошлый раз вы ее не защитили.

Петрас наносит на трубу новый слой смазки.

— Вы говорите, что знаете о случившемся, но ведь вы ее не защитили, — повторяет он. — Вы уехали, появились трое бандитов, а теперь оказывается, что вы в дружбе с одним из них. Какой, по-вашему, вывод я должен сделать?

Ближе к тому, чтобы предъявить обвинение Петрасу, он еще не подходил. Но почему бы и нет?

— Мальчик не виноват, — говорит Петрас. — Он не преступник. И не вор.

— Я не об одном только воровстве говорю. Совершено и другое преступление, куда более тяжкое. По вашим словам, вы знаете, что произошло. Стало быть, должны понимать, что я имею в виду.

— Он не виноват. Слишком молодой. Просто он совершил большую ошибку.

— Вы точно знаете?

— Знаю.

Труба подогнана. Петрас сгибает хомут, стягивает его, встает, распрямляет спину.

— Знаю. Я же вам говорю. Я знаю.

— Вы знаете. Вам ведомо будущее. Что я могу на это сказать? Вы высказались. Я вам здесь еще нужен?

— Нет, дальше все просто, осталось только закрыть трубу.

Несмотря на доверие, которое питает Петрас к страховому делу, никакой реакции на поданный им иск не следует. Без машины он чувствует себя запертым на ферме.

Как-то вечером в клинике он отводит душу, рассказав обо всем Бев Шоу.

— Мы с Люси в раздоре, — говорит он. — Наверное, тут нет ничего удивительного. Родители и дети не созданы для совместной жизни. В нормальных обстоятельствах я бы уже уехал, вернулся в Кейптаун. Но не могу оставить Люси одну на ферме. Я пытаюсь уговорить ее передать хозяйство Петрасу и отдохнуть. Но она меня не слушает.

— Детям необходимо предоставлять свободу, Дэвид. Вы же не сможете вечно присматривать за Люси.

— Я уж давным-давно предоставил ей свободу. В сравнении с другими отцами я меньше, чем кто-либо из них, пытался оградить ее от жизни. Но сейчас положение совершенно иное. Она в самой настоящей опасности. Нам это продемонстрировали.

— Все будет хорошо. Петрас возьмет ее под свое крылышко.

— Петрас? Какая Петрасу выгода брать ее под крылышко?

— Вы недооцениваете Петраса. Петрас работал как раб, чтобы огород Люси стал приносить доход. Без Петраса Люси не достигла бы того, что у нее сейчас есть. Я не говорю, будто она обязана ему всем, но что многим — несомненно.

— Очень может быть. Вопрос в том, чем обязан ей Петрас.

— Петрас человек порядочный. Вы можете на него положиться.

— Положиться на Петраса? Вы причисляете Петраса к кафрам старого пошиба потому, что он отрастил бороду, курит трубку и разгуливает с палкой, да только Петрас вовсе не кафр старого пошиба и уж тем более не порядочный человек. Насколько я понимаю, Петрас спит и видит, как бы ему выпихнуть отсюда Люси. Если вам нужны доказательства, вспомните, что случилось с Люси и со мной, большего не потребуется. Задумано все это было, возможно, не Петрасом, но он определенно постарался закрыть глаза, определенно не предупредил нас, определенно принял меры к тому, чтобы оказаться от нас подальше.

Его горячность озадачивает Бев Шоу.

— Бедная Люси, — шепчет она, — через что ей пришлось пройти!

— Я знаю, через что ей пришлось пройти. Я был там.

Бев смотрит на него, широко открыв глаза.

— Но, Дэвид, вас же там не было. Она сама мне сказала. Вас не было там.

«Тебя там не было. Ты не знаешь, что произошло». Он совершенно сбит с толку. Где это его не было, согласно Бев Шоу, согласно Люси? В той комнате, где бандиты надругались над нею? Или, по их понятиям, ему неизвестно, что такое изнасилование? Что он мог там увидеть сверх того, что способен вообразить? Или, по их мнению, ни один мужчина не способен понять, что переживает насилуемая женщина? Каков бы ни был ответ, он оскорблен, оскорблен тем, что к нему относятся как к постороннему.

Он покупает маленький телевизор взамен украденного. Вечерами, после ужина, он и Люси бок о бок сидят на софе, смотрят выпуски новостей и, если хватает терпения, развлекательные программы.

Все верно, визит его подзатынулся — и на его взгляд, и на взгляд Люси. Он устал жить на чемоданах, устал постоянно вслушиваться в хруст гравия на ведущей к дому дорожке. Ему хочется снова сесть за свой письменный стол, лечь в свою постель. Но Кейптаун далеко, почти в другой стране. Несмотря на советы Бев, несмотря на заверения Петраса, несмотря на упорное молчание Люси, он не может оставить дочь. Вот он и живет здесь до поры — в этом времени и в этом месте.

Способность видеть пострадавшим глазом полностью восстановилась. Зажила и кожа на голове, маслянистая повязка ему больше не нужна. Только ухо по-прежнему требует ежедневного ухода. Стало быть, время и вправду лечит все. Кажется, излечивается и Люси, а если не излечивается, то забывает, наращивает рубцовую ткань вокруг воспоминаний о том дне, заключает их в плотную оболочку. И значит, настанет миг, когда она сможет сказать: «В день ограбления», — и думать об этом дне просто как о дне ограбления.

Дневные часы он старается проводить под открытым небом, чтобы Люси чувствовала себя в доме свободно. Он копается в огороде, а когда устает, сидит на насыпи, наблюдая за жизнью утиног семейства и с грустью размышляя о своем байроновском замысле.

Замысел этот застыл без движения. Все, что у него есть, это разрозненные фрагменты. Пер-

вые слова первого акта ему так и не даются, первые ноты остаются уклончивыми, как струйки дыма. Временами его мучают опасения, что персонажи придуманной им истории, больше года бывшие его призрачными собеседниками, начнут исчезать один за другим. Даже самая привлекательная из них, Маргарита Когни¹, чьи неистовые контральтовые выпады против Байроновой сучки, Терезы Гвиччиоли, он так жаждет услышать, — ускользает даже она. Утрата их наполняет его отчаянием, таким же серым, ровным и в конечном счете бессмысленным, как головная боль.

При всякой возможности он уезжает в клинику Лиги защиты животных, берясь там за любую не требующую особой сноровки работу: за кормежку, уборку, мытье полов.

Животные, которых обслуживает клиника, это все больше собаки, реже кошки: по-видимому, для домашнего скота в районе Д имеются особые хранители ветеринарной премудрости, особые фармакопеи, особые целители. Собаки, которых приводят в Лигу, страдают от чумки, от переломов лап, от загноившихся ран, от чесотки, от запущенных опухолей, доброкачественных или злокачественных, от старости, от недоедания, от кишечных паразитов, но чаще всего от собственной плодовитости. Их попросту слишком много. Приводя сюда собаку, человек не говорит прямо: «Я хочу, чтобы вы ее усыпили», но ожидает именно этого — что его избавят от собаки, что она

¹ Жена римского пекаря, с которой у Байрона был в 1818 г. недолгий роман (в том же году произошло его знакомство с Терезой).

исчезнет, удалится в страну забвения. В сущности, то, о чем они просят, есть Lösung¹ (у немцев всегда отыщется под рукой уместно пустая абстракция) — возгонка, подобная возгонке спирта, без осадка, без неприятного послевкусия.

Итак, по воскресеньям после полудня дверь клиники закрывается, запирается, и он помогает Бев Шоу lösen скопившихся за неделю ненужных собак. Он извлекает их по одной из клетки на заднем дворе и отводит либо относит в хирургическую. Каждой из них в последние минуты их жизни Бев уделяет самое полное внимание: гладит их, разговаривает с ними, облегчая уход. Если — а так чаще всего и бывает — зачаровать собаку ей не удастся, причина тому в его присутствии: слишком сильный смрад исходит от него («Они способны унюхать ваши мысли»), смрад стыда. Тем не менее именно он удерживает собаку, пока игла не отыщет вену и наркотик не ударит в сердце, и не вытянутся лапы, и не потускнеют глаза.

Он думал, что сможет привыкнуть. Но этого не случается. Чем больше убийств помогает он совершить, тем сильнее расшатываются его нервы. В одно из воскресений, вечером, когда он едет домой в комби Люси, ему, чтобы прийти в себя, приходится даже съехать на обочину и затормозить. Слезы катятся по лицу, он не может их остановить; руки трясутся.

Он не понимает, что с ним творится. До сих пор он оставался более-менее безразличным к животным. Хотя в отвлеченном смысле он и не одобряет жестокости, однако сказать о себе, жестокий он че-

¹ Развязка; высвобождение (нем.).

ловек или добрый, не способен. Он ни то ни другое — ничто. Он полагает, что люди, от которых жестокость требуется по долгу службы, те же работники боев к примеру, отрачивают на своих душах черепаховые панцири. Привычка черствит: должно быть, в большинстве случаев так оно и есть, но, похоже, не в его. Похоже, он дара очерствления лишен.

Все его существо проникнуто происходящим в хирургической. Он убежден — собаки знают, что пробил их час. Несмотря на плавность и безболезненность процедуры, несмотря на благие помыслы, которые переполняют Бев и на которые он сам пытается настроиться, несмотря на герметичные мешки, в которые укладываются свежие трупы, собаки еще во дворе чуют, что делается в клинике. Они прижимают уши, опускают хвосты — словно ощущая бесчестие смерти; они упираются лапами в землю, их приходится тянуть либо подталкивать, а то и переносить через порог. На столе одни буйно мотают головами направо-налево, норовя вцепиться во что-нибудь зубами, другие жалобно поскуливают, но ни одна не глядит прямо на шприц в руке Бев, который — они откуда-то знают это — вот-вот нанесет им ужасный, уже непоправимый ущерб.

Тяжелее всего ему с теми из собак, что обнюхивают его и пытаются лизнуть ему руку. Он не любит, когда его лизут, и первое его побуждение — руку отдернуть. К чему притворяться другом, когда ты на самом деле убийца? Но он быстро смягчается. Почему от существа, на которое пала тень смерти, нужно отплатываться, как от некоей мерзости? И он позволяет собакам лизать его, если им хочется, точно так же, как Бев Шоу гладит и целует их, если они ей позволяют.

Человек он, хочется надеяться, не сентиментальный. Он и старается не сентиментальничать по поводу животных, которых убивает, не сентиментальничать по поводу Бев Шоу. Он воздерживается от того, чтобы сказать ей: «Не понимаю, как вы можете это делать», чтобы не услышать в ответ: «Кто-то же должен». Он допускает, что в самой глубине души Бев Шоу может оказаться вовсе не ангелом-избавителем, а дьяволом, что под показным состраданием у нее может таиться заскорузлое сердце мясника. Он старается оставаться беспристрастным.

Поскольку иглу вводить приходится Бев, устранение останков он берет на себя. Наутро после очередной серии убийств он едет на нагруженном комби к мусоросжигателю больницы колонистов и там предаёт тела огню, прямо в черных пластиковых мешках.

Проще было бы отвозить мешки к мусоросжигателю сразу после сеанса группового умерщвления и оставлять их там до прихода обслуживающих мусоросжигатель рабочих. Но это означало бы оставлять их в одной куче с прочей скопившейся за выходные дрянью: отбросами из больничных палат, собранной при дорогах падалью, зловонными отходами сыромятни — в мешанине и случайной и страшной. Он не готов пока подвергать их такому позору.

Поэтому воскресными вечерами он привозит мешки на ферму в багажнике принадлежащего Люси комби, оставляет их там на ночь, а наутро в понедельник отвозит в больницу. Здесь он сам переваливает их, по одному за раз, в вагонетку загрузочного устройства, включает механизм, который

со скрежетом протаскивает вагонетку через стальные воротца печи в огонь, оттягивает рычаг, чтобы опустошить вагонетку, и со скрежетом возвращает ее назад, между тем как рабочие, которым положено заниматься этим делом, стоят в стороне, наблюдая за ним.

В первый свой понедельник он предоставил сожжение трупов рабочим. За ночь тела собак охватило трупное окоченение. Мертвые лапы их застревали в решетчатых стенках вагонетки, и когда она возвращалась из печи, в половине случаев возвращалась и собака, почерневшая, оскаленная, пахнущая паленой шерстью, уже без сгоревшего мешка. Вскоре рабочие начали, прежде чем загружать мешки в вагонетку, бить по ним лопатами, переламывая окоченевшие лапы. Вот тогда он и вмешался и вызвался сам выполнять эту работу.

Мусоросжигатель работает на антраците, воздух засасывается из него в дымоход электрическим вентилятором; сооружение это возникло, по его прикидкам, в пятидесятых, когда строилась и сама больница. Работает мусоросжигатель шесть дней в неделю, с понедельника по субботу. На седьмой — отдыхает. Приходя поутру, рабочие первым делом выгребают пепел предыдущего дня, потом разжигают огонь. К девяти утра температура во внутренней топке достигает тысячи градусов по Цельсию, достаточной, чтобы кальцинировать кость. Огонь поддерживается до позднего утра; на остывание печи уходит все послеполуденное время.

Имен рабочих он не знает, как и они не знают его. Для них он просто человек, который вдруг начал приезжать по понедельникам с мешками из «Защиты животных» и с той поры появляется все

раньше и раньше. Приезжает, делает свое дело, уезжает; он не стал частью общества, ядром которого, несмотря на проволочную ограду, запираемую на всякий замок калитку в ней и предупредительную надпись на трех языках, является мусоросжигатель.

Что касается изгороди, то она давно издырявилась, на калитку же и на надпись никто больше не обращает внимания. Ко времени, когда утром приходят с первыми мешками больничных отходов санитары, тут уже полным-полно женщин и детей, ждущих возможности порыться в мешках в поисках шприцев, булавок, бинтов, которые еще можно отстирать, — всего, на что имеется спрос, но главным образом таблеток, которые затем продаются в лавчонках *muti*¹, а то и прямо на улицах. Тут же и бродяги — днем они слоняются по территории больницы, а ночью спят у стены мусоросжигателя, а то и в его зеве, где потеплее.

Это не то общество, в которое ему хочется влиться. Однако когда он появляется здесь, и они уже здесь; и если то, что он привозит в виде дополнения к отбросам, их не интересует, так это лишь потому, что ни одна из частей мертвой собаки не годится ни в пищу, ни на продажу.

Ради чего он взялся за эту работу? Чтобы облегчить бремя Бев Шоу? Для этого было бы достаточно сваливать мешки в кучу и уезжать. Ради собак? Но собаки мертвы, да и что, собственно, знают собаки о чести и бесчестье?

Выходит, ради себя. Ради своих представлений о мире, мире, в котором люди не лупят лопатами

¹ Южноафриканское слово, происходящее от зулусского «umuthi» — «дерево, растение, лекарство» — и обозначающее снадобье, целительный наговор или талисман.

по трупам, дабы придать им более удобную для ликвидации форму.

Собак приводят в клинику, потому что они не нужны: «потому что уж больно они расплодились». Тогда-то он и становится частью их жизней. Он, может быть, не спаситель их и не считает, что они так уж расплодились, но он готов позаботиться о них, когда сами они не способны, совершенно не способны о себе позаботиться, когда даже Бев Шоу умывает, в том, что касается их, руки. «Собачник» — так однажды назвал себя Петрас: собачий гробовщик, их психопомпос¹, хариджан — неприкасаемый.

Удивительно, что такой эгоист, как он, посвятил себя служению мертвым собакам. Должны же быть иные, более плодотворные способы отдачи себя миру или представлению о мире. Можно, к примеру, подольше работать в клинике. Можно попытаться убедить роющихся в отбросах детей не травиться черт знает чем. Даже если бы он с большим усердием работал по ночам над байроновским либретто, даже это на худой конец можно было бы счесть служением человечеству.

Но делами такого рода — защитой животных, социальной реабилитацией, Байроном, в конце концов, — могут заниматься и другие. Он оберегает честь трупов, потому что другого дурака для этого занятия не нашлось. Вот кем он в итоге становится: дурачком, чокнутым, погрязшим в своих заблуждениях.

¹ Греческое слово, означающее «проводник душ»; прозвище Гермеса, уводившего души умерших в подземный мир.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Воскресная работа в клинике завершена. Комби набит своим мертвым грузом.

Выполняя последнее неприятное дело, он может пол хирургической.

— Давайте я этим займусь, — говорит, входя со двора, Бев Шоу. — А то вас дома заждутся.

— Я не спешу.

— И все же вы, должно быть, привыкли к жизни совсем иного рода.

— Иного рода? Вот уж не знал, что жизнь распределяется по родам.

— Я хотела сказать, здешнее существование должно казаться вам совсем невеселым. Вы, наверное, скучаете по людям вашего круга. По вашим подружкам.

— По подружкам? Люси ведь наверняка рассказала вам, почему я уехал из Кейптауна. Не очень-то мне повезло там с подружкой.

— Не будьте к ней так суровы.

— К Люси? У меня пороку не хватит быть суровым к Люси.

— Не к Люси — к той девушке из Кейптауна. Люси говорила мне, что у вас были большие неприятности из-за одной кейптаунской девушки.

— Что ж, девушка имела к ним отношение. Но в данном случае источником неприятностей был

я. И девушке той причинил по меньшей мере столько же неприятностей, сколько она мне.

— Люси говорила, что вам пришлось уйти из университета. Наверное, это было нелегко. Вы сожалеете об этом?

И охота же ей лезть не в свое дело! Удивительно, как возбуждает женщин один лишь запах скандала. Может быть, эта маленькая, невзрачная особа считает, что он не способен повергнуть ее в ужас? Или оказаться повергнутой в ужас — это еще одна из обязанностей, которую она полагает необходимым исполнять, — на манер человека, навлекающего на себя оскорбления с тем, чтобы уменьшить установленную для мира квоту оных?

— Сожалею ли я? Не знаю. Происшедшее в Кейптауне в конечном итоге привело меня сюда. Не могу сказать, что я здесь несчастен.

— А тогда? Тогда сожалели?

— Тогда? Вы хотите сказать, в самый разгар событий? Разумеется, нет. В разгар событий сомнений не возникает. Да вы наверняка и сами должны это знать.

Бев краснеет. Давненько не видел он, чтобы женщина в летах так краснела. До корней волос.

— И все же Грейамстаун должен казаться вам очень тихим, — лепечет она. — В сравнении.

— Я ничего против Грейамстауна не имею. По крайней мере, здесь меня не одолевают соблазны. К тому же я живу не в Грейамстауне. Я живу на ферме дочери.

«Не одолевают соблазны». Говорить такое женщине, пусть даже невзрачной, жестоко. Да и не всем она кажется невзрачной. Было, надо полагать,

время, когда Билл Шоу что-то такое разглядел в юной Бев. А возможно, и не один только Билл.

Он пытается вообразить, какой была Бев двадцатью годами раньше, когда ее лицо, чуть вздернутое кверху на коротенькой шее, выглядело, надо думать, цветущим, а от веснупчатой кожи веяло здоровьем и домашним уютом. Повинуясь внезапному порыву, он протягивает руку и проводит пальцем по губам Бев.

Бев опускает взгляд, но не отстраняется. Напротив, Бев, отвечая на ласку, скользит губами по его руке — можно даже сказать, целует ее, — продолжая при этом заливаться краской.

Вот и все, что происходит. Дальше этого они не идут. Не произнеся больше ни слова, он поворачивается и покидает клинику, слыша, как Бев щелкает за его спиной выключателями.

Она звонит на следующий день после полудня.

— Мы могли бы встретиться в клинике, в четыре, — говорит она. Это не вопрос — извещение, сделанное высоким, напряженным голосом.

Он едва не спрашивает: «Зачем?», однако ему хватает здравомыслия воздержаться. Тем не менее он удивлен. Он готов поручиться, что прежде Бев по этой дорожке не ходила. Должно быть, так в невинности своей она и представляет себе нарушение супружеской верности: женщина звонит домогающемуся ее поклоннику, извещая о своей готовности.

По понедельникам клиника закрыта. Он входит вовнутрь, запирает за собой дверь. Бев в хирургической, стоит спиной к нему. Он обнимает ее, она утыкается ухом в его подбородок, губы его трутся о плотные завитки ее волос.

— Там есть одеяла, — говорит она. — В шкафчике. На нижней полке.

Два одеяла, розовое и серое, тайком принесенные из дому женщиной, которая, верно, весь последний час мылась, и пудрилась, и умащивалась, приготавливаясь; которая, почему знать, пудрилась и умащивалась каждое воскресенье и хранила в шкафчике одеяла — на всякий случай. Которая думает, что поскольку он приехал из большого города, поскольку с именем его связан скандал, значит, он спал со множеством женщин и ожидает, что любая встречающаяся охотно ляжет с ним.

Выбор невелик — операционный стол либо пол. Он расстилает одеяла на полу, серое внизу, розовое сверху. Погасив свет, он выходит из комнаты, проверяет, заперта ли задняя дверь, ждет. Он слышит шелест одежды, Бев раздевается. Бев. Вот уж не думал, что будет с ней спать.

Она лежит под одеялом, выставив наружу одну только голову. Даже скудость освещения не сообщает этому зрелищу никакого обаяния. Стянув трусы, он забирается к Бев, проводит руками по ее телу. Грудь отдельного разговора не заслуживают. Крепко сколоченная, почти лишенная талии, похожая на приземистый бочонок.

Она сжимает его ладонь, что-то всовывает в нее. Презерватив. Все продумано загодя, от начала до конца.

Относительно их совокупления он может, по крайней мере, сказать, что долг свой он выполнил. Без упоения, но и без отвращения. Так что под конец Бев Шоу могла бы поздравить себя. Все ею намеченное сбылось. Ему, Дэвиду Лури, была оказана помощь, какую мужчина получает от женщины; ее

подруга, Люси Лури, получила помощь по части трудного для нее гостя.

Упаси тебя бог забыть этот день, лежа рядом с Бев, говорит он себе, когда все кончается. Вот к чему я пришел от сладкого юного тела Мелани Исаакс. Вот к чему мне следует привыкать, к этому, если не к худшему.

— Уже поздно, — говорит Бев. — Мне пора.

Он отбрасывает одеяло и встает, не пытаясь укрыться от ее взгляда. Пусть разглядит своего Ромео как следует, думает он, с его обвислыми плечами и худосочными ногами. Действительно поздно. Последний багровый отблеск лежит на горизонте, над ним стынет луна, дым висит в воздухе, из-за пустыря доносится со стороны ближних хибар бубнение голосов. У двери Бев напоследок прижимается к нему, кладет ему голову на грудь. Он не противится, как не противился ничему из того, что она считала необходимым сделать. Мысли его обращаются к Эмме Бовари перед зеркалом после первого ее большого дня. «У меня есть любовник! У меня есть любовник!» — безмолвно поет Эмма. Что ж, пускай бедная Бев придет домой и тоже что-нибудь споет. И хватит называть ее бедной Бев. Если она бедная, то он — полный банкрот.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Петрас занял бог весть у кого трактор и прицепил к нему старый плуг, который валялся, ржавая, за конюшней еще до того, как на ферме появилась Люси. И за несколько часов вспахал всю землю. Все это быстро, расторопно, как будто дело происходило совсем и не в Африке. В прежние времена, то есть, скажем, лет десять назад, он провозился бы с ручным плугом и волами несколько дней.

Что может противопоставить Люси этому новому Петрасу? Петрас появился здесь как землекоп, возчик, поливальщик. Теперь он слишком занят, чтобы исполнять эти работы. Где, интересно, отыщет Люси человека, который станет копать, возить, поливать? Если бы речь шла о шахматной партии, он сказал бы, что Люси переиграли на всех флангах. Будь у нее хоть капля здравого смысла, она бы сдалась: обратилась в Земельный банк, договорилась об условиях, передала ферму Петрасу и вернулась к цивилизации. Она могла бы открыть в пригороде гостиницу для собак; могла бы заняться кошками. Могла бы даже вернуться к тому, чем занималась с друзьями, когда все они были хиппи: ткачеством, гончарным делом, плетением корзин с туземными орнаментами, продажей бус туристам.

Крушение планов. Нетрудно вообразить, какой станет Люси лет через десять: растолстевшей,

трапезничающей в одиночестве женщиной в давно вышедшей из моды одежде, с проложенными печалью бороздами на лице. Та еще жизнь. Но все лучше, чем проводить дни в страхе перед новым нападением, когда и собаки не смогут тебя защитить, и по телефону никто тебе не ответит.

Он идет к Петрасу, на место, выбранное тем для нового дома, — на пологий склон, обращенный к ферме Люси. Здесь уже поработал геодезист, разметочные колышки торчат из земли.

— Вы ведь не сами его будете строить, верно? — спрашивает он.

Петрас смешливо фыркает.

— Нет, строительство, оно мастера требует. Кладка кирпича, штукатурные работы — для этого необходимо умение. Я уж лучше канавы буду копать. С этим-то я управлюсь. Для такой работы особых навыков не нужно, с ней и мальчишка сладит. Рыть землю — самое занятие для мальчишки.

Последнее слово Петрас произносит с неподдельным удовольствием. Был когда-то и он мальчишкой, не то что теперь. Теперь он только и может что время от времени прикидываться мальчишкой, как Мария Антуанетта могла бы прикидываться молочницей.

Он переходит к сути дела:

— Если мы с Люси вернемся в Кейптаун, готовы ли вы заменить ее на ферме? Мы можем платить вам жалованье, или вы будете получать проценты. Проценты с доходов.

— Я должен приглядывать за фермой Люси? — говорит Петрас. — Должен стать *управляющим фермой*?

Он произносит эти слова так, будто никогда их прежде не слышал, будто они вдруг выскочили неведомо откуда, точно кролик из шляпы.

— Да, если хотите, мы можем назначить вас управляющим фермой.

— А рано или поздно вернется Люси.

— Вернется, я уверен. Она очень привязана к ферме. Не хочет с ней расставаться. Но в последнее время ей пришлось многое пережить. Люси нужна передышка. Своего рода отпуск.

— За морем, — говорит Петрас и улыбается, показывая желтые от курения зубы.

— Да, если захочет, то и за морем. — Его раздражает манера Петраса оставлять слова повисшими в воздухе. Было время, когда ему казалось, что он и Петрас могут подружиться. Ныне Петрас ему противен. Разговаривать с Петрасом все равно что боксировать с полным песка мешком. — Не думаю, что кто-то из нас вправе осудить Люси, если она вдруг решит отдохнуть, — говорит он. — Вы или я.

— Как долго мне придется работать управляющим фермой?

— Я пока не знаю, Петрас. Я не говорил об этом с Люси, я просто выясняю возможности, пытаюсь понять, согласитесь ли вы.

— И мне придется заниматься всем — кормить собак, выращивать овощи, ездить на рынок...

— Петрас, нет необходимости составлять сейчас список ваших обязанностей. Собак не будет. Я просто задаю вам общий вопрос: если Люси на время уедет, готовы вы присмотреть за фермой?

— Как же мне ездить на рынок, если не будет комби?

— Это детали. Детали мы можем обговорить потом. Мне нужен общий ответ, да или нет.

Петрас покачивает головой.

— Слишком много работы, слишком много, — говорит он.

Нежданно-негаданно ему звонят из полиции — из Порт-Элизабет, сержант-детектив Эстерхьюз. Нашлась его машина. Она стоит во дворе нью-брайтонского участка, ее можно опознать и предъявить на нее права. Кроме того, арестованы двое мужчин.

— Прекрасно, — говорит он. — Я уж почти и надеяться перестал.

— Ну что вы, сэр, любое дело остается открытым в течение двух лет.

— В каком состоянии машина? Ездить на ней можно?

— Да, сэр, вы сможете на ней уехать.

В необычайно приподнятом настроении он едет с Люси в Порт-Элизабет, а оттуда в Нью-Брайтон, где им показывают дорогу на Ван-Девентер-стрит, к приземистому, похожему на крепость зданию полицейского участка, окруженному двухметровым забором с острой проволокой наверху. Бросающийся в глаза знак запрещает оставлять автомобили около участка. Они паркуются на улице, довольно далеко от участка.

— Я подожду в машине, — говорит Люси.

— Ты уверена?

— Мне здесь не нравится. Я подожду.

Он называет себя дежурному, получает указания о том, как, одолев лабиринт коридоров, добраться до отдела автомобильных краж. Эстер-

хьюз, низкорослый полный блондин, порывшись в папках, ведет его во двор, где бампер к бамперу стоит множество машин. Они идут вдоль рядов автомобилей, вперед, потом назад.

— Где вы ее нашли? — спрашивает он у Эстерхьюза.

— Здесь, в Нью-Брайтоне. Вам повезло. Обычно угонщики разбирают старые «короллы» на запасные части.

— Вы говорили, что арестовали кого-то.

— Двоих. Взяли по наводке. Нашли целый дом, набитый краденым. Телевизоры, видео, холодильники — все что хотите.

— Где сейчас эти люди?

— Выпущены под залог.

— Не разумнее ли было, прежде чем их отпустить, позвонить мне, чтобы я их опознал? Вы выпустили их под залог, и теперь они просто-напросто исчезнут. Вы же это знаете.

Натянутое молчание.

Они останавливаются перед белой «короллой».

— Это не моя машина, — говорит он. — У моей кейптаунский номер, который значится в деле, — он тыкает пальцем в номер, напечатанный на взятом из папки листке, — SA 507644.

— Номер они новый напыляют. Или ставят другой. А ваш — еще на какую-нибудь машину.

— Пусть так, но эта машина не моя. Вы можете ее открыть?

Детектив открывает машину. Внутри пахнет влажными газетами и жареной курицей.

— У меня не было акустической системы, — говорит он. — Машина не моя. Вы уверены, что где-нибудь здесь, на стоянке, нет моей машины?

Они повторно обходят стоянку. Его машины здесь нет. Эстерхьюз чешет в затылке.

— Я разберусь, в чем тут дело, — говорит он. — Должно быть, какая-то путаница. Оставьте мне ваш номер, я перезвоню.

Люси сидит, закрыв глаза, за рулем комби. Он стучает в стекло, Люси отпирает дверцу.

— Ошибка, — говорит он, забираясь в машину. — «Короллу» они нашли, да только не мою.

— А мужчин ты видел?

— Мужчин?

— Ты сказал, арестованы двое мужчин.

— Их уже выпустили под залог. Так или иначе, машина не моя, стало быть, те, кого арестовали, моей машины не крали.

Долгое молчание.

— По-твоему, одно из другого следует логически? — спрашивает Люси.

Она включает двигатель, резко выворачивает руль.

— Не знал, что ты так жаждешь их поимки, — говорит он. Он слышит в своем голосе раздражение, но не может справиться с ним. — Если их схватят, будет суд и все, что из него проистекает. Тебе придется давать показания. Ты к этому готова?

Люси глушит двигатель. Лицо у нее замершее, она борется со слезами.

— Как бы там ни было, их уже и след простыл. Нашим друзьям вовсе не улыбается, чтобы их поймали, и уж тем более чтобы их поймала полиция штата, в котором они живут. Так что забудем об этом.

Он пытается взять себя в руки. Он становится придирой, занудой, но ничего не может с этим поделать.

— Люси, тебе самое время на что-то решиться. Либо ты продолжаешь жить в доме, полном отвратительных воспоминаний, и растравлять себе душу мыслями о происшедшем, либо оставляешь этот эпизод в прошлом и начинаешь с чистой страницы где-нибудь в другом месте. Такова альтернатива, какой я ее вижу. Я знаю, ты предпочла бы остаться здесь, но не стоит ли тебе хотя бы обдумать иную возможность? Разве мы не способны обсудить ее как разумные люди?

Люси качает головой.

— Я больше не могу разговаривать, Дэвид, просто не могу, — отвечает она, тихо, торопливо, словно боясь, что слова иссякнут. — Я знаю, я выражаюсь путано. Если бы только я могла все объяснить. Но я не могу. Не могу из-за того, кто ты и кто я. Прости. Мне жаль, что так получилось с твоей машиной. Жаль, что тебя ожидало разочарование.

Люси опускает голову на руки; плечи ее вздрагивают — она дает волю слезам.

Его вновь омывает волна чувств: апатии, безразличия, но также и легкости, как будто он выведен изнутри и от сердца его осталась только прохудившаяся оболочка. Как, думает он, может человек в таком состоянии найти слова, найти музыку, которая воскресит мертвых?

Женщина в шлепанцах и драной одежде, сидящая на тротуаре ярдах в пяти от них, пронизывает их злобным взглядом. словно оберегая Люси, он кладет руку ей на плечо. «Моя дочь, — думает он, — любимая дочь. Которую мне выпало направлять и наставлять. Которая в скором времени станет направлять меня».

Способна ли она учуять его мысли?

Вести машину приходится ему. На полпути к дому Люси, к его удивлению, сама заговаривает с ним.

— Все выглядело таким личным, — говорит она. — Делалось с такой личной ненавистью. Вот что ошеломило меня больше всего. Остального можно было... ожидать. Но почему они меня так ненавидели? Я и не встречала их никогда.

Он ждет продолжения, но продолжения не следует, пока.

— Это история говорила через них, — произносит он наконец. — История зла. Постарайся так думать об этом, если это способно помочь. Их чувства могли показаться личными, но такими не были. Наследие предков, не более того.

— От этого не легче. Потрясение попросту не желает никуда уходить. Я имею в виду — потрясение от того, что тебя ненавидят. В тот самый миг.

«В тот самый миг». Говорит ли она о том, о чем он думает, что она говорит?

— Ты все еще боишься? — спрашивает он.

— Да.

— Боишься, что они вернуться?

— Да.

— И думаешь, что, если ты не выдвинешь против них обвинение, они не вернуться? Ты в этом себя уверила?

— Нет.

— Тогда что?

Она молчит.

— Люси, все так просто. Закрой псарню. Немедля. Запри дом, заплати за его охрану Петрасу. Передохни полгода, год, пока дела в стране не пойдут на лад. Поезжай за море. В Голландию. Я дам

денег. А когда вернешься, ты сможешь трезво оценить свое положение и все начать сначала.

— Если я уеду сейчас, Дэвид, я не вернусь. Спасибо за предложение, но оно не годится. Ты не можешь предложить ничего такого, чего сама я не обдумывала бы по сто раз.

— Тогда что ты намерена делать?

— Не знаю. Но какое бы решение я ни приняла, я хочу принять его сама, без понукания. Есть вещи, которых ты просто не понимаешь.

— Чего я не понимаю?

— Для начала — ты не понимаешь того, что произошло со мной в тот день. Тебя заклинило на моем благополучии, я благодарна тебе за это, ты думаешь, что все понял, но на самом-то деле — нет. Потому что понять ты не можешь.

Он тормозит, съезжает на обочину.

— Нет, — говорит Люси, — не здесь. Это плохое место, тут слишком опасно останавливаться.

Он набирает скорость.

— Напротив, — говорит он, — я понимаю все слишком хорошо. Я произнесу сейчас слово, которого мы до сих пор избегали. Тебя изнасиловали. Несколько раз. Трое мужчин.

— И?

— Ты боялась за свою жизнь. Боялась, что, попользовавшись тобой, они тебя убьют. Избавятся от тебя. Потому что ты ничего для них не значила.

— И? — голос ее обращается в шепот.

— А я ничего не сделал. Не спас тебя. — Это уже его исповедальное признание.

Она нетерпеливо отмахивается.

— Не вини себя, Дэвид. Как можно было ожидать, что ты меня спасешь? Появись они неделей

раньше, я была бы в доме одна. Но ты прав, я ничего для них не значила, ничего.

Пауза.

— Думаю, они делали это и прежде, — снова заговаривает Люси, и на этот раз голос ее звучит тверже. — Во всяком случае, те двое, что постарше. Думаю, они прежде всего и главным образом насильники. А воровство — это так, случайность. Побочный род деятельности. Мне кажется, их специальность — изнасилования.

— И ты думаешь, что они вернутся?

— Видимо, я живу на их территории. Они поместили меня. И возвратятся назад.

— Тогда ты не можешь здесь оставаться.

— Почему же?

— Потому что тем самым ты словно бы приглашаешь их к себе.

Прежде чем ответить, она надолго задумывается.

— Но разве на все это нельзя посмотреть иначе, Дэвид? Что, если... что, если такова цена, которую необходимо заплатить, чтобы остаться здесь? Возможно, они именно так на это и смотрят; возможно, и мне следует так на это смотреть. Они видят во мне владелицу некой собственности. А в себе — сборщиков податей или долгов. Почему мне должны позволить жить здесь, ничего не заплатив? Может быть, так они себе все и объясняют.

— Уверен, себе они все могут объяснить. Сочинять разные рассказы в свое оправдание — более чем в их интересах. Но доверься собственным чувствам. Ты сказала, что ощутила в них одну только ненависть.

— Ненависть... Знаешь, Дэвид, когда дело доходит до мужчин и секса, меня уже ничем не удивишь. Может быть, на мужчин ненависть к женщинам, с которыми они спят, действует как добавочное возбуждающее средство. Ты мужчина, ты должен знать. Когда ты овладеваешь незнакомой женщиной — когда хватаешь ее, не даешь ей вырваться, всей тяжестью подминаешь ее под себя, — разве это отчасти не смахивает на убийство? Вонзить в нее нож и уйти, оставив за собой окровавленное тело, — разве это не ощущается как убийство, безнаказанное убийство?

«Ты мужчина, ты должен знать» — можно ли говорить такое отцу? На одной ли они с ней стороне?

— Возможно, — говорит он. — Иногда. Некоторыми.

И следом быстро, не подумав:

— Ты чувствовала это с ними обоими? Что словно бы борешься со смертью?

— Они распаляли один другого. Вероятно, потому и делали это вместе. Как псы в своре.

— А третий, мальчишка?

— Его привели поучиться.

Они минуют указатель «Саговые пальмы». Время почти вышло.

— Будь они белыми, ты бы говорила о них иначе, — произносит он. — Будь они белыми громилами, скажем, из Деспатча.

— Ты полагаешь?

— Полагаю. Я тебя не виню, дело не в этом. Но в рассказанном тобой присутствует нечто новое. Порабощение. Они хотели обратить тебя в рабство.

— Нет, не порабощение. Усмирение. Подавление. Он качает головой.

— Это уже слишком, Люси. Продай ферму. Продай ее Петрасу и уезжай.

— Нет.

На том разговор и заканчивается. Но эхо слов Люси продолжает звучать в его ушах. «Окровавленное тело» — что она хотела этим сказать? Или он все же не зря видел во сне пропитанную кровью постель, ванну в потеках крови?

«Их специальность — изнасилования». Он думает о трех визитерах, уезжающих в не старой еще «тойоте»; на заднем сиденье навалены домашние вещи; их пенисы, их орудия, теплые и удовлетворенные, свернулись между их ног — *мурлыкая*, вот слово, которое приходит ему в голову. У них достаточно причин гордиться проделанной за день работой; служение своему призванию наполняет их счастьем.

Он помнит, как ребенком застрял на обнаруженном в газетном сообщении слове «изнасилование», пытаясь понять его точное значение, гадая, что делает буква «с», обычно столь мягкая, в середине слова, внушающего такой страх, что никто не решается произнести его вслух. В библиотеке он видел в одном альбоме картину «Изнасилование сабинянок»¹: верховые в легких римских доспехах, женщины в покрывалах, воздевающие руки, стонающие. Какое отношение имели эти театральные позы к подозреваемой им сущ-

¹ У нас за этим сюжетом закрепилось название «Похищение сабинянок» (английский глагол «to rape» имеет значения «насиловать» и «похищать»).

ности изнасилования — к мужчине, который, лежа на женщине, входит в нее?

Он размышляет о Байроне. Среди легионов графинь и горничных, в которых входил Байрон, несомненно имелись и такие, что называли это изнасилованием. Но ни одна из них, уж верно, не боялась остаться после соития с перерезанным горлом. Ему в его положении и Люси в ее Байрон, безусловно, представляется старомодным.

Люси напугана, напугана до смерти. Голос у нее сдавленный, дышит она с трудом, руки и ноги немеют. «Этого не может быть, — говорит она себе, пока двое мужчин силой принуждают ее лечь, — это лишь сон, ночной кошмар». Мужчины меж тем упиваются ее страхом, наслаждаются им, делают все, что в их силах, чтобы запугать ее, умножить ее ужас до последних пределов. «Зови своих псов! — говорят они. — Ну давай, позови их! Что, псов нету? Ну так мы тебе покажем, что такое псы!»

«Вы не понимаете, вас же там не было», — сказала Бев Шоу. Ладно, она ошиблась. Но в конечном счете Люси права; он понимает, он может, полностью сосредоточившись, отказавшись от себя, проникнуть туда, стать теми людьми, вселиться в них, наполнить их своим призраком. Вопрос только в том, хватит ли ему воображения, чтобы стать женщиной.

В уединении своей комнаты он пишет дочери письмо:

«Дорогая Люси, со всей любовью, какая есть в мире, я должен сказать тебе следующее. Ты стоишь на пороге опасной ошибки. Ты хочешь унизиться перед историей. Но путь, на который ты ступила, неверен. Он лишит тебя какой бы то ни

было чести; ты не сможешь жить в мире с собой. Умоляю, прислушайся к тому, что я говорю. Твой отец».

Час спустя под его дверь подсовывается конверт с письмом. «Дорогой Дэвид, ты меня так и не услышал. Я не тот человек, которого ты знаешь. Я человек конченный и не знаю пока, что способно вернуть меня к жизни. Знаю только, что уехать отсюда я не могу.

Ты этого не понимаешь, а я не вижу, что еще можно сделать, чтобы заставить тебя понять. Все выглядит так, словно ты нарочно забился в угол, в который не заглядывает солнце. Ты кажешься мне одной из трех обезьян, той, что прижала лапы к глазам.

Да, путь, на который я ступила, возможно, неверен. Но если я теперь покину ферму, я уеду отсюда потерпевшей поражение и буду чувствовать вкус поражения всю жизнь.

Я не могу навек остаться ребенком. И ты не можешь вовек оставаться отцом. Я знаю, ты желаешь мне добра, но ты — не тот наставник, который мне нужен, во всяком случае сейчас. Твоя Люси».

Вот и вся их переписка — и вот каково последнее слово Люси.

На сегодня с убийством собак покончено, черные мешки грудой свалены у двери, в каждом сокрыты душа и тело. Он и Бев Шоу лежат обнявшись на полу хирургической. Через полчаса Бев предстоит вернуться к ее Биллу, а ему — начать погрузку мешков.

— Ты никогда не рассказывал мне о твоей первой жене, — говорит Бев. — Да и Люси ничего о ней не говорит.

— Мать Люси была голландкой. Уж это-то она, наверное, тебе говорила. Эвелина. Эви. После развода она уехала в Голландию. Потом снова вышла замуж. Люси не ужилась с приемным отцом. И попросила, чтобы ее отправили в Южную Африку.

— То есть выбрала тебя.

— В каком-то смысле. Ну и кроме того — определенную среду обитания, определенные горизонты. А теперь я пытаюсь заставить ее вернуться назад, хотя бы на время. У нее есть в Голландии семья, есть друзья. Голландия, быть может, и не лучшая для жизни страна, но она, по крайности, не награждает человека ночными кошмарами.

— И?

Он пожимает плечами.

— Люси сейчас не склонна следовать моим советам. Говорит, что я не тот наставник, какой ей нужен.

— Но ты ведь преподавал в университете.

— Это не более чем случайность. Преподавание никогда не было моим призванием. И уж определенно я не испытывал потребности учить кого бы то ни было жить. Я из тех, кого принято называть учеными. Писал книги о давно умерших людях. Вот к этому душа у меня лежала. А преподавал я единственно ради заработка.

Она ждет большего, но у него нет настроения продолжать.

Солнце заходит, становится холодно. Сегодня они не совокуплялись; в сущности, они перестали прикидываться, что встречаются ради этого.

В голове у него — Байрон, одиноко стоящий на сцене, набирающий воздуха в грудь, чтобы запеть. Ему предстоит вот-вот отправиться в Грецию. В тридцать пять лет он начал понимать, что жизнь бесценна.

«Sunt lacrimae rerum, et mentem mortalia tangunt»¹, — такими будут слова Байрона, теперь он в этом уверен. Что касается музыки, она маячит где-то вдали, но близко пока не подходит.

— Тебе не о чем тревожиться, — говорит Бев Шоу. Голова Бев прижата к его груди; вероятно, она слышит, как бьется его сердце, в такт биениям которого шествует гекзаметр. — Мы с Биллом присмотрим за ней. Станем почаще ездить на ферму. Ну, и Петрас. Петрас не будет спускать с нее глаз.

— Петрас с его отеческой заботливостью?

— Да.

— Люси говорит, что я не могу вовек оставаться отцом. А я и представить себе не способен в этой жизни, что я не отец Люси.

Бев зарывается пальцами в щетку его волос.

— Все будет хорошо, — шепчет она. — Вот увидишь.

¹ «Слезы сочувствия есть, и земное трогает душу» — цитата из «Энеиды» Вергилия (Пер. с лат. В. Брюсова).

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Дом воздвигли при общей застройке этих мест, и лет пятнадцать-двадцать назад, тогда еще новый, он выглядел довольно уныло, но с тех пор поросшие травой дорожки, деревья и ползучие растения, раскинувшие побеги по бетонным стенам, значительно улучшили его облик. У номера восемь по Растхолм-кресент расписная садовая калитка с переговорным устройством.

Он нажимает кнопку. Юный голос произносит:

— Алло?

— Я ищу мистера Исаакса. Моя фамилия Лури.

— Он еще не вернулся.

— Когда вы его ожидаете?

— Минутку.

Жужжание, щелчок замка, он толкает, открывая, калитку. Дорожка ведет к передней двери, у которой стоит, поджидая его, тоненькая девушка. На ней школьная форма: темно-синяя блуза, белые гольфы, рубашка с открытым воротом. У нее глаза Мелани, широкие скулы Мелани, темные волосы Мелани; если она чем-то и отличается от сестры, то большей красотой. Младшая сестра Мелани, о которой он уже слышал, вот только имени никак припомнить не может.

— Добрый день. Когда вернется отец?

— Занятия в школе кончаются в три, но он обычно задерживается. Да все в порядке, вы заходите.

Девушка, удерживая дверь открытой, вжимается в стену, когда он проходит мимо. Она жует хлеб, изящно держа ломоть двумя пальцами. Крошки на верхней губе. Его подмывает протянуть руку, стряхнуть их, и в тот же миг горячей волной накатывает воспоминание о ее сестре. «Господи, спаси и сохрани, — думает он, — что я здесь делаю?»

— Хотите, присядьте.

Он садится. Мерцает мебель, в комнате царит почти гнетущий порядок.

— Как ваше имя? — спрашивает он.

— Дезире.

Дезире, теперь он вспомнил. Сначала родилась Мелани, темная, потом Дезире, желанная. Наградить ребенка таким именем — значит как пить дать ввести богов в искушение!

— Меня зовут Дэвид Лури. — Он вглядывается в нее, но никаких признаков узнавания не замечает. — Я из Кейптауна.

— У меня сестра в Кейптауне. Она студентка.

Он кивает. Он не говорит: я знаю вашу сестру, хорошо знаю. Но думает: плод с того же древа, вероятно схожий с первым до самых интимных подробностей. Но есть и отличия: по-разному пульсирует кровь, различно выказываются потребности страсти. Обе в одной постели — вот опыт, достойный короля.

Он вздрагивает, смотрит на часы.

— Знаете что, Дезире? Я, пожалуй, попробую поймать вашего отца в школе, только вы мне скажите, как ее найти.

Школа составляет часть жилого квартала: низкое, облицованное кирпичом здание со стальными оконными рамами и асбестовой крышей, стоящее посреди четырехугольного, обнесенного колючей проволокой двора. «Ф. С. Мараис» — гласит надпись на одной из приворотных колонн; «Средняя школа» — значится на другой.

Двор пуст. Побродив немного, он натывается на табличку «Канцелярия». В канцелярии сидит, полируя ногти, немолодая пухлая секретарша.

— Я ищу мистера Исаакса, — говорит он.

— Мистер Исаакс! — зовет секретарша. — К вам посетитель! — И говорит ему: — Да вы входите, входите.

Сидящий за столом Исаакс начинает было привставать, замирает, недоуменно глядит на него.

— Вы меня не помните? Дэвид Лури из Кейптауна.

— О! — произносит Исаакс и садится. На нем все тот же великоватый ему костюм: шея тонет в вороте пиджака, из которого Исаакс торчит, будто остроклювая птица из мешка. Окна закрыты, пахнет застоявшимся табачным дымом.

— Если вы не хотите меня видеть, я сразу уйду, — говорит он.

— Нет, — откликается Исаакс. — Присаживайтесь. Я тут посещаемость проверяю. Вы не против, если я сначала закончу?

— Пожалуйста.

На столе фотография в рамке. Оттуда, где он сидит, не видно, кто на ней изображен, но он знает и так: зеницы очей мистера Исаакса, Мелани и Дезире, и женщина, которая выносила их под сердцем.

— Итак, — произносит, закрывая журнал, мистер Исаакс. — Чему обязан удовольствием?

Он думал, что будет волноваться, но теперь ощущает полное спокойствие.

— После того как Мелани подала жалобу, — говорит он. — университет провел официальное расследование. В результате я лишился места. Такова моя история, вам она, должно быть, известна.

Никакой реакции, Исаакс продолжает вопрошающе взирать на него.

— С тех пор я не у дел. Сегодня я проезжал через Джордж и подумал, что нужно бы задержаться здесь и поговорить с вами. Я помню, при последней нашей встрече мы были несколько... разгорячены. Но я решил, что все же стоит заглянуть к вам и рассказать, что у меня на душе.

Все сказанное до сих пор — правда. Он действительно хочет рассказать, что у него на душе. Вопрос только в том, что у него там, на душе.

В руках Исаакса дешевая шариковая ручка «бик». Исаакс поглаживает ее пальцами, переворачивает, поглаживает снова и снова, движениями скорее машинальными, чем нетерпеливыми.

Он продолжает:

— Вы знаете эту историю такой, какой она видится Мелани. Я хотел бы рассказать, если вы согласны меня выслушать, как я ее себе представляю.

Все началось без какого-либо умысла с моей стороны. Началось как приключение, одно из тех небольших неожиданных приключений, которые выпадают мужчинам определенного сорта, выпадали и мне, позволяя держать себя в форме. Про-

стите, что я так это излагаю. Я стараюсь быть искренним.

Однако в случае Мелани произошло нечто непредвиденное. Про себя я называю это огнем. Она зажгла во мне огонь.

Он замолкает. Ручка продолжает свой танец. «Небольшое неожиданное приключение. Мужчины определенного сорта». А мужчине, сидящему напротив него за столом, приключения выпадали? Чем дольше он глядит на Исаакса, тем сильнее сомневается в этом. Он не удивился бы, узнав, что Исаакс отправляет некую должность в церкви — дьякона или причетника, хотя, собственно, что такое причетник?

— Огонь... Что в нем замечательного? Если он гаснет, вы чиркаете спичкой и разжигаете новый. Так я привык думать. Между тем в давние времена люди поклонялись огню. Они бы крепко подумали, прежде чем позволить пламени умереть — пламени-богу. Такого вот рода пламя и зажгла во мне ваша дочь. Не настолько жаркое, чтобы я в нем сгорел, но настоящее — настоящий огонь.

Погоревший — горел — сгорел.

Ручка замирает.

— Мистер Лури, — говорит с вымученной улыбкой, искривившей его лицо, отец девушки. — Я спрашиваю себя: чего, собственно, вы добиваетесь, придя в мою школу и рассказывая мне истории о...

— Простите, это недопустимо, я понимаю. Но я уже закончил. Это все, что я хотел вам сказать в свое оправдание. Как Мелани?

— У Мелани, раз уж вы спрашиваете, все хорошо. Она звонит нам каждую неделю. Мелани

вернулась к учебе, ей дали на это особое разрешение — ну, вы знаете, с учетом всех обстоятельств. В свободное время она продолжает работать в театре, довольно успешно. Так что с Мелани все в порядке. А как с вами? Каковы ваши планы — теперь, когда вы больше не работаете по специальности?

— У меня тоже есть дочь, если вам это интересно. Она владеет фермой; я собираюсь проводить часть времени с ней, помогать по хозяйству. Кроме того, я должен закончить книгу, вернее, нечто вроде книги. Так или иначе, у меня есть чем заняться.

Он умолкает. Исаакс вглядывается в него с поражающим его выражением искренней заботливости.

— Да, — негромко произносит Исаакс, слова слетают с его губ подобно вздохам, — как пали сильные!

Пали? Что ж, падение было, тут не о чем и говорить. Но «сильные»? Применимо ль к нему это слово? Он привык считать себя человеком неприметным и становящимся чем дальше, тем неприметнее. Человеком с обочины истории.

— Возможно, — говорит он, — нам полезно время от времени падать. Пока мы не разбиваемся.

— Хорошо. Хорошо. Хорошо, — говорит Исаакс, все еще не сводя с него сосредоточенного взгляда. Впервые он примечает в лице Исаакса черты Мелани — в форме рта и губ. Повинуясь внезапному порыву, он тянется через стол, чтобы пожать этому человеку руку, но кончает тем, что гладит ее. Прохладная безволосая кожа.

— Мистер Лури, — говорит Исаакс, — есть ли еще что-нибудь, что вы хотели бы мне рассказать,

помимо вашей с Мелани истории? Вы упоминали о том, что у вас нечто лежит на душе.

— На душе? Нет. Нет, я заехал в город, чтобы узнать, как Мелани. — Он встает. — Спасибо, что приняли меня, я вам очень признателен.

Он протягивает руку, на сей раз не испытывая смущения:

— Прощайте.

— Прощайте.

Он уже в дверях — практически в опустевшей к этому времени приемной, — когда Исаакс окликает его:

— Мистер Лури! Минуточку!

Он возвращается.

— Какие у вас планы на вечер?

— На сегодняшний? Я остановился в отеле. У меня нет планов.

— Приходите к нам перекусить. Приходите к обеду.

— Не думаю, что вашей жене это понравится.

— Возможно, нет. Возможно, да. Все равно приходите. Преломите с нами хлеб. Мы садимся за стол в семь. Позвольте я напишу вам адрес.

— В этом нет необходимости. Я уже побывал сегодня у вас, познакомился с вашей дочерью. Она-то меня сюда и направила.

Исаакс и бровью не ведет.

— Хорошо, — говорит он.

Дверь открывает сам Исаакс.

— Прощу, прощущу, — говорит Исаакс и проводит его в гостиную. Никаких признаков ни жены, ни второй дочери.

— Мой вклад, — говорит он, протягивая Исааксу бутылку вина.

Исаакс благодарит, но, похоже, не знает, что ему делать с бутылкой.

— Налить вам немного? Я пойду открою.

Он покидает комнату, из кухни слышится шепот. Исаакс возвращается.

— Штопор куда-то запропастился. Ничего, Дези займет у соседей.

Ясное дело, они трезвенники. Мог бы и догадаться. Маленький мещанский дом со строгими правилами; расчетливость, бережливость. Машина вымыта, лужайка подстрижена, сбережения хранятся в банке. Все посвящено тому, чтобы обеспечить надежное будущее драгоценным дочкам — умнице Мелани с ее театральными устремлениями, красавице Дезире.

Он вспоминает Мелани в первый вечер их близкого знакомства — сидящую рядом с ним на софе, прихлебывающую кофе, в который добавлена маленькая стопочка виски, добавлена в виде — слово приходит к нему против воли — смазки. Ее аккуратное маленькое тело; ее волнующий чувства наряд; блестящие от возбуждения глаза. Девочка, вышедшая из леса, по которому рыщет серый волк.

Входит с бутылкой и штопором красавица Дезире. Направляясь к нему через комнату, она на миг запинаясь, сознавая, что необходимо как-то поздороваться с гостем.

— Па? — с едва приметным смущением шепчет она, протягивая отцу бутылку.

Так, Дезире уже знает, кто он. Родители разговаривали о нем, возможно, ссорились: нежеланный гость, человек, имя которому «мрак».

Отец задерживает ее ладонь в своей.

— Дезире, — говорит он, — это мистер Лури.

— Привет, Дезире.

Тряхнув головой, она отбрасывает назад упавшие на лицо волосы. Встречается с ним взглядом, все еще смущенная, но уже обретшая силу под защитой отца.

— Привет, — произносит она, а он думает: «Боже мой, боже мой!»

Что до Дезире, ей не удастся утаить от него свои мысли: «Так вот человек, с которым лежала голой моя сестра! Человек, с которым она делала это! Этот старик!»

В доме имеется еще одна маленькая гостиная, соединенная с кухней окошком в стене. Стол накрыт на четверых — лучшие приборы, свечи.

— Садитесь, садитесь! — говорит Исаакс. Жены по-прежнему не видно. — Извините, я на минутку, — Исаакс скрывается в кухне.

Он остается наедине с сидящей против него Дезире. Девушка склоняет голову, смелость покидает ее.

Наконец они возвращаются, родители. Он встает.

— Вы еще не знакомы с моей женой. Дорин, наш гость, мистер Лури.

— Я благодарен вам за приглашение, миссис Исаакс.

Миссис Исаакс — невысокая женщина, немного раздавленная к середине жизни, с кривоватыми ногами, отчего она слегка переваливается на ходу. Но он видит, от кого унаследовали свою внешность сестры. В прежние дни она, надо полагать, была настоящей красавицей.

Лицо ее остается неподвижным, она не встречается с ним взглядом, но все же кивает, почти неслышимо. Послушная, хорошая жена и помощница. «И оба плотью единой». Дочери тоже пойдут в нее?

— Дезире, принеси, пожалуйста, карри, — просит она.

Благодарное дитя выкарабкивается из кресла.

— Мистер Исаакс, я стал причиной размолвки в вашей семье, — говорит он. — Вы очень добры, что пригласили меня, я вам благодарен, но мне лучше уйти.

Исаакс отвечает улыбкой, в которой, к его изумлению, сквозит намек на веселость.

— Сидите, сидите! Все у нас будет отлично! Мы справимся! — Исаакс наклоняется к нему. — Вам следует быть сильным!

Возвращаются с подносами Дезире и ее мать: цыплята в пузырящемся томатном соусе, распространяющем аромат имбиря и тмина, рис, салаты и пикули. Именно та еда, по которой он, живя с Люси, соскучился пуще всего.

Перед ним ставят бутылку с вином и одинокий фужер.

— Я тут единственный, кто пьет? — спрашивает он.

— Прошу вас, — говорит Исаакс. — Не стесняйтесь!

Он наполняет фужер. Сладких вин он не любит и «Поздний урожай» купил, полагая, что это вино придется им по вкусу. Что ж, тем хуже для него.

Остается вытерпеть молитву. Семья Исааков берется за руки, ему не остается ничего другого,

как тоже протянуть руки — левую отцу девушки, правую матери.

— Да содеет нас Господь воистину благодарными за то, что мы станем сейчас вкушать, — говорит Исаакс.

— Аминь, — отзываются жена с дочерью; и он, Дэвид Лури, тоже бормочет: «Аминь» — и выпускает две ладони, отцовскую, прохладную как шелк, и материнскую, маленькую, мясистую, согретую ее трудами.

Миссис Исаакс раскладывает еду.

— Осторожнее, горячо, — говорит она, подавая ему тарелку. Это единственные обращенные ею к нему слова.

За едой он старается вести себя как хороший гость, рассказывает, не позволяя повиснуть молчанию, смешные истории. Он говорит о Люси, о ее псарне, пчелах, садоводческих планах, о своих субботних сидениях на рынке. Рассказ о нападении он смягчает, упоминая только, что у него угнали машину. Рассказывает он и о Лиге защиты животных, но не о своих тайных вечерних свиданиях с Бев Шоу.

История его, состеганная таким манером из отдельных кусков, лишена теней. Сельская жизнь во всей ее идиотической простоте. Как бы он хотел, чтобы это могло стать правдой! Он устал от теней, от сложностей, от сложных людей. Он любит дочь, но временами желает, чтобы она была более простым существом, простым и понятным. Человек, который ее изнасиловал, главарь банды, как раз таким-то и был. Подобным клинку, рассекающему ветер.

Он вдруг видит себя распяленным на операционном столе. Блещет скальпель, его распарывают от горла до чресел. Бородатый хирург, склонившись над ним, хмурится. «Это еще что? — рычит хирург. И тычет скальпелем в желчный пузырь. — Что это?» Он отсекает пузырь, отбрасывает его в сторону. И тычет в сердце. «А это?»

— Ваша дочь... она что же, в одиночку управляется с фермой? — спрашивает Исаакс.

— Там есть человек, который ей иногда помогает. Петрас. Африканец.

И он рассказывает о Петрасе, основательном, надежном Петрасе с двумя его женами и скромными амбициями.

Он, оказывается, не так голоден, как полагал. Разговор никнет, однако им удастся дотянуть до конца обеда. Дезире извиняется и уходит, у нее еще не сделаны уроки. Миссис Исаакс убирает со стола.

— Мне пора, — говорит он. — Я завтра должен выехать пораньше.

— Постойте, задержитесь ненадолго, — говорит Исаакс.

Они остаются наедине. Он больше не может уклоняться от объяснения.

— Относительно Мелани, — говорит он.

— Да?

— Еще одно слово, последнее. Я верю, что у нас с ней все могло сложиться иначе, несмотря на разницу в возрасте. Но было нечто, чего я не смог ей дать, нечто, — он нащупывает слово, — лирическое. Мне не хватило лиричности. Я слишком умело управляюсь с любовью. Даже стора, я не пою, вы понимаете, о чем я? И я про-

шу прощения за это. Я прошу прощения за то, через что пришлось пройти вашей дочери. У вас чудесная семья. Я извиняюсь за горе, которое причинил вам и миссис Исаакс. Я прошу вас простить меня.

«Чудесная» — неверное слово. Правильнее — «образцовая».

— Итак, — говорит Исаакс, — вы извинились. А я уж начал гадать, когда же это случится.

Исаакс задумывается. Он не садится, прохаживается взад-вперед по гостиной.

— Вы просите прощения. Говорите, что вам не хватило лиричности. Если б вам хватило лиричности, мы не попали бы в нынешнее наше положение. Но я говорю себе: мы все, когда нас хватают за руку, просим прощения. Тут мы преисполняемся глубоких сожалений о содеянном. Вопрос же не в том, сожалеем мы или нет. Вопрос в том, какой урок мы извлекли из случившегося. Вопрос в том, что мы станем делать теперь, переполняясь такими сожалениями.

Он раскрывает рот, чтобы ответить, но Исаакс поднимает ладонь.

— Могу я произнести в вашем присутствии слово «Бог»? Вы не из тех, кто выходит из себя, услышав имя Божие? Так вот, вопрос в том, чего, помимо сожалений, хочет от вас Бог? Имеются у вас какие-нибудь соображения на этот счет, мистер Лури?

Мельтешение Исаакса отвлекает его, но он все же старается подбирать слова поточнее:

— В обычной ситуации я сказал бы, что по достижении определенного возраста человек оказывается слишком стар, чтобы извлекать уроки.

Ему остается лишь сносить наказание за наказанием. Но, возможно, это не так, не всегда так. Я жду, надеясь понять. Что касается Бога, то я человек неверующий, поэтому мне приходится переводить ваши слова о Боге и воле Божией на язык моих собственных представлений. В рамках этих представлений я несу наказание за то, что произошло между мной и вашей дочерью. Я погружен в бесчестье, а это состояние, выбраться из которого без посторонней помощи нелегко. Не то чтобы я отвергал наказание. Против него я не возражаю. Нет, я живу с ним день за днем, стараясь принять бесчестье как выпавший мне на долю способ существования. Как по-вашему, достаточно ли Богу того, что я живу в бесчестье, которому не видно конца?

— Не знаю, мистер Лури. В обычной ситуации я сказал бы: не спрашивайте у меня, спрашивайте у Бога. Но поскольку вы не молитесь, то и спросить Его ни о чем не можете. Стало быть, придется Богу отыскивать собственные средства, чтобы пообщаться с вами. Как по-вашему, мистер Лури, почему вы очутились здесь?

Он молчит.

— Ну так я вам скажу. Вы проезжали через Джордж, вам пришло в голову, что в Джордже живет семья вашей студентки, и вы подумали: «Почему бы и нет?» Вы этого не планировали и все-таки оказались в нашем доме. Вас это должно было удивить. Не так ли?

— Не совсем. Я не сказал вам всей правды. Я не просто проезжал мимо. Я заехал в Джордж по одной-единственной причине — чтобы поговорить с вами. Я уже довольно давно думал об этом.

— Да, вы говорите, что приехали ради разговора со мной. Но почему со мной? Со мной легко разговаривать, слишком легко. Это известно всем детям моей школы. От Исаакса ничего не стоит отбрехаться, вот как они говорят. — Он вновь улыбается той же кривоватой улыбкой, что и прежде. — Так вы действительно приехали, чтобы поговорить со мной?

Теперь он окончательно понимает: человек этот ему не нравится и его фокусы тоже.

Он встает, неуверенным шагом пересекает пустую гостиную, идет по коридору. За полуприкрытой дверью слышны негромкие голоса. Он распахивает дверь. Сидя на кровати, Дезире с матерью возятся с мотком шерсти. Пораженные его появлением, они замолкают.

С тщательной церемонностью он опускается на колени и лбом касается пола.

«Этого довольно? — думает он. — Сгодится? Если нет, что еще?»

Он отрывает лоб от пола. Женщины так и сидят замерев. Он встречается взглядом с матерью, затем с дочерью, и поток снова взбухает, поток желания.

Он поднимается на ноги с несколько большим скрипом, чем ему хотелось бы.

— Спокойной ночи, — говорит он. — Спасибо за вашу доброту. Спасибо за угощение.

В одиннадцать вечера в его номере раздается телефонный звонок. Это Исаакс.

— Я звоню, чтобы пожелать вам сил на будущее. — Пауза. — И еще, мистер Лури, у меня есть вопрос, который я так и не успел вам задать. Вы

ведь не надеялись, что мы похлопочем за вас, ну, в университете?

— Похлопочете?

— Ну да. Например, чтобы вас восстановили в должности.

— И в голову никогда не приходило. С университетом я покончил.

— Потому что путь, на который вы вступили, избран для вас Богом как испытание. Мы тут вмешиваться не вправе.

— Понятно.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

В Кейптаун он въезжает по шоссе Н2. Он отсутствовал меньше трех месяцев, и все же за это время лачуги успели переклестнуть через дорогу и расползтись по пустошам к югу от аэропорта. Поток машин приходится ждать, пока ребенок с хворостинкой перегонит через шоссе отбившуюся от стада корову. Деревня, думает он, неумолимо вторгнется в город. Скоро на Рондебош-Коммон снова будет пастись скот; скоро история вновь завершит полный круг.

Ну вот он и дома. Хотя чувства возвращения домой у него не возникает. Ему трудно представить, как он опять заживет на Торранс-роуд, в тени университета, как будет, подобно преступнику, красться по улицам, избегая прежних коллег. Придется продать дом и поселиться в какой-нибудь квартирке подешевле.

В денежных его делах царит хаос. Счета не оплачивались со времени отъезда. Он жил в кредит, и теперь этот кредит может в любой день иссякнуть.

Конец скитаниям. А что наступает, когда кончаются скитания? Он видит себя седоголовым, сутулым, шаркая бредущим к угловому магазину, чтобы купить пол-литра молока и половинку батона; видит себя в заваленной пожелтевшими бумагами комнате тупо сидящим за столом в ожидании,

когда померкнет день и можно будет приготовить ужин и лечь спать. Жизнь престарелого ученого, без устремлений, без перспектив — готов ли он к ней?

Он отпирает калитку. Сад зарос, почтовый ящик забит извещениями, рекламными листками. Дом, хоть он по большинству стандартов и надежно защищен от взлома, пропустовал несколько месяцев: слишком долго для надежды на то, что его не посетили незваные гости. И действительно, едва открыв входную дверь и потянув носом воздух, он убеждается — что-то неладно. От волнения начинает болезненно колотиться сердце.

Ни звука. Кто бы ни вторгся в дом, сейчас здесь никого. Но как они проникли внутрь? Переходя на цыпочках из комнаты в комнату, он скоро получает ответ. Прутья решетки одного из выходящих на зады окон выломаны и отогнуты наружу, стекла разбиты, образовавшееся отверстие достаточно велико, чтобы в него смог пролезть ребенок, а то и щуплый мужчина. Пол устилают нанесенные ветром листья и песок.

Он бродит по дому, составляя список потерь. В спальне все перевернуто вверх дном, стенные шкафы зияют пустотой. Аудиосистема исчезла, пластинки, кассеты и компьютерное оборудование тоже. В кабинете взломаны письменный стол и картотечный шкаф, повсюду рассыпаны бумаги. Кухня обобрана полностью: столовое серебро, посуда, бытовые приборы, те, что поменьше. Исчезло все его вино. Пуст даже буфет, в котором хранились консервы.

Не просто ограбление. Группа вторжения занимает объект, обдирает его дочиста и отходит,

нагруженная мешками, ящиками, чемоданами. Трофеи, военные репарации, еще один эпизод в великой кампании перераспределения. Кто сейчас носит его полуботинки? Нашли ли Бетховен с Яначеком новые пристанища или их просто вышвырнули в кучу мусора?

Из ванной комнаты тянет отвратительным запахом. Голубь, залетевший в дом, нашел свой конец в умывальнике. Он осторожно сгребает кучку костей и перьев в пластиковый пакет и туго завязывает его.

Свет отключен, телефон молчит. Если он чего-нибудь не предпримет, придется провести ночь в темноте. Но он слишком подавлен для каких-либо действий. Провалилось оно все в тартарары, думает он, опускаясь в кресло и закрывая глаза.

Когда наступают сумерки, он, стряхнув оцепенение, выходит из дому. Загораются первые звезды. Пустыми улицами, парками, напоенными запахами вербены и нарциссов, он идет к университетскому городку. У него еще сохранились ключи от входной двери факультетского корпуса. Самое время для появления призрака: коридоры пустынные. Табличка с его именем с двери кабинета снята. «Д-р С. Отто» — значит на новой. Из-под двери пробивается слабый свет.

Он стучит. Никакого ответа. Он отпирает дверь и входит.

Комната изменилась. Его картины и книги исчезли, стены голы, если не считать увеличенной до размеров плаката фотокопии с картинки из

книги комиксов: Супермен, понуро внимающий укорам Лоис Лэйн¹.

За компьютером сидит в полусвете молодой человек, никогда им прежде не виданный. Молодой человек недовольно хмурится.

— Вы кто? — спрашивает он.

— Дэвид Лури.

— Да? И что?

— Я пришел за своей почтой. Здесь был мой кабинет.

«В прошлом», — едва не добавляет он.

— А, да, Дэвид Лури. Простите, не сообразил. Я все сложил в коробку. Вместе с другими вашими вещами, какие я здесь нашел. — Он машет рукой: — Вон она.

— А мои книги?

— Внизу, в камере хранения.

Он поднимает коробку.

— Спасибо, — говорит он.

— Нет проблем, — откликается молодой д-р Отто. — Сами дотащите?

Он несет тяжелую коробку к библиотеке, чтобы разобрать там почту. Но, достигнув входного турникета, обнаруживает, что пропускной автомат больше не опознает его карточку. Приходится разбирать почту на скамейке в вестибюле.

Он слишком возбужден, чтобы спать. На закате он, решив порадовать себя долгой прогулкой, направляется к склону горы. Только что прошел

¹ Персонаж эпопеи о Супермене, журналистка, в которую он влюблен.

дождь, потоки воды еще бурлят в водостоках. Он вдыхает пьянящий аромат сосен. Сегодня он человек свободный, никому, кроме себя самого, ничем не обязанный. Время простерлось перед ним, ожидая, что он потратит его по своему усмотрению. Чувство, внушающее некоторое беспокойство; впрочем, и к нему, надо полагать, можно привыкнуть.

Месяцы, проведенные у Люси, не обратили его в сельского жителя. Тем не менее по каким-то вещам он скучает — например, по утиному семейству: Матушка Утица с выпяченной от гордости грудью гуляет, меняя галсы, по насыпи, меж тем как Эни, Мени, Мини и Мо деловито ковыляют за ней, уверенные, что, пока она здесь, с ними никакой беды не случится.

А вот о собаках ему думать не хочется. Начиная с понедельника собак, избавленных в стенах клиники от жизни, будут бросать в огонь безвестными, неоплаканными. Получит ли он когда-либо прощение за это предательство?

Он навещает банк, относит в прачечную груды белья. Продавец магазинчика, в котором он многие годы покупал кофе, делает вид, что не узнает его. Соседка, поливающая свой садик, старательно держится к нему спиной.

Он вспоминает об Уильяме Вордсворте, впервые приехавшем в Лондон, посетившем пантомиму и видевшем, как Джек Победитель Великанов, размахивая мечом, беспечно разгуливает по сцене, защищенный написанным на его груди словом «Невидимка».

Вечером он из будки телефона-автомата звонит Люси.

— Решил позвонить, на случай, если ты обо мне тревожишься, — говорит он. — У меня все нормально. Видимо, потребуется какое-то время, чтобы снова обжиться здесь. Я чувствую себя в доме как горошина в бутылке, только что о стены не стучаюсь. И по уткам скучаю.

О том, что дом ограблен, он не упоминает. Зачем обременять Люси своими заботами?

— Как Петрас? — спрашивает он. — Помогает тебе или все еще никак не разделается с постройкой дома?

— Петрас очень меня выручает. И другие тоже.

— Ну что ж, если понадобится, я готов сразу вернуться. Ты только скажи.

— Спасибо, Дэвид. Может быть, не сейчас, но в скором времени.

Кто бы мог подумать при рождении Люси, что наступят дни, когда он будет унижаться перед ней, прося пристанища?

Покупая кое-что в супермаркете, он обнаруживает в очереди прямо перед собой Элайн Винтер, заведующую его — теперь уж не его — кафедрой. У Элайн набитая покупками тележка на колесиках, у него — скромная ручная корзинка. Она не без нервности отвечает на его приветствие.

— Как там поживает без меня кафедра? — спрашивает он.

«Отлично, — так должен бы прозвучать наиболее честный ответ. — Прекрасно без вас обходимся». Но для такого ответа она слишком вежлива.

— Ну, колотимся как обычно, — туманно сообщает она.

— Нашли кого-нибудь на мое место?

— Да, взяли по договору одного молодого человека.

«Я с ним уже познакомился», — хочется сказать ему. «Маленький хер в исправном состоянии», — мог бы прибавить он. Но и он тоже слишком хорошо воспитан.

— И какова его специальность? — вместо этого осведомляется он.

— Прикладная лингвистика. Занимается изучением языков.

Вот и конец поэтам, конец мертвым мастерам. Каковые, следует добавить, оказались не лучшими из наставников. *Aliter*¹ каковых он слушал без должного внимания.

Женщина, стоящая перед ними, уже расплачивается. У Элайн еще остается время для следующего вопроса, коим должен стать: «А как выживаете, Дэвид?», а у него для ответа: «Превосходно, Элайн, превосходно».

— Хотите, я вас пропущу? — предлагает она взамен и указывает на его корзинку. — У вас так мало всего.

— И не мечтайте, Элайн, — отвечает он и затем не без удовольствия наблюдает, как она выкладывает на стойку покупки: не только хлеб да масло, но и те маленькие радости, которые позволяет себе одинокая женщина, — настоящее сливочное мороженое (с настоящим миндалем и настоящим изюмом), завозное итальянское печенье, плитки шоколада плюс пакет гигиенических прокладок.

¹ Или же, иначе, по-другому (лат.).

Расплачивается Элайн кредитной карточкой. Из-за барьера она машет ему на прощание рукой. Явно испытывая облегчение.

— До скорого! — кричит он поверх головы касирши. — Кланяйтесь всем от меня!

Элайн не оборачивается.

Опера, когда он только еще задумал ее, вращалась вокруг лорда Байрона и его любовницы, графини Гвиччиоли. Этим двоим, запертым на вилле Гвиччиоли, изнуренным удушающим летним зноем Равенны, отслеживаемым ревнивым мужем Терезы, предстояло бродить по унылым покоям и петь о своей одолевающей препятствия страсти. Тереза чувствует себя узницей; негодование сжигает ее, она изводит Байрона просьбами увезти ее прочь отсюда, к другой жизни. Байрон же полон сомнений, которые ему хватает ума не высказывать. Их первые восторги, подозревает он, никогда уж не повторятся. В жизни Байрона наступило затишье, его, пока еще неосознанно, влечет к тихому, уединенному существованию, а если таковое окажется невозможным, то к апофеозу, к смерти. Выспренние арии Терезы не возжигают в его душе никакого огня; его вокальная тема, безрадостная, путаная, огибает тему Терезы, проходит сквозь нее и над нею.

Такой он задумал свою оперу — камерной пьесой о любви и смерти, с пылкой юной женщиной и некогда пылким, но уже поостывшим мужчиной постарше; пьесу, действие которой оттеняется сложной, тревожной музыкой, английским пением, то и дело норовящим перейти на вдохновенный итальянский.

Если говорить о форме — концепция неплоха. Персонажи хорошо уравнивают друг друга: чета затворников, стучащая в окна отвергнутая любовница, ревнивый муж. Да и вилла — с люстрами, на которых раскачиваются ручные обезьянки Байрона, с павлинами, разгуливающими взад-вперед среди чересчур изукрашенной неаполитанской мебели, — создает нужное сочетание вневременья и распада.

И все же сначала на ферме Люси, теперь здесь этому замыслу никак не удастся всерьез задеть струны его души. Что-то есть в нем неверное, идущее не от сердца. Женщина жалуется звездам, что шпионящие слуги вынуждают ее и любовника утолять свои желания в чулане, среди метел, — ну и что с того? Он способен найти слова для Байрона, но Тереза, которую завещала ему история — юная, алчная, своенравная, вздорная, — не отвечает музыке, о которой он мечтает, музыке, чьи гармонии, по осеннему пышные, но отзывающие иронией, он улавливает внутренним слухом.

Он пробует пойти другим путем. Махнув рукой на исписанные нотами листы, махнув рукой на своевольницу, переживающую пору первой влюбленности в плененного ею Английского Милорда, он пытается воссоздать Терезу в ее зрелые годы. Новая Тереза — это кряжистая, низкорослая вдова, живущая со своим престарелым отцом на вилле Гамба, ведущая хозяйство, не любящая развязывать шнурки на мошне, присматривающая за слугами, чтобы те не крали сахар. В новом варианте Байрон давно мертв; единственное оставшееся у Терезы притязание на бессмертие, единственное утешение ее одиноких ночей — это сундучок

с письмами и памятными вещицами, который она держит под кроватью, — то, что она называет своими *reliquie*¹, и что внучатые племянницы Терезы найдут после ее смерти и станут с благоговением перебирать.

Вот это и есть героиня, которую он искал столько времени? Сможет ли постаревшая Тереза увлечь его сердце — такое, каким оно стало теперь?

Время обошлось с Терезой неласково. Отяжелевший бюст, коренастое тулово, коротковатые ноги делают ее похожей скорее на крестьянку, на *contadina*, чем на аристократку. Лицо, которое Байрон некогда так обожал, покрыл нездоровый румянец; летней порой Терезу мучают приступы астмы, и она жадно хватается ртом воздух.

В письмах к Терезе Байрон называл ее «Друг мой», затем «Любовь моя», затем «Вечная любовь моя». Но существуют и письма-соперники, на которые она не может наложить руку, чтобы их сжечь. В этих письмах к английским друзьям Байрон непочтительно заносит ее в список своих итальянских побед, подшучивает над ее мужем, упоминает о женщинах ее круга, с которыми он спал. За годы, прошедшие после смерти Байрона, друзья, опираясь на его письма, понастрочили один за другим мемуаров. После того как Байрон увел Терезу у мужа, уверяют их рассказы, она ему скоро наскучила; он быстро обнаружил, что Тереза пустоголова; и оставался с нею из одного только чувства долга; он для того и уплыл в Грецию, навстречу смерти, чтобы избавиться от нее.

¹ Реликвиями (*итал.*).

Эти пасквили задевают ее за живое. Годы, проведенные с Байроном, это вершина ее жизни. Любовь Байрона — единственное, что отличает ее от всех остальных. Без этой любви она ничто: женщина, чья лучшая пора миновала, коротающая дни в унылом провинциальном городе, обмениваясь визитами с подругами, растирая отцу ноги, когда те болят, проводя ночи в одинокой постели.

Сможет ли он отыскать в своем сердце любовь к этой невзрачной, заурядной женщине? Сможет ли полюбить ее настолько, чтобы написать для нее музыку? Если не сможет, что ему останется тогда?

Он возвращается к тому, что должно теперь стать начальной сценой. Близится к концу еще один знойный день. Тереза стоит у окна третьего этажа отцовского дома, глядя поверх болот и чахлых сосен Романьи на солнце, блещущее на водах Адриатического моря. Конец вступления, тишина, Тереза делает вдох. «Міо¹ Байрон», — поет она, и голос ее дрожит от печали. Одинокій кларнет отвечает ей, затихает, смолкает. «Міо Байрон», — снова зовет она, на этот раз громче.

Где он, ее Байрон? Байрон умер, таков ответ. Байрон бродит среди теней. И она умерла тоже, Тереза, которую он любил, девятнадцатилетняя девушка со светлыми локонами, так радостно отдававшаяся властному англичанину и затем гладившая его чело, когда он, тяжело дышащий, впавший в оцепенение после всплеска великой страсти, лежал на ее нагой груди.

«Міо Байрон», — поет она в третий раз, и откуда-то, из вертепов преисподней, отвечает голос.

¹ Мой (итал.).

колеблющийся, бестелесный голос призрака, голос Байрона. «Где ты?» — поет он, и следом приходит слово, которого ей не хочется слышать: *secca*, сухой. «Он высох, источник всего».

Голос Байрона так слаб; так неверен, что Терезе приходится пропевать ему его же слова, вдох за вдохом помогая ему, вытягивая его, возвращая к жизни — ее дитя, ее мальчика. «Я здесь, — поет она, удерживая Байрона, спасая от сползания вниз. — Я твой источник. Ты помнишь, как мы навещали ключи Аркуи¹? Вдвоем, ты и я. Я была твоею Лаурой. Ты помнишь?»

Так оно теперь и пойдет: Тереза, наделяющая любовника голосом, и он, человек в ограбленном доме, наделяющий голосом Терезу.

Стараясь работать как можно быстрее, стараясь не выпустить Терезу из рук, он пробует набросать начальные страницы либретто. Перенеси слова на бумагу, говорит он себе. Сделаешь это — дальше пойдет легче. Тогда наступит время поискать у мастеров — у Глюка к примеру — возвышенные мелодии и, возможно, — как знать? — да, возвышенные идеи.

Мало-помалу, по мере того как он проводит все больше времени с Терезой и мертвым Байроном, он начинает понимать, что заемные мелодии не подойдут, что эти двое требуют собственной музыки. И поразительно — нота за нотой музыка приходит к нему. Порою контур фразы возникает еще до того, как он понимает, какими будут слова; порою слова порождают каданс; порой же мелодия, несколько дней протоптавшаяся у порога слышимости, рас-

¹ Аркуя — деревня под Падуйей, в которой умер Петрарка.

крывается, радостно являя себя. Больше того, действие, развиваясь, начинает взывать к собственным модуляциям, к переключениям, которые, он чувствует это, бродят в его крови, даже когда ему не хватает музыкальных средств для их выражения.

Он усаживается за рояль, намереваясь соединить разрозненные куски и записать начало партитуры. Но что-то в звучании рояля мешает ему: оно слишком округло, слишком материально, слишком богато. Он притаскивает с чердака, из набитой старыми книгами и игрушками Люси корзины, странноватое маленькое семиструнное банджо, купленное для дочери, тогда еще девочки, на улице Куамашу. И с помощью банджо принимается перекладывать на ноты музыку, под которую Тереза, то скорбящая, то гневная, поет, обращаясь к мертвому любовнику, и ту, под которую поет ей в ответ из страны теней тусклоголосый Байрон.

Чем дальше углубляется он за графией в ее преисподнюю, выпевая за нее слова или мурлыча ее вокальную линию, тем, к его удивлению, более неотделимым от нее становится глупенькое треньканье банджо. Роскошные арии, которыми он мечтал ее наделить, тихо отступают в небытие, и остается всего лишь короткий шаг до того, чтобы вложить инструмент в ее руки. Теперь Тереза не расхаживает торжественно по сцене, но сидит, глядя поверх болот на врата ада, баюкая мандолину, на которой она аккомпанирует своим лирическим порывам; а обок нее скромное трио (виолончель, флейта, фagот) заполняет паузы или вставляет между строк скупые замечания.

Сидя за письменным столом и глядя в заросший садик, он дивится тому, чему научило его маленькое

банджо. Шесть месяцев назад он полагал, что его собственное призрачное место в «Байроне в Италии» будет находиться где-то между Терезой и Байроном — между стремлением продлить летнюю пору страстного тела и неохотным пробуждением от долгого сна забвения. Он ошибался. В конечном итоге не эротика взывала к нему, не элегическое начало, но комическое. В опере он не Тереза, не Байрон, не даже некая их смесь: он живет в самой музыке, в монотонном металлическом щелканье банджовых струн, в голосе, который пытается воспарить над нелепым инструментом, но раз за разом послушно притягивается к нему, точно рыба на леске.

Таково искусство, думает он, и вот так оно работает! Как странно! Как чарующе!

Он проводит целые дни в обществе Байрона и Терезы, питаясь черным кофе и овсянкой. Холодильник пуст, кровать не убрана, ветер, врываясь в разбитое окно, гоняет по полу листья. Неважно, думает он, пусть мертвые погребают своих мертвецов.

«У поэтов я научился любить, — на одной ноте до бекар поет резким голосом Байрон, одиннадцать слогов, — но жизнь, как узнал я (хроматический спуск к фа), дело совсем иное». «Трень-брень-дринь», — комментируют струны банджо. «Почему, о, почему ты так говоришь?» — выпевает Тереза по долгой, укоризненной дуге. «Брень-трень-дринь», — вторят ей струны банджо.

Ей хочется быть любимой, Терезе, любимой во век; ей хочется возвыситься до общества Лаур и Флор прежних времен. А Байрон? Байрон сохранит верность ей до гроба, но это и все, что он обещает. «Да не порвем мы уз, покуда живы оба».

«My love»¹, — поет Тереза, растягивая сочное английское односложное, заученное ею в постели поэта. «Трень», — отзываются эхом струнные. Женщина в любви, погрязшая в любви; кошка, воющая на крыше; сложные протеины, бурлящие в крови, вздувая половые органы, заставляя ладони потеть, а голос — хрипнуть, пока душа возносит свои упоования к небесам. Вот для чего существовали Сорайя и прочие: чтобы высосать, как высасывают змеиный яд, сложные протеины из его крови, оставив его сухим и трезвомыслящим. У Терезы в равеннском доме ее отца нет, на ее беду, никого, кто высосал бы яд из ее жил. «Приди ко мне, mio Байрон, — восклицает она, — приди, люби меня!» И Байрон, изгнанный из жизни, бледный, как призрак, насмешливо отвечает: «Оставь меня, оставь, оставь, чтоб жить я мог!»

Много лет назад, живя в Италии, он посетил тот самый лес между Равенной и Адриатикой, в который за полтора столетия до него выезжали на верховые прогулки Байрон с Терезой. Где-то там, под деревьями, должно находиться место, на котором англичанин впервые задрал юбки своей только что ставшей женой другого мужчины восемнадцатилетней чаровницы. Он мог бы улететь завтра в Венецию, вскочить в поезд на Равенну, побродить по старым тропинкам для верховой езды, пройти мимо этого места. Он сочиняет музыку (или музыка сочиняет его), но не историю. На тех сосновых иглах Байрон обладал своею Терезой — «робкой, как газель» называл он ее, — сменяя ей платья, забивая песком белье (и все это время лошади стояли

¹ Любовь моя (англ.).

поблизости, не любопытствуя); так зародилась страсть, которая заставляла Терезу до скончания ее земного бытия в горячке выть на луну, которая и из Байрона исторгла вой; пусть и несколько отличный.

Тереза ведет его; он следует по пятам за нею с одного листа на другой. И вот настает день, когда из темноты долетает еще один голос, которого он до сей поры не слышал и не думал услышать. Судя по узнанным им словам, голос принадлежит Аллегре, дочери Байрона, — да, но из каких тайников *его-то* души он исходит? «Зачем ты меня покинул? Приходи, заberi меня! — взывает Аллегра. — Здесь так жарко, так жарко, так жарко!» — жалуется она, и ритм ее жалоб пререзает голоса любовников.

Ответа на призыв никому не нужной пятилетней девочки не приходит. Некрасивая, нелюбимая, забытая знаменитым отцом, она переходила из рук в руки и наконец была отдана на попечение монахиням. «Так жарко, так жарко! — скулит она в монастырской постели, умирая от *la mal'aria*. — Почему ты забыл меня?»

Почему отец ей не отвечает? Потому что он пресытился жизнью, потому что предпочел бы вернуться на свое место, на *тот* берег смерти, погрузиться в свой стародавний сон. «Бедная моя девочка!» — поет Байрон неуверенно, невольно, слишком тихо, чтобы быть услышанным ею. Сидя поодаль, в тени, трое инструменталистов наигрывают зигагообразную тему, линейка вверх, линейка вниз — тему Байрона.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Звонит Розалинда.

— Люси говорит, ты вернулся в город. Почему не звонишь?

— Я пока не пригоден для общения, — отвечает он.

— А когда ты был для него пригоден? — сухо осведомляется Розалинда.

Они встречаются в кофейне на Кларемон.

— Ты похудел, — замечает Розалинда. — Что у тебя с ухом?

— Пустяки, — отвечает он и в дальнейшие пояснения не вдается.

Пока они беседуют, взгляд Розалинды то и дело возвращается к его изуродованному уху. Она содрогнулась бы, он в этом уверен, если бы ей пришлось притронуться к этой штуке. Розалинда не из тех, кто всегда готов броситься на помощь. Лучшие из связанных с нею воспоминаний относятся к их первым совместным месяцам: душные летние ночи в Дурбане, влажные от пота простыни, долгое, бледное тело Розалинды, мотающееся из стороны в сторону в судорогах наслаждения, которое нелегко отличить от боли. Чета сластолюбцев: это и держало их вместе, пока все не кончилось.

Они говорят о Люси, о ее ферме.

— Я думала, с ней там подружка живет, — удивляется Розалинда, — Грейс.

— Хелен. Хелен вернулась в Йоханнесбург. Подзреваю, они разошлись навсегда.

— А не опасно ли это для Люси — жить в таком глухом месте?

— Еще как опасно, Люси была бы сумасшедшей, если бы считала, что там безопасно. Но она все равно хочет остаться. Для нее это стало вопросом чести.

— Ты вроде говорил, что у тебя украли машину.

— Тут я сам виноват. Следовало быть поосторожнее.

— Да, чуть не забыла — мне рассказали о суде над тобой. Сведения из первых рук.

— Суде?

— Расследовании, разбирательстве, называй как хочешь. Судя по тому, что я услышала, ты показал себя не в лучшем виде. Был слишком несговорчив, даже агрессивен.

— Я и не собирался произвести на них приятное впечатление. Я отстаивал принцип.

— Может, и так, Дэвид, но ты же понимаешь, что на подобных судилищах главное не принципы, а то, насколько хорошо ты себя подаешь. Если верить моему источнику, ты себя подал плохо. Какой такой принцип ты отстаивал?

— Свободу речи. Свободу молчания.

— Звучит возвышенно. Впрочем, ты всегда прекрасно умел обманывать себя, Дэвид. Великий мастер обмана и самообмана. Ты уверен, что это был не тот случай, когда тебя просто-напросто застукали со спущенными штанами?

На эту приманку он не клюет.

— Так или иначе, какой бы принцип ты ни отстаивал, он оказался слишком сложным для понимания твоей аудитории. Аудитория решила, что ты попросту напускаешь туману. Тебе следовало подыскать человека, который заранее натаскал бы тебя. Как ты выкручиваешься с деньгами? Пенсию они отобрали?

— Попытаюсь вернуть то, что когда-то вложил. Продам дом. Он слишком велик для меня.

— А чем собираешься заняться? Работу будешь искать?

— Не уверен. У меня и так дел по горло. Я кое-что пишу.

— Книгу?

— Собственно говоря, оперу.

— Оперу? Это что-то новенькое. Надеюсь, она принесет тебе кучу денег. Ты думаешь перебраться к Люси?

— Опера не более чем хобби, просто чтоб было чем голову занять. Денег она не принесет. А к Люси — нет, к Люси я перебираться не стану. Это не самая удачная мысль.

— Почему? Вы с ней всегда отлично ладили. Что-нибудь случилось?

Розалинда определенно сует нос куда не следует, но она всегда делала это без колебаний. «Ты десять лет спал в одной постели со мной, — однажды сказала она, — какие же у тебя могут быть от меня секреты?»

— С Люси мы ладим по-прежнему, — отвечает он. — Но не так хорошо, чтобы жить вместе.

— История твоей жизни.

— Да.

Наступает молчание, оба озирают, каждый со своей колокольни, историю его жизни.

— Я тут твою подружку видела, — извещает его, меняя тему, Розалинда.

— Подружку?

— Ну, прелестницу твою. Мелани Исаакс — ее ведь так зовут? Играет в театре «Причал». Ты не знал? Теперь понимаю, чем она тебя взяла. Большие темные глаза. Тело как у маленькой ласки. В точности твой тип. Ты, должно быть, решил, что это будет еще одна из твоих недолгих эскапад, дежурный грешок. Ну и посмотри теперь на себя. Выбросил жизнь псу под хвост, и ради чего?

— Я вовсе не выбрасывал свою жизнь, Розалинда. Не городи ерунды.

— Как не выбрасывал! Работы нет, имя замарано, друзья тебя избегают, ты прячешься на Торранс-роуд, будто черепаха, боящаяся выставить голову из-под панциря. Люди, недостойные даже того, чтобы чистить тебе ботинки, отпускают шуточки на твой счет. Рубашка на тебе неглаженная, подстрижен ты бог знает кем и как, ты стал... — Розалинда обрывает тираду. — В конечном итоге тебя ожидает участь тех несчастных стариков, что роются в мусорных баках.

— В конечном итоге меня ожидает яма в земле, — говорит он. — Как и тебя. И всех прочих.

— Хватит, Дэвид, я и так расстроена тем, что увидела, не хочу я с тобой препираться. — Она собирает свои пакеты. — Когда тебе опротивеет хлеб с джемом, позвони, я для тебя что-нибудь приготовлю.

Упоминание о Мелани Исаакс выбивает его из колеи. Он никогда не вступал с женщинами в долгие связи. Если роман завершался, он просто поворачивался к нему спиной. Но в истории с Мелани присутствует нечто незавершенное. Глубоко внутри него хранится ее запах, запах самки. Помнит ли и она, как пахнул он? «В точности твой тип», — сказала Розалинда, а уж кому и знать, как не ей? Что, если пути их снова пересекутся, его и Мелани? Вспыхнут ли в них чувства, указывая, что роман их еще не закончился естественным образом?

И все же показаться Мелани на глаза было бы чистым безумием. С чего бы стала она разговаривать с человеком, осужденным за то, что он преследовал ее? Да и что она подумает о нем — обормоте с нелепым ухом, с жеваным воротником рубашки, нестриженем?

Бракосочетание Хроноса и Гармонии: деяние противоестественное. Дабы покарать за оное, и было — если отбросить красивые слова — затеяно судилище. Отдан под суд за образ жизни. За противоестественные деяния: за распространение старого семени, усталого семени, семени, не способного, *contra naturam*¹, к оплодотворению. Если старики захватывают юных женщин, какое будущее светит человеческому роду? Такова в основе своей суть обвинения. Тому же посвящена половина всей литературы: юным женщинам, из всех сил пытающимся вывернуться из-под гнетущей тяжести стариков — ради блага человеческого рода.

¹ Вопреки природе (лат.).

Он вздыхает. Молодые люди в объятьях друг дружки, беззаботные, купающиеся в чувственной музыке. Эта страна — не для стариков. Что-то он слишком много времени тратит на вздохи. Раскалывание: покаянная нота, которой все и кончается.

Еще два года назад в здании театра «Причал» размещался склад-холодильник, в котором висели, ожидая отправки за море, туши свиней и коров. Ныне это модное увеселительное заведение. Он приезжает с опозданием и занимает место в зале, когда уже тускнеет свет. «Сокрушительный успех как следствие удовлетворения запросов общества» — так сказано в афише о новой постановке «Салон „Глобус“ в часы заката». Декорации более стильны, режиссура более профессиональна, главную роль исполняет другой актер. И тем не менее он находит пьесу, с ее грубым юмором и голой политической тенденцией, такой же невыносимой, как прежде.

Мелани сохранила роль Глории, начинающей парикмахерши. В розовом балахоне поверх золотистых парчовых колготок, с безвкусно размалеванным лицом, с зачесанными наверх и уложенными в букли волосами, она ковыляет по сцене на высоких каблуках. Реплики ее предсказуемы, однако она произносит их с хныкающим капским акцентом и в точно рассчитанные моменты времени. Вообще она больше уверена в себе, чем прежде, — в сущности, даже хороша в этой роли, положительно талантлива. Возможно ли, что за несколько месяцев его отсутствия Мелани повзрослела, обрела себя? *Кто не убил меня, тот*

сделал лишь сильнее. Быть может, суд над ним стал судом и для нее; быть может, она тоже отбыла наказание и осознала свою вину.

Ему нужен знак. Получив его, он знал бы, что делать. Если бы, например, этот нелепый наряд сгорел на ее теле холодным, не всякому видимым пламенем и она предстала бы перед ним откровением, понятным только ему, нагая и совершенная, как в ту последнюю ночь в бывшей комнате Люси!

Пришедшие с приятностью провести вечер выходного дня люди, среди которых он сидит, краснолицые, уютно чувствующие себя в своей обильной плоти, наслаждаются пьесой. Им нравится Мелани — Глория, они хихикают в ответ на рискованные шутки, гогочут, когда персонажи принимают-ся чернить и поносить друг друга.

Это его соплеменники, но можно ли чувствовать себя среди них бóльшим чужаком, бóльшим самозванцем? И все же, когда они смеются над репликами Мелани, он ощущает прилив гордости. «Это моя!» — хотел бы сказать он, как будто Мелани — его дочь.

Без всякого предупреждения возвращается воспоминание многолетней давности: о женщине, которую он посадил в машину на шоссе N1 под Тромпсбургом и подвез, — о двадцатилетней путешествующей в одиночку туристке из Германии, загорелой и пыльной. Они доехали аж до Тоусрифира, остановились в гостинице; он накормил ее, переспал с нею. Он помнит ее длинные, тонкие и гибкие ноги; помнит мягкость ее волос, становившихся в его пальцах легкими, точно перья.

Внезапным беззвучным извержением — он словно проваливается в сон наяву — в него ударяет поток образов, образов женщин, которых он знал на двух континентах; некоторые так далеки от него во времени, что он с трудом узнает их. Будто несомые ветром листья, смешиваясь, пролетают они перед ним. *Полное публики прекрасное поле: сотни чужих жизней, переплетенных с его.* Он затаивает дыхание, ему хочется, чтобы видение продлилось...

Что с ними стало, со всеми этими женщинами, со всеми этими жизнями? Выпадают ли им мгновения, когда и их, или некоторых из них, окунают без предупреждения в океан памяти? Та немка: может ли быть, что в этот вот миг она вспоминает человека, подобравшего ее на африканской дороге и проводшего с нею ночь?

«Обогатил» — слово, к которому прицепились газеты, чтобы поглумиться над ним. Дурацкое в тех обстоятельствах, случайно вырвавшееся слово, и все же ныне, в эту минуту, он готов отстаивать его. Мелани, девушка в Тоусрифире, Розалинда, Бев Шоу, Сорайя — каждая из них обогащала его, да и другие тоже, даже те, что ничего для него не значили, те, с которыми он потерпел неудачу. В груди его словно распускается цветок — сердце переполняется благодарностью.

Откуда приходят мгновения, подобные этому? Предсонные — да, разумеется, но что это объясняет? И если он — ведомый, какое божество ведет его?

Спектакль все тянется, тянется. Вот и эпизод, в котором щетка Мелани запутывается в электрических проводах. Вспышка магния, сцена вдрут

погружается во мрак. «Иисусе Христе, — визжит парикмахер, — чертова дурища!»

Его отделяют от Мелани двадцать рядов, но он надеется, что в этот миг она, через все расстояние, чувствует его, чувствует его мысли.

Что-то легонько стучает его по затылку, возвращая в привычный мир. Секунду спустя что-то еще, пролетев мимо, шлепает о спинку кресла, стоящего прямо перед ним: комочек жеваной бумаги величиной с детский стеклянный шарик. Третий ударяет его в шею. Сомневаться не приходится: мишенью является именно он.

Наверное, ему следует обернуться и впериться грозным взглядом в пространство. «Кто это сделал?» — наверное, следует рявкнуть ему. Или же чопорно уставиться перед собой, делая вид, что он ничего не замечает.

Четвертый катышек, врезавшись в его плечо, взрывается в воздух. Сосед по ряду удивленно косится на него.

На сцене продолжается действие. Сидней, парикмахер, вскрывает роковой конверт и зачитывает вслух ультиматум домохозяина. Им надлежит выплатить до конца месяца задолженность по оплате помещения, в противном случае «Глобус» закроют. «Ну и что нам теперь делать?» — стонет Мириам, женщина, моющая клиентам головы.

— Ссс, — доносится сзади шипение, тихое, но не настолько, чтобы его не услышали и в первом ряду. — Ссс.

Он оборачивается, и новый катышек ударяет его в висок. У задней стены стоит Райан, все тот же дружок Мелани, — в эспаньолке и с кольцом

в ухе. Их взгляды встречаются. «Профессор Лурри!» — хрипло шепчет Райан. Сколь ни возмутительно его поведение, он, похоже, чувствует себя совершенно непринужденно. Легкая улыбка играет на его губах.

Представление продолжается, но теперь вокруг него явственно нарастает нервозность. «Ссс», — снова шипит Райан. «Тише!» — восклицает, обращаясь к нему, хоть он и не издал ни звука, женщина, сидящая от него через два кресла.

Прежде чем ему удастся добраться до прохода, отыскать путь к дверям театра и выйти в ветреную безлунную ночь, приходится миновать пять пар коленей («Простите... Простите...»), косые взгляды, сердитый шепот.

Какой-то звук сзади. Он оборачивается. Вспыхивает кончик сигареты — Райан последовал за ним на парковку.

— Вы не собираетесь объясниться? — резко выпаливает он. — Объяснить ваше ребяческое поведение?

Райан затягивается.

— Я лишь оказал вам услугу, проф. Вы так и не усвоили урока?

— Какого еще урока?

— Что надо держаться поближе к своим.

«Поближе к своим»... Какое право имеет этот мальчишка указывать ему, кто свой, кто не свой? Что он знает о силе, толкающей совершенно посторонних людей в объятья друг друга, обращая их, вопреки всякому благоразумию, в родню, в «своих»? *Omnis gens quaecumque se in se perficere vult*¹.

¹ Всякое существо стремится достичь совершенства (лат.).

Семя поколения, ведомое потребностью исполнить свое предназначение, вводимое в глубины женского тела, ведущее будущее к жизни. Вел, довел.

Райан нарушает молчание:

— Оставьте ее в покое! Мелани, стоит ей увидеть вас, наплюет вам в глаза!

Уронив сигарету, Райан делает шаг вперед. Звезды так ярки, что двое мужчин, стоящих друг против друга, верно, выглядят со стороны охваченными огнем.

— Найдите себе другую жизнь, проф. Так будет лучше, поверьте.

Он медленно едет, возвращаясь домой, по Мэйнроуд Грин-Пойнта. «Наплюет вам в глаза»... Этого он не ожидал. Рука на руле подрагивает. Болезненные пинки существования — пора бы ему научиться принимать их с большей легкостью.

Множество пешеходов на улицах; на светофоре один из них, вернее, одна — высокая девушка в коротенькой кожаной юбочке — привлекает его внимание. «Почему бы и нет? — думает он. — Как-никак нынче ночь откровений».

Они останавливаются в тупичке на склоне Сигнального холма. Девушка то ли пьяна, то ли накачалась наркотиком — ничего связного от нее добиться не удастся. Тем не менее обслуживает она его настолько хорошо, насколько он вправе был ожидать. Потом она лежит, уткнувшись лицом в его пах, отдыхая. Она моложе, чем казалась при уличном свете, моложе даже, чем Мелани. Ладонь его покоится на ее затылке. Дрожи как не бывало. Он ощущает сонливость, довольство;

и странную потребность защитить эту девушку от бед.

«Вот и все, что нужно! — думает он. — И как это я позабыл?»

Не дурной человек, но и не хороший. Не холоден и не горяч, даже в самые пылкие минуты. Не горяч по меркам Терезы, да, собственно, и Байрона. Лишенный огня. Таков и будет вынесенный ему приговор — приговор Вселенной и ее всевидящих глаз?

Девушка, поерзав, садится.

— Где ты меня подцепил? — лепечет она.

— Сейчас я отвезу тебя туда, где подцепил.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

Он продолжает время от времени позванивать Люси. В разговорах дочь старательно уверяет его, что на ферме все в полном порядке, а он притворяется, будто верит ее словам. Она говорит, что у нее много возни с клумбами, на которых уже расцвели весенние цветы. Мало-помалу оживает и псарня. Люси взяла на полный пансион двух собак и надеется получить еще. Петрас занят своим домом, но занят не настолько, чтобы не помогать ей. Часто приезжают супруги Шоу. Нет, в деньгах она не нуждается.

И все же что-то в тоне Люси лишает его покоя. Он звонит Бев Шоу.

— Ты единственная, у кого я могу спросить, — говорит он. — Как там Люси? Только честно.

Бев настораживается.

— А что она тебе рассказала?

— Она говорит, все хорошо. Но голос у нее как у зомби. Впечатление такое, что она сидит на транквилизаторах. Это так?

Бев уклоняется от ответа. Впрочем, она говорит — и похоже, тщательно подбирая слова, — что есть кое-какие «новости».

— Какие?

— Этого я сказать не могу, Дэвид. Не заставляй меня. Люси должна сама тебе рассказать.

Он звонит Люси.

— Мне нужно съездить в Дурбан, — говорит он, и говорит неправду. — Не исключено, что я получу там работу. Можно я остановлюсь у тебя на день-другой?

— Ты разговаривал с Бев Шоу?

— Бев тут решительно ни при чем. Могу я приехать?

Он летит в Порт-Элизабет, берет напрокат машину. Два часа спустя он сворачивает с шоссе на ведущий к ферме проселок — к ферме Люси, к ее клочку земли.

Быть может, это и его земля тоже? Он не чувствует связи с нею. Несмотря на все то время, которое он здесь провел, земля эта ощущается им как чужая.

Кое-что здесь успело перемениться. Проволочная изгородь, сооруженная не очень искусно, обозначает ныне границу между владениями Люси и Петраса. На Петрасовой стороне пасутся две толстые телки. Дом Петраса воплотился в реальность. Серое, лишенное индивидуальности строение стоит на холме к востоку от старой фермы; по утрам, понимает он, строение это должно отбрасывать длинную тень.

Люси в бесформенной блузе, которая вполне может быть и ночной сорочкой, открывает дверь. Прежнего бодрого выражения, выражения человека, отличающегося крепким здоровьем, как не бывало. Лицо болезненно бледное, голова не мыта. Люси без всякой сердечности обнимает его.

— Входи, — говорит она. — Я как раз завариваю чай.

Они садятся за кухонный стол. Люси разливает чай, вручает ему пакетик с имбирным печеньем.

— Так что тебе предлагают в Дурбане? — спрашивает она.

— Это может подождать. Я приехал, потому что тревожусь за тебя, Люси. У тебя все в порядке?

— Я беременна.

— Ты — что?

— Беременна.

— От кого? Это с того дня?

— С того дня.

— Не понимаю. Я думал, ты приняла необходимые меры, ты и твой врач.

— Нет.

— Что значит «нет»? Ты хочешь сказать, что просто сидела сложа руки?

— Нет, не сидела. Я приняла все разумные меры, кроме той, на которую ты намекаешь. Аборт я делать не стану. Я не готова еще раз пройти через это.

— Не знал, что ты так к этому относишься. Ты никогда не говорила мне, что не признаешь абортов. Но я, собственно, не об аборте. Я думал, ты принимала оврал.

— Признание тут ни при чем. И я никогда не говорила, что принимаю оврал.

— Но что же ты раньше-то не сказала? Почему скрывала от меня?

— Потому что тогда мне пришлось бы вытерпеть очередную твою вспышку, а мне это не по силам. Дэвид, я не могу строить свою жизнь исходя из того, что тебе нравится и что не нравится. Больше не могу. Ты ведешь себя так, словно все, что я делаю, это часть твоей биографии. Ты у нас главный персонаж, а я — персонаж второстепенный, который и на сцену-то выходит, когда половина

пьесы уже сыграна. Так вот, что бы ты себе ни думал, люди не делятся на главных и второстепенных. Я не второстепенна. У меня своя жизнь, настолько же важная для меня, насколько твоя важна для тебя, и в этой моей жизни решения принимаю я.

Вспышку? А это как называется?

— Будет, Люси, — говорит он и, потянувшись через стол, берет ее за руку. — Ты хочешь сказать, что собираешься оставить ребенка?

— Да.

— Ребенка от одного из тех мужчин?

— Да.

— Но почему?

— Почему? Я женщина, Дэвид. Ты что думаешь, я ненавижу детей? Или я должна избавиться от ребенка только потому, что его отец негодяй?

— Такое случается. Когда ты его ждешь?

— В мае. В конце мая.

— Ты все хорошо обдумала?

— Да.

— Ну и отлично. Признаюсь, для меня это потрясение, но я на твоей стороне, что бы ты ни решила. Тут и обсуждать нечего. А теперь я пойду прогуляюсь. Поговорить мы можем и после.

Почему не поговорить прямо сейчас? Потому что он не в себе. Потому что и он может сорваться.

Она не готова, сказала Люси, снова пройти через аборт. То есть аборт она уже делала. Ни за что бы не догадался. Когда это могло произойти? Когда она еще жила дома? И Розалинда все знала, а его держали в неведении?

Трое бандитов. Три отца в одном. Скорее насильники, чем грабители, так сказала о них Лю-

си, — насильники плюс сборщики податей, бродящие в этих местах, нападая на женщин, наслаждаясь насилием. Нет, Люси ошибалась. Они не насилуют, они спариваются. Их действия направляются не наслаждением, но мошонкой, мешочками, раздувшимися от семени, которому не терпится исполнить свое предназначение. И вот, прошу любить, *ребенок!* Он уже называет *ребенком* то, что является пока не более чем червячком, скрытым в утробе дочери. Какому ребенку способно дать жизнь подобное семя, семя, проникшее в женщину не в любви, но в ненависти, бессмысленно смешанное, извергнутое, чтобы ее запятнать, пометить, как метит собачья моча?

Отец, и не думавший породить сына. Значит, этим все и закончится, значит, так оборвется его род — подобно воде, по капле ушедшей в землю? Кто мог подумать! День как день, чистое небо, ласковое солнце, и вдруг все изменяется, изменяется раз и навсегда!

Прислонившись к наружной стене кухни, спрятав лицо в ладони, он выпускает один тяжелый вздох за другим и наконец разражается рыданиями.

Он поселяется в прежней комнате Люси, куда дочь так и не вернулась. До конца дня он избегает ее, боясь ляпнуть что-нибудь неуместное.

За ужином его ждет новое открытие.

— А кстати, — говорит Люси, — мальчишка вернулся.

— Мальчишка?

— Ну да, мальчишка, с которым ты сцепился на празднике Петраса. Живет у Петраса, помогает по хозяйству. Его зовут Поллукс.

— А не Мнцедизи? Не Нкуабайяхи? Ничего непроизносимого, просто Поллукс?

— П-о-л-л-у-к-с. И, Дэвид, может быть, для разнообразия обойдемся без твоей жуткой иронии?

— Не понимаю, о чем ты?

— Ну как не понимаешь? Когда я была маленькой, ты год за годом прибегал к ней, чтобы меня подавлять. Не мог же ты об этом забыть. Между прочим, Поллукс приходится братом жене Петраса. Родным не родным, не знаю. Но у Петраса есть перед ним обязательства, семейные обязательства.

— Так-так, вот все и проясняется. Юный Поллукс возвращается на место преступления, а мы должны вести себя так, будто ничего не случилось.

— Не распаляйся, Дэвид, этим ничему не поможешь. По словам Петраса, Поллукс бросил школу, а работу найти не может. Я просто хотела предупредить тебя, что он тут, рядом. На твоём месте я бы держалась от него подальше. По-моему, с ним не все в порядке. Но выгнать его отсюда я не могу, это не в моей власти.

— Тем более что... — Он не заканчивает предложения.

— Тем более — что? Говори уж.

— Тем более что он может оказаться отцом ребенка, которого ты носишь. Люси, твоё положение становится смехотворным, хуже, чем смехотворным, пагубным. Не понимаю, как ты не видишь этого. Умоляю тебя, брось, пока еще не слишком поздно, ферму. Это единственный разумный шаг, какой ты можешь сделать.

— Перестань называть ее фермой, Дэвид! Никакая это не ферма, просто клочок земли, на котором я кое-что выращиваю, и оба мы это знаем. А отказываться от него я не собираюсь.

В постель он ложится с тяжелым сердцем. Ничего не изменилось между ним и Люси, рана ничуть не зажила. Они грызутся так, словно он и не уезжал.

Утро. Он перелезает через новую изгородь. Жена Петраса развешивает за старыми конюшнями стираное белье.

— С добрым утром, — говорит он. — Моло. Я иду Петраса.

Женщина не встречается с ним взглядом, лишь апатично указывает в сторону строительной площадки. Движения ее замедленны, тяжелы. Близится ее время: даже он видит это.

Петрас стеклит окна. Петраса следовало бы поприветствовать, поболтать с ним о том о сем, но у него нет для этого никакого настроения.

— Люси сказала мне, что мальчишка вернулся, — говорит он. — Пюллукс. Тот, что напал на нее.

Петрас вытирает дочиста нож, откладывает его в сторону.

— Он мой родственник, — произносит Петрас с раскатистым «р». — Не могу же я выгнать его из-за того, что случилось.

— Вы говорили, что не знаете его. Вы мне наврали.

Петрас сует в рот трубку, сжимает ее желтоватыми зубами и со свистом втягивает воздух. Затем вынимает трубку и широко улыбается.

— Наврал, — говорит он. — Я вам наврал. — Снова затычка. — А почему?

— Это вы не меня спрашиваете, Петрас, а себя. Зачем вы ввали?

Улыбка исчезает.

— Вы уезжаете, опять возвращаетесь — зачем? — Петрас глядит на него с вызовом. — Работы у вас здесь нет. Вы приезжаете, чтобы позаботиться о вашем ребенке. Вот и я забочусь о моем ребенке.

— Вашем ребенке? Так он, выходит, ваш ребенок, этот Поллукс?

— Да. Он ребенок. Он из моей семьи, из моего народа.

Вот, значит, как. Петрас больше не врет. «Из моего народа». Более прямого ответа не приходится и желать. Ну что ж, а Люси из его народа.

— Вы говорите, это плохо, то, что произошло, — продолжает Петрас. — И я говорю, что плохо. Плохо. Но с этим покончено. — Он вынимает трубку изо рта и с силой тычет чубуком в воздух. — Покончено.

— Да нет, не покончено. И не делайте вид, будто не понимаете, о чем я. Ничего не покончено. Напротив, только начинается. И будет продолжаться еще долгое время после того, как мы с вами умрем.

Петрас задумчиво глядит на него, не притворяясь, что не понял сказанного.

— Мальчик женится на ней, — произносит он наконец. — Женится на Люси, только он пока слишком молод, слишком молод, чтобы жениться. Совсем еще ребенок.

— Опасный ребенок. Юный бандит. Шакаленок.

Петрас не обращает внимания на оскорбления.

— Да, он еще слишком молодой, слишком. Может, когда-нибудь и сможет жениться, но не сейчас. Я женюсь.

— На ком это вы женитесь?

— На Люси.

Он не может поверить своим ушам. Так вот к чему все свелось, вот ради чего затевался весь этот бой с тенью — ради этого предложения, этого удара! И вот он стоит, добропорядочный Петрас, попыхивая пустой трубкой, ожидая ответа.

— Вы женитесь на Люси? — говорит он, осторожно подбирая слова. — Объясните, что вы хотите этим сказать. Нет, не надо, не объясняйте. Я ничего не хочу слышать. У нас так дела не делаются.

«У нас»... Он едва не сказал: «У нас, людей Запада».

— Да я понимаю, понимаю, — говорит Петрас. И смешливо фыркает, буквальным образом. — Но я вам сказал, теперь вы скажите Люси. И тогда все кончится, все плохое.

— Люси не собирается замуж. Ни за кого. Ей это даже в голову не приходит. Яснее я выразиться не вправе. Она хочет жить своей жизнью.

— Я знаю, — говорит Петрас. И возможно, действительно знает. Глупо было бы недооценивать Петраса. — Но здесь, — продолжает Петрас, — опасно, очень опасно. У женщины должен быть муж.

— Я старался говорить с ним спокойно, — спустя некоторое время рассказывает он Люси. — Хотя едва смог поверить услышанному. Это же шантаж, чистой воды шантаж.

— Это не шантаж. Тут ты ошибаешься. Надеюсь, ты не вспыхнул?

— Нет, я не вспыхнул. Я сказал, что передам тебе его предложение, вот и все. И выразил сомнение в том, что оно тебя заинтересует.

— Ты почувствовал себя оскорбленным?

— Оскорбленным возможностью оказаться тестем Петраса? Нет. Я был поражен, изумлен, ошарашен, но нет, не оскорблен, тут ты мне можешь поверить.

— Потому что, должна тебе сказать, это не в первый раз. Петрас уже довольно давно делает намеки. Насчет того, что для меня было бы безопаснее стать членом его семьи. Это не шутка и не угроза. В определенном смысле он вполне серьезен.

— Я и не сомневаюсь в том, что он серьезен, в каком-то смысле. Вопрос — в каком? Знает ли он, что ты?..

— Ты хочешь сказать, знает ли он о моем состоянии? Я ему не говорила. Но уверена, и жена его, и сам он способны смекнуть, что к чему.

— И это не заставит его передумать?

— С чего бы? Это в еще большей степени делает меня членом семьи. Как бы там ни было, ему нужна не я, а ферма. Ферма — мое приданое.

— Но это же абсурд, Люси! Он уже женат! Да ты ведь сама и говорила мне о двух его женах. Как ты можешь даже думать об этом?

— По-моему, ты так ничего и не понял, Дэвид. Петрас не предлагает мне венчание в церкви и медовый месяц на Диком Берегу. Он предлагает союз, сделку. Я вношу землю, взамен он позволяет мне заползти под его крыло. В противном

случае, напоминает он мне, я остаюсь беззащитной — легкой добычей.

— И по-твоему, это не шантаж? А личная сторона дела? Или личная сторона в его предложении отсутствует?

— Ты хочешь сказать, рассчитывает ли Петрас, что я буду с ним спать? Не думаю, что Петрас захочет этого, разве только для того, чтобы заставить меня уразуметь серьезность его намерений. Но если говорить начистоту, спать с Петрасом я не собираюсь. Что нет, то нет.

— Ну так не о чем больше и толковать. Должен ли я передать твоё решение Петрасу: предложение отвергается без каких-либо объяснений?

— Нет. погоди. Прежде чем задирать нос перед Петрасом, потрать несколько минут на то, чтобы объективно оценить мое положение. Объективно говоря, я женщина одинокая. Братьев у меня нет. Есть отец, но он далеко, да и вообще беспомощен в том, что имеет здесь вес и значение. Кого я могу просить о защите, о покровительстве? Эттингера? В один прекрасный день его просто-напросто найдут с пулей в спине, это всего лишь вопрос времени. Остается практически один только Петрас. Он, может, и не самый большой здесь человек, но достаточно большой для такой мелюзги, как я. И Петраса я хотя бы знаю. Я не питаю иллюзий на его счет. Знаю, чего от него можно ждать.

— Люси, я сейчас занимаюсь продажей дома в Кейптауне. Я готов отправить тебя в Голландию. Не хочешь в Голландию, я дам тебе все необходимое для того, чтобы обосноваться в каком-нибудь месте побезопаснее. Подумай об этом.

Дочь будто и не слышит его.

— Вернись к Петрасу, — говорит она, — и предложи ему следующее. Скажи, что я принимаю его покровительство. Скажи, что он может выдумать любую байку о наших с ним отношениях, я спорить не буду. Если он хочет, чтобы я считалась его третьей женой, — пожалуйста. Его сожительницей — то же самое. Но тогда и ребенок будет его ребенком. Членом его семьи. А насчет земли... скажи, что я перепису землю на него при условии, что дом останется за мной. Я стану арендаторшей его земли.

— Вуwoneг'шей¹.

— Вуwoneг'шей. Но дом, повторяю, будет моим. Никто не будет вправе войти в него без моего разрешения. Включая и Петраса. И псарню я тоже оставляю за собой.

— Это нереально, Люси. Юридически нереально. Да ты и сама знаешь.

— Тогда что можешь предложить ты?

Она сидит перед ним в халате и шлепанцах, со вчерашней газетой на коленях. Свисают пряди волос, полнота ее выглядит рыхлой, болезненной. Люси приобретает все большее сходство с женщинами, которые, шаркая и бормоча себе что-то под нос, бродят по коридорам домов престарелых. Непонятно, зачем Петрасу трудиться, вступать с ней в переговоры. Долго она все равно не протянет: оставьте ее в покое, и в должный срок она сама упадет, как подгнивший плод.

— Я свое предложение сделал. Даже два.

¹ Вуwoneг — бурское слово, обозначающее бедного арендатора, который живет на чужой ферме, кормясь с возделываемой им земли и оказывая хозяину фермы какие-либо услуги.

— Нет, отсюда я не уеду. Сходи к Петрасу, передай ему то, что я сказала. Передай, что я отказываюсь от земли. Что он может ее получить, что я подпишу необходимые документы и так далее. Ему это понравится.

Какое-то время оба молчат.

— Как унизительно, — произносит он наконец. — Питать такие надежды и вот чем кончить.

— Да, согласна, унизительно. Но возможно, это хорошая отправная точка, чтобы начать все сначала. Возможно, это то, с чем надо научиться мириться. Начать с нулевой отметки. С ничего. Нет, не с ничего. Без ничего. Без карт, без оружия, без собственности, без прав, без достоинства.

— Подобно собаке.

— Да, подобно собаке.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

Утро в разгаре. Он гуляет с бульдожихой Кэти. Странно, но Кэти не отстает от него — то ли он стал передвигаться медленнее, чем раньше, то ли она стала бегать быстрее. Сопит и пыхтит она не меньше прежнего, но это почему-то больше не раздражает его.

Подходя к дому, он замечает мальчишку — того самого, о котором Петрас сказал «из моего народа», стоящего лицом к задней стене дома. Поначалу он решает, что тот мочится, затем вдруг понимает — мальчишка подглядывает через окошко ванной, подглядывает за Люси.

Кэти начинает порывивать, но мальчишка слишком поглощен своим занятием, чтобы обращать внимание на что-либо еще. Когда мальчишка оборачивается, они уже подходят вплотную к нему. Открытой ладонью он бьет сопляка по лицу.

— Ах ты свинья! — орет он и бьет еще раз, так, что мальчишка пошатывается. — Грязная свинья!

Скорее от испуга, чем от боли, мальчишка ударяется в бегство, но сразу же валится, запутавшись в собственных ногах. Собака немедленно набрасывается на него. Зубы ее смыкаются на локте юнца; упираясь в землю передними лапами, она рычит и тянет его на себя. Мальчишка, вопя от боли, пытается высвободиться, лупит бульдожиху ку-

лаком, но ударам его недостает силы и Кэти не обращает на них никакого внимания.

Слово еще висит в воздухе: «Свинья!» Никогда прежде не ощущал он такой примитивной ярости. Он с радостью угостил бы юнца тем, чего тот заслуживает, — хорошей трепкой. Фразы, которых он всю свою жизнь избегал, вдруг начинают казаться ему правильными и справедливыми: «Преподай ему урок. Покажи его место». Так вот на что это похоже! — думает он. Вот что такое злоба!

Он пинает юнца с такой силой, что того перекатывает на бок. Поллукс! Ну и имечко!

Собака переступает, упирается лапами в тело мальчишки, продолжая безжалостно тянуть его за руку, раздирая на нем рубашку. Мальчишка пытается отпихнуть ее, но она не сдвигается с места.

— Йя, йя, йя, йя, йя! — голосит от боли мальчишка. — Убью!

Тут появляется Люси.

— Кэти! — приказывает она.

Собака бросает на нее косой взгляд, но не подчиняется.

Упав на колени, Люси тянет бульдожиху за ошейник, мягко и настойчиво повторяя ей что-то. Собака неохотно разжимает зубы.

— С тобой все в порядке? — спрашивает Люси.

Мальчишка стонет от боли. Из носа его текут сопли.

— Убью! — всхлипывает он. Похоже, он вот-вот заплачет.

Люси заворачивает его рукав. Видны глубокие отметины собачьих клыков, капли крови выступают на черной коже.

— Пойдем-ка, это надо промыть, — говорит Люси. Мальчишка, втягивая носом сопли и слезы, трясет головой.

На Люси один лишь пеньюар. Когда она встает, поясok пеньюара развязывается, обнажая ее грудь.

В последний раз он видел груди дочери, когда те были скромными розовыми бутончиками шестилетки. Ныне они тяжелы, округлы, белы почти как молоко. Повисает тишина. Он смотрит, мальчишка тоже, бесстыдно. Ярость вновь закипает в нем, застилая мглою глаза.

Люси отворачивается от них запахиваясь. Мальчишка одним быстрым движением вскакивает и отбегает за пределы досягаемости.

— Мы вас всех перебьем! — орет он. Затем разворачивается, нарочно пробегает, топчa ее, по картофельной делянке, ныряет под проволочную изгородь и удаляется в направлении Петрасова дома. Выпшaгивает он уже с прежней самоуверенностью, хотя все еще придерживает пострадавшую руку здоровой.

Люси права — с ним что-то не так, неладно с головой. Озлобленный ребенок в юношеском теле. Но есть во всем происшедшем и еще кое-что, некая странность, ему непонятная. О чем думает Люси, почему она защищает этого сопляка?

Люси прерывает молчание.

— Так продолжаться не может, Дэвид. Я способна ужиться с Петрасом и его aanhanger'ами, способна ужиться с тобой, но уживаться со всеми сразу я не в состоянии.

— Он подглядывал за тобой через окно. Ты это понимаешь?

— Он дефективный. Дефективный ребенок.

— Это его извиняет? Извиняет то, что он с тобой сделал?

Губы Люси движутся, но произносимых ею слов он не слышит.

— Я ему не доверяю, — продолжает он. — Он хитер. Вроде шакала, слоняющегося вокруг, вынюхивая, выискивая возможность сделать какую-нибудь гадость. В прежнее время было хорошее слово для обозначения таких, как он. Недоделанный. Умственно недоделанный. Нравственно недоделанный. Его место в лечебнице.

— Говорить это безрассудно, Дэвид. Если тебе нравится так думать, пожалуйста, думай, но держи свои мысли при себе. В любом случае, что бы ты о нем ни думал, это ничего не меняет. Он здесь, он не растает в облачке дыма, он — реальный факт. — Щурясь от солнца, Люси смотрит ему прямо в лицо. Кэти, довольная собой и своими достижениями, негромко пыхтя, сворачивается клубком у ее ног. — Мы не можем так жить, Дэвид. Все уладилось, здесь было тихо и спокойно, пока не вернулся ты. Мне необходим покой. Я готова сделать все, что угодно, пойти на любые жертвы, лишь бы жить в покое.

— И я — часть того, чем ты готова пожертвовать?

Люси пожимает плечами.

— Ты сказал, не я.

— Ну что же, пойду укладываться.

После случившегося прошло уже несколько часов, а рука все еще ноет от ударов. Стоит ему вспомнить мальчишку с его угрозами, как он закипает от

гнева. И в то же время ему стыдно. Он безоговорочно осуждает себя. Никакого урока он никому не преподавал — и уж мальчишке-то во всяком случае. Он добился лишь одного — расширил пропасть, разделяющую его и Люси. Он предстал перед нею в конвульсиях страсти, и увиденное явно не пришлось ей по душе.

Ему следовало бы извиниться. Но он не может. Сдается, он утратил способность управлять собой. Что-то в Поллуксе приводит его в ярость: противные, мутные глаза мальчишки, его наглость, но также и мысль о том, что ему, словно сорной траве, было позволено переплестись корнями с Люси, с существованием Люси.

Если Поллукс снова обидит дочь, он снова ударит его. *Du musst dein Leben ändern!* — ты должен переменить свою жизнь. Люси, быть может, и готова склониться перед грозой; он — нет, если не хочет лишиться чести.

И вот почему надлежит прислушиваться к Терезе. Тереза, возможно, последняя, кому по силам спасти его. Тереза вне понятий о чести. Она обнажает груди, подставляя их солнцу; она играет на банджо в присутствии слуг, не обращая внимания на их глупые ухмылки. Терезой правят бессмертные вожеления, и она их воспевает. Она не умрет.

В клинике он появляется как раз в тот миг, когда Бев Шоу покидает ее. Они обнимаются, неуверенно, точно чужие. И не скажешь, что не так давно они лежали нагие в объятиях друг дружки.

— Ты просто с визитом или вернулся, чтобы пожить здесь какое-то время? — спрашивает она.

— Вернулся, чтобы прожить здесь столько, сколько потребуется. Но не у Люси. У нас с ней что-то вроде несовместимости. Придется подыскивать комнату в городе.

— Мне очень жаль. Но что случилось?

— Между мной и Люси? Ничего, надеюсь. Ничего непоправимого. Проблема в людях, которые ее окружают. Когда к ним добавляюсь еще и я, нас становится слишком много. Слишком много людей в слишком малом пространстве. Вроде пауков в банке.

Его посещает образ из «Inferno»: гигантское Стигийское болото, в котором души варятся, точно грибы. «Vedi l'anime di color cui vinse l'ira»¹. Души, одолеваемые гневом, вгрызающиеся одна в другую. Наказание, достойное преступления.

— Это ты о мальчике, который перебрался на жительство к Петрасу? Должна сказать, что мне он тоже не нравится. Но пока там Петрас, Люси ничего не грозит. Вероятно, настало время, Дэвид, когда тебе следует отступить и позволить Люси самой принимать решения. Женщины уживчивы. А она еще и молода. Да и к земле она живет ближе, чем ты. Чем любой из нас.

Люси уживчива? Что-то не заметил.

— Ты все повторяешь мне, чтобы я отступился, — говорит он. — Если бы я отступился в самом начале, что бы сейчас было с Люси?

Бев Шоу молчит. Возможно, в нем есть нечто такое, что способна, в отличие от него самого,

¹ «Ты видишь тех, кого осилил гнев» — цитата из «Божественной комедии. Ад. Песнь семнадцатая» Данте Алигьери (Пер. с итал. М. Лозинского).

разглядеть Бев Шоу. Животные доверяются ей — должен ли и он довериться тоже, позволить ей преподать ему урок? Да, животные доверяются ей, и она пользуется этим доверием, чтобы их убивать. Какой урок преподает это нам?

— Если бы я отступился, — запинаясь, продолжает он, — и на ферме произошел бы еще какой-нибудь кошмар, как бы я смог жить дальше?

Бев пожимает плечами.

— Разве вопрос в этом, Дэвид? — тихо спрашивает она.

— Не знаю. Я больше не знаю, в чем вопрос. У меня такое впечатление, что между поколением Люси и моим пал некий занавес. А я даже не заметил, как это произошло.

Наступает долгое молчание.

— Как бы там ни было, — продолжает он, — у Люси я оставаться не могу и потому ищу комнату. Если услышишь, что кто-то в Грейамстауне сдает жилье, дай мне знать. А вообще-то я зашел сказать, что снова могу помогать в клинике.

— Это замечательно, — говорит Бев.

Он покупает у знакомого Бев пикап грузоподъемностью в полтонны, за который расплачивается чеком на тысячу рандов и еще одним, на семь тысяч рандов, датированным концом нынешнего месяца.

— Кого вы на нем возить-то будете? — спрашивает продавец.

— Животных. Собак.

— Тогда вам надо поставить сзади решетку, чтобы они не выпрыгивали. Я знаю человека, который ставит такие.

— Мои не выпрыгивают.

Согласно документам, грузовичку уже двенадцать лет, однако звук у двигателя ровный. И к тому же, говорит он себе, от пикапа вовсе не требуется, чтобы он протянул целую вечность. Целую вечность никто тянуть не обязан.

Поместив объявление в «Грокоттс мэйл», он снимает комнату невдалеке от больницы. Отдает плату за месяц вперед, сообщает хозяйке, что его зовут Лоури и что он приехал в Грейамстаун для амбулаторного лечения. От чего ему предстоит лечиться, он не говорит, но знает — хозяйка думает, что от рака.

Деньги текут как вода. Ну и пусть их.

В туристском магазине он покупает кипятильник, маленькую газовую плитку, алюминиевый котелок. Поднимаясь с ними к себе, он сталкивается на лестнице с хозяйкой.

— Мы не разрешаем готовить в комнатах, мистер Лоури, — говорит хозяйка. — Упаси бог, пожар приключится.

Комната темная, душная, в ней слишком много мебели, матрас комковат. Ничего, свыкнется и с этим, как свыкся со всем остальным.

Кроме него, в доме только один жилец, школьный учитель в отставке. За завтраком они обмениваются приветствиями, но в остальное время не разговаривают. После завтрака он отправляется в клинику и проводит там весь день, каждый день, включая и воскресенья.

Клиника становится его домом в большей мере, чем пансион. Он устраивает себе на голом заднем дворе подобие гнездышка: стол, полученное от супругов Шоу старое кресло и пляжный зонт — на случай, если солнце чересчур разгуляется. Сюда

же он притаскивает и газовую плитку, чтобы заваривать чай и разогревать консервы: спагетти с тефтелями, макрель с луком. Дважды в день он кормит животных, чистит их клетки, а иногда и разговаривает с ними; прочее время читает, или дремлет, или, когда остается совсем один, наигрывает на банджо музыку, сочиненную им для Терезы Гвиччиоли.

Такой и будет теперь его жизнь — пока не родится ребенок. Как-то утром он поднимает взгляд и видит лица трех мальчишек, разглядывающих его по верх бетонного забора. Он вылезает из кресла; собаки раздражаются лаем; мальчишки ссыпаются с забора и с восторженным гиканьем удирают. Будет им что порассказать дома о сумасшедшем пожилом мужике, который сидит в окружении собак и поет!

Да уж, мужик, ничего не скажешь. Как сможет он объяснить — им, их родителям, жителям района Д, — чем заслужили Тереза с ее любовником возвращение в этот мир?

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

В белой ночной сорочке стоит у окна спальни Тереза. Глаза ее закрыты. Самый темный час ночи. Она глубоко дышит, впивая шуршание ветра, взревы гигантских лягушек.

«*Che vuol dir*, — поет она голосом, ненамного более громким, чем шепот. — *Che vuol dir questa solitudine immensa? Ed io*, — поет она, — *che sono?*»¹

Молчание. *Solitudine immensa* не дает ответа. Даже трио в углу сидит тише мыши.

«Приди! — шепчет она. — Приди, молю тебя, Байрон!»

Она раскидывает руки, обнимая мрак, обнимая то, что несет ей мрак.

Тереза жаждет, чтобы он пришел вместе с ветром, чтобы он обволок ее, зарылся лицом в ложбинку между ее грудей. Или же чтобы он явился ей на заре, богом-солнцем восстав над горизонтом, облив ее теплом своего сиянья. Пусть придет когда захочет, но только придет. Сидя за столом на собачьем дворе, он вслушивается в спадающую по долгой дуге мольбу противостоящей мраку Терезы. Для нее это худшее время месяца, она изболелась, не способна сомкнуть глаз, вожделение

¹ О чем говорит это огромное одиночество? А я — кто я? (итал.)

изнурило ее. Она жаждет избавления — от боли, от летнего зноя, от виллы Гамба, от дурного нрава отца, от всего.

Тереза берет лежащую в кресле мандолину. Няня ее, как дитя, она снова подходит к окну. Трень-брень, — произносит в ее руках инструмент, тихо, чтобы не разбудить отца. Брень-трень, — громко клекочет банджо — в Африке, на пустынном дворе.

«Чтоб было чем голову занять», — так он сказал Розалинде. Ложь. Опера больше не хобби, теперь уже нет. Она владеет им днем и ночью.

И все-таки, несмотря на несколько удачных мест, «Байрон в Италии», если сказать правду, топчется на месте. В опере нет действия, нет развития, это лишь растянутая, спотыкающаяся кантилена, изливаемая Терезой в пустынный воздух и время от времени перемежающаяся стонами и вздохами скрытого кулисами Байрона. Муж и соперница забыты, словно их и не было никогда. Лирический порыв в нем, быть может, и не угас, но после десятилетий, проведенных на голодном пайке, порыв этот способен выползать из своего укрытия лишь изможденным, чахлым, обезображенным. Ему не хватает музыкальных средств, не хватает запасов энергии, чтобы свести «Байрона в Италии» с унылого пути, по которому тот потащился с самого начала. Опера обратилась в нечто такое, что мог бы сочинить лунатик.

Он вздыхает. Как хорошо было бы с триумфом вернуться в общество автором небольшой эксцентричной камерной оперы. Но этого не случится. Ему надлежит держаться надежды более скромной: что из сумбура звуков внезапно взвоется единствен-

ная точная нота, равновеликая бессмертному вожделению. А что касается ее опознания, им пусть займутся ученые будущего, если в будущем еще сохранятся ученые. Ибо сам он, когда эта нота прозвучит, если она вообще прозвучит, ее не расслышит — он слишком много знает об искусстве и о приемах искусства, чтобы на это рассчитывать. Хотя неплохо было бы, если б Люси еще успела услышать пробное исполнение и стала бы думать о нем чуть лучше.

Бедная Тереза! Бедная измученная девочка! Он выманил ее из могилы, пообещав ей новую жизнь, — и подвел. Он надеется, что ей достанет сердечной доброты, чтобы простить его.

Среди сидящих по клеткам собак есть одна, к которой он особенно привязался. Это молодой кобелек с парализованной левой задней лапой, которую песик приволакивает. От рождения ли она такова, он не знает. Никто из посетителей не изъявляет желания взять его. Пробный срок песика почти уж истек, скоро ему предстоит свести знакомство с иглой.

По временам, усаживаясь читать или писать, он выпускает кобелька из клетки, позволяя бедолаге поскакать, смешно ковыляя, по двору или вздремнуть у его ног. Пес не «его» в каком бы то ни было смысле; он осмотрительно не стал давать ему кличку (впрочем, Бев зовет его Дрипут), тем не менее он ощущает исходящую от пса великодушную преданность. Он оказался избранным — без спросу, безо всяких условий; он знает — пес готов умереть за него.

Звуки банджо заворачивают кобелька. Когда он перебирает струны, тот садится, наклоняет голову,

слушает. Когда же он напевает тему Терезы и голос его от прилива чувств возвышается (гортань словно бы сдавливается, он ощущает биение крови в горле), пес причмокивает и, кажется, тоже вот-вот запоет — или завоет.

Осмелится ли он сделать это: вставить пса в оперу, позволить ему вознести между строфами брошенной Терезы собственные жалобы к небесам? Почему бы и нет? Разве в творении, которое никогда не будет исполнено, не дозволено все?

Субботними утрами он по договоренности с Люси приходит на Донкин-сквер, чтобы помочь ей в торговле. Потом они завтракают вдвоем.

Люси теперь движется медленно. Беременность ее не бросается в глаза, однако если он замечает признаки таковой, много ль пройдет времени, прежде чем остроглазые дочери Грейамстауна также заметят их?

— Как там дела у Петраса? — спрашивает он.

— Дом достроен, остались лишь потолки и водопровод. Они сейчас переезжают.

— А их отпрыск? Он ведь должен вот-вот появиться.

— На той неделе. Все рассчитано точно.

— Петрас больше не подкатывался к тебе ни с какими намеками?

— Намеками?

— Ну, насчет тебя. Насчет твоего места в его планах.

— Нет.

— Возможно, когда ребенок... — он делает еле приметный жест в сторону дочери, в сторону ее

живота, — когда появится ребенок, все переменится. В конце концов, он будет здешним уроженцем. Уж этого-то никто отрицать не станет.

Долгое молчание.

— Ты его уже любишь?

Хотя эти слова слетают с его собственных губ, они его удивляют.

— Ребенка? Нет. Да и как я могу? Но полюблю. Любовь подрастает — в этом на матушку-природу положиться можно. Я намереваюсь стать хорошей матерью, Дэвид. Хорошей матерью и хорошим человеком. Тебе тоже стоило бы попробовать стать им.

— Боюсь, для меня поздновато. Я всего-навсего рецидивист, отбывающий срок. Но ты не сдавайся, двигайся к цели. Ты уже основательно приблизилась к ней.

«Хорошим человеком». Не худшее из решений, в смутные-то времена.

По безмолвному их уговору он на какое-то время перестал приезжать на ферму. И все же в один из будних дней он выезжает на кентонскую дорогу, оставляет грузовичок у поворота и проходит остаток пути пешком, не по дороге, но по вельду, срезая путь.

С вершины последнего холма открывается вид на ферму: изначальный, еще сохранивший внушительность облика дом, конюшни, новое жилище Петраса, старая насыпь, на которой различаются пятнышки — скорее всего, утки, а пятнышки покрупнее — это дикие гуси, навещающие Люси гости издалека.

На таком расстоянии цветники выглядят прямоугольниками слитных цветов: пурпура, сердолика,

пепельной голубизны. Пора цветения. Пчелы, должно быть, на седьмом небе от счастья.

Петраса не видно, как и жены его, и живущего у них пакаленка. Зато видна Люси, которая возится с цветами, а начав спускаться по склону холма, он различает и бульдожику — желтовато-коричневую заплатку на дорожке позади дочери.

Он доходит до изгороди, останавливается. Люси, к которой он подошел со спины, его пока не заметила. На ней выцветшее летнее платье, сапоги, широкая соломенная шляпа. Когда она наклоняется, что-то там подрезая, выдергивая или подвязывая, становится видна млечная в голубоватых прожилочках кожа и широкие, незащитные сухожилия подколенных впадин — самой некрасивой части женского тела, наименее выразительной и потому, возможно, наиболее милой.

Люси распрямляется, потягивается, наклоняется снова. Полевые труды, крестьянские хлопоты, все это бессмертно. Его дочь понемногу становится крестьянкой.

Она все еще не замечает его присутствия. Что касается ее сторожевой собаки, та, по всему судя, дрыхнет.

Итак: некогда Люси была не более чем головастиком в теле матери, теперь же — вот она, женщина, основательно вросшая в жизнь, куда основательнее, чем это когда-либо удавалось ему. Если ей улыбнется удача, она проживет долго, гораздо дольше, чем он. Когда он умрет, дочь, если ей улыбнется удача, будет все еще здесь, среди цветов, будет предаваться привычным трудам. И из нее явится на свет новое существо, которое, если ему улыбнется удача, вырастет таким же основательным, таким

же долголетним. Так она и станет длиться, линия жизни, в которой его доля, его вклад будет с неотвратимостью все уменьшаться и уменьшаться, пока о нем не забудут.

Дедушка. Иосиф. Ну кто бы подумал! Можно ли ожидать, что найдется смазливая девушка, которую удастся склонить к тому, чтобы она легла с дедушкой в постель?

Он негромко произносит имя дочери:

— Люси!

Люси не слышит.

Что оно влечет за собой, положение деда? Отец из него получился не самый удачный, даром что он старался поболее многих. Скорее всего, и дедом он окажется ниже среднего. Нет у него стариковских достоинств: невозмутимости, доброты, терпения. Но, возможно, эти достоинства приобретаются, как и другие: достоинство страсти, к примеру. Надо будет еще разок заглянуть в Виктора Гюго, поэта дедовства. Быть может, у него найдется чему поучиться.

Ветер стихает. Наступает мгновение полной тишины, хорошо бы оно продлилось навек: нежное солнце, послеполуденная безмятежность, пчелы, снующие среди цветов, а в центре картины — молодая женщина, *das ewig Weibliche*¹, в первой поре беременности, в соломенной шляпе. Сцена, будто созданная для Сарджента или Боннара. Ребята они городские, как и он, но даже горожанин способен распознать красоту, когда видит ее, даже у него может перехватить дыхание.

Правда состоит в том, что сколько он ни читал Вордсворта, особого вкуса к сельской жизни так

¹ Вечная женственность (нем.).

и не приобрел. Да, собственно, и ни к чему иному, за вычетом смазливых девушек — и куда они его завели? Быть может, ему еще не поздно образовать свой вкус?

Он откашливается.

— Люси, — зовет он, на этот раз погромче.

Чары разрушены. Люси выпрямляется, полуоборачивается, улыбается.

— Привет, — говорит она. — А я и не слыхала, как ты подошел.

Кэти, подняв голову, близоруко щурится в его сторону.

Он перелезает через изгородь. Кэти ковыляет к нему, обнюхивает туфли.

— А где грузовичок? — спрашивает Люси. Она разругалась от работы и, может быть, слегка загорела. Удивительно, но Люси снова пьшет здоровьем.

— Оставил при дороге, решил пройтись.

— Зайдешь, выпьешь чаю?

Она предлагает ему чаю, как обычному гостю. И хорошо. Гостевание, гощение — новая отправная точка, новое начало.

Опять воскресенье. Он и Бев заняты очередным Lösung. Одну за другой он приносит кошек, потом собак: дряхлых, ослепших, охромелых, увечных, искалеченных, но также и молодых, здоровых — всех тех, кому приспели сроки. Одну за другой Бев гладит их, разговаривает с ними, утешает — и усыпляет их, а после стоит и смотрит, как он запечатывает останки в черный пластиковый саван.

Они с Бев молчат. Он уже научился — от нее — сосредоточивать все внимание на животном, которое они убивают, давая несчастному то, что он, не испытывая теперь неловкости, называет так, как и должно называть: любовь.

Завязав последний мешок, он оттаскивает его к двери. Двадцать три. Остался лишь молодой кобелек, любитель музыки, тот, который, дай ему хоть полшанса, уже приковылял бы вслед за товарищами в здание клиники, в хирургическую с ее цинковым столом, с еще стоящей в воздухе смесью густых запахов, включая и тот, с которым псу пока сталкиваться не приходилось, — запах конца, легкий, нестойкий запах отлетающей души.

Чего пес не сможет уразуметь («Даже за месяц, состоящий из одних воскресений!» — думает он), чего его нюх ему не расскажет, так это того, как можно войти в обычную с виду комнату и никогда из нее не выйти. Что-то в ней происходит, что-то несказуемое: здесь душу выдирают из тела, и на краткое время она повисает в воздухе, скручиваясь, искажаясь, а после ее затягивает в трубу — и все. Это выше его понимания — комната, являющаяся вовсе не комнатой, но дырой, сквозь которую ты вытекаешь вон из бытия.

«С каждым разом становится все тяжелее», — сказала однажды Бев. Тяжелее, да, но и легче тоже. Человеку свойственно привыкать к тому, что какие-то вещи становятся все тяжелее; когда бывшее таким уж тяжелым, что дальше вроде и некуда, обретает еще большую тягость. Это его уже не удивит. Он может, если захочет, даровать молодому псу еще неделю жизни. Но все равно настанет время, никуда от него не денешься, когда придется привести пса

к Бев Шоу в хирургическую (возможно, он принесет его на руках, возможно, сделает для него это) и гладить его, раздвигая волосы, чтобы игле было легче найти вену, и шептать ему на ухо, поддерживая пса в миг, в который тот, так ничего и не поняв, вытянет лапы; а после, когда отлетит душа, сложить эти лапы, и запихать пса в мешок, и на следующий день вкатить мешок в огонь и присмотреть, чтобы тот загорелся, сгорел. Он сделает все это для пса, когда настанет срок. Не так уж и много — меньше, чем немного: совсем ничего.

Он пересекает хирургическую.

— Это был последний? — спрашивает Бев.

— Остался еще один.

Он открывает дверцу клетки.

— Пойдем, — говорит он, и наклоняется, и раскрывает объятия. Пес, виляя увечным задом, обнюхивает его лицо, облизывает щеки, губы, уши. Он не отстраняется. — Пойдем.

Неся кобелька на руках, как ягненка, он входит в хирургическую.

— Я думала, ты позволишь ему пожить еще неделю, — говорит Бев. — Решил поставить на нем крест?

— Да, решил поставить крест.

ОСЕНЬ В ПЕТЕРБУРГЕ

ПЕТЕРБУРГ

Октябрь 1869 года. По петербургской улице, лежащей невядалеке от Сенного рынка, медленнo едут дрожки. Перед высоким доходным домом извозчик натягивает вожжи.

Сидящий в дрожках господин с сомнением оглядывает дом.

— Ты уверен, что это здесь? — спрашивает он.

— Шестьдесят третий номер по Свечной, как приказывали-с.

Господин сосупает на мостовую. Это человек на исходе средних лет, бородатый, сутулый; высокий лоб и густые брови сообщают ему выражение спокойное и сосредоточенное. На нем темный сюртук несколько старомодного покроя.

— Подожди меня, — говорит он извозчику.

За ободранными, облупившимися фасадами старых домов в окрестностях Сенной еще сохраняются остатки прежней изысканности, хоть большею частью дома эти вмещают теперь меблированные комнаты, сдаваемые мелким чиновникам, студентам и мастеровым. В проемах между домами выросли, местами стена в стену, кривоватые деревянные постройки этажа где в два, где в три — муравейники комнат, комнаток, комнатушек, в которых ютится самая жалкая беднота.

Такие вот строения и подпирают с обоих боков шестьдесят третий номер, дом из старых. Паутина балок и подпорок пересекает посередке его фасад, отчего дом кажется взятым деревянными строениями в плен. Птицы понавили гнезд в изгибах его пилястров, запятнав пометом фасад.

Несколько ребятишек, забравшихся на подпорки, чтобы кидать оттуда камни в уличные лужи и затем, спрыгивая на мостовую, подбирать их, прерывают игру и разглядывают чужака. Трое из них, те, что поменьше, — мальчишки, четвертая, видимо главная, — девочка со светлыми волосами и замечательно темными глазами.

— Добрый вечер, — говорит он детям. — Не знает ли кто из вас, где проживает Анна Сергеевна Коленкина?

Мальчишки не отвечают, смотрят насупленно, неприступно. Девочка же, поколебавшись, раскрывает, роняя камни, ладонь.

— Идемте, — говорит она.

На третьем этаже шестьдесят третьего номера прямо с лестничной площадки открывается длинный проход. Следуя за девочкой, господин идет темным, кривым, пропахшим капустой и вареной говядиной коридором мимо открытых дверей уборных к двери закрытой, выкрашенной в серую краску. Девочка пинком растворяет ее.

Они попадают в длинную, низкую комнату с тусклым светом из единственного окна, пробитого в стене на высоте головы. Тяжелые, как бы парчовые обои на длинной стене словно усугубляют мрак. Женщина в черном встает, поворачиваясь к нему. Ей за тридцать, те же темные глаза и густые брови, что у девочки, только волосы черные.

— Простите, что вхожу к вам так, без доклада, — говорит он. — Мое имя... — он колеблется. — Сколько я знаю, сын мой был вашим жильцом.

Он извлекает из чемодана нечто, обернутое в белую салфетку, разворачивает. Это портрет мальчика, дагерротип в серебряной рамке.

— Здесь его можно узнать, — говорит он, не давая портрета ей в руки.

— Это Павел Александрович, мама, — шепчет девочка.

— Да, он снимал у нас комнату, — говорит женщина. — Мне очень жаль.

Наступает неловкое молчание.

— Он жил у нас с апреля, — продолжает она. — Вещи его так и остались в комнате, мы ничего не трогали, полиция только забрала кое-что. Желаете взглянуть?

— Да, — хрипло отвечает он. — Если сын вам задолжал, я, разумеется, заплачу.

В комнате сына, хоть это, в сущности говоря, клетушка, отгороженная от остальных жилых покоев, имеется собственный вход и глядящее на улицу окно. Кровать опрятно застлана; что до иной обстановки, она состоит из комода, стола с лампой и стула. В изножье кровати лежит чемодан с тисненными инициалами П. А. И. Чемодан знакомый — он сам подарил его Павлу.

Он подходит к окну, выглядывает. Дрожки так и стоят на улице.

— Не окажешь ли любезность? — обращается он к девочке. — Скажи извозчику, пусть едет, и заплати ему.

Девочка берет у него деньги и уходит.

— Если вы не против, я хотел бы побыть здесь один, — говорит он женщине.

Дождавшись, пока она выйдет, он первым делом откидывает на постели покрывало. Простыни свежие. Он опускается на колени и зарывается в подушку лицом — нет, ничего, только запах мыла и солнца. Он выдвигает ящики комода один за другим. В ящиках пусто.

Он снимает с кровати чемодан. Поверх прочих вещей в нем лежит старательно сложенная белая скюрточная пара. Он прижимается к ней лбом. И наконец улавливает чуть слышный запах сына. Он вливает этот запах, думая: дух сына, войди в меня.

Придвинув к окну стул, он садится и сидит, глядя на улицу. Наступили сумерки, темнеет. Улица пустынна. Время тянется, мысли его остаются недвижимыми. Думы — вот самое верное слово, приходит ему в голову. Тяжесть в голове, тяжесть в глазах — точно свинец налился в душу.

Женщина, Анна Сергеевна, и дочь ее ужинают, сидя за столом против друг дружки, между ними стоит лампа. Когда он входит, обе замолкают.

— Вам известно, кто я? — спрашивает он.

Она поднимает на него взгляд, ожидая продолжения.

— Я хочу сказать, знаете ли вы, что я не Исаев?

— Да, Павел рассказал нам свою историю.

— Прошу вас, ужинайте, не обращайтесь на меня внимания. Вы позволите оставить пока чемодан у вас? Я заплачу до конца месяца. Собственно, я, с вашего разрешения, заплачу до конца ноября. Я хочу сохранить комнату за собой, если она никому не обещана.

Он протягивает ей деньги, двадцать рублей.

— Вы не станете возражать, если я буду по временам заходить к вам под вечер? Днем кто-нибудь дома бывает?

Она мнется. Обменивается взглядом с девочкой. Уже, подозревает он, появилась у нее задняя мысль. Конечно, лучше будет, если он заберет чемодан и больше у них не появится, тогда и о мертвом постояльце можно будет забыть, и комната освободится. К чему ей этот скорбный человек, словно бы источающий мрак? Ан поздно — деньги были предложены ей и ею приняты.

— Матреша после полудня дома, — негромко произносит она. — Я дам вам ключ. Только, я вас попрошу, проходите туда через отдельный вход. Дверь между комнатой жильца и нашей не запирается, но мы ею обычно не пользуемся.

— Прощу извинить. Я не подумал об этом.

Матрена. С час примерно он бродит по знакомым улицам Сенного околотка. Потом, перейдя Кокушкин мост, возвращается в трактир, где еще утром занял комнату, назвавшись Исаевым.

Голода он не испытывает. Не раздеваясь, ложится, скрещивает на груди руки и пытается заснуть. Но мысли его упрямо возвращаются в шестьдесят третий номер, в комнату сына. Занавески раздернуты. Луна освещает постель. Вот он, стоит, трудно дыша, у двери, не отрывая глаз от стула в углу, ожидая, когда мрак сгустится, обратиться во мрак иного рода — мрак присутствия.

Он шепотом повторяет имя сына, стараясь заклясть его. Но кого — призрак, себя самого? На ум приходит Орфей, шаг за шагом отступающий пятясь, шепчущий имя умершей женщины, которую

он выманивает из глубин ада; имя жены в погребальных одеждах, идущей, выставив перед собою, точно сомнамбула, вялые руки и не отрывая от него мертвых, невидящих глаз. Ни флейты, ни лиры, только слово, одно только слово, повторяемое раз за разом. Когда смерть разрешает от всех уз, остается лишь имя. Крещение: совокупление души с именем, которое она понесет с собой в вечность. Едва дыша, он снова складывает слоги: «Па-вел».

Голова начинает кружиться.

— Я сейчас пойду, — шепчет он, или ему кажется, что шепчет. — Но я вернусь.

«Я вернусь» — обещание, данное им, когда он впервые отвез мальчика в школу. «Я тебя не брошу». И бросил.

Он засыпает. Во сне он летит вдоль долгого-долгого водопада в омут и отдается падению.

КЛАДБИЩЕ

Они встречаются на переправе. Он раздражается, увидев в руках Матрены цветы. Цветы маленькие, белые, скромные. Были ль у Павла любимые цветы, он не знает, но розы, чего бы ни стоили они в октябре, алые, как кровь, розы — вот самое меньшее, чего заслуживает его сын.

— Я подумала, что мы сможем их посадить, — говорит женщина, словно прочитав его мысли. — Вот, и совок с собой взяла. Это лядвенец, он цветет поздно.

Действительно, видит он, корни цветов обернуты влажной тряпицей.

Маленький паром перевозит их на Елагин, которого он не посещал уже много лет. Две старухи в черном да они — вот и все пассажиры. День стоит холодный, мглистый. При их приближении по пристани принимается, поскуливая, метаться туда-сюда седой, искалеченный пес. Паромщик замахивается на него багром, и пес отбегает на безопасное расстояние. Собачий остров, думает он; не целые ли стаи их кроются между деревьев, ожидая, когда удалятся скорбящие, чтобы можно было разрыть еще мягкую землю?

В сторожку привратника заходит для наведения справок Анна Сергеевна, которую он все еще зовет про себя «квартирной хозяйкой», — сам он

ожидает снаружи. Потом они долго идут по аллеям мертвых. Он начинает плакать. Почему именно сейчас? — думает он, сердясь на себя. И все же он, пожалуй, рад слезам, их мягкая пелена отделяет его от внешнего мира.

— Вот здесь, мама! — окликает Матрена.

Перед ними могильный холмик, один из многих холмиков с воткнутыми в них крестами из колышков, к которым прибиты дощечки с написанными краской номерами. Он пытается сосредоточиться на одном-единственном номере, на его номере, но, едва завидев эти семерки и четверки, ловит себя на мысли: «Никогда больше не стану ставить на семь».

Вот самая та минута, когда ему следует пасть на землю ниц. Но все происходит так вдруг, и земляной холмик этот выглядит настолько чужим, что сердце его не отзывается никаким содроганием чувств. Да и не питает он доверия к череде безразличных рук, через которые прошло тело его сына, пока сам он был еще в Дрездене и ведать ни о чем не ведал, точно баран. Он не готов пока принять роковую связь юноши, продолжающего жить в его памяти, с именем на свидетельстве о смерти и с этим вот номером на дощечке. *Преходящие*, думает он: окончательных, верных номеров не бывает, все преходящие, иначе игра давно бы закончилась. А так, колесо крутится, номера приходят в движение, все снова будет хорошо.

Объемом и даже очертаниями холмик схож с лежащим навзничь телом. Он, собственно, и состоит не из чего иного, как из сырой земли, вытесненной деревянным ящиком с рослым молодым человеком внутри. Что-то такое есть в этом, чего он не спо-

собен додумать, что-то отталкивающее от себя. Мысль эту замещают саднящие воспоминания о том, чем он занимался в Дрездене в то время, как здесь, в Петербурге, бесчувственное тело тащили в морг, нумеровали, забивали в ящик, везли по городу, опускали в землю. Почему в дрезденском воздухе не явилось и тени предвестия? Или должно погибнуть толпам, прежде чем небеса содрогнутся?

На одной из картин, вновь нахлынувших на него, — он сам в ванной комнате на Лерхенштрассе, подстригающий, глядя в зеркало, бороду. Мерцают латунные краны умывальника, лицо поглощенного делом человека в зеркале кажется лицом незнакомца из прошлого. Вот я и постарел, думает он. Приговор был уже вынесен, и отправленное мне письменное уведомление о нем все приближалось, переходя из рук в руки, да только я ничего о том не знал. «Радость жизни твоей позади» — вот что значилось в приговоре.

«Квартирная хозяйка» выкапывает маленькую лунку в изножье холмика.

— Позвольте, — говорит он, взмахивая рукой, и она отступает.

Расстегивая пальто, расстегивая сюртук, он опускается на колени и неловко клонится вперед, пока не ложится ничком на землю, вытянув руки над головой. Теперь он плачет безудержно, из носа у него течет. Он трется лицом о мокрую землю, зарываясь в нее.

Когда он поднимается, земля остается в его бороде, в бровях, в волосах. Девочка, на которую он не обращает внимания, изумленно глядит на него. Он отряхивает лицо, сморкается, застегивается. Что за жидовский спектакль! — думает он.

Да пусть ее смотрит! Пусть видит, что человек не камень! Пусть знает, что нет у него предела!

Некая искра пролетает из его глаз в ее; она в замешательстве отворачивается, прижимается к матери. Назад, в гнездышко! Страшная злоба изливается из него на все живое, а всего пуще на живых детей. Если бы здесь случился сейчас новорожденный младенец, он вырвал бы его из материнских рук и разможил голову его о камень. Ирод, думает он: как я понимаю Ирода! Да истребится всякий род!

Он поворачивается к ним спиной и уходит. Скоро, оказавшись за пределами новой части кладбища, он бродит между старых надгробий, среди давних мертвецов.

Когда он возвращается, цветы уже посажены.

— И кто станет за ними ухаживать? — угрюмо спрашивает он.

Женщина пожимает плечами. Не ей отвечать на этот вопрос. Теперь его черед, это он должен сказать: «Я буду приходить сюда каждый день», или: «Бог о них позаботится», или же: «Никто за ними ухаживать не станет, они погибнут, и пусть их гибнут».

Мелкие белые цветочки весело колышутся на ветру.

Он стискивает руку женщины.

— Его здесь нет, нет, — говорит он, и голос его ломается.

— Конечно нет, ведь он не умер, Федор Михайлович.

Тон ее будничен, ободряющ. Более того, в эту минуту она полна материнских чувств не только к дочери, но и к нему, и к Павлу.

Руки у нее маленькие, пальцы тонки и кажутся детскими, но тело округлое. Нелепо — он рад был бы склонить голову к ней на грудь, ощутить эти пальцы в своих волосах.

Невинность рук, вечно рождающаяся заново. Мелькает воспоминание: прикосновение руки, такое интимное в темноте. Но чьей? На свет дневной руки являются, как животные, без стыда, без воспоминаний.

— Я должен записать номер, — говорит он, избегая ее взгляда.

— У меня записан.

Откуда вдруг взялось вожделение? Острое, пылкое: ему хочется схватить эту женщину, заволочь ее за сторожку привратника, задрать ей подол и совокупиться с нею.

Он думает о том, как на поминках люди напиваются на еду и вино. В своем роде восторг, бахвальство пред лицом смерти: что, нас-то не получила!

Они возвращаются к пристани. Пес с опаской — за ними. Матрена хочет его приласкать, но мать ей запрещает. Что-то неладное с этим псом: по спине идут от хвоста открытые, воспаленные язвы. Время от времени пес тихо повизгивает или вдруг садится и вгрызается в стружья.

Завтра я ворочусь, обещает он, приду один, мы поговорим. В мысли о возвращении, о том, как он переправится через реку, отыщет дорогу к могиле сына и останется наедине с ним в тумане, таится глухое обещание приключения.

Он сидит в комнате сына, разложив на коленях белую пару, тихо дыша, стараясь освободиться от себя, стараясь вызвать дух сына, определенно еще не покинувший этих пределов.

Проходит время. Из смежной комнаты доносятся сквозь перегородку приглушенные голоса женщины и девочки, звуки, указывающие, что там накрывают на стол. Он откладывает сюртучную пару, легонько стучает в дверь. Голоса обрываются. Он входит.

— Я сейчас пойду, — говорит он.

— А мы, видите, ужинать садимся. Оставайтесь, откупайте с нами.

Пищу она предлагает простую: суп, картошка с маслом и солью.

— Как вышло, что сын стал вашим жильцом? — спустя несколько времени спрашивает он. Он по-прежнему старательно называет покойного сыном, зная, что стоит ему попытаться произнести имя, как его затрясет.

Женщина мешкает с ответом, и он понимает почему. Она могла бы сказать: «Павел был приятный молодой человек, вот мы его и приняли». Но слово «был» мешает ей, оно словно валун поперек тропы. Она не может, глядя ему в лицо, и выговорить это голое слово — ищет окольных путей.

— Его рекомендовал прежний жилец, — про-
износит она наконец. Что ж, тоже выход.

Она поражает его своей сухостью, сухостью ба-
бочкина крыла. Словно между кожей ~~ее и нижней~~
юбкой, между кожей и черными чулками, которые
она, без сомнения, носит, лежит тонкий покров бе-
лого пепла, так что если спустить ей платье с плеч,
дальше оно уже само соскользнет на пол.

Он хотел бы увидеть ее обнаженной, эту жен-
щину, в последнем цвете ее молодости.

Образованной ее, разумеется, не назовешь, и
все же редко доводилось ему слышать столь чис-
тую русскую речь. Словно птица бьется во рту: мяг-
кие перья, мягкие взмахи крыльев.

В дочери нет и следа мягкой сухости матери. На-
против, в ней ощущается нечто текучее, нечто от
юной лани, доверчивой, но пугливой, тянущейся,
чтобы обнюхать незнакомую руку, и уже подобрав-
шейся, чтоб отмахнуть в сторону. Как это вышло,
что мать, столь темноволосая, породила такую бе-
локурую дочь? И при всем том знаки родства их
бросаются в глаза: маленькие, почти бесформен-
ные пальчики, темные глаза, блестящие, как у ви-
зантийских святых, чистые лепные очертания лба,
даже общее выражение странной переменчивости.

Замечательна эта способность ребенка сооб-
щать совершенство чертам, которые в родителе
его начинают казаться слабой копией!

Девочка на миг поднимает глаза, встречается
с его изучающим взглядом и в смущении отвора-
чивается. Его охватывает гневный порыв, же-
лание схватить ее за руку и с силой встряхнуть.
«Смотри на меня, дитя! — хочет выкрикнуть он. —
Смотри и учись!»

Он роняет нож на пол. И с чувством благодарности сгибается, нащупывая его. Ему все кажется, будто с лица его содрана кожа, будто он против собственной воли принуждает своих собеседниц смотреть на жуткую кровоточащую маску.

Женщина вновь нарушает молчание:

— Матрена с Павлом Александровичем были большие друзья, — сдержанно, но твердо произносит она. — Он ведь учил тебя, верно?

— Да, по-французски и по-немецки. Больше по-французски.

Матрена: имя ей не подходит. Имя старухи, старушонки со сморщенным, точно слива, личиком.

— Я буду рад, если ты возьмешь себе что-нибудь из его вещей, — говорит он. — На память.

И снова девочка поднимает на него недоуменный взгляд, изучая его, как собака изучает незнакомца, вряд ли даже слыша, что он говорит. Что с ней такое? Ответ находится сразу: ей никак не удастся представить меня отцом Павла. Она пытается разглядеть во мне Павла, да все никак не может. За этой мыслью приходит другая: для нее Павел еще не умер. Он продолжает жить в ней, дышать сладким дыханием юности. А моя чернота, это заросшее лицо, эта костлявость, должно быть, так же отвратительны ей, как сама старуха с косой. Смерть, с ее костлявыми бедрами, с зубами в полвершка, с коленками, лязгающими на ходу.

Ему не хочется рассказывать о сыне. Слушать рассказы о нем — да, но не рассказывать. Арифметически говоря, после смерти Павла прошло десять дней. И с каждым из этих дней воспоминания о нем — еще плывшие, быть может, по возду-

ху, точно осенние листья, — втаптывались в грязь или, подхваченные ветром, возносились в слепящие небеса. Только он один и желал собрать и сохранить их. Все остальные держались смертного чина: сначала скорбь, потом забвение. Сказано ведь: не будь забвения, мир быстро обратился бы в огромную библиотеку. Но даже мысль о том, что Павел будет забыт, приводит его в ярость, обращает в старого быка, гневливого, злого, опасного.

Ему хочется слушать рассказы о Павле. И девочка, точно случается чудо, приступает к такому рассказу.

— Павел Александрович, — она бросает взгляд на мать, ища подтверждения, что ей дозволено произносить это мертвое имя, — говорил, что пробудет в Петербурге еще недолго, а после уедет во Францию.

Девочка умолкает. Он раздраженно ждет продолжения.

— Почему ему так хотелось во Францию? — спрашивает она, обращаясь теперь к нему одному. — Что в ней такого, во Франции?

Во Франции?

— Ему хотелось не столько во Францию, сколько прочь из России, — говорит он. — Молодому человеку вообще свойственно гневаться на все, что его окружает. Гневаться и на отечество свое, потому что отечество кажется ему устарелым, отсталым. Новые идеи, новые мысли увлекают его. Он думает, что во Франции, или в Германии, или в Англии его ожидает будущее, которого собственная его страна не даст ему, потому что слишком глупа и безрадостна.

Девочка хмурится. Он говорит «Франция», «отечество», а она слышит нечто иное, нечто скрытое за словами — озлобление.

— Образование мой сын получил скудное, — говорит он, обращаясь уже не к дочери, а к матери. — Мне пришлось раз за разом переводить его из одной школы в другую. Причина тут простая: он не умел вставать поутру. Его невозможно было добудиться. Я, может статься, слишком уж напираю на это. Но и то сказать, не закончив в школе, в университет не поступишь.

И ведь нашел же о чем говорить в такое время! Тем не менее он, снова обращаясь к Матрене, продолжает:

— А французский язык его был далеко не хорош, да ты, верно, и сама это заметила. Быть может, он для того и хотел ехать во Францию — подучить французский.

— Он очень много читал, — говорит мать. — Случалось, что лампа у него так и горела всю ночь.

Голос ее остается негромким, ровным.

— Мы не возражали. Он был очень серьезный молодой человек. Мы обе любили Павла Александровича, не правда ли? — Лицо ее, обращенное к дочери, освещает улыбка, которая кажется ему похожей на ласку.

Был. Вот и сказала.

Она сдвигает брови.

— Но вот чего я все-таки не понимаю...

Наступает неловкое молчание. Он не пытается его разрядить. Напротив, он ошетиливается, будто оберегающий своего детеныша волк. Остерегись, думает он, не подвергай себя опасности,

не произноси ни слова ему в осуждение! Я — его мать и отец, я его всё и даже более всего! Он готов с громким криком броситься на защиту — но на защиту чего? И кто тот враг, которому он изготавился бросить вызов?

Из глубины его горла прорывается звук, которого он больше не в силах сдержать, — протяжный стон. Он закрывает руками лицо, слезы текут по пальцам.

Он слышит, как женщина встает из-за стола. Он ждет, что и девочка уйдет тоже, но она не уходит.

Погодя он вытирает глаза, сморкается.

— Прости, — говорит он девочке, по-прежнему сидящей напротив, склонив над тарелкой голову.

Он уходит в Павлушину комнату. Прости? Нет, правда в том, что никакой вины он за собою не знает. Напротив, его душит воспаленный гнев на всякого, кто остался жить после смерти его ребенка. И прежде всего на эту девчонку, которую он готов разорвать в куски за одну лишь кротость ее.

Он прилегает на кровать, складывает на груди руки, учащенно дышит, стараясь изгнать беса, который его одолевает. Он сознает, что походит больше всего на труп, что этот его так называемый бес, быть может, не что иное, как собственная его душа, впустую бьющая крыльями. Но в продолжающемся течении жизни ощущается в эту минуту нечто тошное. Лучше быть мертвым. Более того — уничтоженным, истребленным.

Что до жизни потусторонней, в нее он не верит. Он полагает, что вечность ему предстоит коротать на берегу какой-то реки, среди бесчисленного

скопища других мертвых душ, ожидающих барки, которая не приплывет никогда. Воздух будет холодным, сырым, черные воды будут плескаться о берег, одежды истлеют на нем и спадут к ногам, и сына он больше никогда не увидит.

На холодных скрещенных на груди пальцах он сызнанова пересчитывает дни. Десять. Стало быть, вот что ощущаешь по прошествии десяти дней.

Поэзия могла бы вернуть сына назад. В нем бродит чувство поэмы, которая смогла бы сделать это, ощущение музыки ее. Но он не поэт, скорее собака, потерявшая кость и теперь роющая в земле наугад, то там то сям.

Он ждет, когда под дверью погаснет свет, затем тихо покидает квартиру и возвращается в свое пристанище.

Ночью ему снится сон. Он плывет под водой. Синеватый, тусклый свет. Двигается он плавно, поворачивает легко и изящно; шляпы на голове нет; в черном своем скюртуке он ощущает себя черепахой, огромной старой черепахой в ее прирожденной стихии. Вода над ним зыблется, но здесь, в глубине, все спокойно. Он плывет между пучков подводной травы, вялые щупальца водорослей поглаживают его плавники, хотя плавники ли это?

Он знает, что ищет. Плывя, он по временам открывает рот и выпускает нечто подобное крику или призыву. При каждом из них рот заполняет вода, каждый произнесенный им слог заменяется слогом воды. Он все грузнеет, грузнеет, и в конце концов грудь его начинает взрывать донный ил.

Павел лежит на спине. Глаза его закрыты. Волнуемые течением волосы мягки, как у младенца.

Последний вопль, похожий скорее на лай, вырывается из черепашьего горла. Он устремляется к юноше. Он хочет поцеловать его лицо, но, принося к губам сына, он уже не питает уверенности, что это поцелуй, а не укус.

Тут он просыпается.

Утро он, повинаясь старой привычке, проводит за столиком в своей комнате. Когда приходит, чтобы прибраться, служанка, он взмахом руки отсылает ее. Но на бумаге так и не возникает ни единого слова. Нет, это не паралич. Сердце его бьется ровно, ум ясен. Он готов в любой миг взять перо, и тогда бумагу покроют слова. И все-таки он боится, что написанное может оказаться твореньем безумца — отвратительным, непристойным, бешеным, и так страница за страницей. Он думает о безумии, струящемся по жилам его правой руки, стекающем на бумагу с кончиков его пальцев, с пера. Безумие льется ровным потоком, так что ему не приходится даже окунать перо в чернила, ни разу. То, что изливается на бумагу, это не кровь, не чернила, но нечто едкое, черное, отдающее на свету в противную прозелень. Оно не высыхает на странице, и если провести по нему пальцем, получишь ощущение сразу и жидкостное, и электрическое. Так написанное сможет прочесть и слепой.

После полудня он возвращается на Свечную, в комнату Павла. Он закрывает внутреннюю, ведущую в квартиру дверь, подпирает ее стулом.

Затем расправляет на кровати белую пару. При дневном свете видно, как замызгались манжеты. Он ~~внюхивается~~ в подмышки — резкий запах, ~~не ребенка~~ — мужчины. Снова и снова втягивает он в себя этот запах. Сколько раз его можно будет вдохнуть, прежде чем он ~~иссякнет~~? Если поместить сюртук в стеклянный ящик, удастся ли сохранить и запах тоже?

Он раздевается, облачается в костюм Павла. Сюртук великоват, да и брюки слишком длинные, и все же он не ощущает себя шутком.

Он ложится, складывает на груди руки. Поза театральна, но он готов повиноваться любому позыву, куда бы тот его ни привел. Хотя, в сущности, он ни в какие позывы не верит.

Ему представляется Петербург, широко раскинувшийся под низкими, безжалостными звездами. По небу расстелен свиток со словом, написанным древнееврейскими буквами. Он не может прочесть его, но знает, что в нем — осуждение, проклятие.

За сыном замкнулись врата, окованные семикратно железными полосами. Открыть их — вот труд, возложенный на него.

Мысли, чувства, видения. Верит ли он им? Они приходят из глубины его сердца, но разумных причин для доверия сердцу существует не больше, чем причин для доверия разуму.

Я отступаю, думает он, непонятно откуда, непонятно куда, и когда отступление закончится, что останется от меня?

Он представляет себе, как возвращается назад, в яйцо, по крайности ~~во~~ что-то такое же гладкое, прохладное, серое. Нет, может быть, не яйцо:

возможно, это душа, возможно, так вот душа-то и выглядит.

Что-то шуршит под кроватью. Мышь, что ли, отправилась по своим делам? Пусть ее. Он переворачивается на живот, натягивает белый сюртук на лицо, вдыхает запах.

С того дня, как пришло известие о смерти сына, что-то все утасует в нем, что-то, обозначаемое им словом «крепость». Это ведь я умер, думает он; или, вернее, я умер, а смерть моя где-то подзадержалась. Он чувствует, что тело его сохраняет силу, здоровье, что добровольно оно не сдастся. Грудь словно бочка с прочными скрепами. Сердце, еще долго способное биться. И тем не менее он вырван из времени человеческого. Поток, который нес его, продолжает движение вперед, поток сохранил направление, даже цель, однако целью этой уже не является жизнь. Мертвый поток тащит его мертвыми водами.

Он засыпает. Просыпается он в темноте, посреди безмолвного мира. Зажигает спичку, пытаясь собраться с разбредшими мыслями. За полночь. Где же это он был?

Он забирается под покрывало и погружается в урывчатый сон. Поутру, направляясь в уборную, смрадный, всклокоченный, он сталкивается с Анной Сергеевной. На ней платочек, большие боты, ни дать ни взять торговка с рынка. Она глядит на него с изумлением.

— Я заснул, очень устал за день, — объясняет он.

Впрочем, причина ее изумленья не в этом. Причина в белом костюме, которого он так и не снял.

— Если не возражаете, я поживу до отъезда в комнате Павла, — продолжает он. — Всего несколько дней.

— Сейчас говорить об этом не время, — отвечает она. — Я спешу.

Ясно, что предложение ей не по душе. Она не дает согласия. Да только он заплатил, и тут уж она бессильна.

Это утро он проводит за столом в комнате Павла. Он уже не притворяется, будто занят сочинительством. Мысли его устремлены к смертной минуте Павла. И невыносимейшая среди них — мысль о том, что в последнюю, в малейшую долю последнего мига падения Павел отчетливо сознавал, что ему уже не спастись, что он погиб. Он хочет верить, что от этого сознания, более ужасного, чем даже сама гибель, Павла защитили стремительность, смятение полета, способность разума дурманить себя, защищаясь от всего, что в огромности своей невыносимо. Всем сердцем он жаждет уверовать в это. И в то же самое время понимает, что жаждет этой веры, дабы одурманить себя и защититься от сознания того, что Павел, падая, сознавал все.

В такие минуты он уже не отличает себя от Павла. Они сливаются в одного человека, и человек этот — ни больше ни меньше как мысль: Павел, мыслящий в нем, он, мыслящий в Павле. Мысль сохраняет Павла живым, заставляя его повиснуть в воздухе.

Вот от чего хочет он защитить своего сына — от знания, что тот мертв. Пока я живу, думает он, пусть я буду тем, кто знает! Каких бы движений воли это ни требовало, пусть именно я буду рассекающим воздух мыслящим существом.

Сидя с закрытыми глазами и стиснутыми кулаками за столом, он пытается оградить Павла от смертельного знания. Он воображает себя Тритоном с пьядца Барберини в Риме, тем, что прижимает к губам раковину, из которой вечно бьет хрустальная струя. День и ночь он вдыхает жизнь в воду. Отлитые в бронзе жилы на шее его напряжены до звона.

БЕЛАЯ ПАРА

Наступил ноябрь, лег первый снег. Небо наполнили стаи птиц, летящих на юг.

Он перебрался в комнату Павла и за несколько дней влился в жизнь этого дома. Дети больше не прерывают игр, чтобы оглядеть его, проходящего мимо, но голос все еще понижают. Они знают, кто он. А кто он? Неудачник, отец неудачника.

Каждый день он повторяет себе, что должен поехать на Елагин навестить могилу. Однако не едет.

Он пишет в Дрезден, жене. Письмам его, полным заверений, недостает истинного чувства.

Утра он проводит в комнате, совершенно пустые утра, что, впрочем, понемногу начинает доставлять ему разлагающее, мертвящее удовольствие. После полудня он бродит по улицам, избегая близких к Мещанской и Вознесенскому проспекту мест, где его могут узнать, сидит по часу в чайной, всегда одной и той же.

В Дрездене он пристрастился к чтению русских газет. Но теперь интерес к наружному миру утрачен. Его мир сузился и целиком уместается у него в груди.

Чтобы не досаждать Анне Сергеевне, он возвращается на квартиру лишь после наступления суме-

рек. Пока его не зовут к ужину, он тихо сидит в комнате, принадлежащей и не принадлежащей ему.

Он сидит на кровати, разложив на коленях белую пару. Никто его здесь не видит. Ничто не переменялось. Он ощущает идущие от сердца его к сердцу сына нити любви так явственно, почти физически, как если бы они свились в веревку, которую можно потрогать руками. Он чувствует, как эта веревка тянет и выкручивает его сердце. Он громко стонет. «Да!» — шепчет он, приветствуя боль, ему хочется, чтобы выкручивание длилось и дальше.

Дверь за его спиной отворяется. Сминая руками одежду Павла, он испуганно оборачивается, сгорбленный, безобразный, со слезами на глазах.

— Хотите поесть? — спрашивает девочка.

— Спасибо, я лучше побуду сегодня один.

Погодя она возвращается.

— Может быть, чаю? Я могу принести.

Она приносит чайник, сахарницу, чашку, торжественно расставленные по подносу.

— Это Павла Александровича костюм?

Он откладывает сюртучную пару в сторону, кивает.

Матрена стоит перед ним на расстоянии вытянутой руки, наблюдая, как он пьет чай. Его в который раз поражают чистые линии лба и скул, темные; влажные глаза, темные брови и белокурые, почти льняные волосы. Он ощущает прилив чувств противоположных, как будто две волны плещут одна о другую: потребность защитить эту девочку и потребность наотмашь ударить ее за то, что она жива.

Хорошо, что я прячусь, думает он. Такому, как сейчас, мне среди людей делать нечего.

Он ждет, когда Матрена что-нибудь скажет. Ему хочется услышать ее голос. Конечно, предъявлять требования к ребенку — поступок непозволительный, но он их все-таки предъявляет. Он поднимает на нее взгляд. Ничего прикровенного нет в этом взгляде. Полная обнаженность.

Ей удастся выдержать этот взгляд один только миг, затем она отворачивается, неуверенно отступает, приседает в странном, неловком реверансе и выскакивает из комнаты.

Он сознает, даже с самого начала этого эпизода, что не забудет его и, быть может, когда-нибудь вставит, переиначив, в одну из своих книг. Нечто подобное стыду пронзает его — стыду, впрочем, поверхностному и недолгому. Сначала в сочинениях его, а там и в жизни стыд, похоже, утратил былую свою силу, сменившись пустым, безнравственным безволием, которого никакие крайности не страшат. Вот как если бы он видел краем глаза тучи, летящие на него с ужасающей скоростью грозовые тучи. Они способны смести все, что преградит им путь. И он испуганно, но тоже и возбужденно ждет, когда разразится гроза.

В одиннадцать по его часам он без предуведомления выходит из комнаты. Ниша, в которой спят Матрена с матерью, занавешена, но Анна Сергеевна еще не легла, она сидит за столом и что-то пьет при свете лампы. Он переходит комнату и садится напротив нее.

Ловкие пальцы, точные движения. В Сибири он выучился шить, нужда заставила, но не с таким плавным изяществом. В его пальцах игла выглядит диковиной, стрелой из Лилипутии.

— Свет, пожалуй что, слабоват для такой тонкой работы, — негромко произносит он.

Она наклоняет голову, как бы говоря: «Я слышу», но также: «Что ж тут поделаешь?»

— Матрена — единственное ваше дитя?

Она взглядывает ему прямо в лицо. Ему нравится эта прямота. Нравятся ее глаза, нимало не ласковые.

— У нее был братик, но он умер совсем маленьким.

— Значит, вы знаете.

— Нет, не знаю.

Что она хочет сказать? Что смерть младенца сносится легче? Она не объясняет.

— Если позволите, я куплю вам лампу посильнее. Грех так рано портить глаза.

Она снова кивает, словно отвечая: «Спасибо за участие, но я не стану ловить вас на слове».

Так рано: а он что хотел этим сказать?

Он уже несколько времени ясно сознает, что не станет удерживать слов, которые приходят следом.

— Меня мучает потребность поговорить о сыне, — произносит он, — а еще пуще — послушать, как о нем говорят.

— Он был милым юношей, — отзывается она. — Жаль, что я знала его так недолго. — И словно поняв, что этого мало: — Обычно он что-нибудь читал Матрене перед сном. А она так целый день ждала этого. Они очень нежно относились друг к дружке.

— А что они читали?

— Помнится, «Золотого петушка», Крылова. Заучивали французские стихи. Она и посейчас помнит одно-два стихотворения.

— Хорошо, что у вас в доме есть книги, — он поводит рукой в сторону полки, на которой стоит двадцать-тридцать томиков. — То есть хорошо для подрастающего ребенка.

— Муж был печатником. Работал в типографии. Он много читал, это был его отдых. Тут только часть его книг. Пока он был жив, в квартире, случалось, повернуться из-за них было негде. У нас просто нет места, чтобы держать столько книг. — И, нерешительно помолчав, она прибавляет: — У нас и ваша была. «Бедные люди». Муж ее очень любил.

Повисает молчание. Лампа начинает мигать. Женщина приворачивает фитиль, откладывает шитье. Дальние углы комнаты тонут во мраке.

— Мне как-то пришлось попросить Павла Александровича не собирать у себя друзей вечерами, — говорит она. — Теперь я жалею об этом. В тот раз мы никак не могли уснуть, они все разговаривали и пили до поздней ночи. Среди его друзей попадались люди довольно грубые.

— Да, в дружбе он был демократом. Умел разговаривать с простыми людьми о том, что им близко. Ведь простые люди жаждут новых идей. Он никогда не говорил с ними свысока.

— Как и с Матрешей.

Свет еще тускнеет, фитиль начинает чадить. Словесный бальзам, думает он, который втираешь в язву. Вот только хочу ли я исцелиться?

— Павел, — спешит продолжить он, — при всей его молодости, был человек положительный. Он размышлял о России, об обстоятельствах русской жизни. Его заботило многое из того, что важно для простого народа.

Долгая пауза. Дань, думает он, я отдаю дань, пусть недостаточную, пусть запоздалую, и помогаюсь подобной же дани от нее. Да почему бы и нет!

— Мне все не дают покоя ваши слова, позавчерашние, помните? — задумчиво произносит она. — Зачем вы вдруг стали рассказывать нам о необычайной сонливости Павла?

— Зачем? Затем, что, какой бы мелочью это теперь ни казалось, она-то и испортила ему жизнь. Оттого, что он подолгу спал по утрам, мне пришлось несколько раз забирать его из одной школы и отдавать в другую. Вот он и не получил аттестата. И в конце концов оказался здесь, в Петербурге, как-то прибил к студентам, с которыми истинно общего у него было мало и к которым он, в сущности говоря, не принадлежал. И причиной тут вовсе не лень его. Его просто невозможно было растормошить ничем — ни криком, ни тряской, ни угрозами, ни мольбами. Все равно что медведя будить, впавшего в спячку медведя!

— Это я понимаю. Есть дети, совсем не способные прижиться в школе. Но я, собственно, о другом хотела спросить. Простите мои слова, но, когда вы все это рассказывали, меня поразило, что вы, кажется, продолжаете сердиться на него.

— Как же мне не сердиться! Мать его умерла, когда ему было пятнадцать, не забываете. Легко ли было растить сына одному? Или у меня дела другого не было, как уговаривать мальчишку вылезти из постели? Если бы Павел закончил школу, как остальные, ничего бы этого не случилось.

— Этого?

Он раздраженно взмахивает рукой, словно отметаая квартиру. Петербург и даже огромный темный полог ночи над ними.

Она глядит на него спокойно и твердо, и под взглядом ее он постепенно постигает смысл своих слов. Дрожь пронизывает его, начинаясь в правой руке. Он встает и, сцепив за спиною руки, принимается мерить шагами комнату. Нечто подступает к нему, нечто такое, чего он старается не определять. Он пытается заговорить, но голос звучит, точно у удушенника. Веду себя совершенно как персонаж из книги, думает он. Но и насмешка над собой не помогает. Он вжимает голову в плечи. И начинает беззвучно плакать.

Происходи все это в романе, женщина отозвалась бы на его горе приливом сострадания. *Эта* не отзывается. В мерцающем свете она сидит за столом с шитьем на коленях, отвернув в сторону лицо. Поздно уже, никто их не видит, девочка спит.

Чертovo сердце! — говорит он себе. Чертova чувствительность! Не сердце его пробный камень и не чувства, бушующие в нем, но смерть и чувства мертвого мальчика!

И в этот миг его посещает яснейшее из видений: Павел, улыбающийся ему, его раздражительности, его слезам, его театральности и тому, что за нею кроется. В улыбке Павла нет презрения — напротив, дружелюбие и прощение. Он знает! — думает он. Знает и ничего не имеет против! Волна благодарности и восторга оmyвает его. Уж теперь-то определенно будет припадок — такова его следующая мысль, однако он оставляет ее без внимания. Уже не сдерживая слез, он ощупью добирается до стола, обхватывает руками голову и, мерно подвывая, дает волю своему горю.

Никто не гладит его по голове, никто не шепчет на ухо утешительных слов. Но когда он наконец

поднимает, нащупывая платок, лицо, перед ним, внимательно вглядываясь, стоит Матрена. На ней белая ночная рубашка, расчесанные волосы лежат по плечам. Взгляд его невольно задерживается на ее едва припухлой груди. Он пытается улыбнуться ей, но выражение ее не меняется. И она тоже знает, думает он. Знает, где правда, где притворство, или же хочет узнать, проникая в него взглядом.

Он собирается с мыслями. Глаза, застланные последними слезами, прикованы к девочке. В этот миг что-то проходит меж ними — что-то, от чего он дергается, точно пробитый каленым железом. Но мать обнимает ее за плечи, они обмениваются несколькими тихими словами, и девочка возвращается в постель.

— Доброе утро. Я желал бы получить (он сам удивляется ровности своего тона) вещи моего сына. В прошлом месяце он стал жертвой несчастного случая, и кое-что из вещей его было взято полицией.

Он разворачивает расписку, протягивает ее через барьер. Расписка датирована днем смерти Павла или следующим — зависит от того, до или после полуночи испустил он дух; в ней обозначены просто «письма и иные бумаги».

Письмоводитель с сомнением оглядывает расписку.

— Октября 12-го. Это ведь меньше месяца тому. Дело еще не закрыто.

— Сколько же времени потребуется, чтобы его закрыть?

— Месяца два, может быть, а то и три. Оно от обстоятельств дела зависит.

— В этом деле нет никаких обстоятельств. Преступления совершено не было.

Держа расписку в вытянутой руке, письмоводитель покидает приемную. Возвращается он с выражением куда более серьезным.

— Фамилия ваша, сударь?..

— Исаев. Отец.

— Ну да, господин Исаев. Будьте столь любезны, присядьте, вами скоро займусь.

Сердце его падает. Он надеялся просто забрать имущество Павла и уйти отсюда. Меньше всего ему хотелось бы привлекать к себе внимание полиции.

— Долго я ждать не могу, — отрывисто сообщает он.

— Да-да, сударь, следовательно по этому делу скоро вас примет. Вы присаживайтесь, располагайтесь поудобнее.

Он смотрит на часы, опускается на скамью и в притворном нетерпении оглядывается по сторонам. Час ранний, кроме него в приемной находится еще одно только лицо — молодой человек в покрытом пятнами балахоне маляра. Сидит это лицо прямо, словно аршин проглотило, и по видимости спит. Глаза закрыты, челюсть слегка отвисла, из горла истекает негромкий рокочущий звук.

Исаев. Тревога, охватившая его, не стихает. Не оставить ли ему эту глупую выдумку теперь же, пока он в ней не увяз? Но как объяснить? «Прощу меня извинить, сударь, произошла небольшая ошибка. Дело не совсем таково, каким кажется. Я, видите ли, не то чтобы Исаев. Настоящий Исаев, имя которого я принял по причинам характера частного, причинам, в кои я в эту минуту и в этом месте входить не желаю, — причинам, впрочем, более чем достойным, вполне достойным, настоящий, стало быть, Исаев, скончался тому назад несколько лет. Я же вырастил Павла Исаева как своего сына и люблю его, как если бы он был собственной моей плотью и кровью. Вот в этом

смысле мы с ним носим одно имя или должны были бы носить. Немногие бумаги, оставшиеся после него, для меня драгоценны. Поэтому я к вам и пришел». Положим, он сделает это непрощенное признание и оно никаки~~х~~ подозрений не пробудит. Но что, если они намереваются с минуты на минуту вернуть ему бумаги, а выслушав его, пойдут на попятный? «Эге, это как же получается? Получается, что в деле имеются обстоятельства, нами не замеченные?»

Пока он сидит так в душной комнате с горящей в углу печкой, не зная, на что решиться — признать-ся ли, или и дальше исполнять принятую роль, — извлекая то и дело часы и сердито на них поглядывая, стараясь походить на нетерпеливого поверенного в делах, его понемногу охватывает предчувствие припадка, и в то же время он сознает, что припадок был бы уловкой, да и самой детской к тому же уловкой, которая, впрочем, позволила бы ему выпутаться из теперешнего затруднительного положения, а между тем где-то пообок этой мысли ложится тень мучительного воспоминания: определенно он уже был здесь прежде, вот в этой самой приемной или в похожей, и был тоже припадок или обморок! Но отчего этот эпизод помнится ему так смутно? И какое имеет отношение к воспоминанию запах свежей краски?

— Нет, это слишком!

Восклицание его отзывается в комнате эхом. Дремлющий маляр подскакивает, письмоводитель смотрит в удивлении. Он старается скрыть свое замешательство.

— Я, собственно, о том, — говорит он уже не так громко, — что не могу больше ждать, у меня

назначена важная встреча. Я вам, помнится, говорил.

Он встает, надевает пальто, но тут письмоводитель окликает его:

— Вас желает видеть советник Максимов, сударь.

В кабинете, куда его проводят, скамьи с высокой спинкой нет. Если не считать большого обитого клеенкой дивана, вся обстановка состоит из безликой казенной мебели. Советник Максимов, судебный следователь по делу Павла, лысый человек с расплывшейся бабьей фигурой, очень суетится, усаживая его поудобнее, затем открывает лежащее перед ним на столе пухлое дело и несколько времени читает, покачивая головой и негромко повторяя как бы про себя: «Грустная история... грустная».

Наконец он отрывает глаза от бумаг.

— Примите искреннейшие мои соболезнования, господин Исаев.

Исаев. Пора на что-то решиться!

— Благодарю вас. Я пришел просить о возвращении мне бумаг моего сына. Я понимаю, дело еще не закрыто, однако не вижу, какой интерес могут представлять частные бумаги для вашего департамента и что в них может быть важного для... для следствия.

— Да, разумеется, разумеется! Частные бумаги, как вы изволили выразиться. Однако скажите, что вы разумеете, в точности то есть, когда говорите «бумаги»? Что их, так сказать, образует?

Глаза Максимова отливают каким-то жидким, водянистым блеском, ресницы белые, точно у кошки.

— Как же я могу вам сказать? Их забрали из комнаты моего сына, я их покамест не видел. Ну, письма, документы...

— Вы их покамест не видели, а между тем уверены, что интереса для нас они не представляют. Что ж, понимаю. Понимаю веру отца в то, что бумаги его сына есть дело частное или, по крайности, семейное. Разумеется! Тем не менее производится следствие — простая формальность, быть может, но, однако ж, возбужденное законным порядком, стало быть, от него так просто, прицелкнув пальцами, не отмахнешься, и бумаги эти суть часть следственного дела. Так что...

Он составляет кончики пальцев крышей, опускает голову и, по всей видимости, погружается в глубокие размышления. Когда он вновь поднимает лицо, улыбка на нем отсутствует, ее сменило выражение чрезвычайной решимости.

— Сдается мне, — говорит он, — да, сдается, я отыскал выход, который и нас удовлетворит, и вас устроит. Поскольку дело не закрыто — а по правде-то сказать, еще и не открыто толком, — вернуть вам бумаги как таковые я не могу. Однако я позволю вам просмотреть их. Потому что, тут нельзя не согласиться с вами, отнять их у семьи, переживающей такую трагедию, значит поступить не по совести, совсем не по совести.

Резким, пугающим жестом, точно игрок, выкладывающий карту, которая бьет все остальные, Максимов выхватывает из дела один-единственный листок и кладет его перед собеседником.

Это список фамилий, русских фамилий, написанных латинскими буквами, все начинаются на «А».

— Здесь какая-то ошибка. Это писал не мой сын.

— Не ваш сын? Хм-м, — Максимов забирает листок назад, разглядывает его. — А нет ли у вас, господин Исаев, каких-либо мыслей относительно того, кто это мог написать?

— Рука мне незнакома, это не моего сына рука.

Максимов вытягивает из самого низа дела другой листок и подвигает его по столу.

— А это?

Этого ему и читать не нужно. Как глупо! — думает он. Голова вдруг начинает кружиться. Откуда-то издалека он слышит собственный голос, произносящий:

— Это письмо от меня. Я не Исаев. Я просто принял его имя...

Максимов помахивает ладошкой, отгоняя, будто муху, его слова, требуя, чтобы он замолчал, но он, совладав с головокружением, завершает свое объявление.

— Я принял это имя, чтобы не усложнять дела — иных причин не было. Павел Александрович Исаев — мой приемный сын, единственное дитя моей покойной жены. Однако для меня он — мой сын. Кроме меня, у него никого в мире не было.

Максимов берет из его ослабевших пальцев письмо, перечитывает. Это последнее, посланное из Дрездена письмо, письмо, в котором он корит Павла за чрезмерные траты. До чего унижительно сидеть здесь и смотреть, как это письмо читает человек посторонний! Унижительно было даже писать его! Но как может знать человек, как он может знать, какой именно день будет последним?

— «Твой любящий отец Федор Михайлович Достоевский», — бормочет следователь, поднимая

на него взгляд. — Стало быть, вы, выражаясь со всей определенностью, отнюдь не Исаев, а Достоевский.

— Да. Это была уловка, ошибка, глупая, но безвредная, и я о ней сожалею.

— Понимаю. И тем не менее вы пришли сюда, выдавая себя — впрочем, так ли уж нужно нам прибегать к слову столь некрасивому? Хорошо, давайте покамест на краткий срок воспользуемся им за неимением лучшего, но, так сказать, с осторожностью, — выдавая себя за отца покойного Павла Александровича Исаева, с прошением вернуть вам принадлежавшую ему собственность, между тем как вы, по справедливости говоря, совсем не тот человек.

— Я уже сказал вам, это было ошибкой, о которой я горько сожалею. И все же покойный — мой сын, да и по закону я являюсь его назначенным должным порядком опекуном.

— Хм. Из бумаг видно, что при кончине пасынка вашего ему был двадцать один год, двадцать два без малого. Так что, строго говоря, судебное решение об опекунстве силу уже утратило. Человек двадцати двух лет сам себе господин, не правда ли? Вольная птица, с точки закона.

Насмешка окончательно выводит его из себя. Он встает.

— Я не для того пришел сюда, чтобы обсуждать с посторонним человеком дела моего сына, — звенящим голосом произносит он. — Если вам угодно держать эти бумаги у себя, так и скажите, я предприму другие шаги.

— Держать у себя? Разумеется, нет! Да вы сядьте, сударь, прошу вас, сядьте! Разумеется,

нет! Совсем напротив, я только рад буду, коли вы их просмотрите, оно и вам на пользу пойдет, и нам тоже. Вы ведь нас можете на путь, так сказать, наставить, а мы это ценим, и высоко ценим. Давайте-ка вот с этих начнем.

Максимов раскладывает перед ним с полдюжины исписанных кругом листков — полный список имен, которого первую страницу, на «А», он уже видел.

— Стало быть, не вашего сына рука?

— Нет.

— Нет, это мы сами знаем. А чьей она может быть, никаких соображений не имеете?

— Рука мне незнакома.

— Это написано молодой женщиной, ныне пребывающей за границей. Имя ее значения не имеет, хотя, если я его назову, вы, пожалуй, удивитесь. Она состоит в друзьях и помощницах у господина по фамилии Нечаев, у Сергея Геннадиевича Нечаева. Это имя вам о чем-нибудь говорит?

— Лично я с Нечаевым не знаком и очень сомневаюсь в том, чтобы и сын мой водил с ним знакомство. Нечаев — заговорщик и бунтовщик, цели которого я полностью отвергаю.

— Вы говорите, что лично с ним не знакомы. И однако ж вы с ним встречались.

— Нет, не встречался. Я присутствовал на одном открытом конгрессе в Швейцарии, в Женеве, там выступали многие и Нечаев в их числе. Мы с ним находились в одном зале — к этому наше знакомство и сводится.

— Это когда же было?

— Осенью шестьдесят седьмого года. Конгресс был организован Лигой мира и свободы, как име-

нуют себя эти люди. Я отправился туда не таясь, как русский патриот, из желания услышать, что могут сказать о России все стороны. То обстоятельство, что я выслушал речь этого молодого человека, Нечаева, вовсе не делает меня его сторонником. Напротив, я, позвольте повторить, отвергаю все, за что он ратует, о чем я и высказывался неоднократно, как публично, так и частным образом.

— Вы, стало, и счастье народа отвергаете? Разве Нечаев ратует не за счастье народа? Не за него борется?

— Я не понимаю смысла вопросов ваших. Нечаев ратует прежде всего и главным образом за насильственное уничтожение всех общественных институтов во имя принципа равенства — равного счастья для всех, а не получится счастья, так равного ничтожества. Как-то обосновать этот принцип он даже и не пытается. Он, как мне представляется, вообще отрицает всякого рода обоснования, почитая их за пустую трату времени, бесполезное утешение. Прошу вас, не ищите связей между Нечаевым и мной.

— Хорошо, выговор ваш я принимаю. Хотя я, должен прибавить, несколько удивлен — я не назвал бы вас таким уж ревнителем принципов. Но к делу, к делу. Перед вами лежит список имен — вам из них знакомы какие-нибудь?

— Некоторые знакомы. Но таких совсем немного.

— Это список людей, которых, как только будет подан сигнал, надлежит уничтожить именем «Народной расправы», а это, как вам, полагаю, известно, созданная Нечаевым подрывная организация. Убийства эти предположительно подстрекнут все-

общий бунт и приведут тем самым к ниспровержению государственной власти. Загляните в конец, там есть дополнение, в котором перечислены целые классы людей, подлежащие истреблению после падения государства. Вся высшая судебная власть, все офицеры полиции, служащие Третьего отделения от капитана и выше. Список этот найден среди бумаг вашего сына.

Сообщив эти сведения, Максимов откинулся в кресле и дружески улыбнулся.

— И отсюда следует, что мой сын был убийцей?

— Нет, разумеется! Да и как бы он мог быть им, если никто еще не убит? Перед вами лежит, так сказать, черновик, умозрительный прожект. По правде говоря, мое мнение — мнение частного, то есть, лица — таково, что любой молодой человек, за что-то разобидевшийся на общество, способен был бы состряпать подобный же список, потратив на это занятие не более одного вечера, — из желания, быть может, покрасоваться перед весьма юной особой, которой он его надиктовал, выказать перед нею свою власть над жизнью и смертью, власть вполне фантастическую. Тем не менее покушение, заговор с целью покушения, угрозы в адрес официальных лиц — это все дела серьезные, вы не находите?

— Весьма серьезные. Ваш долг совершенно ясен, и в советах моих вы не нуждаетесь. Если Нечаев когда-нибудь возвратится на родину, вы обязаны арестовать его. А сын мой — что вы с ним можете сделать? Арестовать и его?

— Хе-хе! Шутить изволите, Федор Михайлович! Нет, арестовать его мы не можем, даже ежели бы и захотели, поскольку он удалился теперь

в лучший мир. Однако кое-что он в этом оставил и нам. Бумаги, и в количествах гораздо больших, чем вправе себе позволить любой уважающий себя заговорщик. Остались также кое-какие вопросы. Такой, к примеру: почему он лишил себя жизни? Позвольте мне вас спросить, что вы об этом предмете думаете: почему он лишил себя жизни?

Комната плывет перед его глазами.

— Мой сын не лишал себя жизни, — шепчет он. — Вы ничего в нем не поняли.

— Разумеется, нет! Ни в пасынке вашем, ни в превратностях жизни его я ничегошеньки не понимаю и понять не претендую. Что я надеюсь понять, в смысле существенном, в следовательском то есть смысле, так это причины, приведшие его к смерти. Скажем, угрожал ли ему кто-нибудь? Быть может, кто-то из сообщников пригрозил, что выдаст его? Или боязнь последствий до того его умучила, что он наложил на себя руки? А может быть, он этого и не делал вовсе? Не исключено ведь, что по причинам, о коих мы пока не осведомлены, его сочли изменником делу «Народной расправы» и убили столь решительно неприятным способом? Вот какие вопросы у меня в голове-то вертятся. Я оттого и ухватился за приятную возможность побеседовать с вами, Федор Михайлович. Ведь если вы его не знаете, вы, его приемный отец и давнишний попечитель, в отсутствие настоящих-то родителей, то кто же тогда?

Ну-с, и потом, имеется еще вопрос о пьянстве его. Всегда ли он пил помногу или пристрастился недавно, не выдержав гнета, так сказать, заговорщицкой жизни?

— Не понимаю. О каком пьянстве вы говорите?

— Да ведь он в ночь своей смерти очень много выпил. Вы не знали?

Он немо качает головой.

— Да, Федор Михайлович, я вижу, вы много не знаете. Давайте говорить начистоту. Я, как услышал, что вы явились требовать бумаги пасынка вашего, в самое, можно сказать, логово льва вступили, так и уверовал или почти уверовал, что у вас и подозрений даже о чем-либо неподобающем не имеется. Потому что, знай вы о связи между вашим пасынком и нечаевской шайкой, вы бы уж точно к нам не пришли. А когда бы и пришли, то, по крайней-то мере, с самого начала определенно бы и объявили, что вам только переписка между вами и пасынком нужна, более ничего-с. Вы понимаете?

— Да...

— Ну-с, а поскольку письма от пасынка вашего и так уже у вас, стало быть, нужны вам только письма, вами писанные. Но почему же...

— Письма, да, письма и все прочие бумаги частного характера. Ведь сына моего вы все равно теперь преследовать не в состоянии.

— Ваша правда... Такая трагедия... Но вот о бумагах этих, «частного», как вы изволили выразиться, характера. Сдается мне, в нынешних обстоятельствах уж и не понять, что это, собственно, такое означает — «частного характера». Разумеется, мертвых должно уважать, и права вашего пасынка, которых сам он уже отстоять не может, нам теперь защищать надлежит — в настоящем случае право на частную жизнь. Каждый из нас, пожалуй, пожегился бы, представив, как после кончины нашей

некто, нимало нам не знакомый, принимается копаться в наших пожитках, ящики в столе выдвигать, ломать печати, читать интимные письма. С другой же стороны, в некоторых случаях мы, пожалуй, и предпочли бы, чтобы службу эту, неприятную, но необходимую, сослужил бы нам человек посторонний и никакого интереса к нам не питающий. Легко ли помыслить, что самые потаенные наши делишки вылезут на свет божий, когда чувства близких наших еще растревожены, и предстанут во всей их красе перед ничего не подозревавшей женой, или дочерью, или сестрой? В некоторых отношениях оно и лучше было бы, если б ими занялся человек сторонний, которого мы оскорбить не можем и потому, что мы для него звук пустой, и потому, что он, по роду занятий своих, с оскорблениями обвыкся.

Все это, разумеется, праздный в некотором смысле разговор, потому как в окончательном-то итоге распоряжается закон, закон наследования: тот, кому надлежит наследовать имущество, тот и получает и частные бумаги, и все прочее. А ежели человек умирает, о наследнике не распорядившись, тогда в силу вступает кровное родство, и уж оно определяет все, что определить надлежит.

Стало быть, семейные письма, как мы с вами согласились, это бумаги частные и потому обращения требуют самого осмотрительного. Иное дело, что заграничную переписку да еще и переписку характера подстрекательского — тот же список людей, намеченных для убийства, — частными бумагами никак уж не назовешь. Но вот, однако... минуточку-с... вот случай совсем уж прелобопытнейший.

Он принимается перебирать в деле какие-то листки, неприятно барабани пальцами по столу.

— Прелюбопытнейший случай, прелюбопытнейший, — бормочет он, перебирая бумаги, и вдруг объявляет: — Рассказец-с! Как нам с рассказом прикажете поступить, с плодом, так сказать, литературной фантазии? Частное это дело или не частное, рассказец-то, как оно, по-вашему?

— Да уж, конечно частное, и даже до чрезвычайности, — частное дело автора, пока сочинение его не станет достоянием публики.

Максимов бросает на него лукавый взгляд и подталкивает через стол то, что перед этим просматривал. Это школьная, с линованными листами тетрадь. Он с первого взгляда узнает клонящийся почерк, длинные завитки и тире. «В девственной снежной пустыне...» — читает он и сразу испытывает желание переправить эту избитую фразу. Что-то о человеке, бредущем под открытым небом, о холоде. Покачав головой, он закрывает тетрадку.

Максимов тянется и мягко отнимает ее. Полистав, он находит нужное ему место и вторично подвигает тетрадь через стол.

— Прочтите отсюда, — говорит он, — всего страницу-другую. Наш герой — молодой человек, осужденный за участие в противоправительственном заговоре и сосланный в Сибирь. Из каторги он бежит и в дальнейшем попадает в дом некоего помещика, там его прячет и кормит молодая крестьянка, кухонная прислуга. Как-то вечером помещик, этакий, знаете, вульгарный сластолюбец, принимается грубо за нею ухаживать. Вот это-то место я и прошу вас прочесть.

Он снова качает головой.

Максимов тянет тетрадку к себе.

— Зрелище становится для молодого человека невыносимым, он покидает свое укрытие и вмешивается в происходящее.

Максимов начинает читать вслух.

— «Карамзин...» — это помещик — «...повернулся к нему и прошипел: „Ты кто таков есть? Что здесь делаешь?“ Тут он разглядел серую куртку и разбитые ножные кандалы. „А, ты из этих! — воскликнул он. — Так я же с тобой управлюсь!“ Он вскочил и повалил прочь из комнаты». Хорошее словцо нашел, «повалил», мне нравится. Помещик у него изображен человеком с бульдожьей физиономией, этакий скот с волосатыми ушами и короткими, жирными ножками. Неудивительно, что юный герой наш оскорбился: уродливая старость тянет лапы к девственной красоте! Он хватает стоящий за печью топор. «Со всей силой, содрогаясь от отвращения, он опустил топор на бледный череп старика. Колени Карамзина подломились. Громко, точно животное, всхрипнув, он рухнул лицом на выскобленный кухонный пол, широко раскинув руки с подергивающимися пальцами, и затих. Сергей...» — таково имя нашего героя — «...стоял, точно прикованный к месту, с окровавленным топором в руке, неспособный поверить в то, что он совершил. Но Марфа...» — а это, стало быть, героиня — «...с присутствием духа, для него неожиданным, схватила мокрую тряпку и подсунула ее под затылок убитого, чтобы не растекалась кровь». Недурственная реалистическая черта, вы не находите?

Далее идут все больше обрывки, я их читать не стану. Вероятно, после устранения непристойного

Карамзина вдохновение автора стало иссякать. Сергей с Марфой выволакивают тело и спускают его в заброшенный колодец. Затем они уходят вдвоем в ночь — «полные решимости», так прямо и сказано. Не вполне понятно, намереваются ли они удариться в бега или нет. Позвольте, однако ж, упомянуть последнюю частность. Топора Сергей не бросает. Напротив, берет с собой. Для чего? — спрашивает Марфа. Ответ его я вам процитирую. «Для того, что это оружие русского народа, орудие нашей защиты и нашей мести». Окровавленный топор, народная месть — намек, кажется, такой, что яснее и некуда, не правда ли?

Он изумленно смотрит на Максимова.

— Ушам своим не верю, — шепчет он. — Так вы и вправду намереваетесь построить на этом доказательстве виновности моего сына — на рассказике, на фантазии, записанной им в уединении его комнаты?

— Да что вы, батюшка, Федор Михайлович, опять вы меня не поняли! — Максимов, с показным огорчением покачивая головой, откидывается в кресле. — Мы и в мыслях не имели преследовать (если воспользоваться выражением вашим) вашего пасынка. Его-то дело закрыто, в том, то есть, смысле, который один только и существенен. Я прочитал вам эту фантазию, как вы о ней отнестись изволили, с тем лишь, чтобы показать, какое влияние на него имели нечаевцы, и без того уж сбившие с пути бог весть сколько впечатлительных и легковверных молодых людей, особенно здесь, в Петербурге, и ведь многие из хороших фамилий происходят. Суцая моровая язва эта нечаевщина, эпидемия, я бы так сказал. Эпидемия или, может статься, мода.

— Только не мода. То, что вы зовете нечаевщиной, всегда существовало в России, разве под другими именами. Нечаевщина — явление такое же русское, как разбой. Но я пришел сюда не для того, чтобы рассуждать о нечаевцах. Я пришел ради простого дела — забрать бумаги сына. Могу я их получить? А если нет, могу ли удалиться?

— Удалиться вы, натурально, можете, вы человек свободный. Пожили за границей, вернулись с подложным именем в Россию. Что у вас там значится в паспорте, я и спрашивать не желаю. Вы вольны удалиться, вольны вполне. Если кредиторы ваши обнаружат, что вы в Петербурге, то, разумеется, и они совершенно вольны принять свои меры. Меня это все не касается, это ваши с ними дела. Повторяю, вы можете покинуть присутствие. Однако должен вас предупредить: положительно обещать, что стану содействовать вам в обмане, я не могу. Это, надеюсь, понятно.

— В настоящую минуту деньги меня волнуют меньше всего. Если меня примутся донимать из-за старых долгов, значит, так тому и быть.

— Э, полноте, вы пережили потерю, настрадались, так и думаете, что вам теперь все равно. Понимаю, вполне понимаю. Да только у вас ведь жена и ребенок, им-то как без вас прожить? Хоть ради них не сдавайтесь судьбе на милость. Что до просьбы вашей касательно бумаг этих, с сожалением должен сказать, что выдать их вам пока не могу. Они образуют часть полицейского дела, касающегося связей пасынка вашего с нечаевцами.

— Очень хорошо. Но прежде чем я уйду, не позволите ли мне поступить вопреки моим же словам и сказать вам о нечаевцах нечто для вас неожидан-

ное? Потому что я по крайней мере видел и слышал самого Нечаева, чем вы — поправьте меня, коли я ошибаюсь, — похвалиться не можете.

Максимов вопросительно вскидывает голову.

— Продолжайте, прошу вас.

— Нечаев — дело вовсе не полицейское. В сущности говоря, Нечаев вообще не дело властей, во всяком случае властей мирских.

— Продолжайте, продолжайте.

— Вы можете выследить Сергея Нечаева и упрятать его в тюрьму, но нечаевщины вы этим не уничтожите.

— Согласен. Согласен с вами совершенно. Нечаевщина — мысль, в нашей стране весьма распространившаяся. Он сам — лишь телесное ее воплощение. И уничтожить ее не удастся, пока не наступят иные времена. Наша же цель поскромнее и попрacticalнее — уяснить, насколько широко мысль эта разошлась, и там, где она укоренилась, не позволить ей претвориться в деяния.

— Вы меня все же не поняли. Нечаевщина — не мысль. Она отрицает мысль и пребывает за пределами ее. Это дух, и сам Нечаев не воплощение его, а вместилище или, вернее, человек, этим духом одержимый.

Выражение максимовского лица остается непроницаемым. Он делает еще одну пробу.

— Когда я встретил в Женеве Сергея Геннадиевича Нечаева, он поразил меня как невзрачный, угрюмый, откровенно заурядный молодой человек посредственного ума. Не думаю, чтобы это первое мое впечатление было ошибочным. Но вот в эту-то невзрачную оболочку и вошел некий дух. Впрочем, и в самом духе замечательного мало.

Тупой, обидчивый, кровожадный. Почему он предпочел вселиться именно в этого молодого человека? Не знаю. Быть может, потому, что счел оболочку удобной, потому что ее легко покидать и легко в нее возвращаться. Однако как раз оттого, что в Нечаеве сидит этот дух, сам Нечаев и приобретает последователей. Их привлекает дух, не человек.

— И как этот дух зовется, Федор Михайлович?

Он пытается зримо представить себе Сергея Нечаева, но видит лишь воловью голову — остекленелые глаза, вывалившийся язык, череп, расколотый топором мясника. И тучу мух. Имя приходит к нему, и он в тот же миг произносит его:

— Ваал.

— Любопытно. Метафора, надо думать, и не весьма к тому же внятная. Ваал. Вынужден, однако ж, задать себе вопрос: будет ли какой-нибудь толк от этих разговоров о духах, об одержимости духами? Будет ли толк даже от разговоров о мыслях, расходящихся по стране, точно у них руки и ноги имеются? Чем они помогут нам в наших заботах? Чем помогут России? Вы говорите, что нам не следует сажать Нечаева под замок, поскольку он-де бесом одержим (не назвать ли нам его «бесом»? В «духе», с дозволения вашего, присутствует нота отчасти фальшивая). Но как же нам-то при такой okazji поступать? Мы ведь, если на то пошло, не орден мистических созерцателей, мы — следственная часть.

Наступает молчание.

— Я ничуть не желаю отмахиваться от сказанного вами, — вновь нарушает тишину Максимов. — Вы человек, одаренный способностью к особливому озарениям, я это знал и до знакомст-

ва с вами. А эти дети-заговорщики определенно и в сравнение ни в какое не идут со своими предшественниками. Они себя едва ли не бессмертными почитают. И с этой точки они действительно похожи на драчливых бесов. Да и безжалостных к тому же. Это у них, так сказать, в крови — желать нам зла, нашему, то есть, поколению. Они с этим желанием на свет родились. Нелегко быть отцом, не правда ли? Я и сам отец, но у меня, по счастью, дочери. А иметь в наш век сыновей — слуга покорный. Впрочем, и с вашим отцом, кажется... там ведь, кажется, какая-то неприятность вышла с вашим отцом, или меня память подводит?

Из-под приопущенных белых ресниц Максимов бросает на него острый взгляд и, не дожидаясь ответа, продолжает:

— Вот я и гадаю, так ли уж, в последнем-то счете, много в Нечаеве от помраченного духа, как вы, сдается мне, изволите утверждать? Быть может, дело сводится все же к вековой нашей распре отцов и детей, которая только стала в нынешнем поколении более ожесточенной и непримиримой. А в этом случае самые простые средства, возможно, будут и самыми разумными: следует просто скрепиться и ждать, когда они повзрослеют. В конце концов, были же у нас декабристы, были люди сорок девятого года. Декабристы, те, что еще живы, теперь старики, и я уверен, какие бы бесы их ни смущали, все давно уже расточились. Или вот тот же Петрашевский со товарищи, что вы о них думаете? И их тоже бес попутал?

Петрашевский! Для чего он помянул Петрашевского?

— Не могу согласиться с вами. То, что вы называете феноменом Нечаева, обладает особой окраской. Нечаев — человек кровавый. А люди, которых вы удостоили воспоминания, были идеалистами. Они потерпели поражение, потому что, к чести их, не имели достаточной наклонности к интригам и уж к крови определенно не тяготели. Петрашевский — раз уж вы упомянули о Петрашевском — с самого начала отверг иезуитство того рода, что оправдывает средства целью. Нечаев же иезуит, светский иезуит, совершенно открыто провозглашающий доктрину цели, оправдывающей самое циническое злоупотребление энергией его приверженцев.

— В таком случае я чего-то не понимаю. Объясните мне сызнова: отчего мечтателей, поэтов, образованных молодых людей, подобных вашему пасынку, притягивают разбойники вроде Нечаева? Потому как, по вашему-то описанию, что же получается? Нечаев всего-навсего разбойник, едва-едва нахватавшийся вершков образования?

— Не знаю. Возможно, оттого, что в молодежи присутствует нечто, еще не уснувшее, и именно то, к чему взывает дух, обуявший Нечаева. Возможно, оно и во всех нас присутствует, что-то такое, что мы почитаем умершим много столетий назад, а оно не умерло, оно только спит. Я повторяю: не знаю. Я не способен объяснить связь моего сына с Нечаевым. Для меня она неожиданна. Я пришел к вам только затем, чтобы забрать бумаги Павла, составляющие для меня ценность, которой вы уразуметь не сможете. Только бумаги, ничего больше. И я спрашиваю вас сызнова: вернете вы мне эти бумаги? Для вас они бесполезны.

Вы ничего из них не узнаете о том, почему образованные молодые люди подпадают под влияние горстки преступников. И вам, именно вам они скажут меньше, чем кому бы то ни было, потому что вы определенно не знаете, как их читать. Позвольте уж мне сказать: все то время, пока вы читали мне рассказ сына, я видел, что вы стараетесь от него отстраниться, отгораживаетесь насмешкой, точно боитесь, что слова выскочат из страницы, набросятся на вас и станут душить.

Произнося эти слова, он чувствует, как в нем разгорается некий огонь, ему приятный. Он принаклоняется к Максиму, вцепившись в подлокотники кресла.

— Что вас так сильно пугает, господин Максимов? Когда вы читаете о Карамзине или Карамзове — как бинь его? — о том, как треснул, точно яйцо, бледный череп Карамзина, что происходит с вами — страдаете вы вместе с ним или втайне восторгаетесь рукой, взмахнувшей топором? Не отвечаете? Ну так я вам скажу: настоящее чтение в том-то и состоит, чтобы становиться и рукой, и топором, и черепом. Читать — значит забывать о себе, а не стоять в сторонке, посмеиваясь. Спроси я вас об этом прямо, вы, верно, ответили бы, что охотитесь за Нечаевым для того, чтобы предать его суду с соблюдением положенных формальностей, с защитой и обвинением и прочим, а там и запереть до скончания его дней в чистой и светлой камере. Но загляните-ка в себя, этого ли вы хотите на самом деле? Не подмывает ли вас попросту снести ему голову и потоптаться в его крови?

Раскрасневшийся, он откидывается на спинку кресла.

— Вы человек чрезвычайно умный, Федор Михайлович, и, однако ж, говорите о чтении так, словно в вас в самих бес вселился. Боюсь, по таким меркам читатель из меня и впрямь никудышный — туповатый и воспарить не способный. Однако при всем том я, слушая вас, поневоле начал гадать, не в лихорадке ли вы, часом. Если бы вы сейчас увидели себя в зеркале, вы, наверно, поняли бы, что я имею в виду. Ну-с, разговор у нас получился долгий — любопытный, но долгий, а у меня между тем множество дел, и дел неотложных.

— Говорю вам еще раз: бумаги, которые вы столь ревностно удерживаете, скажут вам не больше, чем если б они были написаны по-арамейски. Верните их мне!

Максимов хмыкает.

— Вы сами снабдили меня наисерьезнейшей и благороднейшей из причин, по которой возвращать их вам, Федор Михайлович, ну никак уж не следует, и именно той, что при нынешнем вашем душевном состоянии Нечаев может выскочить из страницы и овладеть вами полностью. Однако серьезно: вы говорите, что знаете, как их читать. Не согласитесь ли вы когда-нибудь в будущем прочесть для меня все эти бумаги, все нечаевские документы? Тут ведь только одно дело, а их многое множество.

— Прочесть их для вас?

— Да. Прочесть их для меня.

— Зачем?

— Да затем, что вы вот говорите, будто я читать не умею. Ну так покажите мне, как это делается. Научите меня. Растолкуйте мне эти мысли, которые вовсе не мысли.

В первый раз с того дня, как в Дрезден пришла телеграмма, на него нападает смех, он даже чувствует боль в отвыкших от улыбки, застывших складках своего лица. Впрочем, смех его резок и безрадостен.

— Мне всегда твердили, — произносит он наконец, — что полиция — это глаза и уши общества. И вот вы призываете на помощь меня! Нет, не стану я вам читать.

Сложив ладошки на лоне, прикрыв глаза, приобретая еще пущее сходство с Буддой, лишенным пола и возраста, Максимов кивает.

— Благодарствуйте, — мурлычет он. — Не смею более задерживать.

Он выходит в заполненную людьми приемную. Как много времени провел он наедине с Максимовым? Час? Больше? На скамье не осталось свободного места, люди стоят, прислонясь к стенам, стоят в коридоре, где особенно удушающе пахнет свежей краской. Разговоры мгновенно смолкают, все взгляды обращаются к нему, лишенные малейшего расположения взгляды. Сколько людей ищет справедливости, и ведь у каждого есть что рассказать!

Уже почти полдень. Мысль о том, чтобы вернуться к себе в комнату, кажется ему непереносимой. Он направляется по Садовой на восток. Небо низкое, серое, дует холодный ветер, ноги скользят на покрывшей землю наледи. Пасмурный день, в такой только и плестись, свесив голову, по улице. И все же он не может удержаться, глаза его беспокойно перебегают с одного прохожего на другого в поисках разворота плеч, походки, присущей покойному сыну. По походке он и узнает его, вначале по походке, а после уж по фигуре.

Он пытается вызвать в памяти лицо Павла. Но лицо, возникающее взамен, и возникающее с редкостной живостью, принадлежит молодому человеку с густыми бровями, редкой бородкой и узким, очень узким ртом, человеку, сидевшему сзади Бакунина на сцене Конгресса мира два года назад. Лицо покрыто посиневшими на холоде фурункулезными шрамами. «Прочь!» — говорит он, норовя отогнать видение. Но оно не уходит. «Павел!» — шепчет он, тщетно взывая к сыну.

АННА СЕРГЕЕВНА

Прежде он в этой лавке не бывал. Она меньше, чем ему представлялось, темная, низкая, наполовину ушедшая в землю. Когда он открывает дверь, звякает колокольчик. Глаза не сразу привыкают к сумраку.

Кроме него покупателей здесь нет. За прилавком стоит старик в грязноватом белом переднике. Делает вид, будто пересчитывает товар — открытые мешки с гречневой крупой, мукой, фасолью, овсом. Он подходит к прилавку.

— Будьте любезны, сахару, — говорит он.

— Э? — переспрашивает старик и откашливается. Глаза его под очками кажутся крохотными, как пуговики.

— Мне нужен сахар.

Она выходит из-за перекрывающей дверной проем занавески в глубине лавки. Если его появление и удивляет ее, она того не показывает.

— Я займусь покупателем, Абрам Давыдович, — негромко произносит она, и старик уступает ей место.

— Мне нужно немного сахару, — повторяет он.

— Сахару? — на губах ее обозначается легкое подобие улыбки.

— Да, на пять копеек.

Она умело сворачивает бумажный фунтик, зачерпывает совком белый сахар, взвешивает, закрывает кулек. Проворные руки.

— Я прямо из полиции. Пытался получить бумаги Павла.

— И что?

— Оказывается, существуют сложности, которых я не предвидел.

— Вернут. Просто придется подождать. Все требует времени.

Хоть на то и нет никакой причины, он усматривает в ее словах двойной смысл. Если бы за спиной Анны Сергеевны не топтался старик, он перегнулся бы через прилавок и взял ее за руку.

— Так сколько?... — спрашивает он.

— Пять копеек.

Принимая сахар, он позволяет своим пальцам скользнуть по ее.

— Вы озарили светом мой день, — шепчет он так тихо, что, возможно, она его даже не слышит.

Он кланяется ей, кланяется Абраму Давыдовичу.

Воображение его разыгралось, что ли, или он уже видел человека в тулупе и малахае, зеваку, застрявшего на противоположной стороне улицы, наблюдая, как возчики разгружают с телеги кирпич, а теперь повернувшего, как и он, в направлении Свечной?

Еще и сахар. На что ему сахар?

Он пишет записку Аполлону Майкову: «Я в Петербурге, был на могиле. Спасибо, что позаботились обо всем. Спасибо за многолетнее доброе от-

ношение к П. Вечный Ваш должник». Вместо подписи он ставит букву «Д».

Было б не так уж и сложно встретиться с ним под рукой. Но не хочется подводить старого друга. Майков, при всегдашнем его великодушии, все поймет, думает он, я в трауре, а люди в трауре общества избегают.

Извинение достаточно благопристойное, но лживое. Он не в трауре. Он не сказал сыну прощальных слов, не отказался от него. Напротив, он хочет вернуть сына к жизни.

Письмо к жене: «Он все еще здесь, у себя в комнате. Он напуган. Право остаться в этом мире он утратил, а мир иной холоден, так холоден, как пространство меж звездами, и неприветлив». Дописав письмо до конца, он рвет его. Письмо нелепо; к тому же оно предает то небольшое, что еще уцелело между ним и сыном,

Сын остается в нем, внутри его, мертвый младенец в железном коробе, зарытом в мерзлую землю. Воскрешать младенцев он не умеет, да ему — что, впрочем, сводится к тому же — все равно не достало б для этого воли. Он парализован. Даже бредя по улице, он думает о себе как о парализованном. Каждое движение рук его замедленно, точно у иззябшего человека. Он утратил волю, или, вернее, воля его обратилась в монолитную массу, в камень, который всем своим мертвым весом тянет его в безмолвие и неподвижность.

Он знает, что такое горе. Это не горе. Это смерть, смерть, пришедшая раньше срока — не оглушить и пожрать его, но просто побыть подле него. Точно собака, поселившаяся с ним рядом, большая серая собака, слепая, глухая, глупая, неповоротливая.

Когда он спит, спит и собака; когда он просыпается, и она просыпается; когда он выходит из дому, собака плетется за ним.

Мысли его с вялым упорством возвращаются к Анне Сергеевне. Он думает о ней, о ее проворных пальцах, перебирающих монеты. Монеты, стежки — что они символизируют?

Он вспоминает молодую крестьянку, виденную когда-то у ворот монастыря Св. Анны в Твери. Она сидела, прижимая к груди мертвое дитя, не обращая внимания на людей, норовивших отнять у ней трупик, и улыбалась редкостной красоты улыбкой — улыбкой святой Анны, в сущности говоря.

Воспоминания как струйки бесплотного дыма. Камышовый плетень посреди неведомой местности, серый, колкий, и бесплотная фигурка, проскальзывающая между камышин, плоская, лишенная веса фигурка мальчика в белом. Деревушка в степи: ручей, два-три дерева, корова с колокольцем на шее и дым, улетающий в небо. Край света. Мальчик снует меж камышин вперед-назад — застрявшая метаморфоза, гость из чистилища.

Видения приходят, уходят, быстрые, недолговечные. Он уже не владеет собой. Размеренным движением он сдвигает перо и бумагу на дальний край стола и опускает голову на руки. Терять сознание, думает он, так уж на посту.

Еще видение. Человек у источника подносит ковшик к губам — путник в самом начале пути; в глазах над ободом ковшика уже читается отрешенность, они уже не здесь. Прикосновенье руки к руке. Ласковое. «Прощай, старый друг!» Уходит.

В чем смысл этой тяжелой погони в пустых просторах за призраком молвы, за молвою о призраке?

В том, что я — это он. В том, что он — это я. Вот что я хочу ухватить — миг перед исчезновением, миг, когда кровь еще струится по жилам, когда еще бьется сердце. Сердце — старательный вол, вращающий мельничные жернова, он даже не поднимает удивленного взгляда, когда над ним взлетает топор, но принимает удар, падает на колени и выпускает дух. Не забытье — миг перед забытием, миг, когда я, задыхаясь, прибежал к источнику и мы в последний раз взглянули друг другу в лицо, сознавая, что живы, что жизнь у нас общая и только одна. Вот и все, что я успел ухватить: мгновенный взгляд, приветственный и прощальный, вне доводов, вне оправданий: «Здравствуй, старый друг. Прощай, старый друг». Сухие глаза. Слезы, обратившиеся в хрустали.

Я держал в руках твою голову. Целовал тебя в губы, в лоб.

Правило: один взгляд, только один, и никогда не оглядываться. А я все оглядываюсь.

Ты стоишь у колодца, ветер играет в твоих волосах, очищение не души, но тела, восходящего к первой своей, второй, третьей, четвертой, пятой сущности, глядящего на меня хрустальными глазами, улыбающегося золотыми губами.

Я вечно оглядываюсь. Навек пойманный твоим пристальным взглядом. Целое поле хрусталистых точек, мерцающих, пляшущих, — я одна из них. Звезды в небе, и с ними перекликаются огни на равнине. Два мира, посылающих один другому сигналы.

Он засыпает за столом и спит до вечера. Матрена стучает перед ужином в дверь, но он не просыпается. Ужинают без него.

Много позже, когда девочка уже спит, он выходит из своей комнаты одетым для улицы. Анна Сергеевна, сидящая спиной к нему, оборачивается.

— Уходите? — спрашивает она. — Не выпьете ли чаю перед уходом?

Некая нервность ощущается в ней. Но рука, подающая чашку, тверда.

Она не приглашает его присесть. Стоя перед нею, он молча пьет чай.

Он ставит пустую чашку, опускает руку ей на плечо.

— Нет, — говорит она, покачав головой и отводя его руку. — Это не в моих правилах.

Зачесанные назад волосы ее удерживает массивная финифтевая заколка. Он расстегивает заколку, кладет на стол. Она уже не противится, но встряхивает головой, давая волосам волю.

— Все еще будет, обещаю вам, — говорит он.

Он сознает, что немолод, что в голосе его не осталось и следа чувственной силы, на которую отзывались некогда женщины. Ее сменило нечто, чему он не хочет подыскивать названия. Надтреснутый инструмент, голос, сломавшийся вторично.

— Все, — повторяет он.

Она вглядывается в его лицо со вниманием и серьезностью, ошибиться в значении которых ему невозможно. Затем откладывает питье. Выскользнув из его рук, скрывается в занавешенной нише.

Он ждет, томясь неуверенностью. Ничего не происходит. Шагнув за нею, он раздвигает занавеску.

Матрена спит крепким сном, губы ее приоткрыты, светлые волосы нимбом лежат на подушке. Анна Сергеевна в наполовину расстегнутом платье. Взмахом руки и сердитым взглядом, не лишенным, однако же, удовольствия, она отсылает его.

Он присаживается, ждет. Она выходит в ночной рубашке, босая. Чуть синеют вены на ступнях. Немолода; не сдающаяся невинность. Но руки ее, когда он берет их в свои, холодны и дрожат. Она не хочет встречаться с ним взглядом.

— Федор Михайлович, — шепчет она, — знайте, это со мной впервые.

Серебряная цепочка на шее. Он перебирает пальцами звенья, пока не нащупывает крестик. Подносит крестик к ее губам, она, не колеблясь, пылко целует его. Когда же он пытается ее поцеловать, она отворачивает лицо.

— Не сейчас, — шепчет она.

Ночь они проводят в комнате сына. То, что происходит меж ними, происходит от начала и до конца в темноте. Пуще всего поражает его жар ее тела. Вот уж чего он никак не ждал. Словно огонь горит в сокровенной ее сердцевине. Этот огонь обостряет в нем чувственность, обостряет ее и то, что лихорадочные, рискованные труды их совершаются в такой близости от спящей в смежной комнате девочки.

Он засыпает. Где-то посреди ночи он пробуждается рядом с нею, не покинувшей его узкой кровати. Хоть и опустошенный, он принимается снова ласкать ее. Она не отзывается и, когда он наваливается на нее, словно мертвеет в его объятиях.

В происходящем затем нет ничего, что он мог бы назвать наслаждением или хотя бы чувством.

Кажется, будто в минуты близости их разделяет саван — серый, ветхий саван его горя. И в миг наивысшего напряжения он снова впадает в сон, точно падает в озеро. Он тонет, а из глубины навстречу ему поднимается Павел. Лицо сына искажает отчаяние: легкие его разрываются, он знает, что умрет, что нет для него надежды, он призывает отца, потому что больше ему ничего не осталось, потому что это последняя связь его с миром. Зов Павла изливается потоком придушенных слов. Это видение, в уродливой его непреклонности, налетает на него из водоворота тьмы, в который он падает внутри женского тела. Видение рушится на него, овладевает им и исчезает.

Просыпается он уже засветло. В квартире пусто.

День проходит в горячке нетерпения. Вспоминая о ней, он, точно юноша, содрогается от желания. Но не стискивающая горло *douceur*¹ двадцатилетней давности обуревает его. Скорее, он чувствует себя листом или семенем, захваченным безудержной силой, крылатым семенем, вознесенным в горние выси и головокружительно влекомым над океаном.

За ужином Анна Сергеевна остается сдержанной и далекой, внимание ее приковано к девочке, она вся погружена в беспорядочный рассказ дочери о дне, проведенном в школе. Когда ей приходится обращаться к нему, она учтивая, но холодная. Эта холодность лишь разжигает его. И навряд ли алчные взгляды, которые он украдкой бросает на шею, губы, руки матери, минуют девочку, не задевая ее.

¹ Нежность (*фр.*). — Здесь и далее примеч. пер.

Он ожидает, когда все стихнет, то есть когда Матрена уляжется спать. Но в девять часов свет в соседней комнате гаснет. Он ждет полчаса, потом еще полчаса. Потом, прикрывая ладонью свечу, в одних носках выскальзывает из своей комнаты. Огромные тени пляшут по стенам. Поставив свечу на пол, он подкрадывается к нише.

В тусклом свете он различает на дальнем краю постели Анну Сергеевну, лежащую спиной к нему, руки ее грациозно, как у танцовщицы, закинута за голову, темные волосы распущены. На ближнем краю лежит, с большим пальцем во рту, Матрена, другою рукой привольно обнявшая мать. Поначалу ему представляется, что она бодрствует, следя за ним, охраняя мать; но, склонившись над нею, он слышит глубокое, ровное дыхание.

Он шепчет: «Анна!»

Она не шевелится.

Стараясь успокоиться, он возвращается в комнату сына.

Мало ли может быть веских причин, говорит он себе, по которым она предпочла провести эту ночь без него. Но никакие доводы не помогают.

Он вновь пересекает на цыпочках комнату. Мать с дочерью лежат в прежних позах. И вновь его охватывает жуткое чувство, что Матрена наблюдает за ним. Он наклоняется ниже.

Да, так и есть: он смотрит в открытые, немигающие глаза. Спит с открытыми глазами, говорит он себе. Но это неправда. Она не спит, да и не спала; держа во рту палец, она с неослабной бдительностью следила за каждым его движением. Он вглядывается затаив дыхание, и кажется, что

уголки ее рта приподымаются в победной улыбке, улыбке летучей мыши. Да и рука девочки, привольно прокинутая по материнскому телу, напоминает крыло.

Они проводят вместе еще одну ночь, после которой врата затворяются. Она появляется у него в поздний час, не предупредив. И снова он проникает через нее в полную тьму, в воды, где между тел других утопленников колыхнется и тело его сына. «Не бойся, — хочет шепнуть он, — я буду рядом, я разделю с тобой эту горечь».

Он приходит в себя лежащим на ней, с губами, прижатыми к ее уху.

— Знаешь, где я побывал? — шепчет он.

Она высвобождается из-под него.

— Знаешь, куда ты меня отвела?

Ему не терпится показать ей мальчика, показать в расцвете сил, с блестящими глазами, чистым очерком подбородка, красивым ртом. Хочется вновь облачить его в белую пару, хочется снова услышать ясный, глубокий грудной голос. «Смотри, какого сокровища лишился мир! — хочется крикнуть ему. — Смотри, что мы потеряли!»

Она поворачивается к нему спиной, проводит рукой по длинному бедру вверх-вниз.

— Мне пора, — говорит она, прерывая мысли его, и встает.

Следующей ночью она не приходит, остается с дочерью. Он пишет к ней письмо и оставляет его на столе. Когда он поднимается поутру, квартира пуста, а письмо, нераспечатанное, так на столе и лежит

Он заходит в лавку. Анна Сергеевна стоит за прилавком, но, едва завидев его, скрывается в задней комнате, оставляя его наедине со стариком Яковлевым.

Вечером он ждет на улице, пока она выйдет, и, словно тать, крадется за нею до самого дома, нагоняя только в дверях.

— Почему вы меня избегаете?

— Я вас не избегаю.

Он придерживает ее за руку. Здесь темно, в руке у нее корзинка, вырваться она не может. Он прижимается к ней, вдыхая каштановый запах ее волос. Пытается поцеловать, но она уклоняется, и губы его лишь проезжаются по ее уху. В нажиме ее тела не слышится никакого отклика. Немилость, думает он, вот это и значит впасть в немилость. Он отступает, но на лестнице снова удерживает ее.

— Одно только слово, — говорит он, — почему? Она оборачивается:

— Разве это не ясно? Зачем все выговаривать вслух?

— Что ясно? Ничего не ясно.

— Вы страдали. Вы умоляли меня.

Он отшатывается.

— Неправда!

— Правда. Тут ничего стыдного нет. Ну и конечно. И вам от этого добра не будет, да и мне, оттого что мною пользуются, точно вещью, тоже.

— Пользуются? Я не пользовался вами! И в мыслях даже не имел!

— Пользовались, чтобы дотянуться до кого-то другого. Не расстраивайтесь. Я ведь не обвиняю вас, просто объясняю. Я не хочу увязать в этой

истории. У вас есть жена. Потерпите до времени, когда снова будете с нею.

«Жена». При чем тут жена? «Жена моя слишком молода! — вот что он хочет сказать. — Слишком молода для меня, такого, каким я стал!» Но разве может он выговорить эти слова?

Да, сказанное ею правда, и даже большая, чем она думает. Когда он вернется в Дрезден, жена, которую он обнимет, будет уже иной, в ней проступят черты, черточки, перенятые ею от этой странной, чувственно одаренной вдовы, черточки, которые сам же он с собою и принесет. И жена станет его посредником, средством дотянуться до этой женщины точно так, как через нее он дотягивается... до кого?

Возможно, лицо его выдает эти мысли. На щеках Анны Сергеевны внезапно разгорается сердитый румянец, она стряхивает с рукава его руку и уходит по лестнице, оставив его позади.

Он поднимается следом, закрывается в своей комнате, пытается прийти в себя. Сердце бьется уже не так сильно. «Павел!» — снова и снова шепчет он, пользуясь именем как заклинанием. Но вместо Павла ему неизменно является иной человек — Сергей Нечаев.

Что толку отрицать — между ним и мертвым юношей разверзлась пропасть. Он гневается на Павла, гневается за измену. Мало удивительного в том, что Павла потянуло к радикальным кругам и что в письмах своих он ни словом о том не обмолвился. Но Нечаев — дело иное. Нечаев не пылкий студент, не молодой нигилист. Это монгол, засевший в русской душе после того, как величайший из всех нигилистов сгинул в пустынях Азии.

И Павел, подумать только, Павел — рядовой солдат его армии!

Ему вспоминается «Катехизис революционера», прокламация, ходившая по Женеве как бакунинская, но и пафосом своим, и слогом выдававшая авторство Нечаева. «Революционер — человек обреченный, — так начиналась она. — У него нет ни своих интересов, ни дел, ни чувств, ни привязанностей, ни собственности, ни даже имени. Все в нем поглощено мыслью, единою страстью — революцией. Он в глубине своего существа разорвал всякую связь с гражданским порядком, со всеми законами, нравственностью этого мира. И если он продолжает жить в нем, то для того только, чтоб его вернее разрушить». И дальше: «Он не должен ждать для себя никакой пощады. Он каждый день должен быть готов к смерти».

Он каждый день должен быть готов к смерти, не должен ждать для себя пощады: легко сказать, но способны ли дети вполне постичь значение этих слов? Во всяком случае, не Павел, да верно, и не Нечаев, человек молодой, никого не любящий и любовь внушить не способный.

На память приходит Нечаев, каким он его видел, — одиноко стоящий в углу женевской обеденной залы, злобно поглядывая по сторонам, жадно набивая рот какой-то едой. Он встряхивает головой, пытаясь отогнать видение. «Павел, Павел!» — шепчет он, призывая другое, так и не приходящее.

Стук в дверь, голос Матрены: «Время ужинать!»

За столом он старается выдерживать любезный тон. Завтра воскресенье, он предлагает отправиться на Петровский, где после полудня будет гулянье с оркестром. Матрена с восторгом

соглашается; к его удивлению, соглашается и Анна Сергеевна.

Они договариваются встретиться после службы. Поутру, выходя на улицу, он спотыкается обо что-то в темном подъезде, — о бродягу, спящего здесь, завернувшись в пахнущее плесенью старое одеяло. Он чертыхается, бродяга, захныкав, садится.

В храм Св. Григория он приходит еще до окончания службы. Пока он ожидает на паперти, появляется все тот же бродяга, мутноглазый, смрадный. Он заговаривает с ним.

— Вы следите за мною? — гневно вопрошает он.

Их разделяет три-четыре вершка, но бродяга делает вид, что не слышит его и не видит. Выходящие из храма люди удивленно поглядывают на странную пару.

Бродяга убредает, бочком-бочком. Проковыляв с половину квартала, он останавливается, прислоняется к стене, нарочито зевает. Рукавиц у него нет, он использует вместо муфты свернутое в ком одеяло.

Выходят Анна Сергеевна с дочерью. Путь до парка неблизкий — по Вознесенскому, потом через стрелку Васильевского острова. Они еще не доходят до парка, как он вдруг осознает, что ошибся, глупо ошибся.

Оркестровая эстрада пуста, на лугу вокруг пруда, на котором зимой разбивают каток, никого, только чайки.

Он извиняется перед Анной Сергеевной.

— Времени много, — весело отвечает она, — еще и полдень не наступил. Давайте просто погуляем.

Ее благодушие кажется ему удивительным, еще пуще удивляется он, когда Анна Сергеевна берет его под руку. С Матреной по другую сторону от нее они неторопливо пересекают луг. Семейство, думает он, недостает лишь четвертого, чтобы получилось настоящее семейство. Словно проникнув в его мысли, Анна Сергеевна сжимает ему руку.

Они проходят мимо стада согнанных в камыши овец. Матрена с пучком травы в руке приближается к овцам, те, заблеяв, разбегаются в стороны. Из зарослей вылезает мальчишка с пастушьим посохом в руке и грозно смотрит на нее. На миг кажется, что между ними вот-вот разразится перебранка, но мальчик сдерживается, и Матрена возвращается к ним.

Прогулка разрумянила ее щеки. Еще станет красавицей, думает он, и будет разбивать сердца.

Что бы подумала жена, если б увидела их? За прежними его опрометчивыми увлечениями неизменно следовало раскаянье, а по пятам за раскаяньем — сладострастная тяга исповедаться ей. Исповеди эти, мучительные по выражению, но лишенные точности деталей, приводили жену в смятение и гневили, запутывая их отношения в куда большей мере, чем сама его неверность.

В нынешнем же случае он никакой вины за собою не видит. Напротив, его не покидает необоримое чувство своей правоты. Интересно бы знать, что за ним кроется, — впрочем, нет, на самом-то деле знать этого он не хочет. Сейчас его сердце наполнено чем-то похожим на радость. «Прости меня, Павел», — шепчет он про себя. Однако и этот его шепот неискренен.

Если бы можно было начать жить сызнова, думает он, если бы я снова стал молодым! И может быть, даже так: если бы жизнь была у меня в руках, жизнь, молодость, которую Павел растратил впустую!

А что же женщина, идущая рядом с ним? Сожалеет ли она о порыве, толкнувшем ее к нему? Когда бы этого не случилось, сегодняшняя прогулка могла бы стать началом настоящего ухаживания. Потому что женщина ведь этого именно и желает — ухаживаний, уговоров, домогательств, победы над нею! И даже отдаваясь, она норовит отдалиться не с честною прямою, но не покидая упоительного тумана нерешительности, сопротивления и уступок. Пасть, но никогда не пасть окончательно. Нет, не так: пасть и затем восстать обновленной, пересотворенной, невинной, готовой к новым посягательствам и новым падениям. Игра со смертью, игра в воскрешение.

Как поступила бы Анна Сергеевна, узнав, о чем он думает? Отшатнулась бы в гневе? И это тоже было бы частью игры?

Украдкой он взглядывает на нее, и в этот миг его посещает мысль: «Я мог бы полюбить эту женщину». Острее, нежели телесное влечение, он ощущает нечто такое, что может назвать лишь родством с нею. Они люди одной породы, одного поколения. Внезапно все встает по местам: Павел, Матрена и жена его, Аня, по одну сторону, он с Анной Сергеевной — по другую. Дети против тех, кто уже не дети, тех, кто способен почуять в любовных корчах начальный привкус смерти. Вот откуда порыв той ночи, откуда этот жар. В его руках она точно Жанна д'Арк, объятая пламенем: дух вырывается из пут

своих, между тем как сгорает тело. Битва со временем. Ребенку этого никогда не понять.

— Павел говорил, вы жили в Сибири.

Произнесенные ею слова обрывают его мечтания.

— Да, десять лет. Там я и встретился с матерью Павла. В Семипалатинске. Муж ее служил по таможенной части, он умер, когда Павлуше шел восьмой год. Она тоже умерла несколько лет назад — Павел вам, верно, рассказывал.

— А вы женились опять.

— Да. Что рассказал вам Павел об этом?

— Только то, что жена у вас молодая.

— Она примерно одних с Павлом лет. Некоторое время мы жили все вместе, втроем, в квартирке на Мещанской. Для Павла то была пора не самая счастливая. Он как-то все соперничал с женой. Собственно, когда я сообщил ему, что мы помолвлены, он отправился к ней и самым серьезным образом уведомил ее, что я для нее староват. После он повадился называть себя сиротой. «Сирота съел бы еще кусочек хлеба», «У сироты нет денег» и тому подобное. Мы притворялись, что это шутка, но уж какая там шутка. В общем, в доме стало неспокойно.

— Могу себе представить. Впрочем, и ему ведь можно посочувствовать. Ему, наверное, казалось, что он вас теряет.

— Как бы он мог меня потерять? С того дня, как я стал отцом ему, я ни разу его не подвел. Разве вот сейчас подвожу?

— Конечно же нет, Федор Михайлович. Но ведь дети — великие собственники. И ревность их одолевает временами, как любого из нас. А ревнуя,

мы против собственной воли принимаемся выдумывать всякого рода истории. Норовим нарочно разбередить наши чувства, посильнее себя напугать.

Слова ее схожи с призмой: взглянешь чуть под другим углом — и в них отразится совсем иное значение. Или она к этому и стремится?

Он оглядывается на Матрену. На девочке новые, отороченные овчиной ботики. Ступая по мокрой траве, она оставляет прорезные следы. Лоб ее напряженно наморщен.

— Павел рассказывал, что вы посылали его с записками.

Он ощущает укол боли. Так Павел помнил об этом!

— Да, правда. За год до нашей свадьбы, в день ее именин, я попросил его отнести от меня подарок. Я совершил ошибку, о которой очень потом сожалел. Непростительно. Я не подумал. Это было самое худшее?

— Худшее?

— Рассказывал ли Павел о чем-то похуже? Мне нужно знать, чтобы, когда я стану молить о прощении, я понимал, в чем повинен.

Она отвечает ему странным взглядом.

— Это не очень честный вопрос, Федор Михайлович. Павла охватывало по временам чувство одиночества. И тогда он рассказывал что-нибудь, а я слушала. Он поведал мне немало историй, порою не очень приятных. Но, может быть, это и к лучшему. Может быть, вытаскивая прошлое на свет божий, он переставал мучиться мыслями о нем.

— Матрена! — он поворачивается к девочке. — А тебе Павел ничего...

Но Анна Сергеевна обрывает его.

— Разумеется, ничего, — произносит она и сразу же говорит ему негромко, но гневно: — Можно ли задавать ребенку такие вопросы!

Они застывают лицом к лицу посредине голого луга. Матрена хмуро смотрит в сторону, губы ее плотно сжаты. Глаза Анны Сергеевны недобро сверкают.

— Холодает, — говорит она. — Не повернуть ли назад?

МАТРЕНА

Он не провожает их до дому, а отправляется ужинать в трактир. В задней комнате идет игра в карты. Некоторое время он наблюдает за ней, выпивает, но сам играть не садится. Стоит уже поздний час, когда он возвращается в темную квартиру, в пустую комнату.

Один, одинокий, он позволяет себе потосковать немного, что отчасти даже приятно, по Дрездену, по комфортабельной размеренности тамошнего существования с женой, ревниво оберегающей его покой, прилаживая всю повседневную жизнь семьи к его привычкам.

В шестьдесят третьем номере он не дома и никогда дома не будет. Он самый временный из жильцов этого дома, причины, по которым он мешкает здесь, так же темны для других, как для него, да и жизнь в такой близости от этой женщины с ее переменчивыми настроениями и ребенка, у которого имеются все основания проникнуться к нему отвращением, не слишком легка. В присутствии Матрены он сознает особенно остро, что от одежды его начинает попахивать, что кожа его суха и шелушится, что его зубные протезы клацают при разговоре. То же и с геморроем его хлопот не обещается. Железный организм, благодаря которому только и уцелел он в Сибири, начинает сда-

вать, и зрелище распада его тем более неприятно привередливой в рассуждении чистоплотности девочке, что в ее глазах он заменяет собою существо, богоподобное по красоте и силе. Хотел бы он знать, что она говорит товарищам по играм, когда те спрашивают ее о похоронного обличья госте, никак не желающем собрать пожитки и съехать с квартиры.

«Вы умоляли меня» — его передергивает при всяком воспоминании о сказанных Анной Сергеевной словах. Быть все это время предметом жалости! Он опускается на колени, опирается лбом о постель, пытаясь сыскать дорогу к Елагину острову, к холодной могиле Павла. Павел хотя бы не обратится против него. На Павла он положиться может, на Павла и на его ледяную любовь.

Отец, выцветшая копия сына. Как мог он ожидать, что женщина, видевшая сына в расцвете дней его, станет с расположением смотреть на отца?

Он вспоминает слова, слышанные когда-то в Сибири от старика каторжанина: «Зачем нам, братцы, старость-то дадена? А затем, чтоб мы умалились, уж до того умалились, что и в игольное ушко смогли бы пролезть». Народная мудрость.

Он стоит и стоит на коленях, но Павел не приходит. Наконец, вздыхая, он забирается в постель.

Он просыпается, охваченный изумленьем и счастьем. Еще темно, но чувствует он себя так, словно выспался на семь ночей вперед. Он свеж, полон сил; самая ткань его мозга кажется дочиста промытой. Он с трудом удерживается от того, чтобы выпрыгнуть из постели. Точно дитя на Пасху, которому не терпится поднять всех домашних и поделиться с ними своей радостью. Ему хочется

разбудить ее, эту женщину, и пуститься с ней в пляс по квартире: «Христос воскрес!» — хочется крикнуть ему и услышать, как она отзовется: «Воистину воскрес!», и стукнет своим яйцом о его. И они танцуют по кругу с крашеными яйцами в руках, и Матреша с ними, в ночной рубашке, сонно спотыкающаяся, счастливая, путающаяся у них под ногами; и тот, четвертый, призрак, тоже заструится меж ними, болышеногий, неловкий, улыбающийся: он снова среди детей, родившийся заново, он выпущен из могилы. И заря разгорится над городом, и закричат по дворам петухи, приветствуя новый день.

Радость, восстающая, как заря! Но только на миг. И не потому, что на новое, светозарное небо вновь наплывают тучи. А просто в ту же минуту, когда поднимается во всем своем блеске солнце, по лику его словно бы начинает скользить иное солнце, темное, его антипод. Слово «предвестие» проплывает в сознании во всей его зловещей тягостности. Солнце встает не само для себя, но лишь для того, чтобы затмиться; радость просияла лишь для того, чтобы он знал, как будет выглядеть гибель ее.

Одним торопливым движением он покидает постель. Ближайшие считанные минуты лежат перед ним темным коридором, по которому он должен успеть пробежать. Нужно поспеть одеться и покинуть квартиру, пока его не настиг позор припадка; нужно найти место подальше от глаз людских, место, в котором порядочные люди его не услышат, в котором он сможет сам справиться с приступом. Он выбирается в крошечную тьму коридора. Вытянув руки, точно слепой, он ощупью выходит на лестницу и, держась за перила, начинает спускаться, ша-

жок за шажком. На площадке второго этажа его накрывает волна жуты, беспредметного страха. Он забивается в угол, садится, сжимая руками голову. От рук несет какой-то дрянью, которой он коснулся в темноте, но он их не вытирает. Пусть приходит, в отчаянии думает он, пусть, я сделал все, что мог.

Крик, эхом отдающийся по лестнице, столь громок и страшен, что пробуждает весь дом. Сам же он ничего не слышит, его больше нет, как нет больше времени.

В себя он приходит во тьме столь плотной, что она ощутимо давит ему на глазницы. Он не имеет понятия ни где он, ни кто он. Он — сознание, бессонье, более ничего. Он словно родился минутой назад, в мире неизменяемой тьмы.

Успокойся, твердит сознание, обращаясь к себе, пытаясь умерить свой страх, — ты уже был прежде в этих краях, подожди, что-нибудь к тебе да вернется.

В пространство, заполняющее его изнутри, отвесно рушится тело. Его тело. Воздух свищет в ушах — в его ушах. Ужас сжимает горло — его горло.

Пусть это кончится, думает он, пусть кончится!

Он пробует шевельнуть рукой, но та прижата его телом. Он по-дурацки пытается вытянуть ее из-под себя. Мерзкий запах, одежда мокра. Наконец, словно воду стягивает ледком, в размытой припадком памяти возникают некие затвердения: кто он, где он; и вместе с памятью приходит желание поскорее убратся отсюда, прежде чем кто-нибудь застанет его в этом унижительном положении.

Эти припадки — бремя, которое он влачит по миру. Никогда, никому не открывал он, сколько

времени проводит, вслушиваясь в их предзнаменования, пытаюсь прочесть приметы. За что мне это проклятие? — безмолвно кричит он, ударяя в землю жезлом, требуя ответа у скал. Но он не Моисей, скала не разверзается. Да и сами экстатические приступы ничего не проясняют. Это не посещения некоей силы. Где там, это провалы в пустоту — словно смерч вырывает малый кусок его жизни, не оставляя даже воспоминаний о мраке, в котором он побывал.

Он встает, на ощупь сходит последним маршем лестницы. Его трясет, он ужасно прозяб. Когда он выходит наружу, небо уже светлее. Выпал снег. Трепещущая багровая дымка устилает его белизну. Впрочем, дело вовсе не в снеге, дело в его глазах — глаза дергает такая боль, что он зажимает их холодной ладонью. Голова пульсирует, точно некий кулак стискивает ее изнутри, отпускает и снова стискивает. Шляпу он потерял где-то на лестнице.

С непокрытой головой, в грязной одежде, он добредает по снегу до маленькой церковки Искупителя, стоящей близ Каменного моста, и укрывается в ней до часа, в который Матрена с матерью уходят из дому. Тогда он возвращается в квартиру, греет воду, раздевается донага и моется. Он может и нижнее свое белье тоже и развешивает его в умывальне. Счастье Павла, думает он, что ему не пришлось страдать от припадков этой болезни, счастье, что он родился не от меня! Тут до сознания его доходит ирония, кроющаяся в этих словах, и он стискивает зубы. Голова гудит от боли, красный туман по-прежнему застилает все вокруг. Накинув халат, он ложится в постель и в конце концов проваливается в сон.

Час спустя он просыпается, раздраженный, раздербанный. Кажется, что от глаз врезаются в мозг клинья боли. Кожа точно бумажная, к ней больно притронуться.

В накинутах на голое тело халате он бродит по квартирке Анны Сергеевны, открывая буфеты, заглядывая в ящики. Во всем видны любовь к порядку, опрятность и аккуратность.

В одном из ящиков он находит завернутую в альбый вельветин фотографию молодой Анны Сергеевны с мужчиной, это, видимо, и есть печатник Коленкин. Облаченный в свой лучший воскресный костюм, Коленкин выглядит изможденным, старым, усталым. Как ощущала себя в подобном супружестве эта сильная, сумрачно красивая женщина? И почему фотография засунута в ящик? Кладя ее на место, он нарочно проводит большим пальцем по стеклу, оставляя на лице покойного отпечаток.

Ребенком он шпионил за гостями, бывавшими в доме, любил тайком рыться в их вещах. Слабость, которую доньше он относил к нежеланию мириться с ограничениями касательно того, что ему можно знать, а чего нельзя, касательно чтения запретных книг и, стало быть, к его призванию. Но нынче он к самоснисхождению не склонен. Он поработен злобным духом и сам это сознает. Правда в том, что, роаясь вот так в вещах отсутствующей Анны Сергеевны, он испытывает дрожь сладострастного наслаждения.

Закрыв последний ящик, он в беспокойстве слоняется по комнатам, не зная, чем занять себя дальше.

Он открывает чемодан Павла, надевает белую пару. До сих пор он делал это, словно бы принося

дань мертвому юноше, это был знак вызова и любви. Но ныне, глядя на себя в зеркало, он видит лишь убогий подлюг, а за ним — нечто украдчивое, похабное, нечто такое, чему место за закрытыми дверьми и зашторенными окнами, в комнатах, где мужчины в париках и юбках оголяют зады, чтобы их посекали кнутом.

Уже за полдень, а голова так все и болит. Он ложится, прижимает, словно прикрываясь от удара, руку к глазам. Все кружится, его охватывает чувство падения в бесконечную черноту. Когда он приходит в себя, оказывается, что ему вновь не под силу вспомнить, кто он. Слово «я» он помнит, но при пристальном рассмотрении слово это становится загадочным, как камень среди пустыни.

Это лишь сон, думает он, вот сейчас проснусь, и все опять станет на место. На миг он позволяет себе уверовать в это. Затем ему вдруг открывается ошеломительная правда.

Скрипит дверь, в комнату заглядывает Матрена. Увидев его, она явственно удивляется.

— Вы заболели? — спрашивает она, нахмурясь.

Он даже не пытается ответить.

— Зачем вы этот костюм надеваете?

— Кому же его надевать, как не мне?

Лицо Матрены на миг приобретает сердитое выражение.

— Тебе известна история этой пары? — спрашивает он.

Матрена трясет головой.

Он садится и указывает ей на изножье кровати.

— Подойди, сядь. История длинная, но я тебе ее расскажу. В позапрошлом году, я тогда был за

границей, Павел гостил у своей тетки в Твери. Всего одно лето. Знаешь, где находится Тверь?

— Под Москвой.

— На дороге в Москву. Довольно большой город. В Твери проживал тогда отставной капитан с сестрою, ведшей его хозяйство. Звали ее Марьей Тимофеевной. Она была хромоножка. И с головой у ней не все было в порядке. Женщина достойная, она решительно не умела позаботиться о себе.

Он отмечает про себя, как быстро речь его сбивается на повествовательный лад. Совсем как поршневого двигателя, способный совершать лишь одно движение.

— Капитан, брат Марьи, был, к несчастью, пьяницей. Напившись, он обычно дурно обходился с нею. И ничего после не помнил.

— Что он с ней делал?

— Бил. Только и всего. Почтенное русское занятие. Она на него зла не держала. Возможно, она в простоте своей думала, что это, собственно, и есть мир — место, где тебя бьют.

Внимание ее он завоевал, пора добавить в рассказ напряжения.

— В конце концов, собака или лошадь таким, наверное, и видят наш мир. Почему же Марья должна была видеть его по-другому? Лошадь не понимает, что она рождена для того, чтобы тянуть телегу. Она думает, что она здесь для побоев. А телега кажется ей просто огромной вещью, к которой ее привязывают, чтобы она не могла убежать, когда ее бьют.

— Не... — шепчет она.

Он понимает: душа девочки не приемлет картину мира, которую он ей предлагает. Ей хочется верить в добро. Но вера ее шатка, лишена жизненной силы. Он не испытывает жалости к ней. «Такова Россия!» — хочет сказать он, вбить в нее эти слова, втереть их в ее лицо. Быть в России нежным цветком непозволительно. В России должно быть лопухом, на худой конец — одуванчиком.

— Однажды капитан явился с визитом. Он не состоял у тетушки Павла в близких друзьях, но, однако ж, по временам заходил к ней и сестру с собой приводил. Может быть, когда очень уж запивал. Павла в тот раз в доме не было.

Гость из Москвы, молодой человек, не сознающий, кто перед ним, разговорился с Марьей и стал расспрашивать ее о том, о другом. Возможно, из одной лишь учтивости. А возможно, просто пошалить захотел. Марья взволновалась, воображение ее разыгралось. Она сказала ему, что помолвлена или, как она выразилась, «обещалась». «А жених ваш, он что же, из этих мест?» — поинтересовался гость. «Да, тутошний», — отвечала она, жеманно улыбнувшись тетушке Павла (вообрази себе Марью, долговязую, нескладную, далеко уж не юную и некрасивую).

Тетушка Павла, стремясь соблюсти приличия, притворно поздравила Марью и капитана тоже. Капитан, натурально, разозлился на сестру и, едва они воротились домой, нещадно избил ее.

— Значит, она сказала неправду?

— Да уж какую там правду, это разве в голове ее было правдой. А мужчиной — это все теперь обнаружилось. — который в фантазиях ее хотел жениться на ней, именно и был не кто иной, как Па-

вел. Откуда взялась у нее эта мысль, я не знаю. Быть может, он улыбнулся ей при одной из случайных встреч или о капоре ее с похвалой отзывался — сердце Павел имел доброе, это было одним из лучших его качеств, верно? И она, должно быть, пришла в тот раз домой, мечтая о нем, и вскоре домечталась до того, что она любит его, а он — ее.

Говоря, он искоса посматривает на девочку. Матрена нетерпеливо ерзает и на миг сует большой палец в рот.

— Вообрази, как развлек все тверское общество рассказ о Марье и ее фантастическом поклоннике. Но давай мы с тобой вернемся к Павлу. Услышав этот рассказ, он не задумываясь отправился к портному и заказал красивую белую пару. А когда костюм был готов, сделал визит к Лебядкиным и цветы с собою принес — я думаю, розы. И хоть капитан Лебядкин поначалу принял его недружелюбно, Павел все же сумел склонить его на свою сторону. С Марьей он вел себя очень почтительно, с уважением, как истый джентльмен, хоть ему в ту пору и двадцати еще не было. Визиты его продолжались все лето, пока он не оставил Тверь и не воротился в Петербург. То был урок для всех, урок рыцарства. И для меня это тоже стало уроком. Вот каков был Павел в юности. И вот какова история белой пары.

— А Марья?

— Марья? Марья, сколько я знаю, и поныне живет в Твери.

— Она знает?

— О Павле? Скорее всего, нет.

— Почему он убил себя?

— Ты думаешь, он убил себя?

— Мама так говорит.

— Никто себя не убивает, Матреша. Ты можешь подвергнуть жизнь свою опасности, но убить себя, убить по-настоящему, не можешь. Всего вероятнее, Павел рискнул собою, желая узнать, достаточно ли Бог любит его, чтобы спасти. Он задал Богу вопрос: «Спасешь ли Ты меня?» — и Бог ответил ему. Бог сказал: «Нет». «Умри», — сказал Бог.

— Так выходит, это Бог убил его?

— Бог отказал ему. Бог мог бы сказать: «Да, я спасу тебя». Но предпочел ответить отказом.

— Почему? — шепчет она.

— Он сказал Богу: «Если любишь меня, спаси. Если Ты здесь, спаси». Но услышал в ответ только молчание. Тогда он сказал: «Я знаю, Ты здесь, знаю, Ты слышишь меня. Жизнью моей бьюсь об заклад, что Ты меня спасешь». А Бог так ничего и не сказал. Тогда он сказал Богу: «Сколько б Ты ни молчал, я знаю, Ты меня слышишь. Я поставлю жизнь мою на кон — поставлю сию же минуту!» И поставил. А Бог не явился ему. Бог не вмешался.

— Почему? — снова шепчет она.

Он улыбается в бороду неприятной, кривой улыбкой.

— Как знать? Возможно, Бог не любит, когда Его испытывают. Возможно, принцип, согласно которому испытывать Его не следует, важнее для Него, чем жизнь одного ребенка. А может быть, причина тут в том, что Бог попросту глуховат. Он, верно, теперь уже очень стар, стар как мир, если не старше. Может быть, Он стал туг на ухо и глазами ослаб, как всякий старик.

Девочка побеждена. У нее нет больше вопросов. Он заключает ее в объятия, ощущая ее дрожь. Он гладит ее волосы, виски. В конце концов она дает волю слезам и, припав к нему, прижав кулачки к подбородку, разражается плачем.

— Я не понимаю, — всхлипывает она, — почему он должен был умереть?

Ему хотелось бы сказать: «Он не умер, он здесь; я — это он». Но слова нейдут из него.

Он думает о семени, которое продолжает сколько-то времени жить в испутившем дух теле, не ведая, что истечь ему уже никогда не придется.

— Я знаю, ты любила его, — хрипло шепчет он. — И он это знает. У тебя доброе сердце.

Если бы только можно было вынуть семя из тела, ну хотя бы одно, и дать ему новое пристанище!

Он вспоминает терракотовую статуэтку, виденную в Берлине в этнографическом музее: индийский бог Шива, лежащий навзничь, синий, мертвый, и оседлавшая его фигурка ужасной богини — многорукой, с разинутым ртом, с выпученными глазами, иступленно скачущей на нем, вытягивая из мертвого тела божественное семя.

Ему не составляет труда вообразить эту девочку доведенной до иступления. Воображение его, похоже, не ведает пределов.

Мысли его возвращаются к ребенку, замерзшему, мертвому, лежащему в железном гробу под засыпанной снегом землей, ожидающему зимы, ожидающему весны.

Дальше этого осквернение не заходит: обнятая девочка, пять его пальцев, белых, онемевших, стискивают ей плечо. Впрочем, она могла бы лежать

перед ним нагой, это мало что изменило бы. Он думает о девочках, отдающихся в естественном порыве доброты, из стремления к подчиненности. О девочках-проститутках, которых знал здесь и в Германии, о мужчинах, выискивающих этих девочек потому, что под покрашенными личиками их, под вызывающими нарядами сквозит неоскверненность, подобие девственности, отчего-то этих мужчин оскорбляющее. «Она проститутует Деву», — говорит такой мужчина, узнавая душок невинности в жесте, с которым девочка прикрывает ладонями груди, в движении, которым она раздвигает бедра. В крохотной, пропитанной затхлыми запахами комнатке от нее веет еле слышным, безнадежным дуновением весны и цветения, которого вынести он не может. Скрежеща зубами, он намеренно причиняет ей боль, потом еще и еще, не отрывая взгляда от лица ее в ожидании, когда в нем проступит нечто, отличное от гримасы страдания, — изумленный испуг живой твари, начинающей сознавать, что жизни ее угрожает опасность.

Видение, приступ, усмешка воображения проходят. Приласкав ее напоследок, он отнимает руку и снова превращается в того человека, каким был с нею прежде.

— Вы не хотите устроить алтарь?

— Я пока не думал об этом.

— Можно вон в том углу, где свеча. Поставьте там его портрет. Если хотите, я буду следить, чтобы свеча не гасла, когда вы уходите.

— Если устраивать алтарь, так навсегда, Матреша. А твоя матушка, когда я уеду, верно, захочет сдать эту комнату кому-то еще.

— А когда вы уедете?

— Пока не знаю, — отвечает он, избегая ловушки. И следом: — Траур по умершему дитяти скончания не имеет. Ты это хочешь от меня услышать? Вот, я сказал. Это правда.

То ли оттого, что она замечает, как изменился его тон, то ли слова его задевают девочку за живое, но ее приметно передергивает.

— Если ты вдруг умрешь, твоя матушка будет до конца своих дней скорбеть о тебе. — И, к собственному удивлению, он добавляет: — И я тоже.

И это правда? Нет, покамест нет, но, возможно, станет ею.

— Тогда можно мне зажечь для него свечу?

— Да, можно.

— И следить, чтобы она не гасла?

— Да. Но почему для тебя так важна эта свеча?

Матрена неловко мнется.

— Не хочу, чтобы он был в темноте, — наконец отвечает она.

Странно, но и ему порой видится нечто подобное. Корабль в море, бурная ночь, мальчик падает за борт. Борясь с волнами, как-то ухитряясь держаться на плаву, мальчик в ужасе кричит: набирает воздуху в грудь и кричит, набирает и кричит, взывая к кораблю, который был ему домом и который уже не дом его больше. На корме качается фонарь, к которому прикован взгляд мальчика, — крапинка света в пустыне воды и мрака. Пока я вижу этот свет, говорит он себе, я не погиб.

— Можно, я сейчас и зажгу? — спрашивает девочка.

— Как хочешь. Но портрета мы ставить не будем, пока не будем.

Она зажигает свечу, ставит ее под зеркало. Затем с доверчивостью, берущей его врасплох, снова садится на кровать, прислонясь головою к его плечу. Вдвоем они смотрят на ровное пламя свечи. С улицы внизу долетают крики играющих детей. Пальцы его стискивают плечо девочки, он прижимает ее к себе. Он чувствует, как под рукою его складываются одна за другой мягкие, отроческие косточки, точно птица складывает крыло.

Он засыпает, как засыпает каждую ночь, с намерением отыскать дорогу к Павлу. Однако этой ночью его будит — почти сразу, как кажется, — голос, тонкий до бестелесности, зовущий с улицы внизу. «Исаев!» — вновь и вновь терпеливо вызывает голос.

Ветер свистит в камышах, вот и все, думает он и благодарно проваливается назад в забытие. Лето, ветер в камышах, синее небо, испещренное высокими облаками, и он, насвистывая, шагающий вдоль ручья с тростью в руке, которой он лениво постукивает по камышнякам. Взлетают, шелестя крыльями, ткачики. Он останавливается, замирает, вслушиваясь. Кузнечики тоже вдруг примолкают, всего только и слышно, что звук его дыхания да шелест камыша на ветру. «Исаев!» — зовет его ветер.

Он вздрагивает и просыпается. Глухая ночь, в доме все стихло. Подойдя к окну, вглядываясь в тени и в лунный свет, он ждет повторения зова. Вот наконец. Та же тональность, та же длительность и интонация, что у слова, еще отдающегося в ушах, но это не человеческий зов, а тоскливый собачий вой.

Значит, это не Павел зовет его, а всего только существо, для него чужое, — собака, воющая от тоски по отцу. Что же, пусть собачий отец, кем бы

он ни был, спустится в холод и тьму и примет в объятия свое неуклюжее, смрадное чадо. Пусть теперь он успокаивает свое дитя, пусть убаюкивает его колыбельными песнями.

Снова воет собака. Никаких признаков пустынной равнины в серебристом свету: собака, не волк, собака, не сын его. И, стало быть? И, стало быть, он обязан стряхнуть с себя оцепенение! Поскольку это вовсе не сын его, ему надлежит не возвращаться в постель, а одеться и ответить на зов. Если он ожидает, что сын придет, аки тать в нощи, но прислушивается лишь к воровскому призыву, сына ему никогда не увидеть. Если он ждет, что сын заговорит с ним голосом нежданного, ему никогда не услышать его. До тех пор, пока он ждет лишь того, чего вовсе не ждет, то, чего он не ждет, не объявится. И стало быть — парадокс в парадоксе, тьма, запеленутая во тьму, — ему надлежит отзываться на все нежданное.

Глядя из третьего этажа, полагаешь, будто найти собаку не составит труда. Но, выйдя на улицу, он в замешательстве останавливается. Откуда доносится вой: слева, справа, из какого-то дома на-супротив или из-за домов, а может, и вовсе из внутреннего двора? И который из домов? Да и сами подвывания кажутся теперь короче и ниже, даже тембр их как-то переменялся — они, собственно говоря, почти и не походят на те, что он слышал вначале.

Он тычется вперед и назад, пока не находит между домами узкий проулок, которым пользуются ночные возчики нечистот. В одном из ответвлений этого прохода он наконец натывается на собаку. Собака привязана тонкой цепочкой к водосточ-

ной трубе, цепочка обвила переднюю лапу и выворачивает ее при каждом рывке. При его приближении **собака**, поскуливая, отпрыдывает как можно **дальше**. Она **прижимает уши**, вытягивается на земле, переворачивается на спину. Сука. Он наклоняется, отматывает цепочку. **Собаки** нюхом чуют страх, но даже на таком холоду он слышит зловоение ужаса, одолевающего *эту* собаку. Он почесывает ее за ухом. Не меняя позы, собака робко лижет его руку.

Так, значит, вот чем придется мне заниматься до скончания дней, думает он, — заглядывать в глаза псов и попрошаек?

Собака встает. Хоть он и не любитель собак, от этой он не отстраняется, оставаясь сидеть на корточках, пока ее теплый, мокрый язык облизывает ему лицо, уши, слизывает соль с его бороды.

В последний раз погладив ее, он поднимается. Разглядеть в лунном свете циферблат своих часов ему не удастся. Собака натягивает цепочку, скулит, норовя последовать за ним. Кто же это так приковывает свою собаку на ночь под открытым небом? И все же он не спускает ее с цепи, но поворачивается к ней спиной и уходит, провожаемый безутешным воем.

Почему именно я? — торопливо шагая, думает он. Почему я должен волочь на себе все тяготы мира? Что до Павла, то если он ныне лишился всего, так пусть хоть смерть его останется с ним, а не будет отобрана у него и обращена отцом его в орудие собственного обновления.

Нет, не так. Подобные доводы — лицемерные, жалкие — не прельщают его и на миг. Смерть Павла не Павлу принадлежит — это всего лишь

словесный выверт. Покуда он здесь, смерть Павла — его смерть. Куда бы он ни пошел, он понесет Павла с собой, точно посиневшего от стужи малютку. («Кто малютку обогреет?» — едва ли не слышит он невесть откуда взявшиеся незатейливые слова, произнесенные прямо в его голове по-крестьянски напевным голосом.)

Павел не заговорит с ним, не подскажет, что делать. «Возьми одного из малых сих и опекай его» — если б он знал, что это сказано Павлом, он подчинился бы беспрекословно. Но это не им сказано. «Один из малых сих» — кто это? Брошенная на холоде собака? Кого он должен освободить и взять к себе, и кормить, и опекать — собаку или ютящегося под мостом грязного, пьяного нищего в изодранном платье? Чувство страшной безысходности овладевает им, и хоть оно как-то связано — неведомо как — с тем, что он не имеет понятия, который теперь час, коренной основой этого чувства является становящаяся все более определенной уверенность, что никогда больше не выйдет он ночью на собачий призыв, что возможность оставить себя такого, какой он есть, позади и стать тем, кем он мог бы стать, для него миновала. Я это я, безнадежно думает он, я прикован к себе пожизненно. И что бы там ни вспрынуло, устремляясь ко мне, я оказался того недостойн, и вот оно у меня отнято.

И все-таки, даже закрывая за собою дверь, он сознает, что у него еще есть возможность вернуться в проулок, отвязать собаку, и привести ее в подъезд шестьдесят третьего номера, и сделать ей лежанку под лестницей, хоть, впрочем, он знает и то, что, если он приведет собаку сюда, она захочет следовать за ним и дальше, а если он снова привяжет

ее, то лай и скулеж перебудят весь дом. «Это не сын мой, всего лишь собака, — твердит он себе, — что мне до нее?» Но и на это он знает ответ: Павел не будет спасен, пока он не отвяжет собаку и не приведет ее в свою постель, пока не уложит в нее одного из «малых сих» — нищего, да и нищенку в придачу и многих иных, ему в эту минуту неизвестных, — хоть и тогда полной уверенности он не получит.

Он издает громкий стон, стон отчаяния. «Что же мне делать?» — спрашивает он. Если бы только я мог заглянуть в свою душу, возможно, мне было бы дано узнать ответ? Но он не с душой своей утратил всякую связь, а с истиной. Или — изнанка той же мысли — связь утрачена вовсе не с истиной, напротив, истина изливается на него водопадом, безудержно и будет изливаться, пока он в ней не утонет. А следом он думает (выворачивая мысль наизнанку, выворачивая уже вывернутую: вот на какие иезуитские фокусы приходится ныне полагаться, чтобы хоть что-то додумать до конца): захлебнуться под водопадом, быть может, мне это и требуется? Все больше воды, все выше разлив, все большая глубина.

Стоя посередине покрытой снегом улицы, он подносит к лицу холодные, пахнущие собакой ладони, прикасается к холодным слезам на щеках, пробует их на вкус. Соль, а вот кому соли? Очень ему сдается, что никакой собаки он не спасет, ни в эту ночь, ни в следующую, если следующая когда-нибудь наступит. Он ожидает знамения и готов побиться об заклад (выражения поблагороднее, к которому он решился бы прибегнуть, не существует), что собака таковым не является, никакое она не знамение, просто собака, одна из многих воющих

ночами собак. Впрочем, сознает он и то, что, пока он будет вилять и лукавить, пытаясь провести различие между вещами, каковыя суть просто вещи, и теми, в которых таятся знаменья, спасения ему не видать. Что в самой его логике и кроется причина его поражения, что, ощущая ее железную твердость, он забредает в тупик, будто та же собака, ломающая зубы о цепь, на которой сидит. Остерегись, однако, остерегись, говорит он себе, собака на цепи, потом вторая собака — ничего они сами собою не обозначают, нет в них никаких прозрений, одно лишь животное сходство.

Стиснув в карманах кулаки, склонив голову, он стоит посреди улицы на одеревеневших ногах, ощущая, как обращается в лед собачья слюна на его бороде.

Возможно ли, что в эту минуту кто-то прячется в темном подъезде шестьдесят третьего номера, наблюдая за ним? Различить соглядатая ему не по силам, да и пятно посветлее, принимаемое им за лицо, может быть всего лишь пятном на стене. Однако чем дольше он всматривается, тем с пущей, кажется, пристальностью всматривается в него это лицо. Взаправду лицо. В его воображении и так уж не протолкнешься от бородатых мужчин со сверкающими глазами, таящихся по темным проходам. И все-таки, когда он вступает в непроглядный мрак лестницы, ощущение чужого присутствия становится столь отчетливым, что дрожь пробегает по спине его. Он замирает на месте, задерживает дыхание, вслушивается. Потом зажигает спичку.

В углу скрючился, перемигивая свет, человек. И хоть голова и рот его обмотаны нынче шерстя-

ным шарфом, а плечи покрывает одеяло, он узнает нищего, с которым давеча говорил на паперти.

— Кто вы? — надтреснутым голосом спрашивает он. — Почему не оставляете меня в покое? Спичка гаснет. Он зажигает другую.

Мужчина неуступчиво качает головой. Рука выползает из-под одеяла, оттягивает шарф ото рта.

— Не вам мне приказывать, — говорит он. Воздух наполняется смрадом гниющей рыбы.

Гаснет и эта спичка. Он начинает подниматься по лестнице. Однако в голову назойливо лезет парадокс: «Жди того, кого не ждешь». Превосходно; но следует ли ему теперь обходиться со всяким нищим как с блудным сыном — прижимать к груди, вводить в дом, устраивать пир? Да, именно так и сказал бы Паскаль: ставь на все, на каждого нищего, на каждого шелудивого пса, только так ты будешь уверен, что Единый, истинный сын, тать в ночи, не ускользнет из сети твоей. А Ирод поддакнул бы для верности: вырезать всех детей без изъятия.

Ставить на все номера — разве это игра? Без риска, без подчинения голосу, доносящемуся откуда-то сквозь стук падающих костей, что божественного останется в ней? Разумеется, Богу это известно. Он не оставит милостию Своей прирожденного игрока! И, разумеется, в жене, когда муж ее опускается перед ней на колени и кается в проигрыше последнего их рубля, и бьет себя в грудь, и лобзает подол ее платья, в жене, которая поднимает его, и утирает ему слезы, и, не говоря ни слова, выходит, чтобы заложить обручальное кольцо свое, и возвращается с деньгами («Вот!»), дабы муж мог вернуться в игорный дом и сделать последнюю ставку, которая все искупит;

разумеется, в этой женщине присутствует божественное начало, в женщине, ставящей на мужчину, у которого ничего не осталось, в женщине, которая, даже когда проиграно и заложенное ею кольцо, снова выходит в ночь и возвращается с деньгами для новой ставки!

А та женщина наверху, женщина, чье даже имя он, сдается, на минуту забыл, которую он даже путает временами с Gnädige Frau¹, их дрезденской квартирной хозяйкой, — в ней тоже присутствует это начало? Он ничего не знает о ней, кроме важнейшей, самой сокровенной из тайн — того, как она отдается. В состоянии ли мужчина понять по тому, как отдалась ему женщина, как отдастся она богу случая? Есть ли в ней этот порыв, порыв, которому все равно, куда он ведет — к наслаждению или к боли, — который пользуется чувственным телом лишь потому, что не можем же мы жить бестелесно? Готова ли она к близости, при которой тела втискиваются друг в друга, в конце концов продираясь во тьму, где ничего уже невозможно расслышать, кроме хлопанья простыней, схожего с хлопаньем крыл?

Воспоминания о проведенных с нею ночах наплывают в такой неожиданной полноте, что все перепутавшееся в нем распрямляется, указуя, точно стрелой, на нее. Вожделение во всей его роскоши сотрясает его. Она, думает он, она единственная, кого я желаю. А потому...

А потому он, улыбнувшись себе самому, поспешно сходит по лестнице и ощутью пробирается в угол, в котором свил себе гнездышко бродяга, наемный доглядчик, шпион.

¹ Достопочтенная фрау (нем.).

— Идемте, — говорит он в темноту, — у меня найдется для вас постель.

— Я на посту, а поста покидать не положено-с, — с насмешливым вызовом отвечает бродяга.

Однако теперешнее его настроение трудно испортить.

— Тот, кого вы поджидаете, придет и на третий этаж, уверяю вас. Постучится в дверь, и будет терпеливо ждать, и ни за что не уйдет.

Долгое время слышится какая-то возня, шуршанье бумаги.

— А свету у вас больше нет? — спрашивает бродяга.

Он зажигает еще одну спичку. Бродяга торопливо упихивает свое имущество в мешок и встает.

Спотыкаясь во тьме, будто двое пьянчужек, они взбираются по лестнице. У двери своей комнаты он шепчет бродяге, чтобы тот не шумел, и берет его за руку. Рука неприятно пухлая.

Оказавшись в комнате, он зажигает лампу. Сказать о возрасте незнакомца что-либо определенное трудно. Глаза у него молодые, но в редких рыжеватых волосах и веснушках на черепе чудится что-то усталое, пожившее, да и в манере держать себя присутствует изношенность, порожденная унижениями и годами.

— Иванов, Петр Александрович, — представляется бродяга, прищелкивая каблуками и отводя легкий поклон. — Чиновник в отставке.

Он указывает на кровать.

— Ложитесь.

— Вы небось гадаете, — говорит бродяга, пробуя рукой кровать, — как это человек моего звания

попал в шныри (мы это так промеж себя называем — шныри)?

Иванов ложится, вытягивается.

Неприятное предчувствие посещает его: похоже, он связался с одним из тех нищих, которые, не умея жонглировать или играть на скрипке, полагают себя обязанными отплатить за милостыню рассказом о своей жизни.

— Говорите, пожалуйста, потише, — просит он. — И разуйтесь.

— Вы ведь тот самый господин, у кого сына убили, не правда ли? Примите глубочайшие мои соболезнования. Я-то знаю, что вы должны чувствовать. Не вполне, конечно, но отчасти. Сам двух детишек лишился. В одночасье. Менингитическая лихорадка, по-научному. Супруга моя так и не оправилась от удара. Их можно было б спасти, да деньги-то, чтобы докторам хорошим платить, где их возьмешь? Трагедия-с, а кому до нее дело? Нонче куда ни глянь, все сплошь трагедии. На трагедиях у нас теперь мир стоит. — Он садится. — Ежели позволите дать вам совет, Федор Михайлович (вы ведь не против, правда?), ежели готовы вы воспринять совет от человека, прошедшего, некоторым образом, через горнило-с, то я вам так скажу: не противьтесь своему горю. Поплачьте, как вот женщины плачут. Это великий у них секрет, у женщин-то, коим и обретают они власть над такими, как мы. Женщины знают, когда нужно дать себе волю и выплакаться. А мы все в себе заупориваем, точно в бутылке, вот и бродит оно там, и бродит, пока из него не вызреет истинный сатана-с! Тут мы, известное дело, идем и совершаем какую-нибудь глупость, чтобы избыть его хоть на часок-другой.

Да-с, глупость-то совершаем, а после всю жизнь и каемся. А женщины не таковы, потому как слезный секрет знают-с. Учиться нам надо у прекрасного пола, Федор Михайлович, плакать учиться! Вот, видите ли, я плачу и не стыжусь: о следующий месяц три года исполнится со дня трагедии-то, а я плачу и стыда не имаю!

Действительно, по щекам его катятся слезы. Он утирает их рукавом, но слезы льются и льются. И кажется, ничуть не мешают ему говорить. Собственно, он даже веселым выглядит.

— Я, верно, о деточках моих покойных так и прогорю всю жизнь, — говорит он.

Иванов продолжает что-то лепетать о своих «деточках», его же мысли разбредаются. Отчего люди вечно лезут ко мне со своими историями, не по причине ли писательского звания моего? Думают, у меня своих историй недостает? Он измучен, голова так до сих пор и болит. Сидя на единственном в комнате стуле, он слушает птиц, уже начавших посвистывать за окном, и изнывает от желанья уснуть, — изнывает, если правду сказать, от желанья забраться в кровать, которую уступил.

— После поговорим, — раздраженно прерывает он Иванова, — спите, иначе какой смысл в этой...

Он колеблется в поисках слова.

— В этой милостыне? — лукаво подсказывает Иванов. — Так вы желали выразиться?

Он не отвечает.

— Потому что, смею вас уверить, милостыни также стыдиться не стоит, — негромко продолжает Иванов, — право же, не стоит. Как все равно и горя. Потому как это суть благие порывы. Мы вот все думаем, будто они принижают нас, порывы-то

эти благие, а н нет — возносят-с. А Он все их видит и каждый в книгу записывает. Бог все тайники наших сердец пронизает.

Он с усилием подымает веки. Иванов сидит посреди постели, скрестив, точно идол, ноги. Шарлатан! — думает он. И закрывает глаза. Когда он просыпается, Иванов все еще здесь, спит, вытянувшись в кровати, сложив под щекою ладони. Рот его открыт, с губ, маленьких, розовых, как у младенца, слетает чуть слышный храп.

Гость задерживается у него до позднего утра. Иванов — начало неожиданного, думает он, ну что же, посмотрим, куда неожиданное нас заведет!

Никогда еще время не тянулось так медленно, никогда в воздухе не ощущалось столь полное отсутствие богооткровения.

Наконец, наскучив бездельем, он будит Иванова.

— Ступайте, — говорит он, — смена ваппа кончилась.

Иванов, похоже, не замечает иронии. Он выглядит свежим, веселым, хорошо отдохнувшим.

— Ауф! — зевает он. — Не грех бы сортир навестить.

И, вернувшись, спрашивает:

— А завтраком вы со мной не поделитесь, а?

Он ведет Иванова в другую комнату. Завтрак его стоит на столе, но аппетита он не ощущает.

— Ваш, — отрывисто произносит он.

Глаза Иванова вспыхивают, струйка слюны стекает по подбородку. Впрочем, ест он благопристойно, а отхлебывая чай, оттопыривает согну-

тый мизинец. Покончив с едой, он откидывается на стуле и удовлетворенно вздыхает.

— До чего же я рад, что пути наши перекрестились! — говорит он. — Мир бывает иногда очень холодным местом, Федор Михайлович, да вы и сами, наверное, знаете! Я не жалею, заметьте! Всем нам воздается по заслугам нашим, в высшем, стало быть, смысле. И все же я иногда подумываю: а не заслужили ли мы также, каждый из нас то есть, пристанища, приюта, в котором правосудие смягчится на время и кто-нибудь нас да пожалует? Это, если уютно, вопрос, вопрос философический. Пусть даже в Писании про то не сказано, но из духа-то Писания не следует ли, что мы заслуживаем и того, чего не заслужили? Как вы это разумеете?

— Несомненно, следует. Сожалею, но это не моя квартира. И вам самое время уйти.

— Я мигом-с. Дозвольте только одно напоследок сказать. Это, знаете, не праздные были слова, те, что я вам ночью сказал, о Боге, проницающем тайники сердец наших. Я, конечно, не блаженный юродивый, но ведь отсюда не следует еще, что и я не могу истину высказать. Истина, как сами изволите знать, ходит путями извилистыми, неисповедимыми. — Он значительно прикладывает палец ко лбу. — Вам ведь и не погрезилось, — не правда ли? — когда вы впервые меня увидели, что мы когда-нибудь будем сидеть с вами рядком-с да чаи распивать самым то есть цивилизованным манером. Ан вот они мы, сидим-с!

— Прошу простить, я задумался о своем и как-то упустил суть рассуждений ваших. Вам, право же, пора.

— Да, пора, тоже и у меня свои обязанности имеются. — Он встает, накидывает одеяло, как

пелерину, на плечи, протягивает руку. — Всего вам доброго. Приятно было побеседовать с человеком образованным.

— Всего доброго.

Какое облегчение — избавиться наконец от него. В комнате висит затхлый, рыбий какой-то запах. Не обращая внимания на холод, он растворяет окно.

Спустя полчаса кто-то стучится в квартиру. Только бы не Иванов! — думает он и, сердито нахмурясь, распаивает дверь.

Перед ним стоит ребенок, толстая девочка в темном платье, какие носят послушницы. Лицо ее кругло, невыразительно, скулы так высоки, что почти закрывают маленькие глаза, волосы собраны назад и заплетены в косичку.

— Вы отчим Павла Исаева? — на удивление низким голосом спрашивает она.

Он кивает.

Она вступает в квартиру и закрывает за собою дверь.

— Я была Павлу другом, — объявляет она.

Он думает, что за этим последуют соболезнования. Но нет. Она стоит перед ним, свесив руки, и разглядывает его с бесстрастным, настороженным спокойствием борца, ожидающего начала схватки. Грудь ее ровно вздымается и опадает.

— Не позволите ли взглянуть на то, что после него осталось? — спрашивает она наконец.

— Осталось очень немного. Могу я узнать имя ваше?

— Катри. Пусть немного, я бы все же взглянула. Я уже в третий раз захожу. В первые два дура хозяйка меня не впустила. Надеюсь, вы так не поступите.

Катри. Чухонское имя. Да и похожа она на чухонку.

— У нее, полагаю, имелись на то свои причины. Вы хорошо знали моего сына?

На этот вопрос она не отвечает.

— Вы понимаете, что вашего пасынка убила полиция? — буднично роняет она.

Время останавливается. Он слышит, как стучит его сердце.

— Убили, а потом сочинили басню насчет самоубийства. Не верите? Не хотите — не верьте.

— Зачем вы говорите мне это? — пересохшим шепотом спрашивает он.

— Как зачем? Затем, что это правда. Зачем же еще?

Нельзя сказать, что она настроена воинственно, но что-то начинает ее беспокоить. Она принимается мерно переминаться с ноги на ногу, слегка покачивая руками. При всей ее коренастости чухонка эта оставляет впечатление гибкости. Неудивительно, что Анна Сергеевна не пожелала иметь с ней никаких дел!

— Нет, — он качает головой. — То, что осталось после сына, это все частное, семейное. Будьте любезны, объясните мне цель посещения вашего.

— Бумаги какие-нибудь были?

— Бумаги были, но их больше нет здесь. К чему они вам? — И тут его осеняет. — Вы из нечаевских?

Вопрос не берет ее врасплох. Напротив, она улыбается, приподнимая брови, вполне обнаруживая наконец-то глаза, сияющие, торжествующие. Конечно она из нечаевских! Воительница, и это раскачивание ее — просто воинственный танец, танец человека, рвущегося в бой.

— Будь я из них, разве бы я призналась? — рассмеявшись, отвечает она.

— А известно ли вам, что полиция присматривает за этим домом?

Вглядываясь в лицо его, она покачивается с пяток на носки и точно старается внушить ему нечто взглядом.

— Вот в самую эту минуту внизу сидит их человек, — продолжает он.

— Где?

— Вы его не заметили, но он-то вас заметил, будьте благонадежны. Он притворяется нищим.

Улыбка ее становится шире, она определенно веселится от всей души.

— Думаете, полицейскому шпиону хватит ума обратить на меня внимание? — спрашивает она.

Тут она проделывает нечто странное: приподняв подол платья, дважды подпрыгивает, выставя напоказ грубые черные башмаки и белые нанковые чулки.

Она права, думает он, ее можно принять за девочку, пусть и бесноватую. Это бес корчится в ней, скачет, неспособный усидеть на месте.

— Довольно! — холодно произносит он. — Для вас мой сын ничего не оставил.

— Ваш сын! Он вам и сыном-то не был!

— Он был мне сыном и всегда им будет. А теперь уходите, прошу вас. Я не желаю продолжать этот разговор.

Он открывает дверь и указывает ей на лестницу. Выходя, она нарочно наталкивается на него. Ощущение остается такое, точно его пнула свинья.

Когда он после полудня оставляет дом, Иванова нет ни слуху ни духу; когда возвращается — тоже.

Впрочем, его ли это забота? Если дело Иванова доглядывать, оставаясь незримым, для чего ему хлопотать о том, чтобы узреть Иванова? И даже если в нынешней то есть шараде Иванов играет роль ангела Божия — потому только ангела, что никакой он не ангел, — почему он должен принимать на себя роль человека, ангела взыскующего? Пусть ангел постучит в мою дверь, я не дрогну, я дам ему кров, для заключенного мною условия довольно и этого. Но и едва сказав себе это, он сознает, что солгал, что в его власти полностью и навсегда избавить Иванова от зябкого бдения.

Он раздраженно бродит и бродит по комнате, пока не понимает наконец, что выбора у него не осталось — он должен спуститься вниз и отыскать побродяжку. Однако под лестницей Иванова нет, на улице тоже, поиски оказываются напрасными. Он облегченно вздыхает. Я сделал что мог, думает он.

Но в глубине сердечной он сознает, что сделал не все. Он мог сделать больше, гораздо больше.

На следующий день, бродя в окрестностях Сенного рынка, он вдруг замечает несколько впереди плотную, почти шарообразную фигуру давешней чухонки. Она не одна. Рядом с нею шагает женщина, рослая и худая, шагает так споро, что чухонке, чтобы держаться с ней вровень, приходится передвигаться едва ли не вскачь.

Он убыстряет шаг. И хоть он раз за разом теряет их в людской толпе, ко времени, когда женщины заходят в лавку, он почти уже их нагоняет. Перед тем как войти, высокая окидывает взглядом улицу. Его поражает синева ее глаз и бледность кожи. Взгляд женщины скользит по нему не задерживаясь.

Он пересекает улицу и неторопливо прохаживается туда-сюда, ожидая, когда женщины выйдут. Проходит пять минут, десять. Он начинает зябнуть.

Медная табличка сообщает, что здесь находится мастерская Madame la Fay не то la Fée, модистики. Он открывает дверь; звякает звонок. В узкой светлой комнате сидят за двумя длинными швейными столами девушки в одинаковых серых платьях. Средних лет женщина спешит ему навстречу.

— Мсье?

— Несколько минут назад сюда вошла моя знакомая — молодая дама. Я подумал... — Он растерянно оглядывает мастерскую: ни чухонки, ни второй женщины здесь нет и в помине. — Прошу простить, я, верно, ошибся.

Две ближайшие к нему молоденькие белошвейки, видя его растерянность, прыскают. Что до Madame la Fay, она утрачивает к нему интерес.

— Это вы, должно быть, студенток ищете, — равнодушно роняет она. — Мы с ними не знаем.

Он еще раз извиняется и направляется к выходу.

— Эй! — раздается за его спиной.

Он оборачивается. Одна из девушек указывает на дверь слева от него:

— Вон туда!

Он попадает в узкий проход, отделенный стеною от улицы. Железная лестнка ведет во второй этаж. Поколебавшись, он поднимается по ней.

Темный, пропитанный кухонным запахом коридор. Откуда-то сверху долетают визгливые звуки, кто-то неумело наигрывает на скрипке цыганский мотив. Двигаясь на звук, он еще двумя маршами лестницы поднимается к полуотворенной двери мансарды и стучит. Ему открывает чухонка. На флегматичном лице ее не выражается никакого удивления.

— Могу я поговорить с вами? — спрашивает он.

Чухонка отступает в сторону. На скрипке играет одетый в черное молодой человек. При виде постороннего он на середине фразы обрывает игру, бросает быстрый взгляд на рослую женщину, хватая шапку и, ни слова не сказав, выходит.

Он обращается к чухонке:

— Я заметил вас на улице и пошел следом. Мы можем переговорить с глазу на глаз?

Она усаживается на диван, но ему сесть не предлагает. Ноги ее едва достают до полу.

— Говорите.

— Вы сделали вчера одно замечание о смерти моего сына. Я желал бы знать больше. Не из какой-либо мстительности. Я для собственного облегчения спрашиваю. Для того, чтобы снять груз со своей души.

Она насмешливо оглядывает его.

— Для собственного облегчения?

— Я хочу сказать, что приехал в Петербург не для того, чтобы изобличить кого-либо, — упрямо продолжает он, — но после сказанного вами об обстоятельствах смерти его я не могу оставить ваши слова без внимания, не могу от них отмахнуться.

Он умолкает. Голова кружится, он вдруг ощущает страшную слабость. Закрывая глаза, он видит приближающегося к нему Павла. Рядом с ним идет девушка, выбранная им в невесты. Еще миг, и Павел заговорит, представляя свою нареченную; еще миг, и он подумает: «Вот и славно, наконец-то годы отцовства закончились, наконец появились руки, в которые я могу его передать!» Еще миг, и он улыбнется Павлу радостной, облегченной улыбкой. Но кто мог стать его невестой? Не эта ли высокая (почти с Павла ростом) женщина с пронзительными синими глазами?

Сделав над собою усилие, он отгоняет видение. Он уже произносит, без какой-либо, как ему кажется, интонации, следующую фразу:

— У меня есть обязанности перед сыном, уклоняться от выполнения коих я не вправе.

Вот и все. Слова подошли к концу, иссякли. Повисает молчание, которое все длится и длится. Он пытается вернуть видение Павла и его нареченной, но вместо них появляется почему-то Иванов, во всяком случае руки Иванова — бледные пухлые пальцы, высовывающиеся, точно черви, из зеленой шерсти митенок. Лицо же Иванова покачивается в каком-то сернистом тумане, не замирая на срок, довольный, чтобы его разглядеть. Выражение, впрочем, различается: хитрая, назойливая улыбка, как будто Иванов осведомлен о чем-то, способном ему повредить, и хочет, чтобы он знал об этой осведомленности.

Он встряхивает головой, пытаясь собраться с мыслями. Он стоит перед чухонкой, будто забывший реплику актер. Молчание тяжким грузом налегает на комнату. Грузом или покоем, думает он, какой настал бы покой, если б все вдруг остановилось, и птицы небесные замерли бы в полете, и гигантский шар застыл на орбите! Определенно близится припадок, сдержать который он ничем не способен. Он наслаждается последними мгновениями покоя. Какая жалость, что покой не может продлиться вовек! Откуда-то издали до него доносится крик, скорее всего его собственный. «И будет скрежет зубовный» — слова пролетают пред ним, затем все исчезает.

Возвращается он с чувством, что словно бы уезжал в далекую страну и состарился там и поседел. На деле же он, как и прежде, стоит посредине комнаты, все еще на ногах, лишь рука его почему-то приподнята. И женщины все еще здесь, даже позы их не переменились, разве что на лице чухонки появилось опасливое выражение.

— Позвольте мне присесть, — выдавливая он, язык его с трудом умещается во рту.

Чухонка освобождает ему место, он садится рядом с ней на диван, свешивает голову, которая вновь начинает кружиться.

— Вам не по себе? — спрашивает чухонка.

Он не отвечает. Что это хотел он сказать ей и почему его все время одолевает такая усталость? Мозг точно окутан туманом. Если бы он был персонажем книги, что мог бы сказать он в минуту, в которую должно либо вылить всю душу, либо оставить страницу пустой?

— Если бы вы только знали, — медленно начинает он, — какую тоску испытываю я в вашем присутствии, насколько оно мне чуждо. Принять участие в играх, в которые вы играете, я не могу. То, что влечет вас, что увлекло, должно быть, и Павла, меня не влечет нисколько. По чести говоря, оно кажется мне отвратительным.

Так и не промолвив ни слова, высокая женщина выходит из комнаты. Шелест ее платья, дуновение лаванды, когда она минует его, вызывают в нем внезапный трепет желания. Желания чего? Этой женщины? Определенно нет — или не только ее. Молодости, скорее, навеки утраченной свободы расшнурованных платьев, нагих тел. Пусть так, и все же это ответное движение тревожит его. Почему именно здесь, почему сейчас? Что-то связанное с усталостью, но, возможно, и с Павлом — с попытками отыскать себе место в мире Павла, в его эротическом окружении.

— Мне показали списки людей, намеченных вами для казни, — говорит он.

Чухонка пристально смотрит на него.

— Списки эти теперь в полиции, надеюсь, вы это понимаете. Их взяли из комнаты Павла. Я же вот что хочу спросить: отведено ли всякому из вас просто некоторое число жертв, которых должно убить, или каждому назначены люди совершенно определенные, только ваши и больше ничьи? И если верно последнее, ждут ли от вас, что вы станете заранее их изучать, вникать в их повседневную жизнь? Следите ли вы за ними прямо в домах их?

Чухонка пытается что-то сказать, но он уже ощущает прилив новых сил и голос его крепнет, заглушая ее слова.

— Если так, если это так, не получится ли, что вы по необходимости свыкнетесь с вашими жертвами в мере большей, нежели вам того хочется? Не станете ли вы как некий человек, скажем, нищий, которого зовут с улицы и дают ему копеек пятьдесят, чтобы он избавился от дряхлой, ослепшей собаки, и вот он берет веревку, вяжет петлю и гладит собаку, чтобы успокоить ее, бормочет ей какие-то слова и ощущает внезапно наплыв добрых чувств, отчего он и собака становятся друг дружке уже не чужими, а простая работа, которую ему предстоит совершить, обращается в самое черное предательство, такое, в сущности, предательство, что едва он натягивает веревку, в тот самый миг, как он натягивает ее, душа собаки обращается в призрак, который потом приходит к нему день за днем, удивленно скуля: «Почему именно ты это сделал?» Такая мысль, она не способна остановить вас?

Пока он говорит, возвращается рослая женщина. Она опускается в дальнем углу комнаты на

колени, складывает простыни, сворачивает матрас. Чухонка же положительно ожила. Глаза ее блестят, ей явно не терпится что-то сказать. Но он не дает ей такой возможности.

— И если простая собака способна на это, какая сила сможет заставить мужчин и женщин, которых вам предстоит уничтожить, воздержаться от того, чтобы преследовать вас? Сдается мне, что, по какой бы научной методе ни отбирались вами эти враги народа, вы не сможете убивать их, не подвергая опасности собственные ваши души. Кто, например, был намечен в первые жертвы Павла? Кого ему предстояло убить?

— Зачем вы спрашиваете? Вам для чего?

— Для того, что я хочу пойти к дому этого человека и, став на колени перед дверью его, поблагодарить Бога за то, что Павел до нее не дошел.

— Вы, значит, радуетесь тому, что Павел убит?

— Павел не умер. Он мог умереть, но ему выпало великое счастье сохранить жизнь свою.

Рослая женщина наконец вмешивается в разговор.

— Вы не пересели бы сюда, Федор Михайлович? — говорит она, указывая на стол и два стула у окна.

— Это моя сестра, — поясняет чухонка.

— Хоть и от разных отцов, — говорит женщина.

Обе смеются, непринужденно, как давно знакомые люди.

Выговор у нее петербургский, голос глубокий. Вышколенный голос. Его охватывает чувство, что он уже встречал ее где-то. Певица? Времен его увлечения оперой? Да нет, чересчур молода.

Он садится на стул, она занимает другой, напротив. Стол узок. Ее ступня прикасается к его, он подбирает под себя ноги.

Хоть она и сидит спиной к окну, он понимает теперь, почему она так густо напудрена. Лицо ее усеяно оспинами. Какая жалость, думает он, пусть не красавица, но ведь и не вовсе лишенное красоты существо.

Нога ее вновь касается его ноги и задерживается, ступня к ступне.

Тревожное возбуждение пронизывает его. Как в шахматах, думает он: два игрока за маленьким столиком делают обдуманные ходы. Стало быть, это обдуманность возбуждает его — нога поднимается, будто пешка, и ставится рядом с его ногой? А третья из находящихся в комнате, наблюдательница, которая ничего не видит, простушка, глядящая не туда, куда следует, — она тоже разыгрывает свою партию? Обдуманность и безвкусица, безвкусица, которая по-своему щекочет нервы. От кого они смогли так много узнать о нем, о его желаниях?

Певица, конральто, королева конральто.

— Вы знали моего сына, — говорит он.

— Он был нашим приверженцем. Маскотом.

Словечко ему знакомо и причиняет боль. Маскот — отрок, отирающийся среди студентов, мальчик на побегушках.

— Но он был вашим другом?

Она пожимает плечами.

— В дружбе есть нечто бабье. Мы не нуждаемся в дружбе.

«Бабье» — странноватое слово для женщины! Ему и сейчас уж кажется, что он знает больше,

чем хочет знать. Ступня ее по-прежнему прижата к его, но теперь в нажатии ее ощущается нечто бездумное, вялое, даже угрожающее. Уже не ступня, а тяжелый башмак, живущий собственной жизнью. Павел не стал бы играть в подобные игры. Вновь возвращается видение Павла, идущего к нему. С ним рядом девушка, невеста, но облик ее неразличим. Павел улыбается, и нечто подобное торжеству читается в его улыбке. Друг мой! — думает он. Непомерная любовь тяжело сжимает ему сердце. И вот это, думает он, досталось мне взамен тебя!

— Если вы не нуждаетесь в дружбе, то да спасет вас Бог, — шепчет он.

Он встает из-за стола, поворачивается к женщинам спиной. Хотелось бы знать, как он сейчас выглядит? Зеркала в комнате нет. Когда он опять садится, слезы, грозившие вскипеть в глазах его, уже усмирены.

— Что вы сделали с моим сыном? — сдавленно спрашивает он.

Женщина склоняется над столом, не сводя с него синего взгляда. Сквозь слой пудры пробиваются из ямок на подбородке пропущенные бритвой жесткие волоски. Да и сходящиеся над переносицей брови ее слишком густы. Женщине хватило бы разумения выщипать их. Стало, и чухонка — тоже отрок, толстый юнец-недоросток? Внезапно его пронизывает отвращение к ним обоим.

Она, или он, произносит какие-то слова. Это Нечаев — нечего и сомневаться. Личина, им принятая, становится вдруг слишком прозрачной. С внезапной отчетливостью возвращается давнее воспоминание: зала Конгресса мира, перерыв между

заседаниями, Нечаев в полном одиночестве стоит в углу, с ненавистью озираясь по сторонам, набивая рот крошечными бутербродами, бросая безмолвный вызов всей заполненной взрослой публикой зале: «Да, смейтесь, если смеее, смейтесь над гимназистом!» Выражение лица его точь-в-точь как у школьника, которого поставили на стул и у которого панталоны съехали вдруг до колен, — выражение уязвленное, но вызывающее. «Смейтесь, рано или поздно придет и на мою улицу праздник!»

Он вспоминает замечание, оброненное княжной Оболенской, любовницей Мрочковского: «Он, может быть, и *enfant terrible* анархизма, но, право же, ему следовало бы что-то сделать со своими прыщами!»

— При том, что учинила полиция с вашим сыном, — говорит Нечаев, — меня поражает, до чего вы спокойны. Ведь и в Писании сказано: око за око и зуб за зуб.

— Бессовестный вы человек, нет в Писании ничего подобного! Что вы пытаетесь внушить мне касательно Павла? И почему нарядились в этот нелепый костюм?

— Вы же не верите в басню о самоубийстве. Исаев не покончил с собой — это полицейская выдумка. Уничтожить нас законными средствами они возможности не имеют, вот и прибегают к подобным гнусным убийствам. Но вы-то должны же были усомниться, иначе зачем бы вы здесь очутились?

Вся напускная деликатность отброшена, теперь Нечаев говорит настоящим своим голосом. Шелестя синим платьем, он прохаживается по

комнате взад-вперед. Что у него под платьем, панталоны или голые ноги? Что ощущает мужчина, разгуливая на голых, пусть и прикрытых ногах, трущихся одна о другую?

— Думаете, нам всем не угрожает опасность? Думаете, мне *хочется* красться переодетым по моему собственному городу, городу, в котором я родился? А известно ли вам, что такое значит быть одинокой женщиной на улицах Петербурга? — Нечаев повышает голос, его душит гнев. — Известно ли вам, что ей приходится выслушивать? Мужчины тащатся следом, шепча гнусности, которых вы и представить себе не способны, и она против них бессильна! — Тут он овладевает собой. — Хотя, возможно, вы превосходнейшим образом их себе представляете. Возможно, то, что я описываю, вам слишком знакомо.

Чухонка ставит на колени миску с картофелинами и принимается чистить их. Лицо ее спокойно, ни дать ни взять — маленькая бабушка.

— Вроде похолодало, — сообщает она в пространство.

Безумцы, оба! — думает он. Но я-то, что я здесь делаю? Мне нужно отыскать путь, которым я смогу возвратиться к Павлу.

— Соблаговолите повторить... Соблаговолите повторить сказанное вами о моем сыне, — говорит он.

— Хорошо, я расскажу вам о вашем сыне. Официально утверждается, что он покончил с собой. Если вы верите в это, значит, вы поистине легковверны, легковверны преступно. Вы ведь, если не ошибаюсь, сами были когда-то революционером? Должны же вы понимать, что борьба никогда не

прекращалась. Или вы заключили с ними сепаратный мир? Однако тех, кто стоит на переднем фронте борьбы, по-прежнему гонят, пытаются и убивают. Я-то ждал, что вы поймете это и об этом напишете. Тем паче, что в нашей постыдной российской печати прочесть правду о вашем сыне и подобных ему людях все равно никогда не удастся.

Голос Нечаева становится более низким, более напряженным.

— То, что произошло с вашим сыном, может в один прекрасный день произойти и со мной, да с любым из наших товарищей. Вы говорите, будто вам об этом ничего не известно. Так пойдите на улицы, на рынки, в кабаки, где собирается простой народ, и вы узнаете то, что известно ему. Народу вот откуда-то все известно! И когда придет судный день, народ не забудет ни о тех, кто страдал и умирал за него, ни о тех, кто не шевельнул ради него даже пальцем.

Христос во гневе его, думает он: вот кого он взял себе в образцы. Ветхозаветный Христос, тот, что изгнал торгующих из храма. Даже костюм выбран точно — не обычное платье, но одеяние, покров. Подражатель, притворщик, святотатец.

— Не угрожайте мне! — откликается он. — Как получили вы право говорить от имени народа? Народ не мстителен. Народ не тратит времени на заговоры и интриги.

— Народ знает своих врагов и не прольет по ним ни слезинки, когда им придет конец! Что до нас, мы по крайности понимаем, что делать, и делаем! Возможно, и вы понимали когда-то, но теперь вы только и можете, что мямлить, качать головой и плакать. Вы одрябли. А мы не дряблы, мы

не плачем, не растрачиваем время на умные разговоры. Есть вещи, о которых можно поболтать, а есть другие, о которых болтать нечего, их делать надо, только и всего. Мы не болтаем, не плачем, не размышляем на бесконечную тему «с одной стороны, но с другой стороны», мы просто-напросто *делаем!*

— Превосходно! Вы просто-напросто *делаете*. Кто, однако, указывает вам, что следует делать? Чьему голосу подчиняетесь вы, народному или же собственному, но только немного измененному, чтобы вам его как-нибудь случаем не узнать?

— Очередной умный вопрос! Очередная трата времени! Нас тошнит, мы устали от умничанья. Умничанье принадлежит к разряду вещей, от которых нам придется избавиться. Близится время простых людей. Простой человек не умничает. У него есть работа, и он ее делает. А по завершении работы именно простой человек и решит, что и как будет дальше и следует ли допускать дальнейшее умничанье!

— И следует ли допускать умные книжки и все остальное! — подхватывает оживившаяся, похоже даже пришедшая в раж чухонка.

Возможно ли, думает он с отвращением, чтобы Павел был дружен с такими людьми, с людьми, всегда готовыми раздражить себя до неистовой уверенности в собственной правоте? Не схоже ли это место с испанским монастырем времен Лойолы: высокородные девицы бичуют себя, часами молясь о том, чтобы Спаситель принял их в лоно Свое? Крайние люди, сладострастники, жаждущие исступления смерти, не важно, как себя проявляющей — в убийстве ли или в собственной их кончине. И Павел был среди них!

Его снова придавливает мысль о последнем мгновении Павла, о полном горячей крови, полном жизни юном теле, ударяющем оземь, о воздухе, рвущемся из легких, о хрусте костей и об изумлении, прежде всего об изумлении перед тем, что конец реален, что второго шанса дано ему не будет. В страдании он заламывает укрытые под столом руки. Тело, ударяющее оземь: смерть, мера всех вещей.

— Докажите мне... — говорит он. — Представьте мне доказательства того, что вы сказали о Павле.

Нечаев склоняется к нему:

— Я отведу вас на место, — произносит он, медленно выговаривая каждое слово. — Я отведу вас на то самое место и открою вам глаза.

Он молча встает, спотыкаясь добирается до двери. Находит лестницу, спускается по ней и тут понимает, что забыл дорогу на улицу. Стучит наудачу в дверь. Ответа нет. Стучит в другую. Усталого вида женщина в шлепанцах отворяет ее и отступает, чтобы его впустить.

— Нет-нет, — говорит он, — я лишь хочу узнать, как выйти отсюда.

Не проронив ни слова, она закрывает дверь.

С другого конца коридора доносится гул голосов. Дверь стоит настежь; он входит в комнату с низким потолком, похожую чем-то на птичью клетку. Трое молодых людей развалились в креслах, один читает вслух из газеты. Наступает молчание.

— Я ищу выход, — говорит он.

— Tout droit!¹ — махнув рукой, отзывается чтец и возвращается к газете. Он читает отчет

¹ Все время направо! (фр.)

о стычке студентов с жандармами у стен философского факультета. Оторвав взгляд от листа, он видит, что незванный гость так и не стронулся с места.

— Tout droit, tout droit! — рывкает он, товарищи его хохочут.

Тут рядом с ним возникает чухонка.

— Господи, куда вас только не заносит! — добродушно замечает она.

Взяв за руку, она проводит его, как слепца, по еще одной лестнице, по темному коридору, забитому ларями и сундуками, к запертой на засов двери, которую она отпирает. Вдвоем они выходят на улицу. Чухонка протягивает ему ладонь.

— Значит, у нас с вами нынче свидание, — говорит она.

— Нет. Какое свидание?

— Ждите вечером, в десять, на углу Гороховой и Фонтанки.

— Не приду, можете быть уверены.

— Ну, не придете, и ладно. А то вдруг да и придете. Есть же у вас родственные чувства. Вы нас не предадите, нет?

Вопрос она задает шутливо, точно он, в сущности, и не властен причинить им какой-либо вред.

— А то, знаете, кое-кто из наших поговаривает, что вы непременно нас предадите, — продолжает она. — Утверждают, будто вы по природе своей предатель. А вы как считаете?

Будь в руке его палка, он бы ударил ее. Но понять, куда можно побольнее ткнуть голой рукой это тупо-округлое тело, трудновато.

— Хотя, если даже человек разобрался в своей природе, какой ему от этого прок? — задумчиво

продолжает она. — Я к тому говорю, что природа все равно его за собой потянет, сколько бы он над ней ни размышлял. Что толку вешать человека за то, к чему его подтолкнула природа? Все равно как вешать волка за то, что он овцу съел. Природы-то волчьей этим не исправишь, правильно? Или вот повесили того, кто предал Иисуса, — ну и что изменилось, ведь ничего?

— Никто его не вешал, — выпаливает он в раздражении. — Сам повесился.

— Какая разница? Все равно же не помогло, не так ли? Я хочу сказать, независимо от того, повесили его или сам он повесился.

Нечто жутковатое начинает проступать в ее болтовне.

— И кто же Иисус? — негромко спрашивает он.

— Иисус? — Уже сумерки, никого, кроме них, нет на холодной, пустынной задней улочке. Чухонка недоуменно глядит на него. — Разве вы не знаете, кто такой Иисус?

— Если вы меня называете Иудой, кто тогда Иисус?

Она улыбается.

— Ну, это так, к слову пришлось, — говорит она. И затем, обращаясь более к себе, чем к нему: — Ну решительно же ничего не понимают.

Она еще раз протягивает руку.

— В десять на Фонтанке. Если никто к вам не подойдет, значит, что-то произошло.

Не приняв руки, он уходит по улице. Сзади до него долетает произнесенное полупшепотом слово. Какое? «Жид»? «Иуда»? Скорее всего, «жид». Замечательно: так они полагают, будто одно слово произошло от другого? Но почему он побрезговал

прикосновением к ней? Потому, что она могла знать Павла, знать слишком хорошо — быть может, и плотски? Считаются ли у них женщины общей собственностью, у Нечаева и прочих? Трудненько вообразить эту женщину в общем владении. Скорей уж она обладает всеми мужчинами сообща. Обладала и Павлом. Он противится этой мысли, затем уступает. Он видит чухонку голой, восседающей на багряных подушках, раздвинувшей громоздкие ноги, разведшей в стороны руки, выставив напоказ груди, круглый живот, безволосое, голое зрелое лоно. И коленопреклоненного Павла, ждущего, когда его покроют и пожрут.

Он трясет головой, прогоняя видение. Завидное воображение! Потом на место любви прокрадывается, точно поседелая крыса, отец — посмотреть, не осталось ли чего и ему. Сидя во мраке на трупе, он вгрызается в него, настораживает, прислушиваясь, уши, грызет, прислушивается, грызет. Вот, стало быть, почему полицейская свора во главе с Максимовым, достойным отцом, самой крупной из крыс, столь мстительно преследует вольнолюбивую петербургскую молодежь?

Он вспоминает, как вел себя Павел после его женитьбы на Ане. Павлу было уже девятнадцать, но он никак не мог примириться с тем, что она, Анна Григорьевна, станет отныне спать в одной постели с отцом. Весь год, что они прожили вместе, Павел старательно делал вид, будто она всего лишь компаньонка отца, вот как бывают старухи компаньонки, нанимаемые, чтобы вести хозяйство, заказывать в бакалейной продукты, следить за мойкой белья. Когда — скажем, после вечерней игры в карты — он объявлял, что идет спать, Павел не отпускал

с ним Аню, предлагая ей еще разок перекинуться в дурачка («Один на один!»), и даже когда она, краснея, порывалась уйти, все равно не желал понимать зачем («Мы же не в деревне живем, коров вам с утра не доить!»).

Всегда ль оно так между детьми и отцами: шуточки, прикрывающие неистовое соперничество? И не оттого ли он столь угнетен утратой: почва жизни его, борьба с сыном, ушла из-под ног, и дни его стали пусты? Не «народная расправа» — «сыновняя»: вот что лежит в основе всех революций — зависть отцов к женщинам их сыновей, помыслы сыновей о том, как бы отнять у отцов их денежную мощь. Он снова устало трясет головой.

ДРОБОЛИТНАЯ БАШНЯ

Вернувшись домой, он сталкивается в коридоре с донельзя возбужденной Матреной.

— А к нам полиция приходила, Федор Михайлович, искала убийцу!

Время останавливается; он застывает на месте.

— Почему убийцу искали здесь? — Слова эти произносятся им, но слышатся будто бы издали, немощные слова, выговариваемые кем-то другим.

— Да они повсюду искали, по всему дому!

От Анны Сергеевны он получает отчет более полный.

— Полиция спрашивала о нищем, который слонялся тут по соседству. Я его, по-моему, видела, но в точности не помню. Говорят, он устраивался на ночь в нашем доме.

Он мог бы сейчас открыть ей, что Иванов провел ночь в ее квартире, но предпочитает не делать этого.

— В чем его обвиняют? — спрашивает он взамен.

— На этот счет полиция особо не распространялась. Матреша уверяет, будто он кого-то убил, но это одни только слухи.

— Невозможно. Я с ним знаком, мы разговаривали, и довольно долго. Он не убийца.

Выясняется, впрочем, что доля правды в слухах присутствует. Преступление действительно

совершенно, тело жертвы — именно самого этого нищего — обнаружено неподалеку в одном из проулков. Известие это, полученное от дворника, ошеломляет его. Иванову, одной из тех грошовых фигур, что вечно толкуются у чьего-нибудь смертного одра или у свежей могилы, умирать прежде прочих совсем не по чину.

— Уверены ли они, что он попросту не замерз? — спрашивает он. — Отчего непременно убит?

— Убит, как есть убит, сударь, — с выражением человека осведомленного отвечает старик. — Дивно разве, чего они такой шум подняли из-за пустого-то человека.

За ужином Матрена только и говорит что об убийстве. Она чрезвычайно взволнована: глаза блестят, слова перескакивают одно через другое. Ему тоже есть что порассказать, но это подождет, пусть сначала мать утомит девочку и уложит ее спать.

Когда у него возникает наконец уверенность, что девочка заснула, он принимается рассказывать Анне Сергеевне о своей встрече с Нечаевым. Говорит он, лишь немного понизив голос, поскольку сознает, что шепот взрослых — пленяющий своею таинственностью и уж тем одним ненадежный — способен нарушить и самый глубокий сон ребенка.

Фамилия Нечаев Анне Сергеевне знакома, но представление о том, кто он, у нее самое смутное. Тем не менее она охотно подает ему совет, и совет решительный:

— Вам необходимо пойти на это свидание. Вы места себе не найдете, пока не узнаете, что случилось на самом деле.

— Но я знаю, что случилось. А большего мне знать и не нужно.

Она нетерпеливо взмахивает рукой. Такое отсутствие энтузиазма представляется ей бессмысленным, она видит в нем одну апатичность. Как бы ей объяснить? Чтобы она сумела понять, он должен заговорить с нею голосом из-под вод, ясным, как звон колокольчика, голосом мальчика, молящим из глубокой тьмы. «Папочка, спой мне!» — мог бы позвать этот голос, и она бы его услышала. Где-то внутри себя самого он смог бы отыскать не один только голос, но и слова, настоящие слова. Сейчас же слов ему не хватает. Возможно — есть у него такое ощущение, — они поджидают его в одной из старинных песен. Но не из тех, что напечатаны в книгах: эта песня сокрыта в душе народа русского, и как до нее доберешься? Или в душе ребенка.

— Павел был человек не мстительный, — произносит он наконец, запинаясь. — Кто бы его ни убил, это дело прошлое, Павел никак с ним больше не связан, он избавился от этого человека. Я хочу научиться у него этому. И не хочу отравлять свою душу мстительностью.

Ему и еще есть что сказать, но не сейчас, сейчас он не может. Сказать, что Павлу неинтересен разговор о его падении. Что Павел прежде всего одинок и нуждается в утешении, в колыбельных песнях, в уверениях, что его не бросят на дне глубоких вод.

Оба замолкают. Впервые с прошлого воскресенья они остались наедине. Анна Сергеевна кажется усталой. Плечи обмякли, руки вяло лежат на столе, на шее обозначились складки. Старше его жены, снова думает он, — не то чтобы человек другого поколения, но близко к тому. Он сожалеет, что видит ее такой. Слишком недавно возвратился он от

Нечаева, молодого, демонически энергичного, как и все мелкие бесы молодости.

Повинуясь порыву, он берет ее за руку. Анна Сергеевна поднимает на него удивленный взгляд.

— Я не к мщению вас призываю, — медленно говорит она. — Разумеется, вы верно сказали о Павле, он не был мстителем по натуре. Но в нем жило чувство правильного и справедливого. Пойдите на это свидание. Узнайте все, что сможете. Иначе вам никогда не будет покоя.

Он продолжает сжимать ее руку. И ощущает ответное пожатие, которое может назвать только участливым.

— Справедливость, — задумчиво произносит он. — Великое слово. Но кто может сказать, где, в сущности, проходит черта между справедливостью и расправой? — И, увидев, что она не вполне его понимает: — Не оригинально ли это в Нечаеве — то, что он назвал свое дело «Народной расправой», а не «Народной справедливостью»? По крайней мере, честно.

— Честно? Разве люди это хотят услышать: что им нужна расправа, а не справедливость? Не думаю. Почему его вообще принимают всерьез, Нечаева? Почему кто-то должен принимать всерьез студента, раздраженного молодого человека? Какой, в конце-то концов, силой он обладает?

— Определенно не силой жизни, но силой смерти. Ребенок ведь, если в него войдет этот дух, может убить так же легко, как взрослый. Возможно, оригинальность Нечаева состоит и в этом тоже: он вслух говорит о наших детях то, чего мы и помыслить-то не решаемся, наделяет голосом нечто жестокое и тупое, пропитавшее собою молодую

Россию. Мы затыкаем уши, и тут он является с топором и заставляет нас слушать.

Рука ее, такая живая в его руке, вдруг словно бы обмирает. Чувствительность истинно женская, думает он, отнимая руку. Как и у дочери ее. И ранимость, верно, не меньшая.

Ему хочется обнять Анну Сергеевну, взять ее в руки и поправить все, что в ней было изломано. Пора прекратить этот разговор, думает он, лишь отталкивающий, отчуждающий ее. Но это ему не по силам.

— В конце концов, невозможно же вербовать приверженцев, вызывая к духу, им чуждому или во все безразличному. Нечаев находит последователей среди молодежи оттого, что дух, вселившийся в нее, перекликается с духом, обуявшим его. Разумеется, сам он приводит иные объяснения. Он называет себя материалистом. Истина же в том, что он вмещает в себе нечто, называвшееся греками «демоном». Это демон наставляет его. И в демоне он черпает силу.

И снова он думает: пора остановиться. Но сухие, мертвые слова продолжают истекать из него. Он понимает, что обрывает связующие их нити.

— Тот же демон мог присутствовать и в Павле, иначе с чего бы Павел отозвался на его призыв? Приятно думать, что Павел не был мстительным человеком. Приятно хорошо думать о покойных. Однако это означает лишь, что мы пытаемся им польстить. К чему сентиментальничать? В обыденной жизни Павел был не менее мстителен, чем любой молодой человек.

Анна Сергеевна встает. Он уверен, что знает слова, которые она собирается произнести, и го-

тов, хотя бы приличия ради, начать оправдываться перед ней. «Вы зовете себя отцом Павла, но я не верю, что вы его любите», — вот чего он ожидает. Он ошибается.

— Я ничего не знаю об анархисте Нечаеве, я могу только принять на веру ваши слова о нем, — говорит она. — Однако, слушая вас, я затрудняюсь сказать, кому именно, вам или Нечаеву, сильнее хочется, чтобы Павел принадлежал к партии расправы. Я Павлу никто, я, уж конечно, не мать его, и все же я обязана ему — ему и памяти о нем, — обязана протестом. Сражайтесь, коли вам угодно, с Нечаевым, но Павла-то в ваши распри не втягивайте.

— Нечаев не анархист. Это ошибка, которую люди делают на его счет. Он нечто совсем иное.

— Анархист, нигилист, кто угодно, я не желаю больше слышать о нем! Я не хочу, чтобы в мой дом притаскивали ненависть и раздоры! Матрена и без того достаточно растревожена, и я не хочу, чтобы она подхватила еще и эту заразу.

— Не анархист и не нигилист, — упрямо продолжает он. — Нацепляя на него ярлыки, вы упускаете из виду то, чем он отличен от всех остальных. Он действует не во имя идей. Он действует, когда в теле его пробуждается потребность действия. Он сладострастник. Человек крайних страстей. Тело его стремится жить у черты чувственных ощущений, у черты телесного знания. Вот отчего он говорит, что «все позволено», — или мог бы это сказать, если бы не был столь равнодушен к любым попыткам выразить себя.

Он делает паузу. Ему опять представляется, будто он знает, что хочет сказать Анна Сергеевна,

знает, хотя она и не говорит ничего: «А вы сами? Многим ли вы от него отличаетесь?»

— Думаете, почему Нечаев выбрал топор? — продолжает он. — Если вдуматься в то, что такое топор, в то, что этот топор означает...

Он в отчаянии всплескивает руками. Порядочные слова нынче ему не даются. Топор — орудие народной расправы, народное оружие, грубое, тяжкое, неотразимое, в замахах которого вложена вся сила его носителя, тяжесть телесная и тяжесть пожизненной ненависти, негодования, отложившаяся в теле, тяжесть и темная радость замаха.

Оба вновь погружаются в молчание.

— Существуют люди, — произносит он наконец тоном более ровным, — не способные получать ощущения естественным путем. Этим и поразил меня Сергей Нечаев еще в самом начале — как человек, не способный, к примеру, вступить в естественную связь с женщиной. Хотелось бы знать, не в этом ли и коренится его обида на все и вся. Впрочем, возможно, в будущем оно так и станет: человек уже не сможет получать ощущения прежними средствами. Прежние средства себя изживут. Я говорю о любви. Любовь изживет себя. Придется отыскивать средства иные.

Анна Сергеевна говорит:

— Довольно. Я больше не хочу разговоров. Уже десятый час. Если вы решились идти...

Он встает, кланяется, уходит.

В десять он стоит у Фонтанки, на назначенном месте. В вышине ветер гонит перед собой разодранные дождевые тучи, струи хлещут по черной речной воде. Фонарные столбы нестройно покрыва-

ют вдоль пустой каменной набережной. Слышно, как бурлит на крышах и в водостоках вода.

Впадая во все более брызгливое состояние, он укрывается в одном из подъездов. Недостает еще простуду подхватить, думает он, это уж будет последняя капля. Он легко простужается. И Павел простужался легко, с самого детства. Интересно, болел ли Павел, пока жил у нее? Сама ли она ходила за ним или предоставляла заниматься этим Матрене? Он воображает Матрену, входящую в комнату, неся стакан горячего чая с лимоном, парок над стаканом, Матрена ступает осторожно, стараясь не расплескать чай; воображает Павла, его темные волосы на белой подушке, улыбку. «Спасибо, сестричка», — говорит Павел хриловатым юношеским голосом. Жизнь юноши во всей ее обыденности! Подслушать его некому, и он, опуская голову, мычит, точно больной бык.

Тут-то она и возникает перед ним, с любопытством его оглядывая — не Матрена, чухонка.

— Вам нездоровится, Федор Михайлович?

Охваченный смущением, он отрицательно качает головой.

— Тогда идемте, — говорит она.

Она ведет его, чего он и опасался, вдоль реки на запад, к старой дроболитной башне на Столярной набережной. Повышая голос, чтобы пересилить ветер, она болтает с ним совершенно по-дружески.

— Знаете, Федор Михайлович, — говорит она, — это вам мало чести делает, так говорить о людях, как вы нынче днем говорили. Вы нас разочаровали — вы, с вашим-то прошлым. Вы же, как-никак, в Сибирь пошли за убеждения. Мы вас

уважаем за это. Даже Павел Александрович уважал. Вам отступаться стыдно.

— Даже Павел?

— Да, даже Павел. Вы в свое время пострадали, а теперь Павел принес себя в жертву. Вы имеете полное право высоко держать голову и гордиться им.

Ей не составляет никакого труда тараторить, быстро перебирая при этом ногами. У него же колет в боку и сбивается дыхание.

— Помедленнее, — пыхтит он. — А вы? — наконец спрашивает он. — Вы-то что?

— Что я?

— Как насчет вас? Вы сможете в будущем высоко держать голову?

Чухонка останавливается прямо под безумно болтающимся фонарем. Свет и тень мечутся по ее лицу. Совершенно напрасно он зачислил ее по разряду детей, играющих в переодевания. При всей ее бесформенности, он теперь различает в ней холодную женственность.

— Я не предполагаю задерживаться здесь надолго, Федор Михайлович, — говорит она. — Как и Сергей Геннадиевич. И все остальные из наших. То, что случилось с Павлом, может в любую минуту случиться с каждым из нас. Так что не надо шутить. А если вы подшучиваете над нами, так помните хоть, что вы и над Павлом подшучиваете.

Второй раз за день он испытывает желание ударить ее. И видно, что она чувствует его гнев: она даже выпячивает подбородок, как бы подталкивая его — давай ударь. Почему он стал так вспыльчив? Что на него нашло? Не обратился ли он в одного из тех стариков, что не способны совладать со своим

норовом? А то и хуже: теперь, когда наследник его погиб, не стал ли он не стариком только, но и призраком, раздраженным, несдержанным мороком?

Башня на Столярной стоит еще со времен строительства Петербурга, но ею уж много лет как не пользуются. Несмотря на сделанную краской надпись, запрещающую входить в нее, она давно обратилась в пристанище самых отчаянных окрестных мальчишек, которые по спирально вделанным в стены железным скобам добираются до расположенного саженьях в пятнадцати над землею горнила, а то и выше, на самую верхушку кирпичной трубы.

Огромная, утыканная гвоздями дверь заложена засовом и заперта, но маленькую боковую давным-давно вышибли какие-то шалопаи. В темном ее проеме стоит, ожидая, мужчина. Негромко поздоровавшись с чухонкой, мужчина этот входит вовнутрь.

Внутри стоит запах испражнений и заплесневелого камня. Кто-то негромко сквернословит в темноте. Мужчина чиркает спичкой, зажигает фонарь. Чуть ли не под ногами их, прижимаясь друг к другу, лежат на мешках трое. Он отводит взгляд.

Человек с фонарем — это Нечаев, теперь на нем длинный черный гренадерский плащ. Лицо отливает ненатуральной бледностью. Пудру он, что ли, забыл смыть?

— У меня от высоты кружится голова, — говорит чухонка. — Я вас тут подожду. Сергей Геннадиевич все вам покажет.

Спиральная лестничка вьется по внутренней стене башни. Подняв фонарь повыше, Нечаев

начинает взбираться по ней. Шаги его гулко отдаются в замкнутом пространстве.

— Вот здесь они и вели вашего пасынка, — говорит Нечаев. — Сначала, скорее всего, напоили, чтобы с ним легче было управиться.

Павел. Здесь.

Подъем все длится и длится. Башню, уходящую вниз, как колодец, заглатывает темнота. Он отсчитывает вспять дни, прошедшие со смерти Павла, дойдя до двадцати, сбивается, начинает сначала и сбивается снова. Неужели Павел поднимался по этой лестнице *так много дней тому назад*? Почему он не может их счесть? Ступеньки, дни — они как-то связаны. С каждой ступенькой из жизни Павла вычитался еще один день. Прибавление и убывание происходили одновременно — может быть, это ему мешает?

Лестница кончается, они выходят на плоскую железную крышу. Провожатый его широко поводит фонарем.

— Туда, — говорит он.

Мелькают очертания каких-то ржавых механизмов.

Они оказываются высоко над набережной, на выступающей из башни платформе с перилами вышиною по пояс. С одного ее боку в стену вделаны барабан и цепная лебедка.

Ветер набрасывается на них. Он снимает шляпу и вцепляется в поручень, стараясь не глядеть вниз. Метафора, говорит он себе, не более того, — просто еще одно слово для обозначения потери сознания, отсутствия, небытия, верней, бытия нездешнего. Ничего нового. Эпилептикам это очень даже знакомо — приближение к самому краю, заглядывание

вниз, душа кренится, одна и та же мысль безумно, точно колокольный звон, колотится в голове: «Время придет к концу, и смерти больше не будет».

Он сжимает поручень крепче, встряхивает головой, отгоняя головокружение. Метафора — экий вздор! Есть только смерть, ничего больше. Смерть есть метафора небытия. Смерть есть смерть. Не следовало мне сюда приходить. Теперь до скончания дней эта картина будет призрачным видением стоять перед моими глазами: мерцающие под дождем кровли Санкт-Петербурга, вереница крошечных фонарей вдоль кромки воды.

Не разжимая стиснутых зубов, он повторяет про себя: «Не следовало приходить». Но все эти «не», так уже было с Ивановым, отказывают одно за другим. «Не следовало приходить, а потому следовало прийти. Ничего другого я не увижу, а потому увижу все». Какая-то болезнь — недомогание логики, быть может?

Фонарь его провожатый оставил внутри. Он остро чувствует близость молодого тела Нечаева, несомненно сильного, жилистого, неутомимого. В любой миг он может схватить его за поясницу и швырнуть через поручни в пустоту. Но кто на этой платформе он и кого его?

Он медленно поворачивается лицом к молодому человеку.

— Если Павла действительно привели сюда, чтобы убить, — говорит он, — я прощу вам то, что вы привели сюда и меня. Но если это чудовищная хитрость, если именно вы столкнули его отсюда, тогда, предупреждаю вас, прощения вам не будет.

Между ними от силы семь вершков. Луна прячется, струи дождя хлещут по ним, но Нечаев не

отступает от него ни на шаг, он в этом уверен. По всем вероятностям, противник его уже проиграл для себя эту партию от начала и до конца, со всеми ее вариантами: что ему ни скажи, удивить его не удастся. Если он только не бес, которому любые проклятья что гусю вода.

Говорит Нечаев:

— Вам следует стыдиться ваших слов. Павел Исаев был нашим товарищем. Мы стали ему семьей, когда другой у него не осталось. Вы укатали за границу, бросив его здесь. Вы утратили связь с ним, стали для него чужим человеком. А теперь являетесь неизвестно откуда и возводите дикие обвинения на единственных, какие у него были на свете, по-настоящему близких ему людей. — Нечаев потуже стягивает на горле плащ. — Знаете, кого вы мне напоминаете? Дальнего родственника, пришедшего с саквояжем на похороны, свалившегося с неба, чтобы предъявить права на наследство человека, которого он и в глаза никогда не видел. Вы не отец Павлу Александровичу, даже не отчим, вы его пятиюродный, если не шестиюродный брат.

Удар чувствительный. Он пытается протолкнуться мимо Нечаева в дверь, но противник его плотно перекрывает проход.

— Не затыкайте уши, Федор Михайлович, слушайте, что я говорю! Вы Исаева потеряли, а мы спасли. Как вам только в голову пришло, что мы могли убить его?

— Поклянитесь вашей бессмертной душой!

Еще не докончив фразы, он слышит в ней некий мелодраматический отзвук. Собственно, и вся эта сцена: двое мужчин на залитой лунным светом, повисшей над городом платформе сражаются

ся со стихиями, перекрикивают ветер, бросая обвиненья друг другу. — вся эта сцена фальшива и мелодраматична. Но где взять подлинные слова, услышав которые Павел улыбнется своей неторопливой улыбкой и одобрительно покивает?

— Я не клянусь тем, во что не верю, — холодно произносит Нечаев. — Довольно и здравого смысла, чтобы понять — я говорю правду.

— А с Ивановым как? Или здравый смысл должен уверить меня и в том, что в смерти Иванова вы также неповинны?

— Какого еще Иванова?

— Так называл себя несчастный, которому велено было следить за домом, где я живу. Где жил Павел. Куда заходила ваша подруга.

— А, полицейский шпион! Тот, с которым вы так подружились! С ним-то что еще стряслось?

— Найден мертвым, вчера.

— Да? Что ж, мы одного потеряли, и они одного потеряли.

— Одного потеряли? Вы равняете Павла с Ивановым? Так вы сводите ваши счета?

Нечаев качает головой.

— Не примешивайте сюда личного, это только запутывает дело. У полицейских агентов немало врагов. Народ их ненавидит. Смерть вашего Иванова нимало меня не удивляет.

— Я не был Иванову другом и занятий его не одобрял. Но это еще не основание для убийства! Что до «народа», так это попросту вздор! Не народ же сделал это! Народ не замышляет убийств. И следов за собою не замечает.

— Народ знает, кто его враги, и не льет слез, когда враги эти гибнут!

— Иванов не был народу врагом, он был человеком без копейки в кармане, вынужденным кормить семью, как десятки тысяч других людей. Если он не из народа, то кто же тогда?

— Вы отличнейше знаете, что душою он к народу не принадлежал. Называть его человеком из народа значит вести пустой разговор. Народ состоит из крестьян и чернорабочего люда. Иванов не имел с народом связей, он и завербован-то был не из народа. Это был человек, лишенный всяких корней, да еще и пьяница к тому же, — легкая добыча, такого ничего не стоило обратить против народа. Удивляюсь, как это вы, умный человек, попались на такой простенький обман.

— Умный или не умный, а ваших чудовищных доводов я не принимаю! Зачем вы привели меня сюда? Вы говорили, что собираетесь предъявить мне доказательства того, что Павла убили. Где они? Прийти сюда еще не значит получить доказательства.

— Разумеется. Но перед вами место, на котором совершено убийство, а правильное сказать, санкционированная государством казнь. Я привел вас сюда, чтобы вы сами его осмотрели. Теперь у вас есть возможность увидеть все своими глазами, и если вы по-прежнему отказываетесь мне верить, что ж, тем хуже для вас.

Он хватается за перила и смотрит *туда*, в стремительно падающую тьму. Между *здесь* и *там* пролегает вечность, бездна времени, которую разум охватить не способен. Между *здесь* и *там* Павел был еще жив, живет даже, нежели прежде. Всего напряженнее живем мы в минуты падения — вот истина, которая рвет его сердце!

— Не верите, так не верьте, — повторяет Нечаев.

«Верить» — еще одно слово. Что означает «верить»? Я верю в тело на мостовой внизу. Верю в кровь и в кости. Поднять с земли разбитое тело, обнять его, вот что такое «верить». Верить и любить — это одно и то же.

— Я верую в воскрешение, — говорит он. Слова приходят сами собой. Безумие, напыщенность ушли из его голоса. Выговаривая эти слова, вслушиваясь в них, он ощущает проблеск радости, вызванной не самими словами, но тем, как они возникают, — их словно бы произносит другой человек. «Павел!» — думает он.

— Что? — Нечаев придвигается ближе.

— Я верую в воскрешение тела и в жизнь вечную.

— Я не об этом вас спрашивал.

Ветер налетает с такой силой, что Нечаев вынужден кричать. Плащ хлопает, обвивая его, он крепче вцепляется в поручень, чтобы устоять на ногах.

— И все же я говорю вам именно это!

Хотя домой он приходит уже после полуночи, Анна Сергеевна ждет его. Удивленный ее заботой, благодарный, он рассказывает ей о встрече на набережной, о том, что говорил на башне Нечаев. Затем просит рассказать еще раз о ночи, в которую умер Павел. Совершенно ль она уверена, например, что Павел погиб на набережной?

— Так мне сказали, — отвечает она. — Причин же не верить сказанному я не имела. Павел вышел

под вечер, не сказавшись куда. На следующее утро меня известили, что он мертв и что мне необходимо прийти в больницу.

— А как они узнали, что известить следует именно вас?

— У него были в карманах какие-то документы.

— И?

— Я пошла в больницу, опознала его. Потом сообщила господину Майкову.

— Но какие объяснения они вам дали?

— Да никаких они мне объяснений не дали, это мне пришлось давать объяснения. Пришлось идти в полицию, отвечать на вопросы: кто он, где его семья, когда я его в последний раз видела, как долго он прожил у нас, с кем дружил — и так без конца! Мне сказали только, что, когда его обнаружили, он был уже мертв и что произошло это на Столярной набережной. Вот это все я и передала господину Майкову. А уж что он вам потом сообщил, я не знаю.

— Он прибегнул к выражению «несчастные обстоятельства». Несомненно, он уже переговорил к тому времени с полицией. «Несчастные обстоятельства» — так они обозначают самоубийство. Он известил меня телеграммой, так что возможности особенно распространяться о подробностях у него не было.

— Вот и я так это поняла. О случившемся то есть. Почему он это сделал, если это сделал он, я и посейчас понять не могу. Никакого предупреждения, ни одного намека на то, чему предстояло произойти.

— Еще один вопрос, последний. Каков был той ночью его костюм? Вы ничего в нем странного не заметили?

— Когда он уходил?

— Нет, когда вы увидели его... после.

— Не знаю. Не могу вспомнить. Его покрывала простыня. Не хочется мне об этом рассказывать. Но лицо его было совершенно спокойно. Я хочу, чтобы вы это знали.

Он от всего сердца благодарит ее. Тем разговор и заканчивается. Он уходит к себе, но уснуть не может. Вспоминает запоздавшую телеграмму Майкова (почему она шла столько времени?). Случилось так, что вскрыла ее Аня. Ане пришлось пойти в его кабинет и произнести слова, которые и этой ночью отдаются в его голове тупыми ударами колоколов, звонящих каждый во весь свой вес и силу: «Федя, Павел умер».

Он взял телеграмму, сам прочитал ее, тупо глядя в желтый листок, стараясь извлечь из французского слова какой-то иной, отличный смысл. Умер. Навсегда перешел из мира света в темницу прошлого. Без возврата. О похоронах уже позаботились. Счеты сведены, счета с жизнью. Книга закрыта. Отработанный материал, так называют это печатники.

Mesaventure — условное слово Майкова. А теперь вот Нечаев старается все повернуть по-своему! Он же склоняется, всею душой склоняется к тому, чтобы не верить Нечаеву, чтобы оставить в силе официальный вердикт. Но почему? Потому, что Нечаев ему омерзителен — его личность, его верования? Потому, что он хочет, даже в воспоминаниях, уберечь Павла от нечаевских лап? Или его побуждение бесчестней: упрямо противиться, сколько удастся, требованиям долга, долга добиться для сына справедливости?

Ибо он сознает в себе это безволие, для коего смерть Павла стала лишь внешней причиной. Он стареет, день за днем обращаясь в того, кем в конце концов без сомнения станет, — в старичка, который сидит в углу и за неимением иных занятий перебирает страницы своих утрат.

Это я умер и похоронен, думает он, а Павел жив и всегда будет жив. А то, что я изо всех сил стараюсь проделать ныне, так это понять, в каком обличье воротился я из могилы.

Он вспоминает сибирского собрата-каторжанина, высокого сутулого седого человека, который изнасиловал и задушил свою двенадцатилетнюю дочь. После его нашли сидящим с безжизненным телом в руках на берегу пруда, в котором плавали утки. Он сдался без борьбы, только очень просил, чтобы ему разрешили самому отнести мертвого ребенка домой и положить тело на стол — и проделал все это с великой, как сказывали, нежностью. Другие каторжане его избегали, и он ни с кем не разговаривал. По вечерам он с тихой улыбкой сидел на своей койке и, шевеля губами, читал про себя Евангелия. Можно было бы ожидать, что остракизм понемногу ослабнет, что истинное раскаяние его со временем примут на веру. Однако на деле его продолжали сторониться, не так из-за преступления, совершенного лет двадцать назад, как из-за этой улыбки, в которой чудилось нечто настолько лукавое, настолько безумное, что кровь стыла в жилах. С такой же улыбкой, говорили друг другу каторжане, он и дело свое совершил, и ничего-то в нем не изменилось.

Почему он вернулся к нему сегодня, этот образ человека у края воды с мертвым ребенком на ру-

ках? Ребенком, слишком сильно любимым, ставшим настолько близким, что отец не решился позволить ему жить дальше. Смертельная нежность, нежная смерть. Любовь, вывернутая наизнанку, точно рукавица, обнаруживающая безобразную подстежку свою. Чем же в таком случае подстегана любовь? Он вновь вызывает в памяти этот образ, внимательно вглядывается в лицо, не в закрытые в восторженном упоении глаза, но в едва шевелящиеся губы. Не изнасилование, но насилие хищника — так, стало быть? Отцы, которые пожирают детей, старательно обихаживают их, чтобы потом смаковать, точно деликатесы. *Delikatessen*.

Не этим ли и объясняется мстительный дух Нечаева: не тем ли, что глазам его предстали отцы во всей наготы их, разбойничья шайка отцов, не таящих своих appetitов? Что за человек старший Нечаев, Геннадий? Когда его достигнет известие о том, что у него нет больше сына, а это непременно случится, забьется ль он в угол, чтобы поплакать, или усмехнется тайком?

Он мотает головой, словно желая отогнать докучливых бесов. Что же пятнает чистоту его горя, что твердит, будто это и не горе совсем, а просто скорбная маска? Где-то внутри него сбилась с дороги истина. Словно по лабиринту мозга его да, собственно, и тела — по венам, костям, кишкам, прочим органам — блуждает в поисках света, в поисках выхода малое дитя. Как отыскать в себе заблудившегося ребенка, как позволить ему пропеть его грустную песенку?

«Костяная дудочка». Он вспоминает старую сказку о мальчишке, убитом, разрезанном на куски, разбросанном по лесу, мальчишке, берцовая кость

которого, когда задувал ветер, наигрывала скорбные песни, называя убийц своих по именам. Странно, но он одну за одной вспоминает сказки, слышанные когда-то от бабушки и не понятые, но ненароком зарытые в память, точно кость собакой, на будущее. Великое хранилище сказок, которое люди возвели во времена доисторические и которое сохранили поныне. Пусть Павел отыщет путь к моей берцовой кости, пусть сыграет на ней свою песенку! «Отец, почему ты бросил меня в темном лесу? Отец, когда ты придешь мне на помощь?»

Свеча пред иконой обратилась в лужицу воска, цветы увяли, поникли. Девочка все же соорудила алтарь да тут же и забыла о нем или его забросила. Или она догадалась, что Павел с ним больше не говорит, что он тоже сбился с пути и слышит теперь голоса одних только бесов?

Он выправляет фитиль, поджигает его, опускается на колени. Глаза Богородицы прикованы к младенцу, а тот глядит на него с доски, воздев укоризненный пальчик.

ПРОГУЛКА

За неделю, прошедшую со времени последней их близости, отношения между ним и Анной Сергеевной приобрели оттенок неловкой чинности. Ее манера держаться с ним стала столь скованной, что девочка, которая не сводила с них глаз и прислушивалась ко всем их разговорам, непременно должна была заключить, что мать ждет не дождется, когда он покинет их дом.

Ради кого поддерживали они эту внешнюю чуждость друг другу? Определенно не ради себя. Предназначаться она могла лишь для детских глаз, для глаз двух детей — присутствующего и отсутствующего.

И все же он жаждал вновь заключить ее в объятия. Да и в ее безразличие к нему не верил нисколько. Себя же ощущал собакой, которая ловит свой хвост, описывая все сужающиеся круги. Он предчувствовал, что, окажись он рядом с нею в спасительной темноте, члены его избавятся наконец от натуги и дух обретет свободу — дух, который ныне, казалось, был притянут узлами к телу в плечах, в бедрах, в коленях.

Жажду его порождало желание, не вполне проявившее себя в их первую ночь, но ныне, похоже, сосредоточившееся на запахе Анны. Его, как если б оба они были животными, влекло нечто,

улавливаемое им в воздухе, ее окружавшем: душок осени и в особенности каштанов. Он начал понимать жизнь животных да и малых детей, которых притягивают и отталкивают туман, ароматы, неуловимые дуновения. Он видел себя распростершимся на ней, точно лев, тычущимся мордой в волоски на ее шее, зарывающимся носом в подмышку, трущимся лицом меж ее ног.

Запора на двери его нет. Нетрудно вообразить, как в минуту, подобную этой, девочка забредает к нему в комнату и видит его в состоянии — тошнотворное слово, но единственно верное — похоти. Да и мало ли сомнамбул среди детей? Она может встать среди ночи и прийти к нему, даже не проснувшись. Передаются ли эти сокровенные запахи от матери к дочери? Обречен ли человек, любящий мать, возжелать и дочери тоже? Бессвязные мысли, бессвязные желания! Им предстоит уйти в землю с ним вместе, утаенными ото всех, кроме одного человека. Ибо Павел теперь обитает в нем и не спит никогда. Ему остается только молиться, чтобы слабость, некогда приведшая мальчика в отвращение, ныне породила одну лишь улыбку на губах его, улыбку подтрунивающую и снисходительную.

Может быть, и Нечаев, когда настанет его черед пересечь темную реку, избавится наконец от своей волчьей природы и снова научится улыбаться.

Итак, на следующий день он ждет против лавки Яковлева появления Анны Сергеевны. Едва увидев ее, он переходит улицу, наслаждаясь удивлением, с которым она на него взирает.

— Не согласитесь ли побродить немного со мной? — спрашивает он.

Она подтягивает к подбородку темную шаль.
— Не знаю. Матрена будет ждать.

Тем не менее они отправляются на прогулку. Ветер утих, воздух бодрящ и прохладен. Приятная сутолока окружает их на улице. Никто не обращает на них внимания. Они могли бы быть супружеской парой, каких немало.

Анна Сергеевна нынче с корзинкой, которую он у нее забирает. Ему нравится ее поступь, широкий шаг, руки, сложенные под грудь.

— Мне уже скоро в дорогу, — говорит он.

Она не отвечает.

Вопрос о жене его по-прежнему нечувствительно их разделяет. Упомянув об отъезде, он ощущает себя шахматным игроком, жертвующим пешку, которая, независимо от того, будет ли она принята или отвергнута, неминуемо приведет к новому, более сложному развитию партии. Всегда ли таковы романтические отношения между мужчиной и женщиной — он плетет свою интригу, она свою? Не в этом ли отчасти и состоит наслаждение — быть целью чужой интриги, ощущать, как тебя загоняют в угол и ласково принуждают к сдаче? И она, идущая рядом с ним, тоже по-своему умышляет против него?

— Я жду лишь завершения следствия. Мне нет даже нужды дожидаться судебного решения. Я только хочу получить бумаги. Все остальное значения не имеет.

— И тогда вы возвратитесь в Германию?

— Да.

Они достигают набережной. Переходя улицу, он берет ее под руку. Бок о бок они прислоняются к парапету.

— Не знаю, ненавижу ли я этот город за то, что он сделал с Павлом, — говорит он, — или ощущаю с ним еще более тесную связь. Потому что теперь он стал домом Павла. Павел никогда уже не покинет его, не отправится, как мечталось ему, путешествовать.

— Что за глупости, Федор Михайлович, — отвечает она, улыбаясь краешком губ. — Павел с вами. Вы его дом. Он в сердце вашем. Куда поедете вы, туда и он. Это всякому видно.

И она гантированной рукой легко касается груди его.

Сердце подскакивает, словно задетое кончиком ее пальца. Было ли то кокетством или жест этот шел из глубины ее души? Самое естественное сейчас — обнять ее. Он сознает, что взгляд его положительно пожирает ее милые губы, на которых еще мешкает улыбка. И она не уклоняется от этого взгляда. Не юная женщина. Не ребенок. Анна Сергеевна смотрит на него поверх распростертого меж ними тела Павла; и он, и она словно отбросили все сомнения прочь. Мелькает мысль: «Если бы только его не было здесь!» — и исчезает, словно свернув за угол.

У уличного лоточника они покупают для ужина пирожки с рыбой. Матрена открывает им, но, увидев спутника матери, поворачивается спиной и уходит. За столом она капризничает, настаивая, чтобы мать выслушала ее длинный, путаный рассказ о пустой ссоре, случившейся между нею и школьной подружкой. Когда он вставляет несколько слов, содержащих вполне безобидные доводы в пользу подружки, Матрена фыркает, не достаивая его от-
ветом.

Он знает, девочка что-то почувствовала и старается отстоять свои права на мать. И почему же нет? Это истинные ее права. «И все же, если бы только ее не было здесь!» Эту мысль он отогнать не пытается. Не будь здесь ребенка, он не стал бы тратить слов. Он задул бы свет, и в темноте они снова отыскивали б друг дружку. И кровать у них была бы пошире, вдовья кровать, протомившаяся по мужскому телу — сколько, она сказала? — четыре года.

Его посещает грубое в своей чувственности видение Анны Сергеевны. Нижняя юбка задрана так высоко, что оголяет ей груди. Он лежит между ног ее, стиснутый долгими, бледными бедрами. Лицо Анны отвернуто, глаза закрыты, дыхание тяжело. И хоть мужчина, совокупляющийся с нею, это он сам, картина видится ему такой, точно он стоит пообок кровати. Главное в картине — бедра: руки его обвивают их, он прижимает их к своим бокам.

— Ну что же ты, доедай, — говорит Анна Сергеевна дочери.

— Не хочу я есть, и горло болит, — ноет Матрена.

Еще с минуту девочка ковыряется в тарелке, затем отталкивает ее.

Он встает.

— Спокойной ночи, Матреша. Надеюсь, завтра тебе станет лучше.

Девочка не затрудняет себя ответом. Он уходит, оставляя поле боя за нею.

Источник видения ему понятен — открытка, несколько лет тому купленная в Париже и уничтоженная вместе с прочими его эротического характера приобретениями в пору женитьбы на Ане. Длинноволосая женщина лежит под усыатым

мужчиной. «Цыганская любовь», гласит сделанная вычурными буквами надпись. Впрочем, у женщины на картинке пухлые ноги и дряблое тело, а на лице ее, повернутом к мужчине (опирающемуся на распрямленные руки), никакого выражения не читается. Бедра Анны Сергеевны, Анны Сергеевны его воспоминаний, худощавее и сильнее, и в пожатии их присутствует некая настоятельность, относимая им к тому, что она не девочка, но взрослая, полная желаний женщина. Взрослая и потому открытая (это слово не пожелало уступить место никакому иному) смерти. Тело, жаждущее новых впечатлений, ибо знает, что жить ему не вечно. Мысль эта возбуждает, но и тревожит его. Бедрам ее не важно, кто зажат между ними: мужчина на картинке, глядящий на нее несколько сверху и сбоку, одновременно и он, и не он.

На кровати его стоит прислоненное к подушке письмо. На один безумный миг он решает, что это письмо от Павла, занесенное сюда неведомым духом. Но нет, почерк детский. «Я хотела нарисовать Павла Алесксандровича, — читает он (Матрена ошиблась в написании отчества), — но у меня не получилось. Если хотите, можете поставить его на алтарь. Матрена». На обороте немного смазанный карандашный портрет молодого человека с высоким лбом и полными губами. Рисунок грубоват, девочка, видимо, и представления не имеет о создающей тени штриховке, но рот и особенно открытый взгляд переданы ею с несомненной верностью.

— Да, — шепчет он, — конечно поставлю. — Он подносит рисунок к губам, затем прислоняет его к подсвечнику и зажигает новую свечу.

Когда час спустя в дверь стучает Анна Сергеевна, он все еще глядит на пламя.

— Входите. Присядьте.

— Нет, не могу. Матреша беспокойна — боюсь, заболела.

Тем не менее она все же присаживается на кровать.

— Они заставляют нас оставаться добродетельными, наши детишки, — говорит он.

— Добродетельными?

— Пекутся о нашей нравственности. Удерживая нас в отдалении друг от друга.

Как, однако ж, приятно, когда их не разделяет обеденный стол. Да и пламя свечи дышит каким-то мягким уютом.

— Мне жаль, что вам приходится уезжать, — говорит она, — но, возможно, так для вас лучше — оставить этот печальный город. Да и для семейства вашего тоже. Ему, должно быть, грустно без вас. А вам без него.

— Я возвращусь другим человеком. Жена меня не узнает. Или решит, что узнала, и ошибется. Полагаю, нас ожидают трудные времена. Я стану думать о вас. Но кем вы будете мне представляться? — вот вопрос. Жену ведь тоже зовут Анной.

— Мне это имя досталось раньше, чем ей. — Ответ ее неожиданно резок, лишен всякой игривости. И он в который раз понимает: если он полюбил эту женщину, то частью и оттого, что она уже немолода. Она перешла за черту, к которой жене его еще предстоит приблизиться. Она может быть милее ему, может не быть, но она безусловно ближе.

Чувственное напряжение возвращается, еще и усилясь. Всего неделю назад они лежали в этой

постели, держа друг друга в объятиях. Возможно ли, что она не думает об этом сейчас?

Потянувшись к ней, он кладет руку ей на бедро. Она наклоняет голову к лежащему у нее на коленях свежевывымытому белью. Он придвигается ближе. Обхватив двумя пальцами ее открытую шею, притягивает лицо ее к своему. Она поднимает взгляд: на миг ему кажется, будто он глядит в кошачьи глаза, настороженные, страстные, жадные.

— Мне нужно идти, — шепчет она. Изогнувшись, она освобождается от его руки и исчезает.

Он страстно желает ее. Более того, он желает обладать ею не в этой узкой детской кровати, но на стоящем в соседней комнате вдовьем ложе. Он представляет себе, как она лежит сейчас рядом с дочерью, как блестят в темноте ее открытые глаза. Она принадлежит, впервые вдруг понимает он, к тем женщинам, которых он в своих книгах никогда не описывал. Женщины, которых он изображал, были не лишены определенной силы, но то была сила внешняя, нервическая. В их чувствах присутствовала напряженность, электричество, непосредственность — и поверхностность. Между тем как с нею он входит в кровоточащее, инстинктивное тело, ощущения, чувства которого зарождаются в самой его глубине.

Можно ли привить эту особенность другой женщине или развить ее в ней? В его жене, например? Или теперь, обнаружив эту повадку чувств в Анне Сергеевне, он сможет отыскивать ее и в других?

Какое предательство!

Будь он поувереннее в своем французском, он мог бы излить это докучное возбуждение в книге особого рода, в книге, которой в России не напе-

чатая никогда; он мог бы написать ее быстро, за две-три недели, даже не прибегая к помощи переписчицы, — десять листов, три сотни страниц. Ночная книга, в которой все крайности были бы представлены без соблюдения каких-либо рамок и границ. Книга, связать которую с ним никто и никогда бы не смог. Рукопись, присланная из Дрездена в Париж, в «Paillard», тайным образом напечатанная и продаваемая из-под прилавка в левобережной части города. «Мемуары русского дворянина». Книга, которой она, Анна Сергеевна, истинная ее вдохновительница, никогда не увидит. В одной из глав ее родовитый мемуарист читает вслух юной дочери своей любовницы рассказ о совращении девочки, и по мере чтения становится все более очевидно, что он-то совратителем и был. Рассказ полон интимных подробностей, недомолвок, однако слушательницу он не совращает, напротив, отпугивает, но насылает ей сновидения, которые заставляют ее настолько усомниться в собственной чистоте, что три дня спустя она в отчаянии отдается ему, отдается самым постыдным способом, до которого не додумалась бы ни единая девочка, не будь история совращения и падения глубоко впечатлена в ее сознании загодя.

Воображаемые мемуары. Мемуары воображения.

Не в этом ли и кроется ответ на вопрос, который он себе задает? Не в этом ли свобода, которой она его наделила: свобода написать книгу, пропитанную злом? И для чего? Чтобы избавиться от зла или чтобы порвать с добром окончательно?

Ему приходит в голову (весь дом уже погрузился в молчание), что ни в одной из этих пространных

грез он ни разу не вспомнил о Павле. И Павел возвращается, жалобно постанывая, бледный, ищущий, где приклонить голову! Бедный ребенок! Пиршество ощущений, его наследство, отнято у него! Лежа в постели Павла, он не в силах сдержать в себе дрожь смутного торжества.

По утрам квартира обычно остается в полном его распоряжении. Но сегодня Матреша, раскрасневшаяся, сухо капляющая, дышащая с трудом, в школу не пошла. Присутствие девочки еще более обыкновенного затрудняет для него занятия сочинительством. Он ловит себя на том, что прислушивается к шлепанью ее босых ног в соседней комнате, а минутами готов поклясться, что чувствует ее взгляд, сверлящий ему спину

В полдень дворник приносит повестку. Он сразу признает серую бумагу и красный сургуч. Ожидание кончилось: его уведомляют о необходимости явиться в кабинет пристава следственных дел П. П. Максимова по делу П. А. Исаева.

Со Свечной он отправляется на вокзал, заказывает место в поезде, потом идет в полицейский участок. В приемной полно народу, он называет свое имя письмоводителю и погружается в ожидание. Часы начинают отбивать четыре, и при первом же их ударе письмоводитель кладет перо, потягивается, гасит лампу и принимается выпроваживать еще оставшихся в приемной просителей.

— Позвольте, что это значит? — протестует он.

— Нынче пятница, закрываемся раньше, — отвечает письмоводитель. — Приходите с утра.

В шесть он ждет у лавки Яковлева. Увидев его, Анна Сергеевна пугается.

— Матреша?.. — спрашивает она.

— Когда я уходил, спала. Я заглянул в аптеку, купил капли от кашля, — он протягивает ей коричневого стекла пузырек.

— Спасибо.

— Меня опять вызывали в полицию насчет бумаг Павла. Надеюсь, завтра все решится.

Некоторое время они шагают в молчании. Анна Сергеевна, похоже, что-то обдумывает. Наконец она спрашивает:

— Есть ли какая-нибудь особенная причина, по которой вам необходимо получить эти бумаги?

— Удивляюсь вопросу вашему. Ведь от Павла более ничего не осталось. Что же может быть важнее для меня, чем эти бумаги? Они — его слово, ко мне обращенное. — И помолчав, он добавляет: — Вы знали, что Павел писал рассказ?

— Рассказы? Да, знала.

— В том, о котором я говорю, описан беглый каторжанин.

— Этот мне не знаком. Он иногда читал нам с Матрешей написанное, хотел услышать наше мнение. Но про каторжника не читал.

— Я не знал, что существуют другие рассказы.

— Существуют. И стихи — но их он нам показывать не решался. Должно быть, полиция и их забрала со всем остальным. Они долго пробыли в его комнате, все что-то искали. Я вам не говорила. Поднимали даже доски в полу и заглядывали под них. И забрали с собой каждый клочок бумаги.

— Так, стало быть, этим Павел и занимался — писал?

Она бросает на него странный взгляд.

— Чем же еще, по-вашему?

Он успевает сдержать едва не слетевший с губ ответ.

— Отец писатель, разве можно было ожидать иного? — продолжает она.

— Умение писать по наследству не передается.

— Возможно, и нет. Не мне судить. Он, впрочем, и не намеревался зарабатывать писательством на жизнь. Быть может, он видел в этом способ сблизиться с отцом.

Он горестно взмахивает рукой. «Я его и без рассказов любил бы!» — думает он. Но говорит другое:

— Отцовская любовь дается не в награду.

Анна Сергеевна явно колеблется, прежде чем произнести следующие слова:

— Я должна вас предупредить кое о чем, Федор Михайлович. У Павла было что-то вроде культа отца — Александра Исаева, хочу я сказать. Я бы не стала о нем упоминать, если б не думала, что вы можете обнаружить следы его в этих бумагах. Будьте терпимее. Дети склонны романтизировать своих отцов. Даже Матрена...

— Романтизировать Исаева? Исаев был пьяницей, ничтожным человеком и дурным мужем. Его жена, мать Павла, под конец видеть его не желала. Она бы ушла от него, если б он прежде не умер. Как можно романтизировать такого человека?

— Да так и можно, нужно лишь окутать его некой дымкой. Вы же, если позволите, стояли к Павлу слишком близко.

— Лишь потому, что именно мне приходилось растить его день за днем. Я сделал его сыном моим, когда все остальные его покинули.

— Не преувеличивайте. Родители не покинули его, они умерли. И потом, если вы имели право выбрать его в сыновья, зачем же лишать его права выбрать себе отца?

— Да затем, что он мог найти кого-нибудь получше Исаева! Это становится болезнью нашего века: молодые люди отвращаются от родителей, от домов своих, от воспитателей, потому что те им больше не по сердцу! Им, похоже, ничего уже не по сердцу, разве вот быть сыновьями и дочерьми Стеньки Разина с Бакуниным!

— Глупости. Не Павел покинул свой дом. Это вы покинули Павла.

Наступает сердитое молчание. Когда они доходят до Гороховой, он, извинившись, расстаётся с ней.

Он прохаживается туда-сюда вдоль по набережной, размышляя о том, что сказала Анна Сергеевна. Что говорить, он выказал себя со стороны отчасти постыдной и теперь негодует на нее за то, что это произошло у нее на глазах. И одновременно стыдится мелочности, проступающей в этом негодовании. В который раз он впал в привычное нравственное неряшество — до того уже привычное, что оно его и не смущает больше, что и еще стыднее. Впрочем, и нечто иное беспокоит его, будто острие гвоздя, едва-едва высунувшегося из подошвы, нечто такое, чего он не может или не желает ясно определить.

Когда он возвращается в квартиру, в воздухе еще витает напряжение. Матреша встала. Она в накинутом прямо на ночную рубашку пальто матери, но при этом боса. «Мне скучно!» — снова и снова твердит она ноющим тоном. На него она

внимания не обращает. И хоть и садится с ними за стол, но ничего не ест. Кисленький запашок исходит от нее, она шмыгает носом и время от времени раздражается сухим кашлем.

— Тебе не следовало вставать, голубушка, — мягко замечает он.

— А вы мне не указывайте, вы мне не отец! — выпаливает она.

— Матреша! — одергивает девочку мать.

— Так не отец же! — повторяет она и умолкает, надувшись.

Он уже лежит в кровати, когда входит, пристукинув дверь, Анна Сергеевна.

— Как она? — приподнявшись в постели, негромко спрашивает он.

— Я дала ей немного вашего лекарства, вроде успокоилась. Конечно, не следовало выпускать ее из постели, но она такая своевольница, ее не удержишь. Я пришла извиниться за сказанное мною. И спросить, каковы ваши завтрашние планы.

— Извиняться вам нужды нет. Это я кругом виноват. Я взял билет на вечерний поезд. Но это можно переменить.

— Зачем? Завтра вам отдадут бумаги. К чему же что-то менять? К чему оставаться здесь дольше необходимого? Не хотите же вы, в конце концов, обратиться в вечного жильца. Есть, кажется, книга с таким названием.

— «Вечный жилец»? Нет, не припомню. А изменить можно любые предуготовления, включая и завтрашние. Ничто ведь не окончательно. Впрочем, в нынешнем случае это все не в моей власти.

— А в чьей же тогда?

— В вашей.

— В моей? Ничуть! Ваши предуготовления — ваша и власть. Моей доли в них нет. Ну что же, давайте прощаться. Утром я вас не увижу. Мне придется подняться пораньше, завтра базарный день. Ключ можете оставить в двери.

Вот и настал тот самый миг. Он набирает побольше воздуха в грудь. В голове совершенно пусто. Он начинает говорить, отдаваясь на милость словам, возникающим в этой пустоте, следуя за ними туда, куда они ведут его.

— На пароме, когда вы провожали меня к могиле Павла, — говорит он, — я увидел, как вы с Матрешей стоите, глядя в туман, у перил — помните, какой туманный был день? — и сказал себе: «Она вернет мне его. Она... — он прерывается, чтобы еще раз набрать воздуха, — она проводница душ». Я не совсем такими словами подумал тогда, но теперь уж знаю, что слова эти верные.

Анна Сергеевна смотрит на него безо всякого выражения. Он берет ее ладонь в свои.

— Мне нужно, чтобы Павел вернулся, — говорит он. — Вы должны мне помочь. Я хочу поцеловать его в губы.

Еще произнося эти фразы, он сам улавливает звучащее в них безумие. Похоже, он способен впадать в помешательство и выпадать из него с легкостью мухи, снующей взад-вперед сквозь открытую форточку.

Она напрягается, готовясь вырваться и убежать. Он крепче стискивает ей руку, не отпуская ее.

— Это правда. Именно такой я вас представляю себе. Павел поселился здесь не случайно. Где-то

было записано, что отсюда его должны увести... в ночь.

Он и верит и не верит тому, что говорит. Мелькает обрывок воспоминания о картине, виденной в какой-то галерее: женщина в темном строгом платье стоит у окна, рядом с нею дитя, оба смотрят в звездное небо. Хотя золоченые завитушки на раме он помнит живей, чем саму картину.

Ладонь ее безжизненно лежит в его ладонях.

— У вас есть эта власть, — продолжает он, все еще следуя за словами, как за путеводным огнем, и не зная, куда они его завлекут. — Вы способны вернуть его. На минуту, на одну лишь минуту.

Он вспоминает, какой сухой она показалась ему при первой их встрече. Точно мумия: сухие косточки, обернутые в саван, который, стоит его коснуться, рассыплется в пыль. Когда она наконец открывает рот, голос ее исходит из горла словно бы со скрипом.

— Вы слишком сильно любите его, — говорит она, — и уж наверно снова увидите с ним.

Он выпускает руку, и Анна Сергеевна подтягивает ее к себе, точно костяную цепочку. «Зачем вы надо мною смеетесь?!» — хочет сказать он.

— Вы же художник, мастер, — произносит она. — Вам, а не мне, и возвращать его к жизни.

«Мастер». Для него это слово связано с металлом — с ковкой мечей, с литьем колоколов. Мастер-кузнец, литейный мастер. «Мастер жизни» — странное выражение. Но он готов обдумать его. Он готов принять любое слово, каким бы странным оно ни казалось, если только есть шанс, что в нем таится анаграмма Павла.

— Какой уж там мастер, — говорит он. — Я расколот. На что годится треснувший колокол? Треснувший колокол уже не починишь.

Это, конечно, верно. Но в то же время он вспоминает один из колоколов Троицкого собора в Сергиевой лавре, треснувший еще до времен Екатерины. Его не сняли, не отправили в переплавку. Он так и звонит над городом каждый день. В народе его зовут деревянной ногой святого Сергия.

Теперь в ее голосе слышится раздражение.

— Я сочувствую вам, Федор Михайлович, — говорит она, — но не забывайте же, что вы не первый из родителей, потерявших свое дитя. Павел прожил двадцать два года. Подумайте о других, о тех, кто скончался в младенчестве.

— И?..

— И поймите, что утрата — это правило, а не исключение. И спросите у себя, по ком вы скорбите — по Павлу или по себе самому?

Утрата. Между ним и нею словно ложится ледяная пустыня.

— Я не утратил его, Павел не утрачен, — сквозь стиснутые зубы выдавливает он.

Анна Сергеевна пожимает плечами.

— Если он не утрачен, то вы должны знать, где он теперь. Здесь его определенно нет.

Он обводит взглядом комнату. Нагромождение теней в углу — не следы ли это проваевавшего здесь призрака?

— Человек не может не оставить хоть малой части своей в том месте, где жил, — шепчет он.

— Нет, конечно, не может. О том я вам давеча и твердила, еще днем. Но только оставленное им не в этой комнате находится. Поговорите с Матреной.

Помиритесь с нею перед отъездом. Она очень была дружна с вашим сыном. Если он и оставил какой-то оттиск, то уж, верно, на ней.

— А на вас?

— Я сильно к нему привязалась, Федор Михайлович. Он был добрым и великодушным молодым человеком. И то, что он приходился вам сыном, жизни его не облегчало. Он был одинок, неуверен в себе, старался найти собственный путь. Я все это понимала. Но я не принадлежу к его поколению. Разговаривать со мной так, как с Матреной, он не мог. С нею он вновь становился ребенком. — Она замолкает, но ненадолго. — Мне часто казалось — позвольте мне упомянуть об этом, раз уж мы говорим откровенно, — что Павел слишком рано расстался с детством, не успев наиграться. Не знаю, приходилось ли вам думать об этом. Возможно, нет. И все же меня и теперь удивляет, что вы сердиты на него за такой пустяк, как сон до позднего часа.

— Что же тут для вас удивительного?

— Да то, что я ожидала найти в вас, в художнике, больше сострадания и сочувствия. Одни дети мечтают во сне, другие дожидаются дня, чтобы предаться мечтаниям. Следует дважды подумать, перед тем как будить спящего ребенка. Когда Павел оставался с Матреной, ребенок, скрытый в нем, получал возможность выйти наружу. Теперь я рада, что это происходило, рада, что Павел этой возможности не упустил.

Он видит вдруг семилетнего Павла в клетчатом сером пальто, в треухе, в великоватых ему сапожках — мальчик прыжками несется по снегу и что-то кричит как очумелый. В самом углу кар-

тины вырисовывается что-то еще, от чего он спешит отмахнуться.

— Мы с Павлом впервые свиделись в Семипалатинске, когда мальчику уже было семь лет, — говорит он. — Он не питал ко мне особой приязни. Я был для него чужим человеком, к которому он и мать его переехали на жительство. Человеком, отнявшим у него мать.

Мать овдовела. Сын вдовы. Вдовый сын.

Он не успевает еще договорить, как то, от чего он отмахнулся было, упрямо возвращается — существо, которое он может обозначить лишь как тролля, уродливая маленькая тварь, рыжеволосая, рыжебородая, ростом не выше трех-, четырехлетнего мальчугана. Павел еще скачет по снегу, крича и пристукивая, точно жеребенок, коленкой о коленку. Троль же стоит в сторонке и смотрит. На нем кожаная жилетка цвета ржавчины, шея открыта, похоже, он (или оно) и стужи-то не ощущает.

— ...для ребенка трудно... — Она тем временем говорила что-то, им наполовину пропущенное.

Кто эта мерзкая тварь? Он пристально вглядывается в лицо. И с внезапным потрясением узнает его. Ноздреватая кожа, оспенные шрамы, от холода вздувшиеся и посиневшие, жидкая борода, из этих оспин растущая, — снова Нечаев, умалившийся, добравшийся до Сибири, чтобы омрачить начальную пору сына его! Что означает это видение? Он издает тихий стон, и Анна Сергеевна при- молкает на полуслове.

— Простите, — просит он.

Но она обиделась.

— Вам, конечно, нужно еще уложиться, — говорит она и, не слушая его извинений, выходит.

Его проводят в тот же кабинет. За столом, однако же, сидит другой полицейский чиновник, не Максимов. Не представившись, этот другой указывает ему на стул.

— Имя ваше? — спрашивает чиновник.

Он называется.

— Я полагал, что увижу господина Максимова.

— Дойдет черед и до Максимова. Занятие?

— Писатель.

— Писатель? Какого рода писатель?

— Пишу книги.

— Какого рода книги?

— Романы. Рассказы.

— Для детей?

— Нет, то есть не специально для детей. Хотя надеюсь, что и дети их смогут читать.

— Ничего неподобающего?

Неподобающего? Он задумывается.

— Ничего такого, что способно повредить ребенку, — отвечает он наконец.

— Хорошо.

— Впрочем, во всяком сердце есть темные уголки, — с неохотой добавляет он. — Только не всякий об этом знает.

Чиновник впервые с начала их разговора отрывает глаза от бумаг.

— То есть это вы что же хотите сказать?

Он моложе Максимова. Помощник его?

— Ничего. Ничего.

Чиновник кладет перо.

— Хорошо, займемся покойным Ивановым. Иванова вы знать изволили?

— Не понимаю. Я полагал, что меня вызвали сюда в связи с бумагами сына.

— Все в свое время. Итак, Иванов. Когда вы с ним познакомились?

— Первый наш разговор произошел с неделю назад примерно. Он слонялся у дверей дома, в котором я нынче стою.

— Шестьдесят третий номер по Свечной.

— Шестьдесят третий номер по Свечной. Было очень уж холодно, и я предложил ему кров. Он провел ночь в моей комнате. На другой день мне сказали, что неподалеку от нас совершилось убийство и что подозревают Иванова. Лишь впоследствии...

— Подозревают Иванова? В убийстве? Должен ли я так вас понять, что вы сочли Иванова убийцей? Откуда вы это взяли?

— Позвольте же мне закончить! Подобного толка слухи ходили по нашему дому, или, может быть, девочка, которая пересказала их мне, что-то напутала, не знаю. Да и какая разница, в сущности, если он уже мертв? Меня удивило и напутало, что жертвой оказался человек вроде него. Он был совершенно безвреден.

— Однако ж он был не тем, за кого себя выдавал, не так ли?

— Вы хотите сказать, не нищим?

— Вот-вот, нищим-то он все-таки не был?

— Так это ведь с какой точки взглянуть: можно сказать, что не был, а можно, что и был.

— Как-то туманно у вас все выходит. Вы заявляете, будто не знали о занятиях Иванова? Оттого вы и удивились?

— Я удивился тому, что кто-то счел возможным рискнуть своей бессмертной душой, чтобы убить безвредное ничтожество.

Чиновник сардонически глядит на него.

— Ничтожество — вы, стало быть, так его похристиански аттестуете?

В эту минуту в кабинет торопливо входит Максимов. Под мышкой у него несколько дел, перевязанных вместе розовой тесьмой. Он роняет дела на стол, извлекает носовой платок, утирает лоб.

— И жара же у нас! — бормочет он, затем, обращаясь к чиновнику, произносит: — Благодарствуйте. Закончили?

Чиновник, не отвечая, собирает свои бумаги и покидает кабинет. Пыхтя, отирая лицо, Максимов устраивается в кресле.

— Простите великодушно, Федор Михайлович. Так вот, касательно бумаг пасынка вашего. Боюсь, кое-что нам придется оставить у себя, именно список людей, назначенных для ликвидации, как изволят выражаться наши друзья, поскольку допустить широкое хождение его, — и я уверен, тут вы со мной согласитесь, — никак невозможно-с, потому что паника поднимется чрезвычайная. Помимо того, список этот в должное время станет уликой в деле Нечаева. Что же до прочих бумаг,

они ваши, мы с ними покончили, весь, так сказать, мед из них высосали.

И однако ж, прежде чем я возвращу их вам, я хотел бы сказать еще кое-что, ежели вы окажете честь меня выслушать.

Ежели б я почитал себя только за должностное лицо, столкнувшееся с вами на путях, так сказать, исполнения долга моего, я бы вернул вам эти бумаги без долгих разговоров. В настоящем, однако, случае я не просто должностное лицо, но и, коли позволите прибегнуть к подобному слову, доброжелатель, человек, принимающий интересы ваши близко к сердцу. И как такового меня тревожат серьезнейшие сомнения касательно передачи вам этих бумаг. Позвольте же мне их высказать. Вас ожидают мучительные открытия — мучительные и ненужные. Если бы вы сочли возможным последовать смиренным указаниям моим — я мог бы назвать страницы, которых вам лучше не касаться. Однако, зная вас так, как я знаю, — я разумею знание, приобретаемое о писателе при чтении книг его, знание, так сказать, интимное, но имеющее свои границы, — я готов предположить, что усилия мои возьмуют действие противоположное, а именно: раззадорят ваше любопытство. А потому скажу лишь следующее: не вините меня в том, что я прочел эти бумаги — в конце концов, таков долг, возложенный на меня государем, — и не сердитесь за то, что я правильно предсказал (если, конечно, я правильно предсказал) впечатление, которое они на вас произведут. Ежели дальнейшие события не примут какого-либо причудливого оборота, нам с вами свидеться более не придется. Нет решительно никаких причин, запрещающих вам сказать

себе, что я свое существование прекратил — точно так, как перестает существовать книжный персонаж, стоит только закрыть книгу. На мой же счет можете быть уверены, я — молчок. Никто и никогда не услышит от меня ни слова об этом прискорбном эпизоде.

Произнеся это, Максимов средним пальцем правой руки подвигает через стол на редкость пухлое дело с бумагами Павла.

Он подымается, берет бумаги, кланяется и уж было выходит, когда Максимов вновь заговаривает с ним:

— С дозволения вашего я задержал бы вас еще на минуту по делу несколько иному: вам, случаем, не довелось ли встретить кого-либо из нечаевской шайки здесь, в Петербурге?

Иванов! Нечаев! Вот, стало быть, причина, по которой его сюда вызвали! Павел, бумаги, покайнные речи Максимова — все это лишь обходные маневры, приманка!

— Не понимаю, к чему клонится вопрос ваш, — холодно отвечает он. — И не вижу, по какому праву вы задаете его или ожидаете ответа.

— Да ни по какому! На этот счет можете быть спокойны — вас ни в чем не винят, Я просто-напросто задал вопрос. Что до направления его, так о нем догадаться нетрудно. Я рассудил, что, побеседовав со мною о пасынке, вы сочтете не столь уже затруднительным поговорить и о Нечаеве. Ибо при давешней нашей беседе мне показалось, что вы позволили себе высказать нечто, имеющее смысл двойственный. Слова, которые, если можно так выразиться, прикрывают другие слова. Вы как на это смотрите? Или я ошибаюсь?

— Какие слова? И что они прикрывают?

— Про то вам лучше знать.

— Вы ошибаетесь. Я не изъясняюсь загадками. Всякое слово, мной сказанное, значит то, что значит. Павел — это Павел, не Нечаев.

С этим он поворачивается и уходит, и Максимов больше не окликает его.

Кривыми улочками Московской части он несет бумаги к Свечной, к шестьдесят третьему номеру, по лестнице на третий этаж, в комнату, закрывает дверь.

Он развязывает тесьму. Сердце неприятно колотится. В спешке его положительно присутствует нечто безвкусное. Он словно бы переносится назад, в отрочество, в долгие, потные вечера, проводимые в спальне друга, Альберта, над книгами, которые Альберт тишком таскал с полок своего дяди. Тот же страх оказаться пойманным на месте преступления (сам по себе упоительный), та же страстная сосредоточенность.

Помнится, Альберт показал ему двух совокуплявшихся мух, самца на спинке самки. Альберт держал их в сложенной чашкой ладони. «Смотри», — сказал Альберт и, захватив пальцами одно из крылышек самца, слегка потянул. Крылышко оторвалось. Муха этого даже не заметила. Он оторвал и второе крыло. Самец со странной на вид, какой-то лысой спиной продолжал свое занятие. И Альберт с искаженным отвращением лицом швырнул мух на пол и раздавил.

Он способен представить себя глядящим в глаза мушиного самца, у которого отрывали крылья: он совершенно уверен, что тот даже не сморгнул бы, даже и его самого не заметил бы.словно на

время соития душа самца перешла в самку. Мысль эта заставляет его содрогнуться, порождая желание перебить всех мух, какие есть на свете.

Ребяческая реакция на действия, которых он не понимал, которых страшился, потому что все вокруг, перешептываясь, ухмыляясь, казалось, давали ему понять, что настанет день, когда и ему хочешь не хочешь, а придется их совершать. Мальчика подмывало закричать: «Не хочу, не хочу!». «Да чего не хочешь-то? — ответили бы, приобретая вдруг вид удивленный и недоуменный, те, кто за ним наблюдал. — Господи Боже, о чем он толкует, этот странный мальчишка?»

Пухлое дело вмещает дневник в кожаном переплете, пять толстых школьных тетрадей, двадцать, не то двадцать пять сколотых вместе разрозненных листов, пачку перевязанных бечевкой писем и несколько печатных брошюр — статейки Бланки и Ишутина, пространную статью Писарева. Разрозненные фрагменты «De officiis»¹ Цицерона, извлечения с французским переводом. На последней странице две надписи незнакомой рукой: «Salus populi suprema lex esto»², и ниже, чернилами посветлее: «Talis pater qualis filius»³.

Послание, вернее, послания: но от кого и кому?

Он берется за дневник и, не читая, двумя пальцами, точно карточную колоду, прокручивает страницы. Вторая половина дневника пуста. Но листов и без того исписано немало. Он заглядывает в начало, проверяя первую дату. 29 июня 1866,

¹ «О законах» (лат.).

² Благо народа пусть будет высшим законом (лат.).

³ Каков сын, таков и отец (лат.).

день рождения Павла. Видимо, дневник был получен в подарок. Но от кого? Он не может припомнить. 1866-й памятен ему лишь в связи с Аней как год, в который он повстречал и полюбил свою будущую жену. Год, в который ему было не до Павла.

Словно пробуя слишком горячее блюдо, настоженный, готовый отпрянуть, он принимается за чтение первой записи. Отчет, и довольно тяжеловесный, о том, как Павел провел день. Слог человека, опыта в ведении дневника не имеющего. Впрочем, ни обвинений, ни укоров. С чувством облегчения он закрывает дневник. Как буду в Дрездене, обещает он себе, выберу время и прочту от начала до конца.

Что до писем, это письма от него. Он разворачивает самое недавнее, последнее перед смертью Павла. «Я послал Аполлону Григорьевичу¹ пятьдесят рублей, — читает он. — Это все, что мы сейчас можем себе позволить. Пожалуйста, не проси у А. Г. большего. Нужно учиться жить по средствам».

Последние его слова, обращенные к Павлу, и какие же мелочные! И Максимов прочел их! Не диво, что он остерегал меня от чтения! Как унижительно! Его охватывает желание сжечь это письмо, вычеркнуть его из истории.

Он отыскивает рассказ, который читал ему вслух Максимов. Максимов был прав: фигура Сергея, юного героя рассказа, сосланного в Сибирь за то, что он возглавил студенческий бунт, решительно неудачна. Но рассказ, оказывается,

¹ Автор, похоже, спутал Аполлона Григорьева с Аполлоном Николаевичем Майковым. Ошибка для человека нерусского простиительная.

длинней, чем пытался уверить его Максимов. Несколько дней, проходящих после убийства мерзавца помещика, Сергей и его Марфа спасаются бегством от преследующих их солдат, укрываясь с помощью крестьян, которые прячут их, отвечая на расспросы преследователей с недоумевающей тупостью, то в хлеву, то в амбаре. Поначалу они в товарищеской невинности спят бок о бок, но понемногу ими овладевает любовь, переданная не без чувства, не без убедительности. Павел определенно подбирался к описанию страстной сцены. Одна перечеркнутая жирной чертой страница содержит по-юношески пылкую речь Сергея, в которой он признается Марфе, что та стала для него не просто соратницей в борьбе, но овладела и сердцем его; тут же содержится куда более любопытный эпизод, в котором он рассказывает ей о своем одиноком, без братьев и сестер, детстве, об отроческой скованности, охватывавшей его в присутствии женщин. Эпизод завершается запинаящимся признанием Марфы в ответной любви: «Ты можешь... можешь...» — говорит она.

Он пролистывает несколько страниц, возвращаясь назад. «Я рос без родителей, — говорит Марфе Сергей. — Отец мой был дворянин, сосланный в Сибирь за сочувствие революционерам. Он умер, когда мне исполнилось семь лет. Мать снова вышла замуж. Новый ее муж меня не любил. Едва я достиг положенного возраста, он сбыв меня в кадетское училище. В классе я был самым маленьким — тогда я и научился отстаивать свои права. Впоследствии они перебрались в Петербург, зажили своим домом и тогда уж послали за мною. Потом мать умерла, а я остался

с отчимом, человеком угрюмым, от которого я порою по целым дням не слышал ни слова. Я томился одиночеством, и единственными друзьями моими были слуги, от них-то я и узнал о страданиях народа».

И ведь не скажешь, что ложь, чистая ложь, но как ловко все перевернуто, как искажено! Можно же испытывать жалость к семилетнему мальчику, искренне оберегать его, но как его полубить, когда он столь мнителен, столь неулыбчив, когда он пиявкой впивается в мать, ноет по поводу каждой минуты, проведенной ею без него, когда каждую ночь из смежной с их спальней комнаты до полудюжины раз доносится тонкий, назойливый голос, зовущий мать, чтобы она прибила комара, который его кусает?

Он откладывает рукопись. Отец — дворянин, подумать только! Бедное дитя! Конечно, правда куда безрадостней, а уж безрадостней полной правды и не придумаешь ничего. Впрочем, никто и не ждет, что ангел-летописец станет записывать полную тусклую правду. Сам-то он в двадцать два года разве с большей приверженностью к истине писал?

Ему хочется сказать Павлу нечто безмерно важное, чего юноша, увы, никогда уже не сможет услышать. Если тебе ниспослан дар писателя, хочешь сказать он, не забывай, что его породило. Ты пишешь именно *потому*, что детство твое прошло в одиночестве, *потому*, что тебя не любили. («Однако и это еще не все, — хочется добавить ему, — тебя любили и продолжали бы любить, ты сам сделал выбор, сам захотел стать нелюбимым». Какая невнятица! Первый попавшийся хам с гармоникой

нашел бы слова получше!) Не от избытка беремся мы за перо, хочет сказать он, но от нужды и от боли. И в сердце твоём ты знал это наверно! Что же до твоего так называемого настоящего отца и его сочувствия революционерам, так это решительный вздор. Исаев был мелким чиновником, писарем. Проживи он подольше, и ты отправился бы по стопам его, стал бы чиновником и никаких бы рассказов после тебя не осталось. («Ну да, — слышит он высокий детский голос, — зато я остался бы жив!»)

Юноши в белом, играющие во французскую игру, в крокет, *croixquette*, и ты среди них, живой, на зеленой лужайке! Бедный мальчик! Я вижу тебя на улицах Петербурга то во взмахе чьей-то руки, то в повороте головы, и всякий раз сердце мое вздымается, будто волною. Нигде и везде, разодранный и расточенный, точно Орфей. Дни молодости, *chryseos* — золотые, блаженные.

Мне же осталась задача: копить сокровища, собирать воедино разбросанные останки. Поэт, бряцатель на лире, заклинатель, вершитель воскрешения — вот в чем мое призвание. А истина? Затекающие плечи, согбенные над письменным столом, и боль в неповоротливом сердце. В черепашьем сердце.

Я пришел слишком поздно, чтобы поднять крышку гроба, чтобы поцеловать твой холодный лоб. Если бы губы мои, нежные, как пальцы слепца, смогли всего только раз коснуться тебя, ты не покинул бы этот мир, тая на меня обиду. Но ты ушел из него как Исаев, а мне, старику, старому скитальцу, осталось лишь брести за тобой, преследуя тень, лиловую на сером, преследуя эхо.

И все же я здесь, а отца, Исаева, нет здесь. Если бы, утопая, ты потянулся к Исаеву, ты ухватил бы лишь руку призрака. В пыльных бумагах, хранимых в коробках, выставленных на черную лестницу семипалатинской городской управы, еще, быть может, и удастся сыскать его росчерк, но в этой памяти, в памяти старика, прижавшего когда-то к груди его жену и ребенка, никаких более следов его не осталось.

ПЕРЕМЕНА ОБЛИЧИЯ

Дело Павла закрыто. Ничто больше не держит его в Петербурге. Поезд отходит в восемь, во вторник он уже будет в Дрездене, с женой и ребенком. Но по мере приближения этого часа он со все большим трудом представляет себе, как уберет с алтаря портреты Павла, как задует свечу и уступит комнату чужому человеку.

Однако если он не уедет сегодня, то когда же? «Вечный жилец» — где подхватила эту фразу Анна Сергеевна? И сколько еще времени дожидаться ему появления призрака? Он, разумеется, может переменить свои отношения с этой женщиной, решительно переменить. Но как тогда быть с женой?

Мысли его мешаются, он не понимает, чего хочет, но знает лишь, что эти восемь часов нависают над ним смертным приговором. Он находит дворника и после долгой торговли договаривается, что тот пошлет кого-нибудь с его билетом на вокзал, чтобы перенести отъезд на завтрашний день.

Вернувшись в квартиру, он с испугом видит, что дверь в комнату его открыта, а в самой комнате кто-то есть: женщина стоит спиной к нему, разглядывая портреты Павла. На миг мелькает виноватая мысль, что это жена приехала в Петербург

и отыскала его. Затем он узнает женщину и с трудом удерживается от протестующего крика: Сергей Нечаев, в том же синем платье и в той же шляпке, что прежде.

Тут появляется Матрена и, не давая ему произнести ни слова, переходит в наступление.

— Разве можно так подкрадываться к людям! — восклицает она.

— Но что вы двое делаете в моей комнате?

— У нас столько же прав... — горячо начинает она. Однако Нечаев перебивает ее.

— Кто-то навел на нас полицию, — говорит он, подступая на шаг. — Надеюсь, не вы.

Сквозь аромат лаванды пробивается зловоние мужского пота. Пудра на горле Нечаева лежит неровными полосами, сквозь нее проросла щетина.

— Это неуместное, совершенно неуместное обвинение. Спрашиваю во второй раз: что вы делаете в моей комнате? — Он поворачивается к Матрене. — А ты... ты больна, тебе следует в постели лежать!

Словно не слыша, она вытаскивает из-под кровати чемодан Павла.

— Я сказала ему, что он может взять одежду Павла Александровича, — говорит она и, не давая времени возразить, продолжает: — Да, может! Павел купил ее на свои деньги, и к тому же Павел был его другом!

Она открывает чемодан, вытаскивает белую сюртучную пару.

— Вот! — вызывающе произносит она.

Окинув пару взглядом, Нечаев расправляет ее на постели и начинает расстегивать платье.

— Извольте объяснить...

— Нет времени. Еще рубашка нужна.

Нечаев вытягивает руки из рукавов. Платье спадает ему до лодыжек, он стоит перед ними в грязном хлопчатом исподнем и черных лакированной кожи ботинках. Он без чулок; у него сухопарые, волосатые ноги.

Нимало не смущаясь, Матрена хлопочет, помогая Нечаеву влезть в одежду Павла. Он хочет протестовать, но что может сказать он этим детям, когда они, затыкая уши, смыкают ряды против стариков?

— Что случилось с вашей чухонской подружкой? Она с вами?

Нечаев натягивает сюртук. Сюртук длинен ему и слишком широк в плечах. Не так ладен, как Павел, и далеко не так красив. Он ощущает безутешную гордость за сына. Смерть взяла не того человека!

— Пришлось ее бросить, — говорит Нечаев. — Нужно было поскорее убраться оттуда.

— Иными словами, вы сдали ее полиции. — И не дожидаясь ответа Нечаева, он добавляет: — Умойтесь. Вы похожи на клоуна.

Матрена выскальзывает из комнаты и возвращается с влажной тряпичей. Нечаев протирает лицо.

— Лоб тоже, — говорит Матрена. — Вот здесь. Она берет тряпицу из рук Нечаева и оттирает пудру, комками налипшую ему на брови.

Сестричка. Она и с Павлом вела себя так же? Что-то вгрызается в его сердце: зависть.

— Неужто вы и вправду рассчитываете ускользнуть от полиции, разгуливая средь зимы в костюме дачника?

Нечаев не обращает внимания на колкость.

— Мне нужны деньги, — говорит он.

— От меня вы их не получите.

Нечаев поворачивается к девочке.

— У тебя есть что-нибудь?

Матрена опрометью вылетает из комнаты. Слышно, как она волочет по полу стул. Возвращается она с банкой, полной монет, высыпает их на постель и принимается пересчитывать.

— Маловато, — бормочет Нечаев, но, однако же, ждет окончания счета.

— Пять рублей и пятнадцать копеек, — объявляет Матрена.

— Нужно больше.

— Так ступайте на улицу и просите милостыню. Я вам денег не дам. Идите просите подаяния во имя народа.

Они с ненавистью глядят один на другого.

— Почему вы не даете ему денег? — спрашивает Матрена. — Он же друг Павла!

— Мне нечего ему дать.

— Неправда! Вы говорили маме, что у вас куча денег. Вот и отдайте ему половину. Павел Александрович так бы и поступил.

Павел — и Иисус тоже!

— Ничего подобного я не говорил. Нет у меня никакой кучи.

— Давайте, давайте! — Нечаев, поблескивая глазами, хватает его за руку. Он снова слышит запах страха, источаемый молодым человеком. Нестовый, но напуганный, бедняга! Однако он сознательно не пускает жалость дальше порога.

— Нет, и решительно нет.

— Почему вы такой *скареда*? — выпаливает Матрена со всей презрительностью, на какую способна.

— Я вовсе не *скареда*.

— Конечно *скареда*! Вы и с Павлом скупились, а теперь друзьям его помочь не хотите! У вас полным-полно денег, да только вы их все для себя бережете. — Она поворачивается к Нечаеву. — Ему платят за его книги тысячи рублей, а он все оставляет себе! Правда-правда! Мне Павел рассказывал!

— Вздор! Павел ничего не смыслит в денежных делах.

— Нет не вздор! Павел заглядывал в ваш стол! Он видел ваши приходные книги!

— К черту Павла! Павел понятия не имел, как их читать, и видел лишь то, что хотел увидеть! Я годами сидел в долгах, каких ты и представить себе не способна! — Он поворачивается к Нечаеву. — Нелепейший разговор. Нет у меня для вас денег. И я считаю, что вам следует немедленно уйти отсюда.

Но Нечаев уже не спешит. Он даже улыбается.

— Разговор отнюдь не нелепый, — говорит он. — Напротив, весьма поучительный. Я давно питал подозрения насчет отцов, полагая, что истинный их грех, в котором они ни за что не признаются, это скупость. Они ничем не желают делиться. А уж с мощной своей не расстанутся, даже когда для того наступит подходящее время. Кошелек — вот самое важное для них, а что там после случится, их ничуть не заботит. Я не верил рассказам вашего пасынка, потому как слышал, что вы игрок, и считал игроков людьми к деньгам

равнодушными. Впрочем, и у игры есть своя оборотная сторона, не так ли? Мне следовало подумать об этом. Вы, видимо, из тех, кто играет потому, что для них любой выигрыш мал, им всегда подавай больше.

Обвинение смехотворное. Он вспоминает об Ане, экономящей на всем, чтобы накормить и одеть их дитя. Вспоминает свои перелицованные воротнички, дыры на носках. Вспоминает письма, которые пишет год за годом, выпрашивая задатки, полные самоуничтожения письма к Страхову, Краевскому, Любимову и в особенности к Стелловскому. *Dostoievski l'avare*¹ — какая чушь! Пошарив в карманах, он вытаскивает последние свои рубли.

— Вот все, что у меня есть! — восклицает он, взмахивая ими перед носом Нечаева.

Нечаев холодно смотрит на протянутую в его сторону руку и вдруг одним стремительным движением выхватывает деньги, все, кроме одной монетки, которая падает на пол и закатывается под кровать, куда за нею ныряет Матрена.

Он пытается отобрать деньги и даже борется с молодым человеком. Но Нечаев без затруднений одолевает его, одновременно запихивая деньги в карман.

— Постойте... постойте... постойте... — пыхтит Нечаев. — В глубине вашего сердца, Федор Михайлович, в глубине сердца вы хотели отдать их мне, я уверен, ради вашего сына.

И он отступает на шаг, оправляя одежду, как бы желая выставить ее напоказ во всем великолепии.

¹ Скупец Достоевский (*фр.*).

Какой позер! Какой ханжа! Народная расправа, как бы не так! И все же он не в силах отрицать, что в душу его прокрадывается радость, радость знакомая, радость проигравшего мужа. Разумеется, их нельзя не стыдиться — этих его приступов безрассудства. Разумеется, когда он возвращается домой без копейки в кармане и признается во всем жене, и, склоняя голову, выслушивает ее упрёки, и клянётся, что никогда больше не оступится, разумеется, он искренен в эти минуты. Но в глубине сердечной, там, куда Бог один способен заглянуть, за искренностью кроется знание, что прав все же он, а не жена. Деньги существуют для того, чтобы их тратить, а существует ли трата более чистая, чем игра?

Матрена стоит, протянув руку. На ладони ее одиноко лежит последний пятак. Она, похоже, не очень уверена в том, кому его следует отдать. Он подталкивает руку Матрены к Нечаеву.

— Отдай, ему они нужнее.

Нечаев опускает монету в карман.

И хорошо. Кончено. Теперь его черед изображать оставшуюся без гроша добродетель, нечаевский же черед, поникнув головой, выслушивать обличения. Вот только что он может ему сказать? Ничего, решительно ничего.

Да Нечаеву и ждать особенно некогда. Он свертывает синее платье в узел.

— Спрячь где-нибудь, — приказывает он Матрене, — только не в квартире, где-нибудь еще.

Он протягивает ей и шляпку с париком, заправляет в нарядные черные ботинки обшлага брюк, накидывает плащ, с отсутствующим выражением постукивает себя пальцами по голове.

— Слишком много потратил времени, — бормочет он. — У вас нет?..

И, подхватив со стула меховую шапку, Нечаев направляется к двери. Затем, словно вспомнив о чем-то важном, возвращается.

— А любопытный вы человек, Федор Михайлович. Будь у вас дочь, я бы, пожалуй, женился на ней. Редчайших качеств была бы девица, не сомневаюсь. Что же до пасынка вашего, то он вот совсем на вас не походил. Я не уверен, что вы вообще представляли, как вам с ним дальше быть. В нем не было — как бы это сказать? — необходимых задатков. Таково мое мнение, а там уж как вам будет угодно.

— Каких же именно?

— Он слишком смахивал на святого. Вы правильно делаете, что жжете перед его портретом свечу.

Произнося это, он неторопливо проводит рукою над свечой, заставляя пламя затрепетать. Затем втыкает палец прямо в огонь и держит его там. Проходят секунды: одна, другая, третья, четвертая, пятая. Выражение лица его не меняется. Возможно, он в трансе.

Наконец молодой человек отнимает руку.

— Вот чего ему не хватало. По правде сказать, он был просто неженкой.

Нечаев обнимает Матрену. Она безоглядно отзывается на ласку, прижимая к его груди светлой головкой, отвечая объятием на объятие.

— *Wachsam, wachsam!* — многозначительно шепчет Нечаев и поверх ее головы указывает на него обожженным пальцем. И уходит.

Он не сразу постигает смысл этих странных слогов. И даже узнав слово, не понимает его. Бдительность: при чем здесь бдительность?

Матрена стоит у окна; вглядываясь в улицу. В глазах ее слезы, но она слишком взволнованна, чтобы грустить.

— Как вы думаете, он спасется? — спрашивает она и, не дожидаясь ответа, продолжает: — Может быть, мне нужно было пойти с ним? Он мог бы изображать слепого, а я — поводыря.

Впрочем, и эта мысль недолго ее занимает.

Он стоит близко от нее, за спиной. Почти стемнело уже, пошел снег, скоро мать ее вернется домой.

— Он тебе нравится?

— Угу.

— Беспокойная жизнь у него, верно?

— Угу.

Она почти не слушает. Соперничество решительно неравное! Куда ему тягаться с этими молодыми людьми, появляющимися неизвестно откуда и исчезающими неизвестно куда, веющими тайной и приключениями. И вправду беспокойная жизнь — а *wachsam* выпадает на долю ей.

— Почему он так тебе нравится, Матреша?

— Потому что он лучший друг Павла Александровича.

— Ты полагаешь? — мягко возражает он. — Я все же думаю, что лучшим другом Павла Александровича был я. Я и останусь ему другом, когда все остальные о нем забудут. Я его пожизненный друг.

Отворотясь от окна, она бросает на него странный взгляд, точно желая сказать что-то. Но что? «Вы Павлу Александровичу всего только отчим»?

Или нечто совсем иное: «Не говорите со мной таким тоном»?

Отведя с лица прядь волос жестом, который, как он уже знает теперь, выражает у нее замешательство, она пытается поднырнуть под его рукой. Но он надежно преграждает ей путь.

— Я должна... — шепчет она, — должна спрятать одежду.

Он удерживает Матрену еще мгновение, желая, чтобы она почувствовала свое бессилие. Затем отступает в сторону.

— Брось ее в нужник, — говорит он. — Туда никто не заглянет.

Она морщит носик.

— Прямо вниз? — говорит она. — В...?

— Да, именно туда. А еще того лучше отдай платье мне, а сама ложись. Я все сделаю.

Не для Нечаева, нет. Для тебя.

Он заворачивает узел в полотенце и, не оглядываясь, сходит вниз, к нужнику. Но на лестнице его посещает новая мысль. Одежда среди человеческих испражнений: а что, если он недооценивает возчиков нечистот?

Он замечает, что дворник глядит на него из окошка своей каморки, и, принимая вид человека, спешащего по делу, выскакивает на улицу. Тут он соображает, что вышел без пальто. Вновь поднимаясь по лестнице, он нос к носу сталкивается с Амалией Карловной, старухой, живущей на первом этаже. Она протягивает ему, точно гостью, тарелку, на которой лежат булочки с корицей.

— Добрый вечер, сударь, — церемонно произносит она.

Он бормочет приветствие и спешит проскользнуть мимо старухи.

Что ему нужно? Ямка, щель, в которой навсегда скроется этот узел, с ~~такой~~ внезапностью и с такой неотвязностью ставший его принадлежностью. Безо всякой на то причины он оказался вдруг в положении девки с мертворожденным младенцем на руках или убийцы с окровавленным топором. В нем снова разгорается гнев на Нечаева. «Почему я рискую собой ради тебя? — хочется ему крикнуть. — Тебя, до которого мне нет никакого дела?» Но кричать, похоже, поздно. В тот миг, как он принял узел из Матрениных рук, произошла смена постового, и обратного пути у него уже нет.

Одна из комнат в конце коридора стоит пустой, перед нею набросана грудa всякого хлама вперемешку со штукатуркой. Носком ботинка он неуверенно ворошит этот сор. Работник перестает орудовать мастерком и подозрительно вглядывается в него через распахнутую дверь.

Спасибо и на том, что нет больше Иванова, чтобы следить за ним. Впрочем, весьма вероятно, что Иванову уже отыскалась замена. Кто может быть новым шпионом? Вот этот самый работник, которому приплачивают, чтобы он не спускал с него глаз? Или дворник?

Запихав узел под сюртук, он снова выходит на улицу. Ветер, похожий на ледяную стену. Дойдя до первого угла, он сворачивает за него, потом еще раз. Вот и тупик, в котором он обнаружил собаку. Сегодня собака отсутствует. Может быть, околела в ту ночь, когда он ее здесь оставил?

Он заталкивает узел в уголок поукромнее. Приколотые к шляпке пряди парика развеваются по

ветру, комичные и одновременно зловещие. Где раздобыл их Нечаев — у одной из своих «сестер»? И сколько у него этих сестричек, сторающих от желания отхватить ради него свои девичьи локоны?

Вытащив булавки, он тщетно пытается разодрать шляпку надвое, затем сминает ее и затискивает в трубу водостока, к которой была привязана собака. То же он пытается сделать и с платьем, но труба слишком узка.

Внезапно он ощущает чей-то влившийся ему в спину взгляд. Оборачивается. Из окошка второго этажа на него, как зачарованные, глядят двое детишек, а за ними маячит кто-то еще, повыше.

Он пытается вытянуть шляпку из трубы, но не может достать до нее. Чертова глупость! Труба теперь забита, желоб переполнится, кто-нибудь полезет выяснять, в чем причина, и обнаружит шляпку. А кто стал бы запихивать шляпку в трубу, как не человек, повинный в преступлении?

Он вновь вспоминает Иванова — Иванову, которого называли Ивановым так часто, что имя это нахлобучилось на него, точно шляпа на голову. Иванова убили. Правда, шляпы Иванов не носил, во всяком случае женской. Стало быть, с Ивановым эту шляпку связать не удастся. С другой стороны, разве она не могла принадлежать убийце? Женщине убить мужчину проще простого: довольно завлечь его в проулок, позволить прижать себя к стене, а затем в самую восторженную минуту нащупать нужное ребро и пронзить сердце шляпной булавкой — булавкой, не оставляющей крови, оставляющей вместо раны лишь малую точку.

Он опускается на колени в углу, где побросал булавки, но темень стоит уже такая, что отыскать

их невозможно. Нужна свеча. Да только где он возьмет свечу, которая не загаснет на этом ветру?

Устал он до того, что не находит в себе сил, чтобы встать. Не занемог ли он, часом? Не заразился ли чем от Матрены? Или просто близится новый припадок? И эта полная изнуренность — его предвестье?

Стоя на четвереньках, подняв голову и внюхиваясь, точно дикий зверь, в воздух, он пытается сосредоточиться на том, что происходит внутри его. Но если то, что овладевает им, припадок, то он овладел и чувствами тоже. Чувства его застыли совершенно так же, как руки.

14

ПОЛИЦИЯ

Ключа он с собой не взял, приходится стучать в дверь. Анна Сергеевна открывает и глядит на него в изумлении.

— Вы опоздали на поезд? — спрашивает она. Тут она замечает его нелепый вид — трясущиеся руки, капли воды в бороде. — Что-нибудь случилось? Вы заболели?

— Не заболел, нет. Я отложил мой отъезд. Потом все объясню.

В комнате у постели Матрены стоит незнакомый ему человек, видимо, доктор — молодой, чисто, на немецкий манер, выбритый. В руке у него коричневый пузырек из аптеки: доктор подносит пузырек к носу и с неодобрительным выражением закуривает. Затем щелкает замком саквояжа, задергивает занавесь алькова.

— Я говорил тут, что у вашей дочери воспалены бронхи, — сообщает доктор, обращаясь к нему. — Но в легких чисто. Помимо того...

Он перебивает доктора:

— Она не дочь мне. Я всего лишь жилец.

Недовольно пожав плечами, доктор поворачивается к Анне Сергеевне.

— Помимо того — я пренебрег бы долгом моим, не высказав этого, — присутствует некоторый истерический элемент.

— Что это значит?

— Это значит, что, пока она пребывает в нынешнем своем растревоженном состоянии, быстрой поправки ожидать невозможно. Возбуждение девочки есть часть ее расстройств. Необходимо как-то ее успокоить. Как только этого удастся достигнуть, она через несколько дней возвратится в школу. Телесно девочка здорова, конституция крепкая. Поэтому в качестве лечения я рекомендовал бы прежде всего покой, тишину и покой. Девочке следует оставаться в постели, пищу употреблять легкую. Молоко старайтесь не давать ни в каком виде. Я вам оставляю втирание для груди и снотворную микстуру, которую будете давать ей, когда потребуется, в качестве успокаивающего. Но помните, только детскую дозу — половину чайной ложки.

Едва доктор уходит, он пытается объясниться с Анной Сергеевной. Но та не в настроении выслушивать объяснения.

— Матреша сказала, что вы на нее накричали, — напряженным шепотом обрывает она его. — Это непозволительно!

— Неправда! Я вовсе не кричал на нее! — Он уверен, что, хоть разговор и ведется шепотом, Матрена слышит их сквозь занавеску и безмолвно злорадует. Он берет Анну Сергеевну за руку, тянет ее в свою комнату, закрывает дверь. — Вы слышали, что сказал доктор, — она перевозбуждена. Она рассказала вам все, что случилось здесь утром?

— Она сказала, что заходил друг Павла и что вы были с ним очень грубы. Вы об этом говорите?

— Да, но...

— Позвольте мне закончить. Что происходит между вами и друзьями Павла, меня не касается.

Но вы сорвали злость на Матреше, вы были с нею грубы. Я не могу допустить этого.

— Друг, о котором она говорила, это Нечаев, сам Нечаев, не кто иной, как Нечаев. Она упомянула об этом? Нечаев, бегущий от правосудия, был сегодня здесь, в вашей квартире. Как же можете вы винить меня за то, что я рассердился на нее, впустившую этого фигляра, лицемера и затем принявшую его сторону против меня?

— Тем не менее вы не имели права вести себя с нею несдержанно! Как может она знать, что Нечаев дурной человек? Как я могу знать это? Вы говорите, что он фигляр. А сами вы? Сами вы как себя ведете? Вы разве никогда не кривите душой? Сомневаюсь.

— Вы не вправе так говорить. Я душой не кривлю. В прошлом это случалось, но не теперь — только не теперь. Я говорю вам правду.

— Теперь? Что же вдруг изменилось теперь? Почему я должна вам верить? Почему вы сами себе верите?

— Потому что не хочу, чтобы Павлу стало стыдно за меня.

— Павлу? Павел тут совершенно ни при чем.

— Я не хочу, чтобы Павел стыдился отца — теперь, когда он все видит. Вот это и переменялось: ныне существует мера всех вещей, включая и истину, и эта мера — Павел. Что до несдержанности моей с Матреной, я виноват. Я сожалею о ней и перед Матреною извинюсь. Впрочем, как вы, верно, знаете, — он разводит руками, — Матрена меня не выносит.

— Она не понимает, что вы здесь делаете, вот и все. Почему Павел жил у нас, она понимала —

у нас и прежде стояли студенты, — но жилец постарше — это совсем другое. Да и я тоже перестаю понимать вас. Я не хочу вас выгонять, Федор Михайлович, но должна вам признаться, когда вы сказали вчера, что уезжаете, я испытала облегчение. Четыре года мы вели с Матреной очень тихую, ровную жизнь. И никогда не позволяли жильцам нарушать наш покой. Теперь же, с самого дня смерти Павла, все у нас пошло кверху дном. Ребенку это не на пользу. Матрена не была бы больна сегодня, если бы обстановка в доме не стала столь непредсказуемой. Доктор правильно сказал — она растревожена, а тревога делает ребенка уязвимым.

Он ожидает, что Анна Сергеевна упомянет наконец о главной сути происходящего: Матрена знает об отношениях между ним и ее матерью и не находит себе места от ревности, ревности собственника. Но, по-видимому, Анна еще не готова к тому, чтобы говорить об этом открыто.

— Простите меня за причиненные мною волнения, простите за все. Уехать сегодня, как я намеревался, для меня оказалось невозможным — не стану входить в причины, они несущественны. Я пробуду у вас еще день, самое большее два, пока друзья не ссудят мне денег. Затем я заплачу вам, что задолжал, и съеду.

— В Дрезден?

— В Дрезден или на другую квартиру, пока сказать не могу.

— Что же, Федор Михайлович, очень хорошо. А относительно денег, давайте сочтемся немедленно, не откладывая. Я не хочу попасть в длинный список людей, которым вы задолжали.

В гневе ее присутствует нечто для него непонятное. Никогда прежде она не говорила с ним столь оскорбительным тоном.

Он сразу садится писать записку Майкову. «Вы удивитесь, дорогой Аполлон Григорьевич, услышав, что я еще в Петербурге. Я снова вынужден, в последний, надеюсь, раз, прибегать к доброте Вашей. Беда в том, что я попал здесь в обстоятельства столь стесненные, что не имею средств расплатиться за жилье, не говоря уж о возвращении к семье, — остается разве пальто заложить. Двести рублей были бы для меня сущим спасением».

Он пишет и к жене: «Я совершил глупость, позволив другу Павла занять у меня денег. Майкову придется снова меня выручать. Телеграфирую, как только смогу все уладить».

Стало быть, винить в который раз остается только щедрое Федино сердце. Хоть, честно говоря, никакой щедрости в Федином сердце нет. В Федином сердце...

Кто-то с силой стучит в дверь квартиры. Прежде чем Анна Сергеевна успевает открыть, он оказывается с ней рядом.

— Это, должно быть, полиция, — шепчет он, — только она приходит в такой час. Позвольте мне говорить с ними. Оставайтесь с Матреной. Главное, чтобы они не задавали ей вопросов.

Он открывает дверь. На пороге стоит чухонка, по бокам от нее двое полицейских в синих мундирах. Один из них офицер.

— Этот? — спрашивает офицер.

Чухонка кивает.

Он отступает, и полицейские входят, подталкивая девушку перед собой. Его поражают проис-

шедшие в ней перемены. Лицо чухонки бело как мел, и движется она, точно кукла со связанными конечностями.

— Не угодно ли вам пройти в мою комнату? — спрашивает он. — Здесь больной ребенок, которого нельзя беспокоить.

Офицер размашистым шагом пересекает комнату и отдергивает занавеску. Глазам их предстает склонившаяся над дочерью Анна Сергеевна. Она резко оборачивается, глаза ее пылают.

— Оставьте нас в покое! — свистящим шепотом произносит она.

Офицер медленно задерживает занавеску.

Он уводит их в свою комнату. Что-то знакомое чудится в том, как чухонка шаркает ногами. Не сразу замечает он кандалы на ее ногах.

Офицер разглядывает дагерротип Павла, цветы, свечу.

— Кто это?

— Мой сын.

Что-то не так, что-то изменилось в самодельном алтаре. И когда он понимает что, кровь застывает в его жилах.

Начинается допрос.

— Появлялся ли здесь сегодня человек по имени Сергей Нечаев?

— Да, здесь был человек, который, как я склонен полагать, является Сергеем Нечаевым, хоть он и принял другое имя.

— Какое именно?

— Женское. Он переодевается женщиной. На нем был темный плащ поверх темно-синего платья.

— Зачем он к вам приходил?

— Просить денег.

— Не для иной причины?

— Насколько могу судить, иных причин не имелось. Я не принадлежу к числу друзей его.

— Вы дали ему денег?

— Отказал. Тем не менее он забрал все, что у меня было, и помешать ему я не смог.

— То есть вы утверждаете, что он вас ограбил?

— Он взял деньги против моей воли. Попытку вернуть их себе я счел неблагоразумной. Если угодно, назовите это ограблением.

— Сколько было денег?

— Около тридцати рублей.

— Что здесь еще произошло?

Он решается бросить взгляд на чухонку. Губы ее беззвучно подрагивают. Что бы они там ни делали с нею, пока она была в их руках, но сделанное полностью изменило ее повадку. Она стоит точно скотина на бойне, ожидающая топора.

— Мы говорили о моем сыне. Нечаев был, в некотором роде, другом моего сына. Оттого ему этот дом и известен. Сын занимал здесь комнату. Иначе Нечаев сюда не пришел бы.

— Что значит «иначе Нечаев сюда не пришел бы»? Вы хотите уверить нас, что он намеревался встретиться с вашим сыном?

— О нет. Навряд ли у кого из друзей моего сына осталась надежда встретиться с ним. Я хотел сказать другое: Нечаев явился сюда не потому, что рассчитывал на мое расположение, но по причине прежней дружбы с сыном моим.

— Да, о преступных связях вашего сына нам известно.

Он пожимает плечами.

— Быть может, не столь уж и преступных. И, быть может, не о связях, но только о дружбе. Однако оставим это. Решение этого вопроса суду уже не подлежит.

— Известно ли вам, куда направился отсюда Нечаев?

— Не имею представления.

— Покажите ваши документы.

Он вручает офицеру паспорт — свой, не исаевский. Офицер прячет паспорт в карман и надевает фуражку.

— Вам надлежит явиться завтра утром в участок на Садовой и дать полные показания. В дальнейшем будете являться в тот же участок ежедневно перед полуднем, вплоть до последующих распоряжений. Петербург покидать запрещается. Вам все ясно?

— И на чей же счет я буду здесь жить?

— Это меня не касается.

Он делает своему спутнику знак вывести арестованную. И уже у дверей квартиры чухонка, так и не произнесшая до этой минуты ни слова, вдруг начинает артачиться.

— Я проголодалась! — жалобно произносит она и, когда полицейский хватает ее за руку, чтобы насильно вывести из дверей, упирается ногами в пол и цепляется за косяк. — Я проголодалась, дайте мне какой-нибудь еды!

Нечто стонущее, отчаянное слышится в ее крике. И хоть Анна Сергеевна стоит к чухонке ближе всех, просьба ее несомненно обращена к Матрене, которая уже вылезла из постели и стоит, сунув в рот большой палец и наблюдая происходящее.

— Я принесу! — говорит Матрена и стремглав кидается к буфету.

Она возвращается с краюхой черного хлеба и огурцом, принесла она и свой кошелечек.

— Берите все! — возбужденно выпаливает она и сует в руки чухонки еду вместе с деньгами. Затем отступает назад и, вскинув голову, приседает в странном старомодном реверансе.

— Никаких денег! — протестует полицейский, заставляя девочку взять деньги назад.

Ни слова благодарности от чухонки, которая после мгновенной вспышки непокорства снова впадает в оцепенение. Как будто из нее выбили всю ее живость, думает он. Действительно ли они били ее — или учинили нечто похуже? И Матрена как-то догадалась об этом? В том-то и кроется причина ее жалости? Но что может знать ребенок о подобных вещах?

Как только полицейские уходят, он возвращается к себе, задувает свечу, составляет ее вместе с иконами и портретами на пол и снимает расстеленный поверх туалетного столика трехполосый флаг. Затем возвращается в соседнюю комнату. Анна Сергеевна сидит около Матрены с шитьем. Он швыряет флаг на постель.

— Если я стану сейчас разговаривать с вашей дочерью, я определенно вспылю снова, — произносит он, — а потому спросите ее от моего имени, как это попало в мою комнату.

— О чем вы? Что это такое?

— Спросите у нее.

Анна Сергеевна расправляет флаг на постели. В нем около метра длины, очевидно, им немало пользовались, ибо краски — белая, красная и черная вертикальные полосы равной ширины — потускнели и выпцвели. Где они им размахивали — в комнатухе над заведением *Madame la Fay*?

— Чей это флаг? — спрашивает Анна Сергеевна. Он молчит, ожидая ответа девочки.

— Народный. Флаг народа, — неохотно отвечает она наконец.

— Ну, довольно, — говорит Анна Сергеевна и целует дочь в лоб. — Спать пора.

И она задерживает занавесь, не оставляя ни щелки.

Пять минут спустя Анна Сергеевна заходит к нему со сложенным в несколько раз флагом в руках.

— Извольте объясниться, — говорит она.

— Вы держите в руках флаг «Народной расправы». Флаг мятежа. Если вам угодно узнать, что означает каждый из этих цветов, могу объяснить. Или спросите Матрену, уверен, она это тоже знает. Я и вообразить не могу поступка более дерзкого и обличающего, нежели выставление этого флага напоказ. Матрена в мое отсутствие расстелила флаг у меня в комнате, где его могли увидеть полицейские. Уж не помешалась ли она?

— Не смейте так о ней говорить! Откуда ей было знать, что придет полиция? А флаг — если это такая опасная вещь, я просто сожгу его сию же минуту.

— Сожжете? — изумленно спрашивает он. Как просто! Почему он не сжег синее платье?

— И позвольте сказать вам еще одно, — добавляет она, — этим все и должно закончиться, навсегда. Вы втягиваете Матрену в дела, которыми ребенку заниматься не пристало.

— Более чем согласен. Однако втягиваю ее не я. Нечаев.

— Не вижу разницы. Не будь здесь вас, не было бы и Нечаева.

15

ПОДПОЛЬЕ

За ночь высыпал снег. При выходе на улицу его ослепляет внезапная белизна. Он застывает на месте, опускает лицо, охваченный ощущением, что мир перед ним закружился, и закружился странно — не слева направо, но сверху вниз. Он чувствует, что если сделает хотя бы шаг, то непременно повалится.

Все это может быть только прелюдией припадка. Припадок вот уж несколько дней как возвещает о своей близости — приступами головокружения и сердцебиения, утомления и раздражительности, — возвещает, но не приходит. Если, конечно, не считать припадком состояние, в котором он пребывает последнее время.

Стоя у подъезда шестьдесят третьего номера, он, занятый тем, что творится внутри него, ничего вокруг не видит и не слышит, пока кто-то не берет его с силой за руку. Вздвогнув, он открывает глаза. Перед ним стоит Нечаев.

Нечаев, окаливая зубы, ухмыляется. Карбункулы его полиловели от холода. Он пытается высвободиться, но Нечаев лишь ухватывает его руку покрепче.

— Нелепая бравада, — говорит он. — Вам следовало бы покинуть Петербург, пока еще есть возможность. Здесь вас схватят наверно.

Нечаев разворачивает его, держа одной рукой за плечо, а другой за запястье. Они идут по Свечной бок о бок, точно упирающаяся собака с хозяином.

— Впрочем, вам, вероятно, и хочется в душе, чтобы вас схватили.

На Нечаеве черный треух, уши которого взлетают, когда он трясет головой. Он произносит нарочито терпеливым, напевным тоном:

— Вы вечно приписываете людям превратные побуждения. А люди вовсе не таковы. Ну подумайте сами, зачем мне желать поимки и тюрьмы? И кому, кроме того, придет мысль приглядываться к паре вроде нас с вами, к отцу и сыну на прогулке? — и Нечаев обращает к нему лицо, украшенное самой что ни на есть добродушной улыбкой.

Они достигают конца Свечной, Нечаев легким нажимом плеча указывает, что следует повернуть направо.

— Вы хоть отдаленно представляете себе, что приходится сейчас выносить вашей подруге?

— Подруге? Вы про чухонку? Она не сломается, я в ней уверен.

— Вы заговорили бы по-другому, если б ее увидели.

— А вы ее видели?

— Полицейские приводили ее в дом, чтобы она указала им на меня.

— Ну и пусть, я за нее не боюсь, она отважна и долг свой знает. Успела она перемолвиться с дочерью вашей хозяйки?

— С Матреной? О чем?

— Да ни о чем, так просто. Она любит детей. Она ведь и сама ребенок — очень простодушный и очень прямой.

— Меня допрашивала полиция. И еще будет допрашивать. Я ничего не утаил. Я и впредь утаивать не собираюсь. Предупреждаю, использовать Павла как орудие против меня я вам не позволю.

— Зачем же мне использовать против вас Павла? Я самого вас могу использовать.

Они уже добрались до Садовой, до сердца Сениного рынка. Он упирается и встает, не желая двигаться дальше.

— Вы дали Павлу список людей, которых хотите убить, — говорит он.

— Мы с вами уже разговаривали об этом списке — неужто не помните? Это всего лишь один из многих. Списков существует немало и в немалом числе экземпляров.

— Я не о том вас спрашиваю. Я хочу знать...

Нечаев, откинув назад голову, хохочет. Облако пара вырывается из его рта.

— Так вы хотите узнать, состоите ли вы в одном из них?

— Я хочу узнать, не потому ли Павел отпал от вас — понял, что я намечен в жертвы, и отказался иметь с вами дело?

— Нелепая мысль, Федор Михайлович! Ни в каких списках вас, разумеется, нет! Вы слишком ценный человек. Да к тому же, это между нами, совершенно не важно, чьи имена там значатся. Важно, чтобы они знали: их ожидает возмездие, — чтобы у них поджилки тряслись. Такие вещи народу понятны, он их одобряет. А отдельные лица ему ничуть не интересны. Народ страдал с незапамятных времен и теперь требует, чтобы страдали, в свой черед, и они. Так что не беспокойтесь. Ваше время еще не пришло. На самом-то деле мы

были бы рады работать вместе с такими людьми, как вы.

— С такими, как я? Это что же за люди такие? Уж вы не ждете ли, что я стану писать для вас прокламации?

— Разумеется, нет. Для прокламаций ваш талант не подходит, для них вы слишком чистосердечны. Идемте, что же на месте стоять. Я хочу отвести вас кое-куда. Заронить в вас, так сказать, семя.

Нечаев снова берет его за руку, и они продолжают поход по Свечной. Навстречу движутся двое офицеров в оливковых драгунских шинелях. Нечаев уступает офицерам дорогу, приподымая в веселом приветствии руку. Офицеры отвечают кивками.

— Я прочел ваш роман «Преступление и наказание», — возобновляет беседу Нечаев. — Он-то меня и вразумил. Превосходная книга. По временам она меня даже пугала. Болезнь Раскольникова и тому подобное. Вам наверняка довелось выслушать ей немало похвал. Но я все равно скажу...

Нечаев прижимает руку к груди, а затем, словно вырывая сердце, выбрасывает ее перед собою. Похоже, нелепость жеста удивляет его самого, ибо лицо Нечаева заливают краской.

Это — первое, сколько он может припомнить, не рассчитанное заранее — движение Нечаева его удивляет. Девственная душа, думает он, не понимающая толком собственного волнения. Как оживающее творение доктора Франкенштейна. Впервые за все это время он ощущает прилив сострадания к этому озлобленному, невзрачному юноше.

Теперь они в самом чреве Сенного рынка. Нечаев ведет его узкими улочками, загроможденными

лотками мелочных торговцев и какими-то бочками, сквозь толчею, сквозь зловонье немых тел.

Они останавливаются у двери одного из домов. Нечаев извлекает из кармана синий шерстяной шарф.

— Мне придется попросить у вас дозволения завязать вам глаза, — говорит он.

— Куда вы меня ведете?

— Туда, где я теперь обитаю, — к народу. Что до повязки, так будет проще для нас обоих. Вы сможете после со спокойной душой заявить, что не знаете, где меня искать.

Закрывшая глаза повязка вновь позволяет ему насладиться роскошью головокружения. Нечаев ведет его, он натывается на каких-то встречных и получает от них толчки, один раз он, запнувшись, падает, и Нечаев помогает ему подняться.

Они сворачивают с улицы во двор. Из близкого кабака доносится пение, гитарный звон, веселые крики. Пахнет помоями и рыбьими потрохами.

Рука его ложится на перила.

— Шагайте осторожнее, — произносит голос Нечаева, — тут такая темень, что даже сними я повязку, вы все равно ничего не увидите.

Приволакивая, точно старик, ноги, он сходит по ступеням. Воздух промозгл и недвижим. Где-то неспешно каплет вода. Совсем как в пещере.

— Ну вот, — говорит Нечаев, — голову поберегите.

Пришли. Он стягивает повязку. Они с Нечаевым стоят внизу темной деревянной лестницы, перед закрытой дверью. Нечаев стучит четыре раза, потом три. Они ждут. Ни звука, только вода все капает, капает. Нечаев повторяет условный стук. Ответа нет.

— Придется подождать, — говорит Нечаев. — Идемте.

Он стучает в дверь по другую сторону лестницы, толкает ее и отступает, пропуская гостя вперед.

Они в подполье, столь низком, что ему приходится держать голову наклоненной, освещаемом лишь затянутым бумагой оконцем под самым потолком. Голый каменный пол — стоя на нем, он чувствует пронизывающий подошвы холод. Вдоль стен тянутся по полу какие-то трубы. Пахнет сырой штукатуркой, мокрым кирпичом. Кажется, будто по стене тонкой пленкой стекает вода, хотя этого, конечно, быть не может.

Вдоль дальней стены подвала натянута веревка с перекинутым через нее свежeweмытым тряпьем, таким же сырым и серым, как само это помещение. Под веревкой стоит лежак, на котором в одинаковых позах — спинами к стене, подтянув к подбородкам колени и обняв их руками, — сидят трое детей, босых, в холщовых рубахах. Самая из них старшая — девочка. Волосы ее сальны, нечесаны, верхнюю губу покрывает слизь, которую она апатично сглатывает, собирая языком. Из двух других один в том возрасте, когда ребенок еще только-только начинает ходить. Дети не двигаются, не издают ни звука. Просто глядят на вошедших слезящимися, лишенными любопытства глазами.

Нечаев зажигает свечу, ставит ее в стенную нишу.

— Это здесь вы живете?

— Нет. А впрочем, какая разница?

Нечаев начинает прохаживаться по комнате взад-вперед. У него вновь возникает мысль о запертом в клетку сгустке энергии. Он представляет

себе Павла, вышагивающего рядом с Нечаевым. Нет, Павел двигался иначе. Нетрудно теперь понять, почему Павел выбрал его в руководители.

— Позвольте я объясню, зачем я привел вас сюда, Федор Михайлович, — начинает Нечаев. — В комнате за той дверью стоит печатный станок — ручной. Разумеется, нелегальный. Идиот, у которого хранится ключ, к сожалению, отсутствует, хотя он и обещал быть на месте. Я предлагаю вам воспользоваться этим станком, прежде чем вы покинете Петербург. Все, что вы пожелаете сказать, разойдется за несколько часов в тысячах экземпляров. В такое время, как наше, время, когда мы стоим на пороге великих событий, любой ваш вклад способен оказать громадное воздействие. Имя ваше пользуется уважением, в особенности у студентов. Если вы от собственного имени расскажете о том, как расстался с жизнью ваш приемный сын, студенты неминуемо выйдут на улицы, хотя бы только из возмущения.

Нечаев останавливается прямо перед ним.

— Я сожалею о смерти Павла Исаева. Он был хорошим товарищем. Но мы не вправе смотреть только в прошлое. Мы обязаны воспользоваться его смертью, чтобы разжечь пламя. Он бы со мной согласился. Он настоял бы на том, чтобы вы нашли для вашего гнева достойное применение.

Еще не закончив, Нечаев, видимо, понимает, что хватил лишку, и неуклюже поправляется:

— Для вашего гнева и вашего горя, хотел я сказать. Чтобы не получилось, что Павел умер впустую.

Разжечь пламя — это уж чересчур. Он поворачивается, чтобы уйти. Но Нечаев вцепляется в его руку.

— Вы не можете так уйти! — говорит он сквозь стиснутые зубы. — Неужели вы способны бросить Россию и вернуться к презренному буржуазному существованию? Способны игнорировать это зрелище, — он обводит рукою подвал, — зрелище, тысячи, миллионы подобий которого можно увидеть по всей стране? Что с вами стало? Или в вас угасла последняя искра? И вы не видите того, что лезет вам в глаза?

Он поворачивается, оглядывая сырое подполье. Что он видит? Трех замерзших, изголодавшихся детишек в ожидании ангела смерти.

— Я вижу не хуже вашего, — говорит он. — Лучше.

— Нет! Вы думаете, будто видите, и не видите! Чтобы видеть, одних глаз недостаточно, нужно еще правильно понимать то, что видишь. Вы видите только жалкую материальную обстановку этого подвала, жизнь в котором даже крыса с тараканом сочли бы проклятием. Вы видите страдания трех голодных детей, а если подождете немного, то увидите и мать их, которой приходится, чтобы принести им корку хлеба, торговать собою на улице. Вы видите, как приходится жить беднейшим из обездоленных бедняков Петербурга. Но это не настоящее видение, это всего лишь деталь картины! Вы не способны распознать силы, которые определяют жизнь этих несчастных! Силы — вот чего вам никак не удастся увидеть!

Нечаев пальцем проводит снизу вверх линию по стене (он наклоняется к самому полу, кончик пальца его покрывается влагой), через тусклое оконце, к небесам.

— Линии завершаются здесь, но где, по-вашему, они начинаются? Они начинаются в министер-

ствах, в казначействах, на биржах, в коммерческих банках. Они начинаются в канцеляриях Европы. Оттуда идут силовые линии, оттуда они расходятся по всем направлениям, чтобы завершиться в подвалах, подобных этому, в жалких подпольных жизнях. Если вы напишете об этом, вы воистину пробудите мир. Хотя, конечно, — он издает горький смешок, — если вы напишете об этом, вам все равно не позволят напечатать написанное. Они позволяют вам писать сколько душе угодно о безмолвных страданиях бедняков и даже аплодируют вам, но опубликовать настоящую правду они не позволят никогда! Вот почему я предлагаю вам наш станок. Начните! Расскажите им о вашем приемном сыне, о том, почему он был принесен в жертву.

Принесен в жертву. Возможно, мысли его слишком спутались, возможно, он просто устал, во всяком случае, ему не удастся понять, кто и как принес Павла в жертву. Да и пылкая речь относительно линий нимало его не тронула.

— Я вижу то, что вижу, — холодно говорит он. — Линий не вижу никаких.

— Ну, значит, я мог бы и не снимать повязку с ваших глаз! Неужели я еще должен вам уроки давать? Вас напугал уродливый лик голода, болезни и нищеты. Но враги наши — не голод, болезнь и нищета. Это лишь способы, которыми проявляют себя в мире реальные силы. Голод не сила, это среда обитания, такая же, как вода. Бедняки живут в голоде, как рыба в воде. Настоящие силы зарождаются в центрах власти, в происходящем там столкновении интересов. Вас пугает, что вы могли попасть в наши списки. Заверяю вас еще раз, клянусь вам, там вас нет. В наших списках поименованы лишь

пауки и кровососы, сидящие в центрах своих паутин. Как только пауки и кровососы будут уничтожены, дети, подобные этим, получат свободу. По всей России дети смогут выйти из подвалов. Одежда, еда и жилище, достойное жилище, найдется для всякого. И работа — очень много работы! Прежде всего надлежит сровнять с землей банки, биржи, правительственные министерства — разрушить до основания, чтобы их никогда уж нельзя было отстроить.

Дети, поначалу, казалось, прислушивавшиеся к разговору, утратили к нему интерес. Самый маленький завалился на бок и уснул на коленях сестры. Сестра моложе Матрены, но выглядит более подавленной и покорной, даже до странного. Начала ли уже и она говорить мужчинам «да»?

Что-то странное присутствует и в молчаливом бдении детей. С тех пор как они вошли сюда, Нечаев не обратил к ним ни единого слова, не показал даже, что знает их по именам. Кто они для него — олицетворение городской бедноты и не более? «Неужели я еще должен вам уроки давать?» Он вспоминает язвительное замечание княжны Оболенской о том, что Нечаев хотел стать школьным учителем, но, не выдержав требуемого экзамена, подался, чтобы отомстить экзаменаторам, в революционеры. Быть может, по призванию своему Нечаев просто-напросто еще один педагог, подобно ментору его, Жан-Жаку?

И эти линии. Он так и не понял, что понимает под ними Нечаев. Ему ли объяснять, что банкиры стяжают деньги, что алчность иссушает сердца их? Но Нечаев говорит о чем-то ином. О чем? О цепочках цифр, пробивающих бумагу в окне и хлещущих этих детей по пустым животам?

Голова опять начинает кружиться. «Давать уроки». Он набирает побольше воздуха в грудь.

— Есть у вас пять рублей?

Нечаев машинально ощупывает карман.

— Вот эта девочка... — он поводит головой в сторону детей. — Отмойте ее как следует, причешите, приоденьте, и я отведу вас в одно заведение, в котором сегодня, прямо сегодняшней ночью, она сможет заработать для вас сто рублей на пять вложенного капитала. А если ее хорошо кормить, держать в чистоте, не слишком часто использовать и следить, чтобы она не заболела, она сможет отрабатывать ваши пять рублей по меньшей мере еще пять лет. С легкостью.

— Что?..

— Дослушайте. В подвалах Петербурга довольно детей, а на улицах его — господ с деньгами в карманах и тягой к детскому телу в душе, довольно, чтобы обеспечить достатком всю городскую бедноту. Требуется лишь трезвый расчет. На плечах этих детей можно вытащить к свету всех обитателей подвалов.

— В чем смысл этой омерзительной притчи?

— Это не притча. Я, как и вы, возмущен страданиями невинных. Я, кажется, понял вас наконец, Сергей Геннадиевич. Долгое время мне не удавалось заставить себя поверить, что сын мой мог стать вашим приверженцем. Теперь я начинаю понимать, что он в вас увидел. Вы рождены со стремлением к справедливости, и стремление это в вас еще не заглохло. Я уверен, что, если бы это дитя, вот эту самую девочку, завлек в глухой переулок какой-нибудь из наших петербургских развратников и если бы вы их застигли, если бы вы, к примеру,

опекали ее, вы не задумываясь вонзили бы нож в спину мужчины, чтобы ее спасти. Или, по крайности, отомстить, коли спасать было б уж поздно.

Это не притча, это рассказ о детях и о том, какое им можно найти применение. С помощью детей вы могли бы очистить улицы Петербурга от кровососов, возможно даже от кровососов-банкиров. А по прошествии времени можно было бы отправить своим чередом на улицы и жен почивших кровососов вместе с детьми их, способствуя тем самым торжеству всеобщего равенства.

— Вы свинья!

— Нет, мое место в этом рассказе иное. Я не свинья, не человек, вязнущий, будто свинья, в грязи переулка. Повторяю, это не притча, а рассказ. В рассказе речь может идти и о других людях, вы вовсе не обязаны непременно отыскивать в нем место и для себя. Но, если чувство справедливости не позволяет вам оставлять без внимания страдания невинных детей, пусть даже детей из рассказа, есть немало иных способов наказать пауков, которые кормятся ими. Не нужно быть ребенком, к примеру, чтобы заманить мужчину в темный проулок. Достаточно лишь обрить голову, напудриться, облачиться в женское платье и постараться не выходить из тени на свет.

Нечаев улыбается, вернее, оскаливает зубы.

— Все это из какого-то вашего сочинения! Часть ваших извращенных выдумок!

— Возможно. Но у меня остался еще вопрос к вам. Если сегодня вы вольны наряжаться, как вам нравится, и быть тем, кем хотите, и руководиться чувством справедливости (еще гнездящемся, я уверен, в сердце вашем), то что станется зав-

тра, когда буря народного гнева сделает свое дело и все будут равны? Сохраните ли вы свободу быть тем, кем хотите? Получит ли каждый наконец эту свободу?

— В этом больше не будет необходимости.

— В нарядах? Даже по праздникам?

— Дурацкий разговор. Праздники тоже станут ненужными.

— То есть не будет ни праздников, ни выходных?

— Будут дни, отведенные для восстановления сил. Люди смогут сами решать, чего им хочется — отдыхать или поехать в деревню, чтобы помочь в уборке урожая.

— Да, о днях урожая я слышал. И мы, несомненно, будем петь во время работы. Однако вернемся к моему вопросу. Что будет со мной, какое место отводится в вашей утопии мне? Дозволят ли мне переодеться женщиной или молодым денди в белой паре, если меня постигнет такой каприз, или же я получу только одно имя, один адрес, один возраст, одно происхождение?

— Об этом не мне говорить. Народ даст вам ответ. Народ скажет, что дозволено, что нет.

— Да, но что бы вы-то сказали, Сергей Геннадиевич? Потому что если вы не принадлежите к народу, то какое же будущее вас ожидает? Сохраню ли я свободу изображать из себя кого угодно, по собственному моему усмотрению, — молодого, скажем, человека, коротающего досуг, диктуя список людей, которые ему не по сердцу, и изобретающего для них кровавые кары, или кастеляна, обязанность которого — следить, чтобы в корзине под гильотиной всегда были свежие опилки? Хоть настолько-то я буду свободен? Или мне следует

исходить из сказанного вами в Женеве — что с нас довольно Коперников и что, если объявится новый Коперник, ему надлежит выдавить глаза?

— Вы бредите. И вы не Коперник.

— Вы правы, я не Коперник. Когда я поднимаю глаза к небу, я вижу лишь звезды, которые смотрели на нас при нашем рождении и увидят нас умирающими, как бы ни изменяли мы наше обличие и в каком бы глубоком подполье ни укрывались.

— Я не прячусь, я просто слился с невидимками этого города, с условиями, которые меня породили. Хотя вам видеть эти условия не дано.

— Вы позволите мне говорить прямо? Сказанное вами — вздор. Я, быть может, не вижу в небе линий и цифр, но я не слепец.

— Нет большего слепца, чем тот, кто не хочет видеть! Вы видите детей, голодающих в подвале, но не желаете видеть того, что определяет условия, в которых живут эти дети. Разве можно назвать это способностью видеть? Хотя, конечно, вы и люди, которые вам платят, кровно заинтересованы в голодных, изможденных детишках. Вы все любите читать о них — о детишках с запавшими глазами, кроткой душой и тоненькими голосками. Ну так разрешите мне сказать вам кое-что о голоде. Знаете ли вы, что видят в вас запавшие глаза этих детишек? Спросите у них! Да я и сам вам скажу. Они видят толстые щеки и сочный язык. Эти невинные крошки накнулись бы на вас, как крысы, и загрызли бы, если бы не сознавали, что вы достаточно сильны, чтобы их расшвырять. Но вы предпочитаете не признавать этого. Вы предпочитаете видеть трех ангелочков, на малый срок посетивших землю.

Чем дольше я говорю с вами, Федор Михайлович, тем хуже понимаю, как вам удалось написать о Раскольникове. Раскольников был хотя бы живым человеком, пока его не свалила горячка или чем он там заболел. Знаете, кем вы мне представляетесь ныне? Старым ослепленным конем, ходящим и ходящим по кругу, день за днем разжевывая все одну и ту же историю. Какое право имеете вы говорить мне о переменах обличия? Вы не смогли бы изменить своего даже ради спасения собственной жизни. Вы всего-навсего иссохший старик, старая рабочая кляча, жизнь которой подходит к концу. Не пора ли вам хоть *попытаться* пожить одной жизнью с угнетенными, вместо того чтобы посиживать дома, да пописывать о них, да пересчитывать денежки? Впрочем, я вижу, вы начинаете нервничать. Вам не терпится воротиться домой и занести в записную книжку этот подвал и этих детей, пока они еще не потускнели в вашей памяти. Смотреть мне на вас тошно!

Нечаев умолкает, придвигается ближе, заглядывает ему в лицо.

— Или я слишком далеко зашел, Федор Михайлович? — сбавив тон, продолжает он. — Переступил границы дозволенного, обнаружив то, чего обнаруживать не следует, — что мы *видим вас* насквозь, все мы, включая и вашего пасынка? Разве я не в самую точку попал? — Он достает из кармана шарф. — Ну что же, снова наденем повязку?

В точку? Да, возможно. Не обвинениями, но голосом, который слышен за ними: голосом Павла. Павла, жалующегося другу, который копит его слова, точно капли яда.

Он устало отстраняет шарф.

— В чем вы пытаетесь меня убедить? — спрашивает он. — Вы же не для того привели меня сюда, чтобы показать станок или голодных детишек. Все это одни лишь неловкие увертки. Что вам нужно от меня на самом-то деле? Вы хотите привести меня в такую ярость, чтобы я побежал и предал вас полиции? Почему вы не покинули Петербург? Вместо того чтобы сбежать, как поступил бы всякий разумный человек, вы изображаете Иисуса под Иерусалимом, ожидающегося осла, чтобы отправиться на нем прямоком в лапы своих палачей. Вы надеетесь, что я стану этим ослом? Воображаете себя принцем в изгнании, принцем и мучеником, ожидающим, когда его призовут? Вам хочется отнять Пасху у Иисуса. Вы уже второй раз искушаете меня, а я на искушения ваши не поддаюсь.

— Не уводите разговор в сторону! Мы говорим о России, не об Иисусе. И перестаньте переваливать всю вину на меня. Если вы и предадите меня, то лишь потому, что вы меня ненавидите.

— Я не питаю к вам ненависти. Не имею причины.

— Еще как питаете! Вам не терпится разделаться со мной, потому что я показываю людям, что вы на деле собой представляете, вы и ваше поколение.

— И что же мы собой представляем, я и мое поколение?

— Это я вам скажу. Ваши дни миновали. Но вы, вместо того чтобы тихо сойти со сцены, норовите и весь мир сволоочь за собой. Вам ненавистно то, что бразды правления перешли в руки людей помоложе и посильнее вашего, людей, намеренных усовершенствовать мир. Вот что вы собой представ-

ляете на самом-то деле. И не рассказывайте мне, что тоже были революционером, пошедшим в Сибирь за свои убеждения. Я точно знаю, что даже в Сибири с вами обходились как с человеком дворянского звания. Вы вовсе не разделяли страданий народа, это жульнический обман. Меня тошнит от вас, стариков! В день, когда мне исполнится тридцать пять, я пушу себе пулю в лоб, клянусь!

Последние слова Нечаев выпаливает с таким раздражением, что ему не удается сдержать улыбки. Да и сам Нечаев смущенно краснеет.

— Надеюсь, вам представится возможность стать до того отцом и вы поймете, что значит пить из этой чаши.

— Я никогда не стану отцом, — бормочет Нечаев.

— Откуда ж вам знать? Не зарекайтесь. Все, что требуется от мужчины, это посеять семя, а там уж оно начинает жить самостоятельной жизнью.

Нечаев решительно трясет головой. Что хочет сказать этот юноша? Что не сеет семени? Что принес обет целомудрия, как Иисус?

— Не зарекайтесь, — мягко повторяет он. — Семя становится сыном, принц — королем. Когда вы в один прекрасный день воссядете на троне (если до того не пустите себе пулю в лоб) и страна наполнится юными принцами, которые будут, таясь по подпольям и чердакам, злоумышлять против вас, что вы тогда сделаете? Пошлете солдат, чтобы те поотрывали им головы?

Нечаев вспыхивает.

— Вы пытаетесь разозлить меня дурацкими притчами. Я знаю, кем был ваш отец, Павел Исаев

рассказывал мне: мелким тираном, которого все ненавидели и которого в конце концов убили собственные его крестьяне. Думаете, если вы с отцом питали друг к другу ненависть, так и вся мировая история состоит не из чего иного, как из распрей между отцами и детьми? Вы не понимаете смысла революции. Революция есть конец всего устарелого, включая сюда и отцов с сыновьями. Конец наследования, конец династий. И если это подлинная революция, она обновляет сама себя постоянно. С каждым поколением старая революция отвергается, и история начинается заново. Вот *это* мысль новая, по-настоящему новая. Год Первый. *Carte blanche*. Все изобретается заново, все отменяется и перерождается: право, нравственность, семья — все. Все узники выходят на свободу, все преступления прощаются. Мысль эта столь велика, что вам ее не понять, ни вам, ни вашему поколению. А вернее сказать, вы понимаете ее слишком хорошо, так хорошо, что норовите придушить в колыбели.

— А деньги? Простив преступления, вы перераспределите деньги?

— Мы сделаем больше. Как можно чаще, причем выбирая момент, когда люди этого меньше всего ожидают, мы будем объявлять нынешние деньги утратившими ценность и печатать новые. Вот в чем промахнулись французы — они допустили хождение прежних денег. Французская революция не была революцией подлинной, потому что французам не хватило отваги довести ее до конца. Они уничтожили аристократов, но сохранили прежний способ мышления. Мы в наших школах станем обучать способу мышления, который был до сих пор под запретом. Все снова пойдут в школу, даже

профессора. Крестьяне станут учителями, а профессора — учениками. И мы сотворим в наших школах новых мужчин и женщин. Каждый родится заново и с новой душой.

— А Бог? Что Бог скажет об этом?

Молодой человек заливается неподдельно веселым смехом.

— Бог? Бог преисполнится зависти к нам.

— Так вы, стало быть, веруете?

— Разумеется, веруем! Иначе какой бы смысл был во всем этом? Иначе довольно было бы просто пустить петуха, обратив мир в пепел. Нет; мы придем к Богу, и встанем пред престолом его, и призовем его к себе. И он сойдет к нам! У него не будет выбора, ему придется нас слушать. И тогда все мы соединимся и станем наконец на равную ногу.

— Причитая и ангелов?

— Ангелы окружают нас, распевая осанну! Ангелы будут вне себя от радости. Они тоже получают свободу и смогут ходить по земле как обычные люди.

— А души умерших?

— Вы задаете слишком много вопросов! Если угодно, Федор Михайлович, и души умерших тоже! Души умерших будут снова ходить по земле — и Павел Исаев с ними, коли желаете. То, на что мы способны, не имеет границ.

Какой шарлатан! И все же он уже не понимает теперь, кто из них берет верх — он ли играет с Нечаевым, Нечаев ли с ним. Как будто рухнули вдруг все запреты, запрет на слезы, запрет на смех. Если бы Анна Сергеевна была здесь, приходит незваная мысль, он смог бы сказать ей слова, которых ему так не хватало все это время.

Он делает шаг вперед и с силой, которая кажется ему великанской, прижимает Нечаева к груди. Обняв юношу, притиснув руки его к бокам, вдыхая кислый запах его покрытой карбункулами плоти, плача, смеясь, он целует его в левую щеку и в правую. Бедро к бедру, грудь к груди стоит он, слившись с Нечаевым.

С лестницы слышатся шаги. Нечаев разрывает его объятия.

— Ну наконец-то! — восклицает он. В глазах его светится торжество.

Он оборачивается. В двери стоит женщина в черном платье и несообразной с ним белой шляпке. В тусклом свете, глядя сквозь слезы, трудно назвать ее возраст.

Нечаев выглядит разочарованным.

— А! — произносит он. — Прощения просим! Входите!

Но женщина остается недвижимой. Она держит под мышкой нечто, обернутое в белую тряпицу. У детей нюх острее, чем у него. Все разом, не промолвив ни слова, они сползают с лежака и проскальзывают мимо мужчин. Девочка стягивает тряпицу, и подвал наполняется запахом свежего хлеба. По-прежнему молча она отламывает куски и сует их братьям в руки. Прижавшись к подолу матери, все трое жуют, но глаза их все так же пусты. Словно животные, думает он, все они знают, откуда взялся хлеб, но им это безразлично.

ПЕЧАТНЫЙ СТАНОК

Он отвешивает женщине поклон. Из-под глупой шляпки на него с некоторой робостью глядит молодое веснушчатое лицо. Он испытывает быстрый промельк эротического любопытства, которое, впрочем, сразу сникает. Надо бы носить черный галстук или, на итальянский манер, черную повязку на рукаве, тогда положение его будет понятнее — в том числе и ему. Он больше не полноценный мужчина — ополовиненный. Сгодились бы также медаль на лацкане с изображением Павла. Лучшую половину, которой еще предстояло развиваться вполне, отняли.

— Мне нужно идти, — говорит он.

Нечаев отвечает презрительным взглядом.

— Идите, — отвечает он. — Никто вас не держит. И, повернувшись к женщине:

— Он полагает, что я не знаю, куда он пойдет.

Последнее замечание представляется ему ни на чем не основанным.

— И куда же, по-вашему?

— Хотите, чтобы я сказал это вслух? Разве я не дал вам в руки возможность мне отомстить?

«Отомстить» — после всего происшедшего только что слово это производит впечатление брошенного ему в лицо свиного пузыря. Нечаевское слово. Нечаевский мир — мир расправы. Какое мне дело

до его мира? И все же этот выпад не беспричинен. Возвращается воспоминание — Нечаев при первой их встрече: юбки, взлетевшие чуть не на спинку стула, когда Нечаев усаживался у окна, нажим ноги под столом, то, как он пытался использовать свое тело — бесстыдно, пусть и неловко. Вполне ли сознает этот мальчик свои желания или просто хватается за что ни попадя, желая посмотреть, куда его занесет? Он схож со мною, а я с ним, думает он, только мне не хватает его храбрости. И следом: потому Павел за ним и пошел — в надежде обрести отвагу? Потому и полез ночью на башню?

Он понимает все яснее: Нечаев не остановится, пока не окажется в лапах полиции, пока не испробует и это тоже. Дабы испытать отвагу свою и решимость. И Нечаев выдержит все — тут сомневаться не приходится. Его не сломить. Никакие побои и голод сдать его не заставят, он даже не заболеет. Лишится всех зубов, но улыбаться будет по-прежнему. Будет ползти по земле, волоча переломанные ноги, и рычать, могучий, как лев.

— Так вы *хотите*, чтобы я отомстил? *Хотите*, чтобы я вас предал полиции? К этому и сводились все ваши шарады с глазными повязками и лабиринтами?

Нечаев возбужденно хохочет, сознавая, что они теперь хорошо понимают друг друга.

— Зачем бы мне хотеть этого? — вкрадчиво отвечает он и искоса взглядывает на женщину, словно приглашая ее принять участие в розыгрыше. — Я не сбившийся с толка юнец вроде вашего пасынка. Если вы намереваетесь пойти в полицию, скажите об этом прямо. И не сентиментальничайте на мой счет, не делайте вид, будто вы мне не враг. Мне

ваша сентиментальность известна. Не сомневаюсь, она очень вам помогает с женщинами. С женщинами и с маленькими девочками.

И, повернувшись к немой свидетельнице их разговора, Нечаев продолжает:

— Тебе ведь такие тоже знакомы, не правда ли? Мужчины, которые, причинив тебе боль, проливают слезы, чтобы умастить свою совесть да заодно и ощущения сделать поострее.

Для своего возраста Нечаев обладает на редкость обширными сведениями. Подобные сыщешь не у всякой уличной женщины — вот что значит проницательный ум! Он знает жизнь. Павлу, верно, его познаниягодились. Грязный, колченогий мерзавец — как его звали, Карамзин? — вышел у него куда более живым, чем ходульный герой, сооруженный с явной натугой. Напрасно Павел прикончил его так скоро — большая ошибка.

— Я не имею намеренья вас предавать, — устало отвечает он. — Поезжайте домой, к отцу. Имеется же и у вас отец — где-то в Иванове, если я правильно помню. Поезжайте, встаньте перед ним на колени и попросите, чтобы он вас укрыв. Он не откажет. Отцы способны на многое, если не на все.

Нечаев коротко фыркает. Спокойствия его как не бывало, он вновь принимается рыскать по подвалу, отпихивая подвораживающихся под ноги детей.

— Мой отец! Что вы знаете о моем отце? Я не дурачок, вроде вашего пасынка. Я не цепляюсь за людей, которые меня притесняют! Я ушел из отцовского дома в шестнадцать лет и никогда больше туда не заглядывал. Знаете почему? Потому

что он меня бил. Я сказал ему: «Ударь меня еще раз и больше ты меня не увидишь». Ну так он ударил и больше меня не видел. Теперь я сам себе отец. Я сотворил себя заново. И чтобы укрыться, я ни в каком отце не нуждаюсь. Если я буду нуждаться в укрытии, меня укроет народ.

Говорите, отцы способны на многое? А известно ли вам, что отец показывает мои письма полиции? Я пишу к сестрам, а он выкрадывает мои письма и снимает с них копии полиции на потребу, *и получает за это плату*. Вот на это он способен. Впрочем, хорошо уж и то, что отсюда видно, какое отчаяние испытывает полиция — раз она платит за подобные вещи, значит, ей только и остается, что хвататься за соломинку. Потому что никаких доказательств моей вины найти ей не удастся — никаких!

Отчаяние. Отчаяние преданного человека, отчаяние человека, узнавшего, что это отец предал его.

— Быть может, полиция и не способна ничего доказать, но она знает, как знаем и мы с вами, что вы далеко не невинны. Вы ведь не просто списочек составили, вы пошли дальше, верно? У вас руки в крови, не так ли? Я не прошу вас исповедаться мне. И все же, в самом что ни на есть предположительном смысле, *зачем вы делаете это?*

— В предположительном? Затем что, если ты никого не убил, тебя и всерьез никто не примет. Это единственное идущее в счет доказательство основательности твоих намерений.

— Но для чего вам нужно, чтобы вас принимали всерьез? Почему не оставаться сколь можно дольше молодым и беспечным? Настанет еще

и для серьезности время. И задумайтесь наконец о тех из ваших товарищей, кто послабее, кто совершает ошибку, доверяясь вам. Подумайте о вашей чухонской подруге, о том, что ей в итоге приходится сносить в самую эту минуту.

— Да хватит вам тянуть все одну и ту же вольнуку о моей так называемой чухонской подруге! О ней позаботились, она больше не испытывает страданий! И что вы мне предлагаете — ждать, когда я состарюсь и ко мне станут наконец относиться серьезно? Я уже насмотрелся на то, что происходит с вами, состарившимся. Когда я постарею, это буду не я, а другой человек.

Подобные речи он мог бы представить слетающими с уст Павла, но никак не Нечаева. Павел, Павел, какая потеря!

— Жаль, что мне не довелось увидеть вас с Павлом, — говорит он, не досказывая главного: вы похожи на два меча, на два оголенных меча.

И, однако ж, как умно предостерег его Нечаев от жалости! Ибо он совсем уж было проникся ею — жалостью к одинокому мальчику в бурном море, борющемуся и тонущему. Стало быть, он ошибся, усмотрев в угрюмости Нечаева (ибо Нечаев, как ни странно, примолк), в его задумчивом взгляде нечто напускное, в нем есть и иное качество — вероломство? Да и когда в последний раз мог человек довериться словам, будто бы идущим от сердца к сердцу? Нынче настал век действия, век обмана. Павел был слишком юн, слишком старомоден, чтобы преуспеть в этом веке. Герой и героиня его изъясняются на нелепом, запинающемся, устарелом языке души. «Я хочу... хочу...» — «Ты можешь... можешь...» И все же Павел хотя бы попытался

перевоплотиться в другого человека. А Сергея Нечаева представить писателем невозможно. Эгоист, если не хуже. И любовник жалкий, это навверное. Без чувства, без сострадания. Незрелость чувств, остановка в росте, карлиж. Человек будущего, грядущего века: чудовищный разум, чудовищный аппетит — и все. Замкнутый, одинокий. Настоящее его место — престол посреди голой комнаты. Престол идей. Римский папа идей, и идей прескучных. Бог да спасет тогда верующих, Бог да спасет тех, над кем властвует он!

Мысли его перебивает какой-то лязг, долетающий с лестницы. Нечаев бросается к двери, прислушивается, выходит. Слышится гневный шепот, звук поворачиваемого в замке ключа, затем наступает тишина.

Женщина, так и не снявшая белой шляпки, сидит на краю лежанки, кормя младшего из детей грудью. Встретившись с ним взглядом, она краснеет, но тут же вызывающе вздергивает подбородок.

— Господин Ишутин сказал, что вы можете нам помочь, — произносит она.

— Господин Ишутин?

— Господин Ишутин, ваш друг.

— Не знаю, почему он так сказал? Ему мое положение известно.

— Нас выбросили на улицу, потому что нам нечем было платить за квартиру. То есть за нынешний месяц я деньги внесла, а за прошлые не смогла, не хватило.

Мальш отрывается от груди и начинает ерзать, стараясь высвободиться из рук матери. Женщина отпускает его, он сползает с ее колен и покидает

комнату. Слышно, как он, негромко постанывая, мочится под лестницей.

— Он вот уже несколько недель болеет, — жалуется женщина.

— Покажите мне вашу грудь.

Женщина расстегивает еще пуговку и обнажает обе груди. Сосцы стоят на холоде торчком. Она приподнимает их пальцами, несильно сжимает. Появляется капелька молока.

У него при себе пять рублей, занятых у Анны Сергеевны. Он отдает ей два. Она молча берет монеты, заворачивает их в носовой платок.

Возвращается Нечаев.

— А, вижу, Соня поведала вам о своих горестях, — говорит он. — Я подумал, что ваша хозяйка могла бы им как-то помочь. Она ведь женщина добрая, верно? Так говорил Исаев.

— И речи быть не может. Как я могу привести?..

Женщина — неужели ее и впрямь зовут Соней? — смущенно отводит взгляд. Платье ее из дешевой ткани в цветочек, для зимы решительно непригодной, застегнуто теперь на все пуговицы, до самой шеи. Ее уже начинает трясти от холода.

— Ну, об этом мы после поговорим, — обещает Нечаев. — Я должен показать вам станок.

— Станок ваш меня не интересует.

Однако Нечаев берет его за руку и, то подталкивая, то подволакивая, выводит из двери. И снова он удивляется своей покорности. Он точно впал в нравственную дрему. Что подумал бы Павел, увидев, как убийца его распоряжается отцом? Или это Павел, в сущности говоря, и ведет его? Печатный станок он узнаёт мгновенно — «Альбион-Бирмингем», брат печатал на таком же афишки

и объявления. Какие уж там тысячи экземпляров — от силы две сотни в час.

— Источник энергии каждого автора, — произносит Нечаев, прихлопывая ладонью по станку. — Сегодня ваше заявление разойдется по подвалам, а завтра появится на улицах. Или же, коли желаете, мы попридержим его до времени, когда вы окажетесь за границей. И если вас станут упрекать за него, вам будет легко отпереться — скажете, что это подделка. Да оно к тому времени и не важно будет — дело-то уже делается.

В комнате присутствует еще один человек, годами старший Нечаева, — сухопарый темноволосый мужчина с землистым лицом и тусклыми глазами, согнувшийся над наборным столиком, подпирая подбородок ладонями. Человек этот словно бы не обращает на вошедших внимания, да и Нечаев его не представляет.

— Мое заявление?

— Ну да, ваше заявление. Любое, какое вам будет угодно сделать. Хотите — напишите его прямо сейчас, меньше уйдет времени.

— Но что, если я захочу сказать правду?

— Даю вам слово, мы распространим все вами написанное.

— Правда может оказаться для вашего станка непосильной.

— Что ты к нему пристал, — подает голос мужчина, не отрывая глаз от лежащей перед ним рукописи. — Он же писатель, они так не работают.

— И как же они, по-твоему, работают?

— У писателей есть свои правила. Они не могут писать, если кто-то заглядывает им через плечо.

— Так пусть привыкают к новым правилам. Уединение — это роскошь, без которой вполне можно обойтись. Народ в уединении не нуждается.

Нечаев, получивший новую аудиторию, на глазах обретает прежний свой апломб. Его же начинает уже мутить от этих корявых провокаций.

— Мне нужно идти, — вновь говорит он.

— Не напишете сами, так мы за вас напишем.

— Как вы сказали? Напишете за меня?

— Да.

— И подпишете моим именем?

— И подпишем — выбора у нас нет.

— Ни один человек не примет написанного вами за чистую монету. Вам никто не поверит.

— Студенты поверят, я говорил уже — у вас немало поклонников среди студентов. В особенности среди тех, кто пытается думать самостоятельно, не читая толстенных книг. Студенты вообще способны поверить во что угодно.

— Да брось ты, Сергей Геннадиевич, — произносит мужчина. Судя по тону его, разговор не доставляет ему удовольствия. У него темные круги под глазами, он закуривает папиросу и нервно затягивается. — Чем тебе книги-то так уж не угодили? Да и студенты тоже?

— Того, что нельзя сказать на одной странице, говорить вообще не стоит! И затем, почему это одни люди купаются в роскоши и читают книги, в то время как другие читать и вовсе не умеют? Думаешь, у Сони, вон там, за дверью, есть время для чтения? А студенты твои слишком много болтают. Сидят часами, спорят и только силы попусту тратят. Университет — это место, в котором человека учат спорить, чтобы он после ничем уж другим

и не занимался. Они вроде Самсона, которому евреи отрезали волосы. Думают, будто им удастся улучшить своими разговорами мир. Им невдомек, что улучшить можно лишь то, что сначала ухудшилось.

Его товарищ зевает, и безразличие, выказанное этим зевком, похоже, выводит Нечаева из себя.

— Именно так! Потому нам и приходится подталкивать их. Если их оставить в покое, они непременно съедут к болтовне и препирательствам, а в итоге все пойдет прахом. Вот и пасынок ваш был таков же, Федор Михайлович, — все сплошь разговоры и ничего больше. Страдающий народ не нуждается в разговорах, ему подавай действия. И задача наша — побудить студентов к действию. Если нам удастся спровоцировать их на решительные действия, можно будет считать, что бой мы наполовину выиграли. Разумеется, их могут раздавить, может подняться новая волна гонений, но это создаст лишь новые страдания, новый прилив гнева и новую потребность в действии. Именно так дело и делается. И опять же, если страдают немногие, то разве справедливость не требует, чтобы пострадали все? Да и события начнут ускоряться. Вы удивитесь, как быстро способна подвигаться история, если ее как следует подтолкнуть. Исторические циклы будут все более сокращаться. Если мы начнем действовать сегодня, мы и оглянуться не успеем, как уже окажемся в будущем.

— Стало быть, подлог позволителен? Все позволительно?

— А как же? Эка новость! Ради будущего позволено все, это вам даже верующие люди скажут. Не удивлюсь, если и в Библии так написано.

— Определенно не написано. Так говорят лишь иезуиты, а им прощения не видать. И вам тоже.

— Прощения? Как знать? Однако речь у нас шла о прокламации, Федор Михайлович. Кого так уж заботит ее автор? Слова что ветер — сегодня здесь, завтра там. У них нет хозяина. Мы с вами говорим о толпе. Вам ведь случалось, наверное, оказаться в толпе? Толпу тонкости насчет авторства не интересуют. У нее нет разума, одни лишь страсти. Или вы подразумевали нечто иное?

— Я подразумевал, что если вы сознательно причините страдания несчастным детишкам, ютящимся здесь за стеной, то вам никогда не будет прощения.

— Сознательно? Но что значит «сознательно»? Вы говорите о том, что происходит в человеческом разуме. А история творится на улицах. И не указывайте мне, что-де высказанное мною только что представляет собою идею, порожденную разумом. Это всего-навсего уловка, еще один хитроумный приемчик спорщика, как раз такими и сбивают с толку студентов. Я не какие-то там идеи высказываю, да хоть бы и идеи — это в счет не идет. Идеи у меня могут быть сейчас одни, а через минуту другие, но пока я *действую*, идеи мои гроша ломаного не стоят. Народ-то *действует*. Да к тому же вы и не правы. Вы даже в любезной вам теологии как следует не разобрались. Приходилось ли вам слышать о хождении Богородицы по мукам? Назавтра после Судного дня, в который все разрешится и запечатлеются врата адовы, Богородица покинет свой небесный престол и спустится в ад, чтобы молить о милости к душам проклятых. Она преклонит колена и не встанет, покамест

Бог не смиростивится и не дарует прощение всем, даже атеистам, даже хулителям Его. Так что сами видите, вы противоречите и тому, что написано в ваших же книгах.

В глазах Нечаева пылает торжество победителя.

Прощение всем. От одной этой мысли голова его начинает кружиться. «И соединится отец с сыном». И пусть слова эти исходят из грязных уст святотатца, разве не может сказанное им оказаться истинной? Кто вправе указывать Богородице, где дозволено Ей учредить дом Свой? И если Христос сокровенен, разве не может Он укрываться здесь, в этом подполье? Разве не может Он в самую эту минуту таиться в младенце у груди женщины за стеною, в девочке с угрюмым, все понимающим взглядом, в самом Сергее Нечаеве?

— Вы искушаете Бога. И если вы рассчитываете сыграть на милосердии Божиим, вы проиграете наверняка. Даже до мысли такой не допускайте себя — прислушайтесь к словам моим! — иначе погибнете.

Голос его столь сдавлен, что слова эти еле слышны. Товарищ Нечаева впервые поднимает голову, с любопытством вглядываясь в него.

Словно учуяв его слабость, Нечаев снова переходит в наступление, выматывая его, будто гончий пес.

— Восемнадцать столетий прошло с века Господня, почти девятнадцать! Мы стоим на пороге нового века, в котором никакая мысль не будет запретной. Нет ничего, о чем мы не вправе подумать! И уж конечно вы это знаете! Должны знать — ваш же Раскольников рассуждал об этом в написанной вами книге, пока его не свалила болезнь.

— Вы безумны, вы просто не умеете читать, — бормочет он. Но он потерпел поражение и хорошо это сознает. Он потерпел поражение в споре, оттого что сам не верит себе. А не верит себе оттого, что потерпел поражение. Все рушится: логика, доводы разума. Он глядит на Нечаева и видит лишь кристалл, мерцающий в пустыне — замкнутый в себе самом, несокрушимый.

— Будьте осторожны, — говорит Нечаев, грозя ему пальцем. — Тщательнее выбирайте слова, говоря обо мне. Я человек русский, и, называя меня безумным, вы утверждаете, будто и Россия безумна.

— Браво! — восклицает товарищ Нечаева и с вялой издевкой бьет в ладоши.

Он предпринимает последнюю попытку как-то встряхнуться.

— Пустое, это всего лишь увертка софиста. Вы только часть России, и безумия ее только часть. Я — тот человек, — он прижимает руку к груди и тут же, устыдясь аффектированности жеста, опускает ее, — тот, кто несет в себе безумие. Это моя участь, мое бремя, не ваше. Вы еще слишком юны, чтобы не сломаться под ним.

— И опять-таки браво! — снова прихлопнув в ладоши, восклицает товарищ Нечаева. — Тут он тебя поймал, Сергей!

— И оттого я предлагаю вам сделку, — спеша продолжает он. — Я напишу кое-что для вашего станка. Я напишу правду, полную правду, уместив ее, как вы пожелали, на одной странице. Мое условие таково, чтобы вы напечатали эту правду в собственном ее виде, не изменив в ней ни слова, и послали на улицы.

— Договорились! — Нечаев положительно светится от торжества. — Вот это по мне! Дай ему перо и бумагу.

Незнакомец накрывает наборный столик доской, кладет поверх лист бумаги.

Он пипет:

«В ночь 12-го октября, в год Господа нашего 1869-й, мой приемный сын Павел Александрович Исаев разбился насмерть, упав с дроболитной башни, что на Столярной набережной. Распространились слухи, будто в смерти его повинно Третье отделение. Слухи эти представляют собою лживые измышления. Я уверен, что сын мой был убит его вероломным другом Сергеем Геннадиевичем Нечаевым.

Бог да смилостивится над душою его.

Ф. М. Достоевский.

18 ноября 1869».

Ощущая легкую дрожь, он вручает листок Нечаеву.

— Превосходно! — говорит Нечаев, передавая листок товарищу. — Истина, какой ее видит слепец.

— Печатайте.

— Набери, — приказывает Нечаев.

Товарищ Нечаева смотрит на него твердым вопрошающим взглядом.

— Это правда?

— Правда? Истина? Что есть истина? — взвизгивает Нечаев столь пронзительно, что весь подвал начинает звенеть. — Набирай! Мы и так потратили много времени!

И в этот миг он понимает, что попал в западню.

— Позвольте, я кое-что изменю, — говорит он и, получив листок, сминает его и сует в карман. Нечаев не пытается ему помешать.

— Поздно, поздно, слово не воробей, — говорит он. — Вы написали это при свидетеле. Мы напечатаем написанное вами, как и обещали, слово в слово.

Западня, адская западня. Стало быть, он вовсе не тот, за кого себя принимал, — не человек, неожиданно вышедший из кулисы, чтобы вмешаться в распрю между пасынком своим и анархистом Сергеем Нечаевым. Смерть Павла была всего лишь приманкой, позволившей завлечь его из Дрездена в Петербург. Его выманили из укрытия, и теперь Нечаев держит его за горло.

Он растерянно глядит на Нечаева, но тот не колебим.

Низкое солнце плывет в бледном безоблачном небе. Выйдя из муравейника переулков на Вознесенский проспект, он закрывает глаза; головокружение, норовящее свалить его с ног, возвращается вновь, так что он почти сожалеет об отсутствии направляющей руки и повязки на глазах.

Петербургский водоворот отнял у него все силы. Дрезден манит его как островок мира — Дрезден, жена, книги и рукописи, сотни образующих дом мелких удобств, и не последнее из них — удовольствие, доставляемое свежим бельем. И это теперь, когда он, лишившись паспорта, не может уехать. «Павел!» — шепчет он, повторяя заклинание. Но нить, которая соединяла его с Павлом, оборвалась, а с нею и нить рассуждений, говоривших ему, что, поскольку Павел погиб в Петербурге, он остается привязанным к этому городу. Ныне его удерживает здесь не воспоминание о Павле, даже не Анна Сергеевна, а волчья яма, которую вырыл для него сгубивший Павла человек. Сворачивая не налево, к Свечной, но направо, к полицейскому участку на Садовой, он тешится запальчивой надеждой на то, что Нечаев идет за ним по пятам, выслеживая.

Приемная, как и в прошлый раз, битком набита народом. Он занимает место в очереди и

спустя двадцать минут достигает стола письмоводителя.

— Достоевский, явился отметитья согласно распоряжению, — говорит он.

— Чьему распоряжению? — За столом письмоводителя сидит молодой человек, не соизволивший даже облачиться в полицейский мундир.

Он раздраженно взмахивает рукой.

— Откуда мне знать? Мне приказано было прийти сюда и отметитья, вот я и пришел.

— Присядьте пока, вами кто-нибудь непременно займется.

Он начинает закипать.

— Мною не нужно заниматься, довольно того, что я здесь! Вы увидели меня во плоти, чего ж вам еще? И как я присяду, по-вашему, если тут нет ни единого свободного места?

Его горячность явно пугает письмоводителя, да и прочие толпящиеся в прихожей люди посматривают на него с удивлением.

— Запишите мое имя, и покончим с этим! — требует он.

— Как же я могу вот так просто взять и записать ваше имя? — резонно возражает письмоводитель. — Откуда мне знать его? Покажите хотя бы паспорт ваш.

Он уже не в состоянии сдерживаться.

— Вы же и отняли у меня паспорт, а теперь требуете, чтобы я его показал! Что за безумие! Проводите меня к следственному приставу, господину Максимову!

Если он ожидал, что фамилия Максимова внушит письмоводителю благоговейный ужас, то ошибся.

— Господин Максимов в настоящую минуту отсутствует. Будет лучше, если вы присядете и успокоитесь. Кто-нибудь непременно займется вашим делом.

— И когда же это случится?

— Не могу знать. Вы не единственный человек, оказавшийся в затруднительном положении. — Письмоводитель взмахивает рукой в сторону заполнившего приемную народа. — Во всяком случае, если у вас имеется жалоба, то положенная процедура требует, чтобы вы подали ее в письменной форме. Без письменного объявления мы ничего предпринять не сможем — нам нужно, чтобы было, так сказать, что на зубок положить. По речи вашей видно, что вы человек образованный. Стало быть, вам этого объяснять не нужно.

И письмоводитель обращается к следующему в очереди просителю.

Он не питает никаких сомнений в том, что, подвернись ему сейчас Максимов, он выдаст Нечаева в обмен на паспорт. Если что и способно поколебать его, так это уверенность, что быть преданным — и не кем-нибудь, а им, Достоевским, — это как раз то, чего желает Нечаев. Или дело обстоит еще хуже и содержит дальнейшие выверты? Быть может, за оскорбительными замечаниями насчет его, Достоевского, склонности к предательству, замечаниями, коими столь обильно осыпал его Нечаев, кроется стремление повергнуть его в смущение и остановить? На каждом повороте этой интриги его, как он теперь понимает, переигрывали, и переигрывали, может статься, оттого, что и сам он желал проиграть игроку, при первом же с ним знакомстве

распознавшему в нем удовольствие, с которым он уступает чужому влиянию, удовольствие, испытываемое им, когда кто-то строит против него козни, опутывает его своими сетями, заманивает в западню, — распознал и использовал это знание для достижения собственных целей.

И с Павлом произошло то же самое? Был ли и Павел в тайная тайных души истинным сыном приемного отца своего, совращаемым сладострастными посулами совращения?

Нечаев назвал капиталистов пауками, но в настоящую минуту сам он ощущает себя не более чем мухой в паутине Нечаева. Он способен вообразить лишь одного еще более крупного паука — Максимова, сидящего за письменным столом и облизывающегося в предвкушении новой добычи. Хочется надеяться, что Максимов сожрет Нечаева, проглотит молодого человека целиком, с хрустом раздробит его кости и выплюнет обескровленные останки.

Итак, после всех восхвалений в собственный адрес он скатился к самой ничтожной мстительности. Насколько ниже еще предстоит ему пасть? Он вспоминает слова Максимова: в век, подобный нашему, быть отцом одних только дочерей — это благословение Божие. А коли уж выпадает иметь сыновей, то лучше растить их, не приближаясь к ним слишком близко, вот как разводят рыб или лягушек.

Он представляет себе паука Максимова в доме его, трех дочерей, которые с тихим шипением суется вокруг папаши, оглаживая его когтистыми лапками, и погружается в чувство глубочайшего негодования и на Максимова тоже.

Он очень рассчитывал, что ответ от Аполлона Майкова придет в самом скором времени, однако дворник на все расспросы отвечает твердо: никак нет-с, ответа не было.

— Да уверены ли вы, что письмо мое было доставлено?

— Что же меня-то спрашивать, вы спросите мальчишку, которому его отдали.

Он пытается отыскать мальчишку, однако тот точно сквозь землю провалился.

Написать еще раз? Если первая его мольба дошла до Майкова и была им оставлена без ответа, не будет ли вторая пустым унижением? Он покамест не нищий попрошайка. Тем не менее нужно сказать себе неприятную правду: ото дня в день он живет на подачки Анны Сергеевны. Да и надеяться на то, что его присутствие в Петербурге останется незамеченным, более не приходится. Слух о его появлении здесь разойдется скоро, если уже не разошелся, и тогда любой из полудюжины его кредиторов сможет обратиться к властям с прошением о том, чтобы его упрятали в долговую яму. Безденежье его не защитит: кредитору недолго сообразить, что жена его, или родственники жены, или собратья-писатели могут, прибегнув к последнему средству, собрать деньги, чтобы оградить его от бесчестья.

Стало быть, тем больше у него причин убраться из Петербурга! Необходимо вернуть паспорт, а не получится, так рискнуть снова отправиться в дорогу с паспортом Исаева.

Он обещал Анне Сергеевне, что будет присматривать за больной девочкой. Зайдя к ней, он обнаруживает, что занавеска отдернута, а Матрена сидит в постели.

— Как ты себя чувствуешь? — спрашивает он. Погруженная в собственные размышления, она не отвечает ему.

Он подходит ближе, кладет ладонь ей на лоб. На щеках девочки горят красные пятна, дыхание короткое, но жара нет.

— Федор Михайлович, — глядя в сторону, медленно спрашивает она, — а умирать очень больно?

Он удивлен направлением ее мыслей.

— Матреша, голубчик, — говорит он, — тебе это вовсе не грозит! Ложись вздремни, а как проснешься, тебе уже станет лучше. Ты ведь слышала, что сказал доктор: несколько дней, и ты снова вернешься в школу.

Он еще не успевает закончить, а Матреша уже трясет головой.

— Я не о себе, — говорит она. — Очень ли это больно... ну, вот... ну, когда человек умирает?

Он понимает наконец, что она совершенно серьезна.

— В самый миг, то есть?

— Да. Не когда ты совсем уж умер, а вот перед тем.

— То есть когда знаешь, что почти уже мертв?

— Да.

Чувство благодарности охватывает его. Уже несколько дней как девочка отстраняется от него, защищаясь поддельной бестолковостью, ребячливостью, упиваясь своими обидами, не желая делиться с ним сохраняемыми ею драгоценными воспоминаниями о Павле. И вот наконец она снова стала самой собой.

— Животные умирают легко, — мягко говорит он. — Быть может, нам следует поучиться у них.

Быть может, для того и населили ими землю, чтобы показать нам, что жизнь и смерть не так тяжелы, как мы думаем.

Он умолкает, затем пробует подступиться с другой стороны.

— Боль-то нас в смерти пуще всего и пугает. И страх, что придется покинуть тех, кто нас любит, и проходить дальнейший наш путь в одиночестве. Но ведь это не так, совершенно не так. Умирая, мы уносим любимых наших с собою, в груди своей. Вот и Павел, когда умер, взял с собою тебя, и меня, и матушку твою. Он и сейчас хранит нас в себе. Павел не одинок.

Матрена все с тем же апатичным, непроницаемым выражением говорит:

— Я думала не о Павле.

Он сбит с толку, он не понимает девочку; однако предстоит пройти еще несколькими мгновениям, прежде чем он усвоит всю полноту своего непонимания.

— Но о ком же тогда?

— О барышне, приходившей сюда в субботу.

— Не понимаю, о какой барышне?

— О подруге Сергея Геннадиевича.

— Чухонке? Ты думаешь о ней потому, что ее схватила полиция? Об этом тебе не стоит тревожиться! — Он берет Матренины ладони в свои и поглаживает, желая ее успокоить. — Смерть ей вовсе не грозит. Полиция не убивает людей. Ее просто-напросто выпшлют домой, в Карелию, вот и все. На худой конец, подержат немного в тюрьме.

Она отнимает руку и поворачивается лицом к стене. В голове его начинается брезжить мысль, что, возможно, он так ее и не понял, что она, может быть,

вовсе не искала у него утешения, избавления от детских страхов, но, напротив, пыталась окольным путем рассказать ему о чем-то, чего он не знает.

— Ты боишься, что ее ожидает казнь? Тебя это пугает? Потому что тебе известно какое-то ее преступление?

Матрена трясет головой.

— Так объясни же. Мне ничего больше в голову не приходит.

— Они все поклялись, что не позволят себя схватить. Поклялись покончить с собой.

— Матреша, давать такие обеты легко, куда труднее их выполнить, особенно после того, как друзья тебя бросают и ты остаешься совсем одиноким. Жизнь так драгоценна, что Катри права, пытаясь ее сохранить, тебе не следует винить ее в этом.

На какое-то время девочка погружается в размышления, перебирая пальцами одеяло и, видимо, сама того не сознавая. Когда она вновь произносит несколько слов, она произносит их шепотом, опустив голову, так что он их едва различает:

— Я дала ей яд.

— Что ты дала ей?

Матрена отводит с лица волосы, и он видит, что те скрывали — чуть приметную улыбку.

— Яд, — так же тихо повторяет она. — Он причинит ей страдания?

— Но как же ты это сделала? — спрашивает он, стараясь протянуть время, пока не улягутся лихорадочно скачущие мысли.

— Когда передавала ей хлеб. Никто не заметил.

Он вспоминает сцену, показавшуюся ему столь странной: старомодный реверанс, поднесенный арестантке еду.

— Она знала? — пересохшими губами шепчет он.

— Да.

— Ты уверена? Уверена, что она понимала, что ты ей даешь?

Матрена кивает. И, припомнив, насколько оцепенелой, насколько лишенной благодарности казалась тогда чухонка, он не может ей не поверить.

— Да, но как же яд попал в твои руки?

— Сергей Геннадиевич оставил, для нее.

— Что он еще оставил?

— Флаг.

— Флаг и еще что?

— Разные вещи. Он просил меня сохранить их.

— Покажи их мне.

Девочка выбирается из кровати, встает на колени и, порывшись между кроватных пружин, вытаскивает холщовый сверток. Положив сверток на постель, он разворачивает его. Американской работы пистолет с патронами. Несколько прокламаций. Нанковый кошель, стянутый и перевязанный длинной веревкой.

— Яд внутри, — говорит Матрена.

Он распутывает веревку и высыпает на постель содержимое кошеля: три стеклянные капсулы с зеленым порошком внутри.

— Это ты ей и дала?

Матрена кивает.

— Она должна была носить такой же на шее, но не носила.

Девочка сноровисто продевает голову в веревочную петлю, так что кошель помещается между ее грудок будто медальон.

— Иначе бы они ее не схватили.

— И ты дала ей другой.

— Но ведь она же нуждалась в яде — чтобы выполнить клятву. Она была готова на все для Сергея Геннадиевича.

— Может быть. Во всяком случае, так говорит Сергей Геннадиевич. И все же, не дай ты ей яд, ей было бы проще не сдерживать данного Сергею Геннадиевичу слова, да еще такого, которое сдерживать особенно трудно, — не правда ли?

Матрена морщит нос. Он узнает эту ее гримаску, появляющуюся, когда девочку, к большому ее неудовольствию, загоняют в угол. Тем не менее он продолжает:

— Тебе не кажется, что Сергей Геннадиевич слишком вольно обращается со смертью? Помнишь нищего, которого убили по соседству? Это тоже сделал Сергей Геннадиевич — или приказал сделать кому-то другому, а тот, другой, подчинился ему, как подчинилась ты.

Она опять морщит нос.

— Но зачем? Зачем понадобилось его убивать?

— Полагаю, из желания показать всем и вся, что он, Сергей Геннадиевич, не тот человек, с которым позволительно шутки шутить. Или из желания испытать того, кто получил приказ совершить убийство, посмотреть, выполнит ли он этот приказ. Не знаю. Мне трудно читать в его сердце, да больше и не хочется.

Матрена молчит, размышляя.

— Мне этот нищий не нравился, — сообщает она наконец. — От него рыбой несло.

Он смотрит на нее не мигая, и Матрена отвечает ему взглядом столь же твердым.

— А Сергей Геннадиевич тебе, стало быть, нравится?

— Да.

Он хотел спросить о другом, хотел, но не решился: ты его любишь? Ты тоже на все для него готова? Впрочем, она отлично поняла смысл вопроса, да, собственно, на него и ответила. Значит, остается задать еще только один:

— Больше, чем Павел?

Матрена колеблется. Он прямо-таки видит, как она взвешивает их — одного в правой ладони, другого в левой, как яблоки.

— Нет, — в конце концов отвечает она с интонацией, для которой ему удастся найти лишь одно обозначение — благоволящая. — Павел по-прежнему нравится мне больше всех.

— Потому что нельзя ведь найти двух менее схожих людей, не правда ли? Лес лесом, а бес бесом.

— Лес лесом, а бес бесом? — прыскает Матрена.

— Есть такое присловье. Конный пешему не товарищ. Так же, как гусь свинье.

Последнее уподобление представляется ей сомнительным.

— Они оба такие веселые... были, — возражает она, запнувшись на глаголе.

Он качает головой.

— Вот тут ты ошибаешься. Сергей Геннадиевич человек далеко не веселый. Конечно, в нем присутствует некий дух, но это не дух радости. — Он склоняется к девочке и, отведя прядь волос с ее лица, касается щеки. — Послушай, Матреша. Ты не сможешь долго прятать все это от матери, — он указывает на орудия убийства. — Я помогу тебе избавиться от них, как помог с платьем. Что бы там ни говорил Сергей Геннадиевич,

хранить их здесь невозможно. Слишком опасно. Ты понимаешь?

Губы ее чуть приоткрываются, уголки их вздрагивают. Сейчас заплачет, думает он. Но нет, дело клонится вовсе не к этому. Девочка поднимает глаза, и его обволакивает взгляд одновременно бесстыдный и насмешливый. Она уклоняется от его руки, встряхивает головой. «Нет!» — выдавливает он. Улыбка девочки становится издевательской, искустельной. Но тут чары спадают, и она обращается в то же дитя, что и прежде, запутавшееся, мучимое стыдом.

Невозможно, чтобы увиденное им только что произошло в действительности. То, что он видел, пришло из другого, хорошо ему знакомого мира, из другого существования. Он словно бы в первый раз пережил припадок, сохраняя сознание, так что глазам его открылись наконец области, в которые он попадает, когда им овладевает приступ болезни. В сущности говоря, ему следовало б задуматься о том, насколько верным остается слово «припадок», не вернее ль и не всегда ли было вернее другое — «беснование», и не было ли все, что в последние двадцать лет называлось припадками, простым предчувствием того, что случилось с ним ныне, не были ль трепет и содрогание тела затянувшейся прелюдией к судорогам души.

Смерть невинности. Никогда еще не чувствовал он себя таким одиноким. Точно странник на бескрайней равнине. Над головой собираются грозовые тучи; молния посверкивает на горизонте; тьма сгущается, наползая волна за волной. Укрыться нигде, и если он когда-то и знал цель, к которой

идет, то давно уж ее потерял; а тучи меж тем все тянутся, становятся все грузнее.

«Пусть наконец все рухнет!» — молится он: отсрочки бессмысленны.

Когда в шесть часов он выходит из дому со свертком под мышкой, на улицах все еще не протолкнешься. По Гороховой он проходит к Фонтанке, вливается в толпу, переходящую мост, и в середине моста останавливается, опершись о перила.

Лед почти уж сковал воду, осталась лишь неровная полынья посередине реки. Чего там только нет, подо льдом! Весенний паводок делает явными немало преступных тайн, выставляя на свет божий ножи, топоры, окровавленную одежду. Если не хуже. Убить человека легко, куда труднее избавиться от останков. Заупокойная служба с ее заклинаниями обращается, если правду сказать, не к душе, но к упрямому телу, уговаривая его не вставать и не возвращаться.

И с опаской, словно притрагиваясь к незатянувшейся ране, он вновь разрешает себе подумать о Павле. Павел, неупокоенный, все еще длит существование свое под покровом земли и снега на Елагином острове. Павел сжимается в комок от стужи, от мыслей о вечности, которую ему предстоит протянуть, прежде чем настанет день воскрешения, когда расколется надгробия и разверзнутся могилы; Павел, будто голый череп, стискивает зубы, снося то, что ему предстоит сносить, пока солнце не озарит его вновь и он не сможет расправить затекшие члены. Бедный мальчик!

Молодая пара приостанавливается рядом с ним, рука мужчины обнимает женские плечи. Он немного отодвигается в сторону. Черная вода лениво течет под мостом, мелкие волны плещут о разломанную, обросшую сосульками корзину. Он кладет холщовый сверток на перила. Женщина встречается с ним взглядом, отводит глаза, и тогда он легко толкает сверток локтем.

Сверток падает на кромку льда у самой полыньи и остается лежать у всех на виду.

Он не верит своим глазам. Он же стоит над самой промоиной и тем не менее умудрился промахнуться! Что это, фокусы паралакса? Или существуют предметы, которые падают не вертикально?

— Эк вас утразило! — произносит, пугая его, чей-то голос слева. Человек в фуражке мастерового, пожилой, седобородый, подмигивает, уставясь ему прямо в лицо. Вот же дьявольская рожа!

— На лед-то, я мыслю, с неделю еще не соступишь. Хорошие ваши дела, нечего сказать.

Теперь бы еще припадок, думает он, и чаша моя будет полна. Он видит себя бьющимся в конвульсиях, пена летит изо рта, собирается толпа, и седобородый тычет для всеобщего осведомления пальцем туда, где на льду лежит пистолет. Припадок, ударяющий, точно молния с неба, поражая грешника. Но молния что-то задерживается.

— Не лезьте не в свое дело! — бормочет он и спешит уйти с моста.

18. ДНЕВНИК

Вот уже в третий раз принимается он читать оставшиеся от Павла бумаги. Он не взялся б сказать, почему чтение дается ему с таким трудом, и тем не менее внимание его раз за разом отвлекается от смысла слов к самим словам, к буквам на бумаге, к чернильному следу ползущей по бумаге руки, к штрихам, оставленным нажатиями пальцев. Временами он закрывает глаза и прикасается губами к листу. Бесценен, каждый клочок бумаги бесценен для меня, говорит он себе.

Но в нерасположении его к чтению присутствует и нечто иное. Это вторжение в тайны Павла отдает чем-то скверным, да и само представление о воспринятом от ребенка Nachlass¹, в сущности, непристойно.

Сибирский рассказ Павла испорчен для него насмешкой Максимова, и, видимо, навсегда. Он не может не сознавать, что сама манера, в которой написан рассказ, ребячески незрела, несамостоятельна. И все же как мало требуется усилий, чтобы вдохнуть в него жизнь! Руки его чешутся от желания переписать рассказ, вымарав длинные пассажи, сентиментальные и нравоучительные, добавив живые подробности, которые так и про-

¹ Наследство (нем.).

сятся на бумагу. Этот юноша, Сергей, самодовольный резонер, требует описания отстраненного, освещения более юмористического, особенно в том, что касается чинной торжественности, с которой он укрепляет свое тело. Крестьянскую девушку привлекает в нем, конечно, не перспектива супружеской жизни (состоящей, сколько он способен судить, из питания сухарями и брюквой да из спанья на голых досках), но вот эта его постоянная готовность к таинственной участи, откуда она произошла? Из Чернышевского, разумеется, но не только из Чернышевского — из Евангелий, из Иисуса, из подражания Иисусу, такого же, на свой манер, недалекого и превратного, как у атеиста Нечаева, собирающего вокруг себя шайку учеников и посылающего их в мир со смертоносными поручениями. Человек со свирелью и со следующим за ним по пятам стадом приплясывающих свиней. «Она была для него готова на все», — сказала Матрена о свинообразной Катри. На все — на любое унижение, на смерть. Все выжжено — стыд, самоуважение. Интересно, что происходило между Нечаевым и его женщинами в комнатке над заведением *Madame la Fay*? А Матрена — ее тоже приуготавливали для нечаевского гарема?

Он закрывает рукопись Павла, отодвигает ее. Начни он ее переписывать, определенно получится нечто постыдное.

Теперь дневник. Перелистывая страницы его, он в первый раз замечает следы карандаша, аккуратные галочки, оставленные не рукою Павла, а, стало быть, рукою Максимова и никого иного. Для кого они предназначались? Верно, для переписчика; но в нынешнем его состоянии он способен

воспринимать их лишь как указующие вешки, расставленные Максимовым для него.

«Виделся нынче с А.», — читает он против галочки запись, сделанную 11 ноября 1868, почти ровно год назад. 14 ноября: снова загадочное А. 20 ноября: «А. у Антонова». Начиная с этой страницы каждое упоминание А. сопровождается галочкой.

Он отлистывает страницы назад. Самое раннее упоминание об А. относится к 6 июня, если не считать записанного 14 мая: «Длинный разговор с — », против чего также стоит галочка и вопросительный знак.

14 сентября 1869 года, за месяц до смерти: «Сюжет для рассказа (подсказан А.). Запертые ворота, мы стоим снаружи, стучим, кричим, просимся внутрь. Каждые несколько дней ворота чуть приотворяются и страж подзывает одного из нас. Выбренный им лишается всего, чем владеет, даже одежды. Его обращают в слугу, учат кланяться, говорить вполголоса. В слуги они выбирают тех, кто кажется им самым покорным, легче других поддающимся приручению.

Тема: распространение духа неподчинения среди слуг. Поначалу перешептывания, затем гнев, мятежные настроения, и, наконец, взявшись за руки, они приносят клятву мщения. Заканчивается все появлением старого верного слуги, седого, отечески добродушного, он приходит с канделябром, чтобы (как он говорит) «внести посильный вклад», и поджигает портьеры».

План сказки, аллегии, но не рассказа. Отсутствие собственной жизни, собственной сурдины. Отсутствие души.

6 июля 1869: «В почте десять рублей от Сниткиной, на мои именины (запоздали), с наказом не говорить Хозяину».

«Сниткина» — Аня, его жена; «Хозяин» — он сам. Вот это подразумевал Максимов, предостерегая его относительно «мучительных» мест? Коли так, Максиму следовало бы знать, что для него это не более чем комариный укус. Он способен снести и большее, гораздо большее.

Он отлистывает назад еще несколько страниц, возвращаясь к дням более ранним.

26 марта 1867: «Прошлой ночью столкнулся на улице с Ф. М. Вид у него был какой-то укрادчивый (ходил в публичный дом?), и я решил притвориться пьянее, чем был. Ф. М. „направил стопы мои к дому“ (он повадлив разыгрывать отца, прощающего блудного сына), уложил меня, точно труп, на диван и долго потом ругался шепотом со Сниткиной. Я лишился башмаков (наверное, отдал кому-то). Кончилось все тем, что Ф. М., сняв сюртук, прилачился омыть мне ноги. Все это оч. стесняет. Утром сказал С., что я должен жить отдельно, не может ли она надавить на него, воспользовавшись обычными ее фокусами? Но она слишком его боится».

Больно? Разумеется, больно, тут следует отдать Максиму должное. И все-таки, если что и способно убедить его оставить дальнейшее чтение, так это не боль, а боязнь. Боязнь утратить доверие к жене, например. Боязнь за его веру в Павла.

Но кому же предназначались эти озлобленные страницы? Написал ли их Павел для отцовских глаз, а после умер, чтобы обвинения так и остались

безответными? Разумеется, нет: даже думать так — безумие! Это больше похоже на то, как женщина пишет к любовнику, ощущая за плечом привычный призрак мужа. Каждое слово двойственно: один видит в нем страсть и обещание, другой — осуждение и отповедь. Надтреснутые слова, идущие от надтреснутого сердца. Понял ли это Максимов?

2 июля 1867, три месяца спустя: «Освобождение рабов! Наконец-то на воле! Простился с Ф. М. и его новобрачной на воксале железной дороги. И сразу затем съехал с невозможной квартиры, в которую он меня запихал (*собственная чашка, собственное салфеточное кольцо и простокваша* в половине одиннадцатого утра). В. Г. обещал приютить меня, пока я не подыщу другого места. Надо будет уломать старичка Майкова, пусть отдаст мне деньги, чтобы я сам платил за квартиру».

Он отрешенно перелистывает страницы — вперед, назад. Прощение: неужели нет здесь ни слова прощения, пусть косвенного, пусть неявного? Как сможет он доживать свои дни, лелея в душе ребенка, чьим последним словом было не слово прощения?

Свинцовый гроб, внутри серебряный. Внутри серебряного — золотой. А в золотом лежит тело юноши в белом с руками, скрещенными на груди. В пальцах стиснута телеграмма. Он вглядывается в нее, пока все не начинает плыть перед глазами, выискивая слово прощения, которого в ней нет. Телеграмма составлена на еврейском, на арамейском, он никогда прежде не видал этих знаков.

Стук в дверь. Анна Сергеевна, в уличном платье.

— Пришла поблагодарить вас за то, что посмотрели за Матрешей. Она вам не очень досаждала?

Ему требуется несколько секунд, чтобы прийти в себя, вспомнить, что ей ничего не известно о том, как отвратительно Нечаев использовал девочку.

— Ничуть не досаждала. Как она, на ваши глаза?

— Спит, я не стала ее будить.

Она замечает разбросанные по кровати листы.

— Вижу, вы все же читаете бумаги Павла. Не буду вам мешать.

— Нет-нет, останьтесь. Это занятие не из самых приятных.

— Федор Михайлович, позвольте мне снова просить вас: не читайте того, что не предназначалось для ваших глаз. Вы только страдания себе причините.

— Я рад был бы последовать вашему совету. К несчастью, я приехал сюда не для того — не для того, чтобы оградить себя от страданий. Я просматривал дневник Павла и наткнулся на описание происшествия слишком мне памятного, случившегося в позапрошлом году. Увидеть его теперь другими глазами — это, знаете, откровение в своем роде. Павел пришел среди ночи домой мертвецки пьяным. Мне пришлось раздеть его, и, помню, меня поразило одно, чего я прежде не замечал, — какие у него на ступнях маленькие ногти, они словно бы и не выросли с детской его поры. Широкие мясистые ступни — полагаю, доставшиеся ему от отца — с крохотными ноготками. Он потерял

башмаки или отдал их кому-то, и ноги у него были совсем ледяные.

Павел, в одних носках бредущий после полуночи холодными улицами. Заблудший ангел, ангел несовершенный, из числа отвергнутых Богом. Ступни его — ступни пешехода, привычно попирающего нашу великую мать; ступни крестьянина, не танцора.

Потом он сидит на диване, мотая свешенной головой, и всю одежду его покрывает рвота.

— Я дал ему старые сапоги и видел утром, как он уходил, очень сердитый, с сапогами в руках. Ничего не поделаешь, думал я. Хотя что же, восемнадцать, девятнадцать — возраст опасный, опасный для всякого, кто уже оперился, а гнездо покинуть еще не может. Вечно голодный, вечно что-то жующий. Совсем как пеликан — нескладное создание, самая неказистая среди птиц, пока он не расправит огромные крылья и не воспарит над землей.

Увы, Павел запомнил ту ночь совсем по-другому. В его рассказе о ней нет ни слова о птицах и ангелах. И об отеческой заботе ни слова. Об отеческой любви.

— Федор Михайлович, ну зачем вы себя так терзаете? Если вы не в силах сжечь эти страницы, так хотя бы заприте их до поры и вернитесь к ним, когда примиритесь с Павлом. Прислушайтесь к моим словам и сделайте, как я говорю, для вашего же блага.

— Спасибо вам, милая моя Анна. Я слышу ваши слова, они проникают в самое сердце мое. Но когда я говорю о том, что не вправе ограждать себя от страданий, о том, почему я здесь, я разумею

под «здесь» не вашу квартиру, не Петербург. Я хочу сказать, что очутился здесь, в России, в том времени, в котором мы с вами живем, не для того, чтобы прожить жизнь не страдая. Я призван к жизни — как бы это сказать? — в России или с Россией во мне, что бы ни означало это слово — Россия. Такова моя участь, и избегнуть ее я не в силах.

Это не значит, будто я усматриваю в жизни моей какой-то великий смысл. Если разобрать ее по косточкам, она навряд ли заслужит чье-нибудь одобрение. В сущности говоря, это и не жизнь даже, а род цены или разменной монеты. Нечто такое, чем я плачу за возможность писать. Вот чего так и не понял Павел: я тоже расплачиваюсь.

Она хмурится. Он понимает вдруг, у кого переняла Матрена свою повадку. Анне не по сердцу люди, выворачивающие перед нею нутро. Что ж, честь ей за то и хвала! В России и так слишком довольно людей, падких до этого занятия.

И тем не менее «я тоже расплачиваюсь»: он повторил бы это сызнава, если б у Анны хватило терпения слушать его. Он сказал бы это опять, и не одно только это. Да, я плачу, и я же продаю — вот из чего складывается мое существование. Продаю свою жизнь и жизни тех, кто меня окружает. Продаю все. Торговля Яковлева — жизни по сходной цене. В окончательном смысле чухонка была права: Иуда, не Иисус. Продам тебя, продам твою дочь, продам всех, кого люблю. Я продавал Павла живого, теперь продам то, что осталось во мне от Павла, если только смогу придумать, как это сделать. Надеюсь, мне удастся сыскать и способ продажи Сергея Нечаева тоже.

Жизнь без чести, предательство без предела, исповедь без конца.

Анна прерывает ход его мыслей.

— Вы по-прежнему думаете съехать от нас?

— Да, конечно.

— Я потому спрашиваю, что ко мне уже обращались насчет комнаты. Куда вы направитесь?

— Первым делом к Майкову.

— Вы, помнится, говорили, что не можете больше просить его об услугах.

— Он одолжит мне денег, я в этом не сомневаюсь. Скажу, что деньги нужны мне для возвращения в Дрезден. А после подыщу себе какое-нибудь иное пристанище.

— Но почему вам и вправду не возвратиться в Дрезден? Разве это не разрешит все ваши затруднения?

— Паспорт мой все еще в полиции. Но, кроме того, у меня есть и иные причины.

— Я к тому говорю, что вы ведь сделали все, что могли, зачем же попусту тратить время в России?

Выходит, Анна не слышала сказанного им? Или она просто дразнит его? Он встает, собирает бумаги, затем поворачивается, чтобы взглянуть ей в лицо.

— Анна, голубчик, я вовсе не трачу здесь время попусту. У меня есть все основания для того, чтобы оставаться здесь. Думаю, оснований более веских даже и нет ни у кого другого на свете. И конечно же, сердцем вы тоже понимаете это, я уверен.

Анна качает головой.

— Не знаю, — негромко произносит она, однако тон ее — тон человека, готового услышать возражения и уступить.

— Было время, когда я верил, что вы соедините меня с Павлом. Я видел нас с вами в челне, вы сидели на носу, указывая нам путь сквозь туман. Картина была живая, как сама жизнь. Я во всем полагался на вас.

Она опять качает головой.

— Возможно, я ошибался в деталях, но чувство мое было верное. С первой минуты я ощутил в вас эту способность.

Если она желает остановить его, ей следует сделать это сейчас. Но Анна молчит. Она впивает его слова, как иссохшее растение воду. И почему же нет?

— Мы сами себе помешали, опрометчиво устремившись к... к тому, к чему устремились, — продолжает он.

— Тут есть и моя вина, — говорит она, — но мне не хочется сейчас вдаваться в это.

— Как и мне. Позвольте сказать только, что в последние несколько недель я стал понимать, сколь многое значит для нас с вами верность, для нас обоих. Мы волей-неволей открыли для себя истинное значение этого слова. Я ведь прав, не так ли?

Он вглядывается в нее, но Анна ждет от него чего-то большего, ей нужно наверное знать, что он и вправду понимает значение слова «верность».

— Для вас это верность дочери, для меня — сыну. Мы не можем любить друг друга, пока не получим их благословения. Я прав?

Он знает, что Анна согласна с ним, и все же она не произносит ни слова. И он продолжает, пытаясь сломить ее слабое сопротивление:

— Я хотел бы прижить с вами ребенка.

Анна краснеет.

— Что за глупости! У вас уже есть жена и ребенок!

— Это другая семья. Вы — члены семьи Павла, вы и Матрена. И я тоже из этой семьи.

— Я вас не понимаю.

— В сердце своем — понимаете.

— И в сердце тоже! Что вы предлагаете? Чтобы я выносила ребенка, отец которого будет жить за границей и почтой высылать мне содержание? Нелепость!

— Но отчего? Вы же заботились о Павле.

— Павел был мне жильцом, а не сыном!

— Я вовсе не жду, что вы примете решение сразу.

— Ну так я приму его сразу! Нет! Вот вам мое решение!

— Но что, если вы уже беременны?

Она вспыхивает.

— Это вас не касается!

— И что, если я не вернусь в Дрезден? Если останусь здесь и буду в Дрезден высылать содержание?

— Здесь? В комнате для постояльцев? Я полагала, причина, по которой вы не можете жить в Петербурге, состоит в том, что кредиторы упрячут вас в тюрьму.

— С долгами я как-нибудь справлюсь. Мне нужен успех, один-единственный, больше ничего не потребуется.

Внезапно Анну пробирает смех. Она, может быть, сердита на него, но не оскорблена. Ей он может сказать все, что угодно. Как это не похоже

на Аню! Аня расплакалась бы, хлопнула дверью, и пришлось бы потратить не меньше недели, мольбами и просьбами возвращая ее расположение.

— Федор Михайлович, — говорит Анна Сергеевна, — завтра поутру вы проснетесь и не вспомните из нашего разговора ни слова. Вам просто взбрела в голову случайная мысль. Всерьез вы ни минуты об этом не думали.

— Вы правы. Именно так. Потому-то я этой мысли и верю.

Она не падает в его объятия, но и не отталкивает его.

— Двоеженство! — негромко и презрительно произносит она, и ее вновь одолевает смех. Затем она спрашивает, уже серьезно: — Хотите, я приду к вам ночью?

— Ничего на свете не хочу сильнее.

— Ну, поглядим.

Она возвращается в полночь.

— Я не могу остаться, — говорит она и тут же закрывает за собою дверь.

Они любят друг друга, как приговоренные к смерти, забыв обо всем, кроме своих ощущений, устремляясь к единой цели. Минутами он не способен сказать, кто из них кто — кто мужчина, кто женщина, — в эти мгновения они походят на чету скелетов, соединений костей и связок, втиснутых одно в другое, рот в рот, глаза в глаза, сцепление ребер, сплетение берцовых костей.

Погодя она лежит в узкой кровати, прижимаясь к нему, положив голову ему на грудь, привольно закинув длинную ногу поверх его ноги. У него чуть кружится голова.

— Так это и есть зачатие спасителя? — мурлычет она. И, видя, что он не понял, поясняет: — Истинная река семени. Ты ничего не захотел оставить случаю. Вся постель промокла.

Святотатственные слова ее лишь обостряют интерес, который он к ней испытывает. Всякий раз он находит в ней нечто новое, поразительное. Немыслимо, что, уехав из Петербурга, он не вернется назад. Немыслимо, что они не увидятся больше.

— Почему ты заговорила вдруг о спасителе?

— Разве не в этом его задача — спасти тебя, спасти нас обоих?

— Но почему ты уверена, что будет он?

— О, женщина такие вещи знает.

— А что скажет Матреша?

— Матреша? О братике? Матреше больше ничего и не нужно. Будет нянчиться с ним сколько душа пожелает.

По видимости вопрос был задан о Матреше, но это лишь внешняя оболочка другого вопроса, которого он не задал, потому что и без того знает ответ. Павел вовсе не обрадовался бы брату. Павел взял бы братика за ногу и размозжил его голову о стену. Павел счел бы его не спасителем, но самозванцем, узурпатором, дьяволенком, укрывшимся под пухленькой младенческой плотью. И кто мог бы поклясться, что он не прав?

— Так женщина непременно знает?

— Ты спрашиваешь, знаю ли я, что забеременела? Не беспокойся, этого не случилось, — и затем: — Если я задержусь еще ненадолго, я засну.

Анна отбрасывает одеяло, перебирается через него. Отыскав при лунном свете одежду, она одевается.

Он ощущает мимолетную боль. Его волнуют полузабытые, давние чувства; юноша, таящийся в нем, еще не умерший, вскрикивает, стараясь, чтобы его услышали, труп, скрытый в нем, все еще не похоронен. Ему остается лишь шаг до любви, до пропасти, от падения в которую никакая сдержанность, никакое благоразумие его не спасут. Снова падучая или же близкое подобие ее.

Побуждение было сильным, но и оно прошло. Сильным, но сильным недостаточно. И никогда уже не набрать ему нужной силы, если только она не отыщет какой-то опоры.

— Иди сюда, на минуту, — шепчет он.

Она садится на кровать, он берет ее руку.

— Можно я предложу кое-что? Мне кажется, отношения Матрешы с Сергеем Нечаевым и друзьями его не доведут девочку до добра.

Анна отнимает руку.

— Конечно не доведут. Но зачем говорить об этом сейчас?

Голос ее ровен и холоден.

— Видишь ли, я не думаю, что ее стоит оставлять одну на то время, когда Нечаев может сюда заглянуть.

— И что ты предлагаешь?

— Нельзя ли ей до часа, в который ты приходишь домой, оставаться внизу, у Амалии Карловны?

— Просить старуху ухаживать за больной девочкой — это немного слишком, ты не находишь? Тем более что она не ладит с Матрешей. Разве не довольно будет сказать Матреше, чтобы она не открывала дверь чужим людям?

— Ты же не знаешь, насколько сильна власть, приобретенная над нею Нечаевым.

Анна встает.

— Мне это не нравится, — говорит она. — Не понимаю, почему мы должны обсуждать мою дочь среди ночи.

Между ними снова встает ледяная стена.

— Неужто же мне невозможно упомянуть ее имя без того, чтобы ты не рассердилась? — сокрушенно спрашивает он. — Ты думаешь, я заговорил бы о ней, если бы не принимал благополучие ее близко к сердцу?

Анна не отвечает. Дверь открывается и закрывается.

19

ПОЖАРЫ

Резкий переход от возобновленной близости к возобновившемуся отчуждению погружает его в замешательство и уныние. Он колеблется между страстной потребностью помириться с этой тяжелой, обидчивой женщиной и гневным желанием махнуть рукой не только на их не имеющие никакого будущего отношения, но и на весь этот полный скорбей и интриг город, с которым он не ощущает более живой связи.

Он потерпел поражение. «Павел!» — шепчет он, пытаясь прийти в себя. Но Павел больше не ведет его за руку, Павел его не спасет.

Утро он проводит, затворясь в своей комнате, сидит, склонив голову, обхватив руками колени. Он не один. Но не сыновнее присутствие ощущает он в комнате. Нет — тысячи мелких бесов роются в воздухе, точно выпущенная из банки саранча.

Когда он наконец заставляет себя встать, то встает он лишь для того, чтобы снять с туалетного столика оба портрета Павла — дагерротип, привезенный им с собою из Дрездена, и рисунок Матрены, — сложить их лицом к лицу, завернуть и спрятать в чемодан.

Он выходит из дому для очередного визита в полицию. Воротившись, он видит Анну Сергеевну,

пришедшую на несколько часов раньше обычного и определенно встревоженную.

— В городе целый день происходят стычки студентов с полицией. По преимуществу на Петроградской, но и на нашем берегу тоже. Лавки позакрывались — на улицах слишком опасно. Племянник Яковлева ехал в двуколке домой с рынка, и кто-то запустил в него булыжником, без всякой причины. Камень ударил в запястье, и рука у него теперь болит так, что он пальцами двинуть не может, похоже, кость перебита. Он рассказал, что среди студентов мелькает все больше мастеровых. А главное, студенты снова начали поджигать дома.

— Ой, давайте пойдем посмотрим, — предлагает из постели Матрена.

— Ни в коем случае! Это опасно. Да и ветер на улицах такой, что до костей пробирает.

Она ничем не показывает, что помнит прошлую ночь.

Он снова выходит из дому, заглядывает в чайную. В газетах о столкновениях со студентами ни слова. Впрочем, напечатано извещение о том, что вследствие «распространившегося среди студенчества неподчинения» университет закрывается впредь до дальнейших распоряжений.

Уже пятый час. Борясь с ледяным ветром, он идет вдоль реки на восток. Мосты перекрыты; въезды на них охраняют жандармы в небесно-голубых мундирах и в касках с плюмажами, у каждого по винтовке с примкнутым штыком. На противоположном берегу ярко блещет в сумерках пламя пожара.

Он идет вдоль реки, пока не наткнется на первый из сгоревших, еще дымящихся лабазов. Начи-

нается снегопад, снежинки, опускаясь на обугленные доски, мгновенно обращаются в ничто.

Он не ждет, что Анна Сергеевна снова придет к нему. Однако она приходит, ничего, как обычно, не объясняя. При том, что в соседней комнате спит Матрена, поведение ее в минуты близости поражает его своею беспечностью. Эти крики и страстные задыхания приглушены лишь наполовину; он начинает сознавать, что они не обличают собою да и прежде не обличали звуков животного наслаждения, что это лишь средство, которым она доводит себя до чувственного упоения.

В первые мгновения страстное напряжение Анны овладевает и им. Он снова на долгий срок утрачивает представление о том, кто он и кто она. Они словно замыкаются в раскаленную сферу наслаждения и, медленно кружа, плывут в ней, похожие на близнецов.

Никогда еще не встречал он женщины столь самозабвенно чувственной. И все-таки, когда она достигает высшей точки неистовства, он понимает, что отдаляется от нее. Что-то меняется в ней, думает он. Чувства, которые в первую их ночь бушевали в ее сокровенных глубинах, теперь, похоже, поднимаются на поверхность. В сущности, она становится «электрической», подобной множеству иных женщин, которых он знал.

Она настояла на том, чтобы свеча перед зеркалом осталась гореть. Приближаясь к мгновению высшего иступления, она, даже когда веки ее начинают трепетать, а тело содрогаться, все с большей и большей пристальностью вглядывается в его лицо.

В какой-то миг с губ ее срывается слово, которое он узнает лишь наполовину. «Что?» — спрашивает он. Но она только мотает из стороны в сторону головой и скрежещет зубами.

Наполовину? Нет, он узнал это слово: «бес». Он и сам привычно прибегает к нему, хоть, пожалуй, и вкладывает в это слово иное, отличное от ее, значение. «Беснование» — миг перед самой вспышкой восторга, когда душа выдирается из тела и начинает, кружась, падать в беспамятство. И, глядя на нее, бьющую из стороны в сторону головой, сжавшую челюсти, хрипящую, недолго вообразить, что и она одержима бесом.

Она отдается ему еще раз, и с еще большей безудержностью. Но оба они скоро обнаруживают, что источник иссяк.

— Не могу! — выдыхает она и замирает.

Закинув вверх руки, раскрыв ладони, она лежит, словно сдаваясь победителю на милость.

— Не могу больше! — По щеке ее сбегает слеза.

Ярко горит свеча. Он обнимает ее влажное тело. Слезы текут, она не пытается их удержать.

— Что ты?

— У меня нет сил продолжать. Я сделала все, что могла, я изнемогаю. Прощу тебя, оставь нас теперь в покое.

— Вас?

— Да, нас, нас обеих. Мы задыхаемся под гнетом, который ты взвалил на нас. Нам нечем дышать.

— Почему же ты раньше мне не сказала? Я воспринимал нашу жизнь совсем по-другому.

— Я не виню тебя. Я пыталась взять все на себя, но больше не могу. Я целый день на ногах, в прошлую ночь не спала, я измучена.

— Ты считаешь, что я просто пользуюсь тобой?

— Нет, не пользуешься, то есть не в этом смысле. Но ты пытаешься через меня подобраться к моей дочери.

— К Матрене? Какая нелепость! Ты не можешь так думать!

— Это правда, это просто лезет в глаза! Ты хочешь через меня дотянуться до нее, а я не могу этого вынести! — Она садится в кровати, скрещивает руки на голой груди и начинает горестно раскачиваться взад-вперед. — Тебя обуяло что-то такое, чего я не способна понять. Ты вроде и здесь, но ведь на самом деле тебя здесь нет. Я готова была помочь тебе ради... — Она беспомощно пожимает плечами. — Но мне это больше не по силам.

— Ради Павла?

— Да, ради Павла, и еще из-за того, что ты сказал однажды. Но цена слишком высока для меня. Все это изматывает меня. Я никогда не зашла бы так далеко, если бы не боялась, что ты точно так же заставишь служить себе и Матрешу.

Он поднимает руку к ее губам.

— Говори потише. Ты предъявляешь мне страшное обвинение. Что она тебе наговорила? Я ее и пальцем не тронул, клянусь.

— Кем ты клянешься? И чем? Разве ты веришь во что-то, чем можно поклясться? Да и не о «пальце» речь, ты это прекрасно знаешь. И не указывай мне, как говорить, тихо или громко. — Она отбрасывает одеяло, шарит по постели в поисках рубашки. — Мне нужно побыть одной, иначе я с ума сойду.

Час спустя — он только-только погружается в сон — Анна вновь забирается в его постель, горячая, прижимается к нему, обвивает ногами.

— Забудь о том, что я наговорила, — шепчет она. — На меня порой находит такое, тебе придется свыкнуться с этим.

Среди ночи он просыпается еще раз. Шторы задернуты, но в комнате светло, как при полной луне. Он встает, выглядывает в окно. Меньше чем в версте от дома в ночное небо взвивается пламя. За рекою бушует такой огромный пожар, что он готов поклясться, будто ощущает его обжигающий напор.

Он возвращается в постель, к Анне. Такими и находит их поутру Матрена — мать, растрепанную, крепко спящую, пристроив голову на сгибе его руки, чуть похрапывающую, и его, открывающего глаза, чтобы увидеть насупленную девочку, стоящую в двери.

Видение это могло ему и присниться. Но нет, это не сон. Девочка видит все и все знает.

Облако дыма повисло над городом. Пепел падает с неба, даже снег кое-где посерел.

Все утро он сидит один в своей комнате. Теперь он знает, почему так и не съездил ни разу на Елагин остров. Потому что боится увидеть, что земля там разрыта, могила разверзлась, а тело исчезло. Покойник был похоронен неправильно; теперь он похоронен в нем, в его груди, и больше не плачет, но шепит безумные слова, нашептывает ему понукания пасть еще ниже.

Он болен и знает имя своей болезни. Нечаев, голос века, называет ее мстительностью, но имя более правильное, хоть и не такое высокое, — обида.

Остается лишь сделать выбор. Он может кричать в постыдном падении своем, взывая к Богу или к жене о помощи. Он может также отдаться падению, отвергнуть хлороформ ужаса или утраты сознания и вместо того вглядываться и вслушиваться, ожидая мгновения, которое может и не наступить — тут он не властен, — когда из тела, рушащегося во тьму, он обратится в тело, в самом сердце которого и совершается это падение, в тело, которое в себе самом содержит и падение свое, и свою тьму.

Если и предназначено кому-то прожить жизнь в безумии нашего времени, сказал он Анне Сергеевне, так это мне. Не восстать после падения без единой царапины, но достигнуть того, чего не смог достичь его сын, — одолеть свистящую тьму, впитать ее, обратить в среду своего обитания, преобразить падение в полет, пусть даже медленный, старческий, неуклюжий, как поползновение черепахи. Жить там, где умер Павел. Жить в России и слушать голоса России, негромко бормочущие в нем. Держать в себе все: Россию, Павла, смерть.

Так он сказал. Но говорил ли он правду или только бахвалился? Ответ несуществен, главное — не отступаться. Не важно и то, что говорит он иносказаниями, обращая собственный отталкивающий, презренный недуг в эмблематическую болезнь века. Безумие кроется в нем, он укрывается в безумии; они осмысливают друг друга; и как они называют один другого — помешательством, эпилепсией, мстительностью или вяньем времени, — значения ровно никакого не имеет. И живет он не в обители безумных, и Петербург не есть город безумия. Безумен он сам, и всякий, кто допускает мысль о его безумии, безумен тоже. Ни одно его слово не несет в себе истины, ни одно — лжи, ничему нельзя верить, ни от чего нельзя отмахнуться. Держаться не за что, остается лишь падать.

Он распаковывает письменный прибор, расставляет его по столу. Дело идет уже не о том, чтобы вслушиваться в темный поток, надеясь услышать голос утраченного ребенка, не о том, чтобы хранить верность Павлу, когда все забудут о нем. Совсем не о верности речь. Напротив — об измене, прежде всего об измене любви, а затем уж

и Павлу, и матери с дитятей, и всем остальным. *Извращенность*: все и вся оборачивает он другой стороной — той, за которую ему удобнее ухватиться, чтобы затем уже падать вместе.

Он вспоминает помощника Максимова и вопрос, заданный им: «Какого рода книги?» Теперь он знает ответ, который ему следовало дать: «Книги, в которых извращается истина. Я выбрал кривую дорогу и увожу ею детей в области тьмы. Да и сам я лишь следую за пером, пляшущим предо мною».

Мельком он видит в зеркале туалетного столика себя, сгорбившегося над письменным столом. В сером свете, без очков он мог бы принять себя за кого-то чужого; темная борода могла б оказаться пчелиным роем.

Он передвигает стул, садится перед зеркалом. Но чувство, что в комнате присутствует кто-то еще, остается: если и не полнокровный человек, то сколоченное из палок существо, пугало в старом кафтане, с рогожным кулем вместо головы и дражным платком поверх рта.

Он отвлекся, и это его раздражает. И самый дух раздражения его поддерживает в призраке извращенную жизнь; а безгласное безразличие пугала к его раздражению лишь удваивает последнее.

Походив немного по комнате, он снова передвигает стул. Склонившись к зеркалу, вглядывается в свое лицо, в поры на коже. Писать он не может, думать тоже.

Не может думать — *потому что?* Он не забыл про татя в ночи. Если ему и суждено быть спасенным, то только татем в ночи, коего он обязан высматривать неустанно. Но тать не придет, пока

хозяин дома не забудет о нем и не задремлет. Хозяин же дома не может трезвиться и бодрствовать без конца, ибо тогда притча лишится смысла. Он должен спать, и если он должен спать, то может ли Бог осудить его, спящего? Бог должен спасти его, ничего иного Богу не остается. Однако улавливать Бога в тенета таких рассуждений — означает бросать Ему вызов и святотатствовать.

Привычный старый лабиринт. Все та же его игра, только в ином обличии. Он играет потому, что Бог молчит. Играет, чтобы заставить Бога заговорить. Но пытаться заставить Бога заговорить, переворачивая карту за картой, значит хулить Его. Бог говорит, лишь когда Он молчит. Когда нам кажется, будто мы слышим речь Божию, это не Бог говорит с нами.

Он проводит за столом несколько часов. Перо остается недвижимым. Время от времени возвращается видение пугала, помятый, издевательски состаренный шарж на него самого. Ему некуда больше идти, он заперт в тюрьме.

И поэтому... поэтому что?

Он закрывает глаза, заставляя себя встретиться с видением лицом к лицу, принуждая его отчетливее явить свой образ. Лицо по-прежнему скрывает завеса, которую он, похоже, устранить бессилен. Снять завесу может только само привидение, однако оно не сделает этого, пока его не попросишь. А чтобы просить, нужно знать его имя. Какое? Иванов? Иванов вернулся к нему, смутный, забытый? Но как его звали, Иванова? Или это Павел? Кем был жилец, занимавший эту комнату до него? Кем был П. А. И., владелец чемодана? Обозначает ли П. — Павла? И было ли «Павел» истин-

ным именем Павла? И если назвать Павла неверным именем, придет ли он когда-нибудь еще?

Некогда Павел был главной утратой. Теперь он утратил и себя самого, утратил так основательно, что не знает даже, как звать о помощи.

Если он выпустит из пальцев перо, подхватит ли его видение, мреющее по другую сторону стола, и начнет ли писать?

Он вспоминает сказанное Анной Сергеевной: «Вы скорбите по себе самому».

Слезы, текущие по его щекам, странно прозрачны, на вкус в них почти не ощущается соли. Если претерпеваемое им есть очищение, то, от чего он очищается, на редкость чисто.

В конечном счете, ему не будет дано вернуть мертвого мальчика к жизни. В конечном счете, если он желает встретиться с Павлом, встречаться придется в смерти.

Есть чемодан. Есть белая пара. Где-то она еще существует. Но существует ли способ, позволяющий воссоздать, начав со ступней, тело, облаченное в белую пару, — воссоздавать его, пока не откроется наконец лицо — пусть даже лицом этим будет воловье рыло Ваала?

Голова у фигуры, сидящей напротив, великовата, она крупнее, чем следует быть голове человека. Собственно, во всех пропорциях ее присутствует что-то отчасти неправильное, некоторая чрезмерность.

Не подцепил ли и он лихорадку? Жаль, нельзя позвать из другой комнаты Матрену, чтобы она потрогала его лоб.

Фигура напротив не вызывает в нем никаких ощущений, никаких решительно. Или, правильное:

он чувствует окружающее ее облако равнодушия, как бы мантию мрака. Оттого ему и не удастся по-дыскать для нее имя — не потому, что имя от него скрыто, но потому, что существо это безразлично к любым именам, ко всякому слову, ко всему, что он может о нем сказать?

Сила, исходящая от пришельца, настолько велика, что он чувствует, как сила эта давит его, накатывая безмолвными волнами.

Третье искушение. То, о чем он говорил Анне Сергеевне: я послан сюда, чтобы жить жизнью России. Стало быть, так Россия и проявляет себя — этой силой, этой тьмой, этим безразличием к именам.

Или же имя, ему недоступное, есть имя того, другого юноши, принять которое он не может: Нечаев? И урок, данный ему, в том-то и состоит: в глазах Божиих нет различия между ними двумя, Павлом Исаевым и Сергеем Нечаевым, равновеликими воробьями? Должен ли он отказаться от последней своей веры в неповинность Павла и признать его истинным товарищем и клеветником Нечаева, неумным юнцом, безоговорочно принимающим все, что предлагает Нечаев, — не только увлекающий воображение заговор, но и взвинчивающий душу восторг игры со смертью? И если Нечаев ненавидит отцов и ведет с ними непримиримую войну, то не должно ли допустить, что и Павел пошел по его стопам?

Задав себе этот вопрос, допустив, что Павел успел вкусить от начатков ненависти и жажды крови, он ощущает, как и в нем поднимается некая волна — ростки гнева, который содержит в себе ответ Павлу, ответ Нечаеву, ответы им всем. Отцы и дети — враги, враги до смертного часа.

Так он и сидит, оцепенелый. Либо Павел останется в нем ребенком, замурованным в склепе его горя, либо он выпустит Павла на волю со всей его яростью против власти отцов. Дав волю и собственной ярости против неверия и неблагодарности сыновей, выпустив ее, будто джинна из бутылки.

Это все, что ему удастся увидеть, — выбор, лишенный выбора. Он не способен думать, не способен писать, не способен оплакивать никого, кроме себя. Покамест Павел, подлинный Павел не придет к нему незванным, по собственной воле, он так и останется заключенным в узилище своего тела. И никакой уверенности в том, что Павел не приходил уже ночью и не говорил с ним, он не питает.

Павлу дозволено поговорить с ним только единожды. И все же он не хочет смириться с тем, что не будет прощен за свою глухоту, слепоту или тупость, не позволившую ему услышать произнесенное Павлом слово. И потому он вслушивается, ожидая, что Павел заговорит с ним опять. Он верит всею душой, что второго слова не заслужил, что не будет ему второго слова. Но так же, всею душой, он верит, что второе слово придет.

Он знает и то, чем чревата для него вторая ставка на удачу. Проигрышем. Он обязан сделать то, чего сделать не может, — подчиниться всему, что его ожидает, слову ли или молчанию.

Он боится, что Павел заговорит. Он верит, что Павел заговорит. Все сразу. Лес и бес.

В подобном состоянии духа он сидит за столом Павла, не отрывая взгляда от призрака, чья пристальность столь же нещадна, сколь и его, — призрака, которого ему дано было вызвать к жизни.

Не Нечаев — это он уже понял. Кто-то покрупнее Нечаева. И не Павел. Быть может, Павел, каким он мог бы стать, окончательно распростившись с отрочеством и обратясь в мужчину, красивого, с холодным лицом, мужчину, которого не способна тронуть никакая любовь, ни даже преклонение девочки, «на все для него готовой».

Такая возможность угнетает его. Это не правда или покамест еще не правда. Но от образа Павла, переросшего отрочество, переросшего любовь — переросшего не как человек, а как насекомое, которое целиком меняет свой облик на каждой ступени развития, — по спине бежит холодок. Вглядываться в него — это то же, что опуститься в воды Нила и лицом к лицу встретиться с чем-то огромным, холодным и серым, что могло быть рождено некогда женщиной, но в ходе столетий укрылось в камне и уже не принадлежит к этому миру, отвергая и сокрушая все его представления.

Христос на Голгофе также его сокрушил, но существо, сидящее перед ним, не Христос. Любви он в нем не примечает, только холод и давящее безразличие камня.

Существо это, столь серое, лишенное черт, — его ли обязан он усыновить, наполнить кровью, плотью, жизнью? Или он ошибается, и ошибается изначально? Быть может, это *от него* ожидают, что он отринет все, из чего состоит, все, чем он стал, вплоть до внешнего облика своего, и вновь обратится в младенца? И тот, кто сидит перед ним, станет отцом его, а ему надлежит отдаться отцовскому попечению этой твари?

Если так суждено, если в этом истина и путь к воскрешению, он готов это сделать. Он откажет-

ся от всего и, следуя за тенью, войдет, нагой, как младенец, в самые врата ада.

Вновь возвращается видение, от которого он отшатывался весь этот месяц: Павел в морге, голый, изломанный, окровавленный; и семя в теле его также мертво или уже умирает.

Ничего сокровенного не осталось. Стараясь не мигать, он смотрит на Павла, на те части тела его, без которых невозможно никакое отцовство. И в памяти снова всплывает берлинский музей и демоница-богиня, вытягивающая из трупа семя, чтобы его сохранить.

Тут и настает наконец миг, когда рука с пером приходит в движение. Но слова, выводимые ею, — не слова спасения. Они повествуют о мухах, верней об одной черной мухе, жужжащей на оконном стекле. Петербург, разгар лета, жаркого, липкого; внизу на улице шум, играет музыка. В комнате лежит рядом с мужчиной нагая девочка с карими глазами и прямыми светлыми волосами, тонкие ноги ее едва достигают лодыжек мужчины, лицо скрыто в изгибе его плеча, девочка зарылась в него, как ребенок.

А кто же мужчина? Прекрасное, как у бога, сложение. Но такая мраморная стужа исходит от него, что обнимаемая им девочка наверняка продрогла до костей. Что до лица его — лица не разглядеть.

Он сидит с пером в руке, удерживая себя от погружения в картины, которым нет места в этом мире, удерживаясь на самом краю падения, сидит, охваченный ощущением мига, в который все творение ложится, открытое, у его ног, — последнего мига перед тем, как хватка его ослабеет и он начнет падать.

Это мгновение из тех, в которые он обращается в тонкого ценителя подобных картин, в сластолюбца. Из тех, за которые он будет проклят.

Он вскакивает, охваченный нетерпением, вынимает из чемодана дневник Павла, находит первую пустую страницу, неисписанную, потому что сын уже мертв. На ней он и начинает писать, начинает заново.

Он пишет о себе, сидящем в той же комнате, в которой сидит сейчас. Только комната эта принадлежит теперь Павлу, и никому больше. И он уже не он, не мужчина на сорок девятом году жизни. Он снова молод, полон заносчивой юной силы. На нем отлично сшитая белая пара. В какой-то мере он — Павел Исаев, хотя и называет себя другим именем.

Ощущение торжества бродит в крови этого юноши, этого подобия Павла. Он прошел чрез врата смерти и возвратился; теперь он решительно неуязвим. Он не бог, но уже и не вполне человек. В определенном смысле он выше всего человеческого, выше человека.

И через этого юношу начинает писать себя дом с его затхлыми коридорами и глухими углами, вот этот дом в Петербурге, в России.

Аккуратными прописными буквами он выводит вверху страницы «КВАРТИРА» и далее пишет:

Он спит допоздна, поднимаясь обычно после полудня, когда в квартире становится жарко до того, что простыни намокают от пота. Выбравшись из постели, он плетется в умывальню на лестнице, ополаскивает водою лицо, чистит пальцем зубы и возвращается назад. Небритый,

всклокоченный, он поедает завтрак, оставленный для него квартирной хозяйкой (масло уже растаяло, в молоке плавают мошки); следом берет, надевает вчерашнее белье, вчерашнюю рубашку и белую пару (стрелка на панталонах, пролежавших всю ночь под матрасом, остра, точно нож), увлажняет и приглаживает волосы; и наконец, приуголовив себя к новому дню, лишается всякого интереса к нему, всякого побуждения идти куда-то, и снова садится за стол с остатками завтрака, и впадает в тупое оцепенение или, вяло развалившись, чистит ножом ногти и ждет, когда хоть что-нибудь произойдет, когда вернется из школы девочка.

А то еще бродит по квартире, открывая комоды, роясь в вещах.

Под руку ему подворачивается медальон с портретами хозяйки и ее покойного мужа. Он плюет на стекло и протирает его носовым платком. Посветлевшие супруги обмениваются взглядами через пространство их крохотной тюрьмы.

Иногда он зарывается лицом в исподнее белье, вдыхая чуть слышный запах лаванды.

Он записан в университет, но лекций не посещает. Он состоит в «кружке», члены которого практикуют свободную любовь. Как-то под вечер он приводит к себе в комнату девушку. «Нужно бы запереть дверь», — думает он, но не запирает. Они с девушкой предаются любви, потом засыпают.

Какой-то звук пробуждает его. Он понимает, что за ними подглядывают.

Он тормошит девушку, и та просыпается тоже. Оба обнажены, прекрасны в расцвете их юности. Девушка еще раз отдается ему.

Во все эти минуты он сознает, что дверь приоткрыта, что девочка смотрит на них. Наслаждение его обостряется, увлекая и девушку, — никогда еще не испытывали они подобного темного упоения.

Выйдя, чтобы проводить гостью до дому, он оставляет постель неубранной, предоставляя ребенку возможность осмотреть ее, привыкнуть к запахам любви.

С этого дня и до конца лета он каждую среду под вечер приводит к себе девушку, всегда ту же. При расставании их квартира всякий раз кажется пустой, и всякий раз, он знает это, где-то в ней прячется девочка, которая подкрадывалась к ним, наблюдала или слушала.

— Давай еще раз, — случается, шепчет девушка.

— Что тебе дать?

— Это! — шепчет она, распаленная желанием.

— Сначала скажи, как оно называется, — и девушка говорит. — Громче! — требует он.

Слова, произносимые девушкой, разжигают ее почти до невыносимости.

Он вспоминает Свидригайлова: «Женщина любит быть оскорбленной».

Про себя он называет все это «развитием вкуса» в девочке, как некоторые развивают в себе вкус к необычной пище — к устрицам или к сладкому мясу.

По временам он спрашивает себя, зачем ему это. Отвечает он себе так: течение истории завершается, старые учетные книги будут скоро брошены в огонь, и в это мертвенное время меж-

ду старым и новым позволительно все. В ответ этот он и сам почти не верит. Но до поры сгодится и такой.

По временам же он говорит себе: всему виной петербургское лето — эти долгие, жаркие, душные послеполуденные часы, мухи, жужжащие на оконном стекле, наполненные комариным зудением вечера. Протянуть бы это лето и зиму за ним, а весной я отправлюсь в Швейцарию, в горы, и стану другим человеком.

Ужинает он с квартирной хозяйкой и ее дочерью. В одну из сред вечером он, изображая веселость, перегибается через стол и треплет девочку по голове. Та отшатывается. Он понимает, что забыл вымыть руки и девочка почуяла запах, сохранившийся на них после любовных утех. По краснея, стараясь скрыть смущение, она утыкается носом в тарелку, чтобы не встретиться с ним глазами.

Все это он пишет ровным, разборчивым почерком, не вычеркивая ни слова. Само писание доставляет ему сегодня острое чувственное наслаждение — ощущение пера, уютно зажатого изгибом большого пальца, но в еще большей мере опущение руки, бегущей по странице и слегка отпрядывающей назад, следуя строго неизменным очертаниям букв, уставу алфавита.

Аня, Анна Сниткина, была его помощницей, прежде чем стать женой. Он нанял ее, дабы она привела в порядок рукописи, а после женился на ней. Девочка-фея в своем роде, призванная, чтобы выпутать золотую нить из клубка написанных им слов. Если сегодня он пишет столь разборчиво,

то лишь потому, что пишет он не для ее глаз. Он пишет для себя. Пишет для вечности. Пишет для мертвого юноши.

И хоть он сидит за столом столь покойно, он — человек, увлеченный смерчем. Бумажная лавина, куски прежней жизни отрываются от него и, кружа над ним, с ревом уносятся по восходящей спирали. Его несет высоко над землей, и на миг, перед тем как объятия ветра слабеют и он начинает падать, ему даруются полный покой и ясность, и мир расстилается под ним, точно карта его души.

Буквы, несомые смерчем. Разбросанные листы, которые он подбирает; разметанное тело, которое он собирает заново.

Стук в дверь: Матрена в ночной рубашке, на мгновение обретшая пугающее сходство с матерью.

— Можно? — севшим голосом спрашивает она.

— Как твое горло, все болит?

— Мм.

Она присаживается на кровать. Даже на таком расстоянии он слышит, насколько затруднено ее дыхание.

Зачем она пришла? Хочет помириться с ним? Выходит, и она тоже изнемогла?

— Павел, когда писал, сидел точь-в-точь так, — говорит она. — В первую минуту я даже приняла вас за него.

— Я кое-что сочиняю и как раз добрался до середины, — говорит он. — Ты не против, если я продолжу?

Девочка тихо сидит у него за спиной, наблюдая, как он пишет. Воздух в комнате наэлектризован, кажется, даже пылинки замерли и не падают больше.

— Тебе нравится твое имя? — несколько погодя негромко спрашивает он.

— Имя?

— Да. Матрена.

— Нет, терпеть его не могу. Это отец мне такое выбрал. Не знаю, зачем он меня так назвал. Бабушку тоже звали Матреной. Она умерла до того, как я родилась.

— Я придумал для тебя другое. Душа, — он пишет это слово вверху страницы и показывает ей. — Нравится?

Матрена не отвечает.

— Что на самом деле случилось с Павлом? — спрашивает он. — Ты знаешь?

— Я думаю... думаю, он пожертвовал собой.

— Ради чего?

— Ради будущего. Чтобы стать одним из мучеников.

— Мучеников? Но что такое мученик?

Матрена колеблется.

— Тот, кто жертвует собой. Ради будущего.

— Выходит, и чухонка была мученицей?

Матрена кивает.

Интересно, думает он, Павел тоже стал под конец изъясняться готовыми формулами? Впервые у него возникает мысль, что, может быть, Павлу и лучше было умереть. И он честно, не отступаясь, обдумывает ее.

Война: стариков с молодыми, молодых со старыми.

— Ты, пожалуй, иди, — говорит он. — Мне нужно поработать.

Поставив на следующей странице заголовок «ДЕВОЧКА», он пишет:

Однажды ему приносят письмо, имя и адрес выведены опрятными печатными буквами. Девочка забирает письмо у дворника и оставляет в его комнате прислоненным к зеркалу.

— То письмо — знаешь, от кого оно? — с нарочитой небрежностью спрашивает он, едва они в следующий раз остаются одни. И он рассказывает ей о Марье Лебядкиной, опозорившей своего брата, капитана Лебядкина, и ставшей посмешищем всей Твери, объявив, что некий поклонник, имя которого она, жеманясь, скрывала, просит ее руки.

— Так это письмо от Марьи? — спрашивает девочка.

— Подожди, узнаешь.

— Но почему все смеялись над ней? Почему бы кому-то не захотеть на ней жениться?

— Потому что она слабоумная, а на слабоумных не женятся из страха, что они наплодят слабоумных детей, а те наплодят таких же и так далее, пока вся земля не наполнится идиотами. Это ведь как поветрие.

— Поветрие?

— Да. Хочешь послушать дальше? Все это произошло прошлым летом, когда я гостил у тетушки. Я услышал рассказы о Марии и ее призрачном обожателе и решил кое-что устроить. Первым делом я сшил белую сюртучную пару, чтобы вы-

глядеть достаточно галантным для принятой на себя роли.

— Вот эту?

— Эту самую. Ко времени, когда костюм мой был готов, все уже знали, к чему идет дело, — в Твери слухи разносятся быстро. Я оделся, взял букет и отправился с визитом к Лебядкиным. Капитан был озадачен, сестра же — ничуть. Она никогда не теряла веры. После я заходил к ним каждый день. Как-то даже отправился с нею на прогулку по лесу, только с ней, ни с кем больше. А на следующий день укатил в Петербург.

— Так, значит, вы и были ее поклонником?

— Вовсе нет. Поклонник ей попросту приснился. Слабоумные не отличают сна от яви. Верят в сны. Она и меня считала сном. Потому что я, видишь ли, вел себя совершенно как явившийся ей во сне человек.

— Но вы еще поедете и повидаетесь с ней?

— Не думаю. Собственно говоря, наверно не поеду. А если она явится сюда и станет меня отыскивать, не впускай ее в дом. Скажи, что я переехал и что адреса моего ты не знаешь. Или дай ей неправильный. Просто выдумай какой-нибудь. Ты ее сразу узнаешь. Долговязая, костлявая, зубы торчат наружу и все улыбается. В сущности, ведьма ведьмой.

— Так она про то и пишет — что хочет приехать к вам?

— Да.

— Но для чего?..

— Для чего я все это делал? В шутку. В провинции летом такая скука, ты и представить себе не можешь.

Описание этой сцены отнимает у него не более десяти минут, он не вымарывает ни слова. В окончательном виде она будет длиннее, но для нынешних его целей довольно и этого. Он встает, оставляя два исписанных листа лежать на столе.

Это покушение на невинность ребенка. Поступок, за который ему не будет прощения. Совершив его, он преступил порог. Теперь Бог обязан заговорить, долее молчать Он не посмеет. Развернуть ребенка — то же, что совершить насилие над Богом. Лукавый способ, к которому он прибегнул, это западня — щелчок, и Бог в капкане.

Он сознает, что делает. И в то же время это состязание в коварстве между ним и Богом ведется им вне пределов собственной личности, возможно, и вне пределов души. Сам он стоит в стороне и следит за тем, как он и Бог кружат друг против друга. И время тоже встало и смотрит. Время замерло, все замерло в ожидании падения.

Мне нет больше места в моей душе, думает он. Он берет шляпу и покидает дом. Шляпа ему незнакома, да и обуви на своих ногах он тоже не узнает. Собственно, не узнает и себя самого. Попадись ему сейчас зеркало, он не удивился бы, обнаружив в нем размытые черты слепо всматривающегося в него чужого лица.

Он предал всех и более полного предательства вообразить не может. Если ему когда-либо хотелось узнать, чем отдает на вкус предательство — укусом или желчью, — сейчас для этого самое время.

Но никакого вкуса во рту он не чувствует, как не чувствует и тяжести на сердце. Сказать по правде, в сердце его — полная пустота. Этого он не предвидел. Да и как бы мог он предвидеть? Не мука, тупое

отсутствие муки. Так вот солдат, простреленный на поле боя — истекающий кровью, видящий кровь, но боли не чувствующий, — гадает: может быть, я уже умер?

Цена, которую пришлось заплатить, кажется ему непомерной. «Ему платят кучу денег за его книги», — повторила девочка слова другого ребенка, мертвого. Оба они не сказали главного — того, что взамен ему приходится отдавать свою душу.

И наконец он чувствует вкус. Пожалуй, все-таки желчь.

От переводчика:

Павел Александрович Исаев скончался в 1900 г. в возрасте пятидесяти четырех лет.

СОДЕРЖАНИЕ

БЕСЧЕСТЬЕ

5

ОСЕНЬ В ПЕТЕРБУРГЕ

299

Литературно-художественное издание

Дж. М. Кутзее
БЕСЧЕСТЬЕ
ОСЕНЬ В ПЕТЕРБУРГЕ

Ответственный редактор *Елена Кудрявцева*
Художественный редактор *Егор Саламашенко*
Технический редактор *Любовь Никитина*
Корректор *Ирина Ермолова*
Верстка *Максима Залиева*

Подписано в печать 24.03.2004.
Формат издания 84×108¹/₃₂. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 31,08. Тираж 10 000 экз.
Заказ № 293.

ИД № 02164 от 28.06.2000.
Торгово-издательский дом «Амфора».
197022, Санкт-Петербург, наб. реки Карповки, д. 23.
E-mail: amphora@mail.ru

Отпечатано с готовых диапозитивов
в ФГУП ИПК «Лениздат» (типография им. Володарского)
Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания
и средств массовых коммуникаций.
191023, Санкт-Петербург, наб. р. Фонтанки, 59.

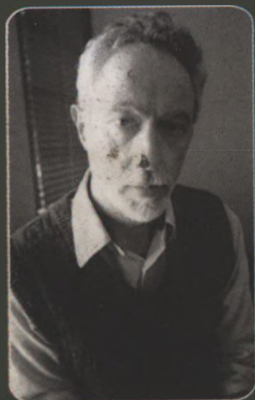
***По вопросам поставок
обращайтесь:***

ЗАО Торговый дом «Амфора»

115407, Москва,
ул. Судостроительная, д. 26, корп. 1
(рядом с метро «Коломенская»)
Тел.: (095) 116-68-06
Тел./факс: (095) 116-77-49
E-mail: amphoratd@bk.ru

ЗАО Торгово-издательский дом «Амфора»

197022, Санкт-Петербург,
наб. реки Карповки, д. 23
Тел./факс: (812) 346-04-51, 346-22-71
E-mail: amphora_torg@mail.ru



Грустная, серьезная, красивая в своей
безнадежности книга.

*Андрей Мирошкин,
«Книжное обозрение»*

Кутзее демонстрирует нам великое
искусство романа – романа как
стихотворения, с огромным количеством
смысловых рифм, композиционных
разветвлений и сводов: чудо архитектуры.
Да чего уж там ходить вокруг да около:
«Бесчестье» – очередной роман-собор.
Давно уж я не пользовался этой нехитрой
метафорой.

*Лев Данилкин,
«Афиша»*

В какой-то момент сквозь незатейливую
историю про интрижку преподавателя
со студенткой прорастает книга, по своей
остроте сопоставимая с библейской
книгой Иова.

*Галина Юзефович,
«Еженедельный журнал»*

Журнал

www.izdatelstvo.ru



9 785942 785147

ISBN 5-94278-514-7